

Н О В Ы Й
М И Р

3

Н О В Ы Й
М И Р

1961

3

1961

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 3

Март, 1961 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

МАРГАРИТА АЛИГЕР — Две встречи (1958. 1960), стихи	Стр. 3
В. ТЕНДРЯКОВ — Суд, повесть	15
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Два стихотворения. Перевел с белорусского Яков Хелемский	61
ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР — Посвящается Эсме, рассказ. Перевела с английского С. Митина	63
СТИХИ ПОЭТОВ ГАНЫ. Эндрию Аманква Опоку. Афрам.— Джозеф Гхарти. Харматтан.— Фрэнк Паркс. Африканский рай. Перевели с английского Ольга Берг, А. Сендык, Андрей Сергеев	79
ТАДЕУШ БРЕЗА — Бронзовые врата (Римский дневник). Перевели с польского Ю. Мирская и Э. Гессен	85

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Г. КОЗИНЦЕВ — Глубокий экран	141
------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ПРОЖОГИН — В Сомали	173
------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ — На новых землях	200
М. КУРЬЯНОВ — Турсуной	217

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Лирика Тараса Шевченко	227
Н. КОРЖАВИН — В защиту банальных истин (О поэтической форме)	234

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	247
Л. Лазарев. Сложная история прямой трассы.— Борис Агапов. Романтики-реалисты.— А. Берзер. Тут любой не утерпит...— Л. Поляк. Книга о художественном мастерстве.— Е. Любарева. Первый опыт.— Валерия Герасимова. Непобедимое, человеческое...	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	
Б. Яковлев. Ленин и советская культура.— Инженер Л. Гордиенко. Развитие советской энергетики.— А. Ханьковский. Об истории агрономической мысли.— Э. Мурзаев, доктор географических наук. Глазами географа.— Юр. Павлов. Латинская Америка пришла в движение.— С. Эпштейн. Банкиры и книги.	266
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
М. Алексева, С. Маневич — Листовка-памфлет (К 90-летию Парижской коммуны)	282
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

ДВЕ ВСТРЕЧИ

(1958. 1960)

БЕРЛИН

Кто хвалится, что сердце его осталось
целым, тот признается только в том, что
у него прозаичное, далекое от мира, глухое
закоулочное сердце. В моем же сердце
прошла великая мировая трещина...

Генрих Гейне.

Тому уже более сотни лет,
о родине думая на чужбине,
сказал однажды немецкий поэт,
что мир разорван посередине.
Он прямодушно признался сам,
сердце горячее раскрывая,
что расколола его пополам
великая трещина мировая.
Кровоточаща и глубока,
словно граница мрака и света,
она рассекла тебя на века,
центр мира — сердце поэта.
Минуло более сотни лет,
грустный шутник, веселый философ.
Семь тысяч бед и один ответ
на семь миллионов проклятых вопросов.
Недаром в злодеев вселяет страх
голос, требующий ответа.
Недаром фашисты жгли на кострах
книгу песен того поэта.
Грохот событий, движенье дней,
средневековые фашистских огней
не задушили тот голос вещий.
А трещина становилась видней,
определеннее и зловещей.
Незаживающий черный шрам,
перерубивший живую душу, —
трещина эта рвала пополам
небо и землю, море и сушу.
Шла вдоль газетных и книжных строк,
неразличима с первого взгляда,

городила улицы поперек
и называлась: баррикада.
Взвиваясь ракетой то тут, то там,
сводки последние передавая,
трещина эта шла по фронтам
и называлась: передовая.
И став ощеренным рубежом —
как будто война идет и поныне, —
она горит, как удар ножом,
немецкий поэт, у тебя в Берлине.
Неумолимо она идет
около Бранденбургских ворот,
мимо обугленного рейхстага,
и надвое рубит один народ
одной земли, языка и флага.
Она угрожающе глубока,
как первый раскол на весенней льдине...
И разрывается сердце, пока
мир разорван посередине.

ВЕЙМАР

В Веймаре, на улице против дома, где
жил и умер Шиллер, находится источник,
украшенный фигуркой сказочного человечка
с гусями.

Человечек с гусями, человечек с гусями
на закате осеннего дня.
...Словно детство забытыми голосами
окликает меня.
Я любила немецкие добрые сказки
про лукавых портняжек, свинопасов и королей...
Но зеленые каски, железные каски —
вдоль неубранных русских полей.
Перла ржавая лава, в пути ничего не жалея,
за спиной оставляя руины в огне и в крови.
Мудрено ли, что ты задохнулась в дыму, Лорелея?!
Фердинанд и Луиза, коварство сильнее любви!
В доме скрипнули двери...

Старый плащ и потертая шляпа.
Вы не в силах поверить, мятежная совесть, поэт!
Вас втолкнули в машину.

Скрещенные кости.

Гестапо.

Что ж, верней направления нет.
И живые герои встречаются с рыцарем старым
в Бухенвальде... Каких не бывает чудес!
Благородство и правда — соседи по нарам,
под железной охраной СС.
Бедный Шиллер глядит, ослеплен, уничтожен,
на беззвучные шприцы врачей,
на изделия из человеческой кожи,
на холодное пламя печей.
Но хотя это правда, не верьте, не верьте, однако!

Есть на свете еще чудеса.
 ...Он взволнованно слушает, как вырастают из
 мрака
 голоса, голоса, голоса.
 Это песню поют неподвластные страху
 в бухенвальдской кровавой ночи.
 Коммунистов ведут на допрос, в одиночку,
 на плаху,
 но от страха дрожат палачи.
 Не кончается жизнь, и не гаснут великие цели,
 не бледнеет пролитая кровь,
 не смолкает та песня, которую смертники пели.
 Фердинанд и Луиза, сильнее коварства любовь!
 Меж войною и миром граница лежит за лесами...
 В доме Шиллера вспыхнула рабочая лампа в окне...
 Здравствуй, старый дружок, человечек с гусями,
 ни в каком не сгоревший огне.

МАЛЬЧИК

Рыжий мальчик из Вернигероде,
 истое дитя своей страны,
 здорово ты вымахал за годы,
 в мире миновавшие с войны.

Стало быть, солдат отвоевался.
 Может, и увечный, да живой,
 как-никак, а все-таки добрался
 в милый Гарц,
 на родину,
 домой.

Все, как было, и не все, как было...
 Новые заботы и дела...
 Милая его не разлюбила.
 Там, глядишь, и сына родила.

Сын как сын,
 растет,
 рыжее рыжих,
 золотые бусинки — зрачки,
 ходит в школу,
 бегают на лыжах,
 собирает марки и значки.

Он от человечества в наследство
 и от победителей в войне
 получил мальчишеское детство
 и живет,
 доволен им вполне.

У меня для малого в избытке
 всякого богатства.
 На́, держи!

Вот тебе московские открытки.
Своему отцу их покажи.



Так ли представлялось мне когда-то,
как мы встретимся к лицу лицом?
...Я — вдова советского солдата,
павшего в бою с твоим отцом.

ДРЕЗДЕН

В феврале 1945 года англо-американская
авиация массированными налетами неслы-
ханной силы разрушила Дрезден.

Ослепительный город барокко,
милый дом знаменитых картин,
был в две ночи разрушен жестоко,
стал зловещим скоплением руин.
Дал команду невидимый кто-то,
и моторы взревели в ответ.
Два массированных налета —
и прекрасного города нет.

Два массированных налета...

Отвожу затуманенный взгляд.
...Ночи страшные, ночи без счета!
Ленинград, Ленинград, Ленинград!
Эти сотни ночей, ленинградцы,
ни простить, ни забыть не могу.
И, однако, мне надо подняться
выше ненависти к врагу.
Над двадцатым растерзанным веком
встать высоко, во всю длину,
справедливым живым человеком,
и в душе победившим войну.

Два налета. Два страшных урока.
Ты усвоил ли их, ученик?

Ослепительный город барокко.
Замер в воздухе каменный крик.

Люди добрые, сильные души!
Мир построен, чтоб жить и любить.
Кто решил, будто только разрушить
означает в борьбе победить?
Победить — это честь и отвага,
и победы высокая суть —
что-то выстроить людям на благо,
что-то людям сберечь и вернуть.

...Возвращаются Дюрер и Кранах
в свой отстроенный дом навсегда.
Город Дрезден в строительных кранах,
в неумолчном раскате труда.

ИЗДАЛИ...

Воспоминанья все туманнее,
все неразборчивей черты...
И тем мучительней, Германия,
мне видишься, мне снишься ты.

Как будто бы искусством ретуши,
на расстоянии видней
твои приземистые ратуши
и стройные костры церквей.

Твои выносливые домики,
которые с далеких лет
хранят фаянсовые гномики
от всяческих житейских бед.

Не их ли малые старания
спасли отчизну от огня?
И тем мучительней, Германия,
ты ускользаешь от меня.

За прописные изречения,
за их дешевую мораль
твоя судьба, твои мучения,
твой облик отступают в даль.

Стереть бы след угрюмой копоты,
увидеть, чем и как живет
твой выживший в безумном опыте,
твой страдавший народ.

Он вынес годы испытания,
стал человечней в их огне.
И тем мучительней, Германия,
ты задаешь загадки мне.

За голубиными полетами,
за проволочною межой,
за Бранденбургскими воротами
мир начинается чужой.

И там стоят все те же домики,
и их хранят все те же гномики,
висят перины из окон,
но властвует другой закон
политики и экономики.

Одна судьба, одни страдания,
и люди одного хотят...
И тем мучительней, Германия,
твой сверхъестественный разлад.

КУРФЮРСТЕНДАММ

Курфюрстендамм
 в пене коктейлей и пива!
 Как будто бы ты победила!
 Ты нагло глядишь, веселишься фальшиво
 и словно бы правду забыла.
 Потоки товаров, потоки товаров,
 потоки огней и движенья
 смывают следы пережитых ударов,
 следы твоего униженья.
 Но хлеб поражения, скудный и черствый,
 в награду за жгучие вины
 куда бы честней суеты и притворства,
 забвенья бессмысленной мины.
 Судьба человека, судьба по заслугам
 была бы безмерно достойней,
 чем это желание друг перед другом
 казаться сытей и спокойней.
 Взглянуть бы вам, люди, зажмурясь от боли,
 в глаза обвинителям прямо
 куда бы верней унижительной роли
 на форуме Курфюрстендамма.
 С одной лишь задачей — уйти от ответа —
 играется плоская пьеса.
 И все человечество смотрит на это
 брезгливо и без интереса.

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

Двадцать восьмого августа 1749 года, в полдень, вместе с ударом колокола, прошедшего двенадцать часов, появился я на свет во Франкфурте-на-Майне.

Гёте. «Из моей жизни. Поэзия и правда».

Все произвольней, все случайней
 столетий миновавших след.
 ...Есть дом во Франкфурте-на-Майне,
 в котором был рожден поэт.
 Дом этот бомбой был разрушен,
 его отстроили потом.
 Но если у домов есть души,
 то восстановлен только дом.

Венки из лавров пахнут глухо.
 Музейный воздух чист и сух.
 Но твоего тут нет и духа,
 возвышенный германский дух.
 Все слишком прибрано и ново.
 Повсюду след холодных рук.

И нету воздуха родного
 ни в этих залах, ни вокруг —
 того, который в доме этом
 струился, как живой поток,
 помог поэту стать поэтом
 и правде жизни стать помог
 живой поэзией,
 в которой,
 преображенные в слова,
 события,
 люди,
 реки,
 горы,
 душа Германии жива.

Душа страдает и ликует.
 Она — твой двигатель, поэт.
 Она стихи тебе диктует.

А вот когда души-то нет?
 А вот когда одно бездушие
 под слоем пестрой шелухи,
 игра, притворство, равнодушие —
 как это превратить в стихи?

Неправда! Все совсем иначе.
 Действительность — фанерный щит.

Ошломлен и озадачен,
 дом, словно каменный, молчит.
 И, словно в каменные скобки,
 зажали этот смолкший дом
 многоэтажные коробки,
 нагроможденные кругом.
 Что людям дорого и свято —
 по ним немыслимо понять.

А правду спрятали куда-то,
 чтоб ей поэзией не стать.
 Чтоб ей не требовать ответа,
 чтоб ей не потрясать сердца.
 Нет больше песен.
 Песня спета!
 Нет выражения лица.

И места нет судьбе поэта,
 но нет судьбе его конца.

Поэт свой дом отыщет втайне,
 дорогу к людям проложив.

Он умер в городе на Майне.
 Пойдем поищем, где он жив!

В ДОРОГЕ

В предгорьях Альп, звеня бубенчиками,
 коровы светлые пасутся,
 цветы покачивают венчиками,
 ручьи серебряные льются.
 А в Брауншвейге или в Касселе,
 ничем как есть не знаменитом,
 все вылизали и подкрасили,
 все выглядит тупым и сытым.
 Еще б стереть воспоминания
 и прошлое отнять у жителей...

Когда-то тут была Германия,
 страна поэтов и мыслителей.

Но время между той и этою,
 как ни старались,
 тем не менее
 еще не стало быстрой Летою,
 рекою вечного забвения.

Предгорья,
 то теснясь, то прядая,
 струятся мягко, в лад с дорогою,
 красую глаз моих не радуя,
 величием души не трогая.
 Когда на нюрнбергском форуме
 парады принимала мания,
 глядела светлыми озерами
 на небеса свои Германия.
 Вы были бесконечно длинными,
 года, когда сжигали заживо.
 И вас не заслонить витринами.
 И вас не искупить пейзажами.
 О страшные десятилетия,
 года безумья и позора,
 вас будто бы и не заметили
 долины, склоны и озера.
 Они концлагерей не видели,
 не слышали предсмертных стонов.
 И что с них спрашивать...

Но жители?

Но люди?

Пятьдесят миллионов.

Не все виновны!

Зря старания—
 такое не поделишь поровну!

Федеративная Германия
 холодный взгляд отводит в сторону.

Меж той Германией и этою
 все мучает, болит и гложет.
 И ничего не стало Летою
 и, очевидно, стать не может.

МЮНХЕН

1

Отсюда потекла коричневая муть —
кровь пополам с пивною пеной,—
исподтишка прокладывая путь
во все края, по всей вселенной.

Она текла, удушливо-густа,
используя удобные наклоны,
минуя все высокие места
и обходя запреты и законы.

И если что ей преграждало бег,—
образовав застойные болотца,
она ждала в низинках, там, где снег
чернеет, но до лета остается.

От солнышка в укромные дворы
припрятывалась,
становилась глуше,
а то и с глаз скрывалась до поры,
в иные приспособленные души.

2

Старая пинакотека,
знаменитые холсты.
Вдохновенье человека.
Яркий праздник красоты.

Сколько в Мюнхене фашисты
растоптали и сожгли,
но искусства пламень чистый
уничтожить не смогли.

Убивали и душили
все хорошее кругом,
всякий добрый свет тушили,
но входили в этот дом.

Тут они ступали, рядом.
Тут, где бродим я и ты.
И касались грязным взглядом
этой вечной красоты.

Без стыда и без опаски
так и жили много лет.
И не жухли эти краски.
И не гас бессмертный свет.

Свет могучего таланта,
жар упрямого труда,
дорогой огонь Рембрандта,
он пылал и в те года.

И его не погасила
тма клубящихся костров.
Неужели в этом сила
знаменитых мастеров?

Разве яркое величье
чувств и замыслов живых
в этом гордом безразличье
к жизни, плещущей вокруг них?

Разве не было бы лучше
отыскать такой секрет,
чтобы тем, кто жег и мучил,
не светил великий свет?

Чтоб однажды, в миг единый,
злу назло, хоть раз вовек
почернели все картины
в залах всех пинакотек.

Чтоб умолкли все поэты,
всех оркестров голоса,
чтобы все иссякли светы,
все исчезли чудеса.

Чтобы миру зло предстало
в голом виде, без прикрас.
Чтобы люто страшно стало
людям,
каждому из нас.

Злу стократ страшней орудий
мысли свет, таланта свет.
И творят искусство люди.
И с живых людей — ответ.

Сила мысли, сила чувства
в бой со злом от века шла,
а уживчивость искусства —
вековой союзник зла!

3

Старый Мюнхен впрямь великолепен.
Словно бы и не было руин...
Тут живет писатель Вольфганг Кеппен,
европеец, немец, гражданин.
Словно бы и не было изгнания...
Снова дома! Жив, здоров и сыт.
...Но глазами, полными вниманья,
человек вокруг себя глядит.
Город революции и путчей,
современности и старины,
право, он сейчас намного лучше,
чем до гитлеризма, до войны.
Словно бы довольны жизнью люди.

Не смолкают смех и голоса.
 Все толкуют о каком-то чуде —
 немцы любят верить в чудеса.
 Крови нет на площадях отмытых.
 Страха нету в выраженьях лиц.
 Словно бы забыли всех убитых.
 Словно бы простили всех убийц.
 Словно это только сон жестокий —
 не было гестапо и СС...
 Но, однако, существуют сроки
 торжества и действия чудес.
 Все как будто,
 все не в самом деле,
 и никто не будит ото сна.
 Но ведь были некие недели,
 некая недолгая весна.
 Вот когда нужна была отвага,
 чтобы на ладони площадей,
 выйдя без оружия и флага,
 стать людьми и братьями людей.
 Люди, люди, люди доброй воли,
 что же вы отводите глаза?
 Город мой,
 земля моя,
 доколе
 немцы будут верить в чудеса?
 ...В атмосфере призрачной лазури,
 стрелкою отзывчивой дрожа,
 напрягается в преддверьи бури
 чуткая и умная душа.
 Мир светлее от ее накала
 и видней достоинство и честь
 нации.
 Еще не все пропало,
 раз и тут такие души есть.

НЮРНБЕРГ

Пестрыми стекляшками, как в калейдоскопе,
 все вокруг мелькает целый день подряд.
 ...Государство некое в Западной Европе.
 Все благополучно. Все идет на лад.

Утром разноцветные пухлые перины,
 словно крем со сливками, брызжут из окон.
 Целый день беснуются жирные витрины.
 Только где-то за полночь гасится неон.

И когда стихают уличные шумы,
 вся многоголосица городского дня,
 город, много видевший, старый и угрюмый,
 словно наступает на меня.

Никакой опасностью мне не угрожая,
 он глядит настойчиво из каждого угла:

— Как ты поживаешь, женщина чужая?
Что ты за день видела? Что ты поняла?

Что ты хочешь высмотреть? Я тебя приметил...
Я тебе напомнил бы, хоть и невпопад:
двадцать лет нечаянно ты живешь на свете,
тут тебя убили бы двадцать лет назад.

Никаких сомнений! Тебя бы тут убили.
Двадцать лет нечаянных!

Двадцать лет судьбы!
Двадцать лет любила ты и тебя любили...
Ничего бы не было, если бы кабы...

Никогда бы не было этой нашей встречи.
А случилось встретиться... Вот ведь как теперь!

Я лежу и слушаю каменные речи,
жду, что день вмешается, хлопнет чья-то дверь...

Поскорей очнуться бы в Западной Европе,
вспомнить, что за время и какой режим.
В номере гостиницы, как в чужом окопе,
пахнет чем-то мертвым и чужим.



В. ТЕНДРЯКОВ

★

СУД

Повесть

1

Чрез ржавую лесную речонку была переброшена шаткая лава. Собаки, поджав хвосты, осторожно пробирались по жердям. Та, что шла впереди, низкорослая, грязно-желтой масти, останавливалась и тоскливо оглядывалась. Хозяин собак, старый охотник-медвежатник Семен Тетерин, заинтересованно следил за ней.

— Гляди ты, боится, стервоза,— удивленно и задумчиво произнес он.— Это Калинка-то. На-кася!.. Иди, телка комолая, иди! Чего ты?..

— Непривычная обстановка,— сообщил не без глубокомысленности фельдшер Митягин.

— Чего там непривычного! Ну сорвется — эка беда. Не такие реки переплывала. Хлебала лиха на своем собачьем веку. Дурь нашла...

Третий из охотников лишь молча перевел взгляд с собак на хозяина.

Сняли ружья, бережно приставили к изрытому стволу матерой березы, опустились на прогретую за день траву. Собаки, перебравшиеся через лаву, бодро подбежали, вывалив языки, улеглись возле тяжелых сапог Тетерина.

Собаки, Калинка и Малинка, мать и дочь, совсем не походили друг на друга. Дочь, Малинка, крупнее матери, темнее мастью, выглядела солиднее, старше. До сих пор казалось странным, что медвежатник хвалит только Калинку, тощую, неказистую, с неопратно торчащими клочьями шерсти на хребте. Но теперь, когда обе собаки легли рядом, стало видно: в разрезе длинной и узкой пасти Калинки, с выброшенным влажным языком, с желтыми клыками и черными брылами, было что-то безжалостно жестокое, какая-то особая холодная хищность, которая иногда поражает, если внимательно вглядываться в челюсти матерой шуки; узкие, словно кожа туго подтянута к ушам, глаза скользят по лицам охотников с угрюмым безразличием, в них нет и намек на привычную собачью ласковость. Наверное, ни одному постороннему человеку не приходило досужее желание протянуть руку к этой сухой, удлиненной, с залезанным лбом морде и потрепать по-дружески. Неприятный характер, но и незаурядный — поневоле веришь, что такая не отступит перед волком, без оглядки кинется на медведя. Гладкая, ширококостная Малинка по сравнению с матерью — бесхитростное существо, воплощенное добродушие.

Над небольшой полянкой возвышались две березы. Одна — коряво могучая, заполнившая листвою и ветвями все небо над головами охотников. Вторая — в стороне, под берегом, по пояс в высоких кустах. На объемистом, в полтора обхвата, дуплистом стволе клочьями висит жесткая кора, сучья — словно сведенные судорогой костлявые руки, ни

одного листочка на них. Быть может, она мать могучей березы, почтенная прародительница молодой поросли. Десятки лет назад ее корни перестали гнать из земли по стволу соки, дающие жизнь, а дерево продолжало упорно стоять и, мертвое, не падает.

Солнце чуть склонилось к вершинам елового леса. В нагретом воздухе пахло грибами и прелой хвоей. Что-то отяжелевшее, покойное, как дремота после обильного обеда, чувствовалось в природе. Ели бессильно повесили грузные лапы, на раскинувшейся в небе березе не шевелится ни один лист. Только умильное, убаюкивающее воркование упрямого в кустах ивняка тайного перекальца, только комариный писк над головой — немота кругом.

Охотники, лениво развалившиеся прямо на девственной лесной дороге, плотно заросшей мягкой травкой, испытывали смутную, пьянящую свободу. Нет забот, не о чем думать, просто живешь, ловишь лицом лучи солнца, вдыхаешь запах грибов — собрат этим суровым елям, частица нетронутой природы, растворяйся в ней без остатка. Лишь комары досаждают да легко щекочет нервы сознание, что впереди ждет необычное дело — ночная охота на медведя. Недаром же под березой маслянисто поблескивают стволы ружей.

2

Села, деревни, починки, поля, луга, выгоны Густоборовского района — все утонуло в лесах. Сквозь леса робко пробираются проселочные дороги, петляющие по ним застойные, с темной водой, речонки, в глуши блестят черные зеркала болотистых озер. Хвойный океан захлестнул человеческую жизнь, даже охотники — а их немало в этом краю — чувствуют себя гостями в лесу, не отваживаются далеко отрываться от дорог. Один лишь Семен Тетерин, самый известный среди местных охотников, может сказать, что знает леса: всю жизнь провел в них. По берегам мрачных озер, в глухотам таинственных согор он своими руками поставил рубленые из сосняка избушки. Они так и зовутся по деревням «тетеринки» — Кошелевская тетеринка (стоит на озере Кошеле), Губинская тетеринка (возле Губинского болота), Липовая, Моховая, Прокошинская... В какую бы глушь ни занесло Семена, в трескучие морозы зимних ночей или в проливные осенние дожди, он добирался до ближайшей тетеринки, растапливал каменку, сушился, варил хлébово, чувствовал себя дома.

Если Семен Тетерин по-своему властвовал над лесами, то лежащий напротив человек рано или поздно должен уничтожить его владычество. Этого человека звали Константин Сергеевич Дудырев.

Всего год назад маленькая деревня Дымки ничем не отличалась от других деревень — Кузьминок, Демьяновок, Паленых Горок. В ней темные бревенчатые избы глядели с берега в кувшиночные заводи реки, в ней была всего одна улочка, проходила одна дорога — грязная во время дождей, пыльная в сухие дни. Как и всюду, в ней горланили петухи по утрам, с закатом солнца возвращались с пскотины коровы. Кто мог думать, что эту самую неприметную деревню ждет необычная судьба. Не в Кузьминках и не в Демьяновке решили строить громадный деревообделочный комбинат. Рядом с бревенчатыми избами выросли щитовые дома, закладывались фундаменты для кирпичных двухэтажных зданий, на кочковатом выгоне экскаваторы, задирая ковши, принялись рыть громадный котлован. Новые и новые партии рабочих прибывали со стороны — разношерстное, горластое племя. Даже застенчивое название Дымки исчезло из обихода, заменилось внушительным — Дымковское строительство.

А начальником этого строительства стал Дудырев — всемогущая личность.

Много лет руководители Густоборовского района мечтали наладить дорогу от районного центра до железнодорожной станции. Пятьдесят километров твердого покрытия, чтоб не ломались машины, чтоб городок Густой Бор осенью не был отрезан от остального мира. Велись подсчеты, посылались запросы, разводили руками — нет, не осилить! А Дудырев едва только приступил к делу, как сразу же проложил не только дорогу, а навел железнодорожную ветку. Об этом и мечтать не смели... Он пустил рейсовые автобусы от Дымковского строительства до Густого Бора, от Густого Бора — до станции. Он встряхнул сонную жизнь районного города, наводнил его новыми людьми. Секретарь райкома и председатель райисполкома держались при Дудыреве почтительно, колхозные председатели, даже самые уважаемые, как Донат Боровиков, постоянно крутились вокруг него, старались услужить — авось перепадут крохи с большого стола, авось разрешит отпустить цементу, гвоздей или листового железа, чего у сельхозснаба, облейся горячими слезами, не выпросишь.

Дудырев только что развернул дело. Он еще выбросит в глубь лесов «усы» узкоколеек. Он перережет леса просеками. Его комбинат будут обслуживать четыре леспромхоза с десятками новых лесопунктов, разбросанных по тем местам, где теперь лишь стоят одинокие тетеринки. Рычание трелевочных тракторов, визг электропил, гудки мотовозов распугают медведей. Кончится владычество Семена Тетерина.

Оно кончится, но не сегодня и не завтра. А пока Семен Тетерин и Дудырев, прислонив ружья к стволу березы, бок о бок отдыхают, отмахиваются от комаров.

На людях Семен Тетерин ничем не выделялся — не низкоросл и не тщедушен, но и не настолько могуч, чтобы останавливать внимание. Одна обветренная скула стянута грубым шрамом, отчего правый глаз глядит сквозь суровый прищур. Шрам не от медведя, хотя Семен на своем веку свалил ни много, ни мало — сорок три матерых зверя, да еще пестунов и медвежат около двух десятков. Шрам — с войны, осколок немецкой мины задел Семена Тетерина, когда он вместе с другими саперами наводил мост через Десну.

Дудырев похож на рабочего со своего строительства. Выгоревшая кепка натянута на лоб, поношенный, с мятыми лацканами пиджак, суконные галифе, резиновые сапоги. Новенький, хрустящий желтой кожей патронташ он снял и бросил под березу, к ружьям. Лицо у него крупное, неотесанно угловатое, истинно рабочее, только маленькие, серые, глубоко вдавленные под лоб глаза глядят с покойной, вдумчивой твердостью, напоминая — не так-то прост этот человек.

Третьим был фельдшер Митягин, сосед Семена Тетерина. Он лыс, мешковат, в селе на медпункте в белом халате выглядит даже величавым. Старухи, приходящие из соседних деревень, робуют перед ним, даже за глаза зовут по имени и отчеству, считают его очень ученым. «Куда врачихе-то, что из района приезжает, до нашего Василия Максимовича. Девка и есть девка, нос пудрит да губы красит, поди, одни женихи на уме-то...» Но кроме старух, Василий Митягин ни у кого уважением не пользовался. Ребятишки по селу в рваных штанах бегают, а сам любит выпить. Добро бы еще пил с умом, а то выпьет да непременно куражится: «Мы-де, практики, за голенище заткнем тех, кто институты-то прошел...» Несерьезный человек.

Митягин давно уже по-соседски упрашивал Семена Тетерина взять его на медвежью охоту, говорил, что в молодости баловался, уверял —

не подведет. Семен дал ему свою старенькую берданку, наказал: «Не вздумай лезть поперед, не на зайца идем. Меня держись, каждое слово лови...»

Сейчас Митягин не обращал внимания ни на тишину, ни на воркование переката — должно быть, не испытывал радостного чувства свободы, а помнил лишь одно, что сидит в почтенной компании, на физиономии выражал значительность, старался глядеть умно, даже комаров припечатывал на лысине с достоинством.

3

Мало-помалу завязался разговор, благодушный, необязательный, просто потому, что молчать уже надоело. Начали о Калинке...

— У собаки инстинкт, то есть на обычном языке — привычка, — поглядывая краем глаза на Дудырева, внушительно принялся объяснять Митягин. — На лаве испугалась, значит сказался инстинкт страха. Павловский рефлекс. Так-то...

— Значит, по-твоему Калинка привыкла пугаться? Эко! — усмехнулся Семен.

— Не просто привычка, а особая, врожденная...

— Ну, мели, Емеля, еще и рожденная. А почему не только наши охотники, но из-под Жмыхова, за семьдесят километров, с поклоном ко мне подъезжают: продай, ради Христа, щенка от Калинки. Они что, урожденный страх сторговать хотят? Весь помет от Калинки наотличку — храбрее собак нету.

— Нельзя, брат, судить, так сказать, с высоты собачьей позиции. Я научную базу подвожу...

Но тут заговорил Дудырев, и Митягин почтительно замолчал на полуслове.

— Храбрость... Трусость... Одно слово — как наградной лист, другое — выговор в приказе...

— Именно, — на всякий случай осторожно поддакнул фельдшер.

Дудырев лежал на спине, заложив одну руку под голову, другой нехотя отгонял комаров.

— Помню, во время войны один из наших офицеров-разведчиков говорил: страшен не тот, кто стреляет, а кто поджидает. Который стреляет, мол, понятен — хочет убить, сам боится быть убитым, такой же живой человек, как и ты. А вот затаившийся, поджидающий — неизвестен, непонятен. Непонятное, таинственное — самое страшное. От страха перед непонятым люди и бога выдумали и чертей...

— Именно, — снова поддакнул Митягин.

— Скажи, — Дудырев приподнялся на локте, повернувшись к Семени, — ты вот во всяких переделках бывал, шестьдесят медведей свалил, случалось тебе себя потерять, испугаться до беспамятства?

Семен Тетерин задумался.

— Себя терять не приходилось. Потеряйся, не сидел бы я тут с вами в холодке.

— Не может быть, чтоб ты ни разу не боялся.

— Бояться-то как не боялся, чай, тоже человек, как и все.

— А ну-ка...

— Да что — ну. Всяко бывало. Ты, Максимыч, должно быть, помнишь, какого я хозяина приволок в то лето, когда Клашку замуж отдавал?

— Как не помнить. Уникальный экземпляр.

— То-то, экземпляр. Развесил бы меня этот экземпляр по всем кустам да елкам. С лабаза бил. А разве уложишь с первого выстрела?

В плечо всадил. Слышу — рывкнул да в лес. Я с дерева да за ним. Пошла у нас, как водится, веселая игра в пятнашечки. Бежит он, а по всему лесу треск, словно в пожар. Я взмок, ватник бы с плеч скинуть, да времени нет: ремень надо расстегивать, топор за ремнем... Нагоняю в березнячке, всадил заряд из второго ствола, он вздымается... Видывал я, дружочки мои, зверей, а тут душа зашлась. Березнячок-то молоденький, а башка-то у него, ну-ко, выше березок. Я ружье переломил, патрон вставляю, глядь, а патрон-то заклинило, не закрою никак ружье. А он идет, лапы раскорячил, чтоб пусто было, вот-вот обнимет... Бросил я ружье, топор из-за пояса хватать... Чего там топор, когда я ему чуть повыше пупка макушкой достаю. Изба избою, колокольня ходячая, опустится сверху — будет заместо меня мокрая лужа средь кочек. Размахнулся я топором и закричал... Закричишь, коль жизнь дорога. Убью-де, такой-сякой! С матерком на весь лес... И надо же, видать крепко шумнул, он шмяк на четвереньки да от меня. А я глазам не верю, каждая косточка дрожит, руки не слушаются, топорischem за пояс не попаду...

Семен Тетерин замолчал. На лице, темном, обветренном, со скулой, стянутой шрамом, блуждала невнятная ухмылочка. Дудырев и Митягин притихли. Им невольно представлялась картина: ночной вымерший лес, могильная тишина и крик... Этот крик настолько свиреп, что проник в мозг раненого зверя, мозг, затуманенный болью, отчаянием, яростью. Ярость против ярости, сильное животное против еще более сильного.

Дудырев оборвал молчание:

— И все-таки убил его?

— А куда ему деться? Возле Помяловского оврага прижал. Тут уж, шалишь, ружье не забаловало. Домой привез, шкуру снял, прибил под самую крышу, так задние-то лапы траву доставали. То-то народ дивился...

— Уникальный экземпляр, что и говорить,— вздохнул Митягин.

В это время со стороны донеслись звуки гармошки. Чьи-то неумелые руки выводили однообразно-бездумное: «Отвори да затвори...» И было в этих звуках что-то простое, бесхитростное, родственное лесу, как шум переката в кустах.

— Эк, какого-то игруна сюда занесло,— удивился Семен.— Из Пожневки, должно.

На опушку вышел парень в суконном не по погоде черном костюме, отложной воротничок чистой рубахи выпущен наружу, широкие штаны нависают над голенищами сапог, в руках поблескивающая лаком хромка, круглое лицо лоснится от пота.

— Так и есть, из Пожневки,— сообщил Семен.— Бригадира Михайлы сын, трактористом работает... Эй, малый! Куда ты так вырядился? Не с лешачихой ли на болоте свадьбу играть?

Парень, неожиданно налетевший на людей, сначала смутился, потом степенно поправил на плече ремень гармони.

— Куда? Известно, в Сучковку.

— Чай, там вечерку девки устраивают?

— А чего ж.

— Вот оно, дело-то молодое. От Пожневки до Сучковки, почитай, верст десять, а то и все пятнадцать. С ночевкой, поди, у зазнобушки?

— Где там с ночевкой, утром к семи на работу надо.

— Лих парень!

Семен Тетерин смотрел с откровенным восхищением, как человек, увидевший свою молодость. Митягин снисходительно ухмылялся. Дудырев не без любопытства разглядывал. Ему этот парень в своем праздничном наряде, так не подходящем к лесу, напоминал чем-то кустарную

игрушку, одну из тех комично торжественных, покрытых лаком аляповатых фигурок, которые теперь входят в моду у горожан.

— А мы в ваши края, — сообщил парню Семен.

— Знаю. Отец сказывал.

— Не отпугнули от укладки зверя-то?

— Никто близко не подходил.

— То-то... Шагай, не то, гляди, запозднишься, — милостиво отпустил Семен.

— Поспею... Удачи вам.

— И тебе того же.

Парень подтянул повыше ремень хромки и зашагал дальше. Вскоре за лавой раздалось незатейливое «отвори да затвори».

Семен Тетерин поднялся с земли.

— Пора и нам. Солнце-то низко. Как раз ко времени поспеем.

Собаки бодро вскочили на ноги. Охотники разобрали ружья.

4

Три дня тому назад на дом к Семену заехал Михайло Лысков, бригадир из деревни Пожневки, и сообщил, что вторую неделю на их покотине погуливает медведь. До сих пор мял овсы, пугал женщин, ходивших на покосы, а прошлой ночью заломал годовалого телка. Часть сожрал, часть припрятал, как водится, забросал дерном и мхом, чтоб, когда мясо попритухнет, наведаться и всласть полакомиться.

— Заходи в деревню, сам тебя наведу на место, — пообещал бригадир.

— Зачем мне наводчики? Расскажи — смекну. Чай, ваши места знаю, как свой двор.

И бригадир рассказал, что медвежья «укладка» лежит в конце оврага, шагах в двадцати от опушки, что медведя можно встретить и в овсах и в малиннике, который вырос на горелом месте.

— Все друг от дружки рядом — и укладка, и овсы, и малинник. Видать, уходить не собирается. Найдешь без промашки. Убери его — нам покойней и тебе, глядишь, добыча.

— С собаками пойду, — решил Семен.

Летняя охота на медведей обычно ведется тремя способами: с капканами, с «лабазов», с собаками.

Охоту с капканами Семен Тетерин презирал: «Эка сноровка — зверя свалить, когда он лапу в железе увязил. Капкан-то цепью к бревну приклепан. Поволочит бревно, умается, подходи вплотную и лупи в упор. Срамота, а не охота...»

С лабазов охотиться труднее. Лабаз — дощатый настил, пристроенный на дереве, растущем возле того места, куда повадился ходить медведь. Охотник еще до захода солнца прячется на лабазе и ждет. Но нельзя никогда рассчитывать, что первый же выстрел уложит зверя наповал. Дашь промах — успеет уйти, ранишь — нужно догонять. А раненый хозяин опасен...

Семен Тетерин считал, что с собаками охотиться проще, чем с лабазов, вернее и не в пример интереснее. При собаках никогда не потеряешь след, они связывают медведя, отвлекают его. Хорошо натасканная собака у медвежатников ценится дороже коровы, а Калинке и вовсе цены не было. Она пользовалась славой едва ли меньшей, чем сам Семен Тетерин.

Семен прикинул, что именно в эту ночь хозяин должен навестить свои запасы. Он уверенно вел охотников, однако не спешил. Лучше прийти к месту позже (собаки все равно наведут по следу), чем нагрят

нуть до времени, спугнуть зверя. Ищи тогда вслепую по лесу, надейся на удачу.

Ночь в лесу, как всегда, ползла снизу, из-под корней деревьев. С застывших облачков еще не слинял закатный румянец, а на дороге едва-едва различишь собственные сапоги. Густеет тьма, из всех пор истекает земля черноземным жирным мраком. Мертв лес в эти часы, ни птичьего свиста, ни шума ветра — глухая пустыня. Здесь гуляет в одиночестве большой зверь, лохматое, сильное, дикое существо. Он не сказка, не вымысел.

Митягин отставал, спотыкался о корневища, влезал лицом в колючие еловые лапы, вполголоса чертыхался и уже жалел, что напросился на это хлопотливое дело.

Дудырев считал себя бывалым охотником: не только бил зайцев и уток, эту бесхитростную добычу всех, кто знает, с какого конца держать ружье, но в степях участвовал в отстреле сайгаков, на уральских озерах снимал с лету диких гусей, как-то по лицензии с компанией загнал матевого лося. Давно мечтал выйти на медведя, но все не удавалось...

Сейчас он шел, ни на шаг не отставая от Семена, старался перенять легкую и бесшумную поступь медвежатника, но молчаливый лес угнетал и его. Не понять, куда идут, где зверь, как можно на него наткнуться среди этой чашобы, в этой дегтярной тьме. Ничего не сообразишь, словно слепец за поводырем, целиком зависишь от чужой воли.

Часто впереди можно было разглядеть собак. Они дожидались Семена и, едва тот подходил к ним, снова растворялись в лесу.

Семен остановился. Дудырев тоже. Митягин налетел на него сзади, по привычке выругался.

— Нишкни, Максимыч! — суровым шепотом приказал Семен. — Ни слова больше.

— Туда ли идем? — чуть слышно посомневался Дудырев.

— Пришли, считай. Теперь слушай собак. Как голос подадут, ну, тогда — не отставать.

Семен тронулся вперед. Шагали с осторожностью, на каждый хруст ветки под сапогом медвежатник грозно оглядывался.

Неожиданно мрачный лес раздвинулся, охотники вышли на поле. Светло, тихо, покойно. Поле овса — матовое озеро среди вздыбленных черных берегов. Здесь уже не дикое царство медведя, а свое, родное, человеческое. Невольно Митягин и Дудырев ощутили бодрость.

А до сих пор скорый на ногу, Семен Тетерин вдруг пошел медленно, скинув высоко голову, расправив плечи, вытянувшись — ни намек на прежнюю сутуловатость. Он напоминал сейчас собаку, подбирающуюся к камышам, в которых засели утки.

Так прошли все поле, снова уперлись в лес — монолитно темный, пугающий. Жидкая падающая изгородь отделяла поле от леса. Семен остановился возле нее; вытянув шею, поводя подбородком из стороны в сторону, стал прислушиваться.

На небе проступили крупные бледные звезды. Далеко-далеко утомленно и печально кричал дергач. От плотной стены густого ельника тянуло сыростью. Медвежатник нервно прислушивался, а кругом — сонная и вялая тишина, один лишь коростель невесело исполнял свою ночную обязанность.

Легкий треск со стороны леса — все обернулись, но за изгородью показались собаки. Они деловито подбежали к Семену, и тот, не приглушая голоса, с досадой выругался:

— Что за оказия!.. Иль я дурака сваял, иль Михайло чего напутал... Пошли посмотрим, что ли. Есть ли хоть укладка-то?

Семен перемахнул через изгородь и двинулся в глубь леса прежним легким и быстрым шагом. Собаки послушно бросились вперед, исчезли в темноте. Дудырев нагнал Семена, снова спросил:

— Да туда ли попали? Про овраг же говорилось...

— Вот он, овраг,— сердито тряхнул головой Семен.— Лозняком зарос. Тут он кончается, и днем-то сразу не заметишь.

В чаще заворчали собаки. Семен круто свернул, принялся ломиться напрямиком сквозь ветви.

— Кыш, пакостницы! Обрадовались! — раздался его голос.

Когда Дудырев и Митягин продрались сквозь чащу, Семен стоял на обочине крохотной прогалинки и задумчиво пошевеливал сапогом землю.

— Цела укладка,— сообщил он.

— Не приходил?..

— Спугнули его иль...

— Или?..

— Иль зажрался, сукин сын. Время-то не голодное, тут тебе и малина поспела, и черника, и овсы как раз выколосились. Жри — не хоч. Побаловал и забыл.

— Как же мы теперь найдем его? — спросил Дудырев.

Семен угрюмо промолчал, пошевеливая носком сапога мох. В сыром, пронзительно свежем воздухе тянуло приторной вонью.

— Ишь, разит. Самая сласть для него,— повторил Семен.

— Так что — неудача? — допытывался Дудырев.

Медвежатник разогнулся, поправил на плече двустволку.

— Будем по лесу шарить... Чего расселись? Марш отсюда! — крикнул он на собак. Уже спокойнее добавил: — Для начала малинник прочешем.

Снова чащоба, снова лезущие в лицо еловые лапы, стволы деревьев, вырастающие на пути, перепутанная корневищами, в ямах и кочках земля, мрачная тишина кругом. Лес сырой, отчужденный, точно такой, каким был полчас назад, но сейчас он не давил на мозг, не пугал. Нет близости зверя, исчезла тайна, пропала душа, осталась одна оболочка. Чувствовалось, что Семен Тетерин спешит из упрямства, с досады. Дудырев и Митягин по привычке подчинялись ему.

Высокий лес перешел в кустарник, стало светлее, но зато на каждом шагу попадались выворотни и залитые водой бочажки. Здесь лет пять назад был пожар, мертвые, обугленные сосны попадали, земля заболотилась, поросла ольхой и кустами малины.

Вдруг Семен так внезапно остановился, что Дудырев ударился о его широкую каменную спину.

В глубине леса раздавался лай собак, два голоса: скрипучий, сухой и жесткий — Калинки, бодрый, с подвизгиваниями — Малинки.

— Наткнулись-таки,— вполголоса обронил Семен и, продолжая вслушиваться, медлительно потянул с плеча ружье.— На след наткнулись... Ну... не отставай...

Он бросился не на голоса собак, а куда-то в сторону. Дудырев побежал за ним, но сразу же потерял его из виду.

— Где вы? — донесся до него сердитый голос.— Держись меня, так вашу перетак!

Дудырев рванулся на голос, нагнал медвежатника. Хлещущие по лицу ветви, кусты, грухлявые пни, попадающиеся под ноги,— через пять минут стало жарко, кровь застучала в висках, но Дудырев ломился вперед, ловил звук шагов Тетерина, не отставал...

5

А Митягин сразу же отстал. Он выскочил на довольно широкую тропу, корявую, в каменистых буграх засохшей грязи. По ней бежать было все же легче, чем продираться сквозь чащу. И он побежал, лоя невнятный, как сквозь стену, лай собак. Лай удалялся. Митягин прибавлял скорости, надеясь обогнать Тетерина и Дудырева, которым приходилось бежать лесом.

Но вот ветки снова стали хлестать по лицу, стволы деревьев — задевать за плечи. Митягин влетел в самую чащобу, остановился, переводя дыхание. На весь лес стучало сердце. И вдруг он почувствовал, что стук собственного сердца — единственный звук среди могильной тишины. Собачьего лая не слышно.

Митягин повернул обратно; наткнувшись несколько раз на стволы березок и напорвшись на недружелюбно колючие, мокрые ели, скатился в неглубокий овражек. Разогнулся и понял — заблудился. Тропа растаяла под ногами. Ее, должно быть, протоптал скот, она вела просто в глубь леса, а потом исчезала.

Нельзя было увидеть протянутой руки. Вверху безучастно шумел ветер хвойными вершинами. Один среди леса, огромного, как море. Где-то, километрах в пяти-шести, деревенька Пожневка, окруженная полями, но где, в какой стороне? Легче всего ее проскочить, а тогда лес, лес и лес на десятки, а то и на сотни километров. Одинокий человек в нем — как сорвавшаяся блесна среди громадного озера: ищи месяцами, не отыщешь.

Шумел ветер хвоей, в просвете между черными вершинами насмешливо подмигивала звезда.

— Се... Се-мен! — крикнул Митягин.

Голос был слабый, плачущий, сырая ночь впитала его. Да разве услышит Семен, когда ломится на собачий лай вслед за медведем, разве можно пробить криком эту вязкую, как смола, темень!

— Се... Се-мен!

Шумит ветер вверху.

Митягин бросился вслепую, ломая ветви, падая, подымаясь...

Сбоку плотная стена леса прорвалась. Митягин повернул на просвет. А вдруг да он сделал крюк, вдруг да выскочит на то самое поле овса.

Но это была поляна, узкая, стиснутая лесом, заросшая высокой жесткой травой. Посреди нее — редкая кучка елей, купающаяся в сером, густом, как кисель, тумане. Зловшей заброшенностью веяло от всего. Особенно испугала Митягина высокая трава — покосы кончаются, а здесь коса и не проходила, занесла же нелегкая к черту на кулички!..

И в это время послышался собачий лай. Митягин, не задумываясь, бросился в сторону лая.

Далекие собачьи голоса приближались. Можно было разобрать короткое жесткое тьяканье Калинки. Митягин бежал по мокрой траве, хлеставшей его по коленям. Молодые елочки среди распластанного тумана плясали перед глазами.

Неожиданно одна из темных елей сорвалась с места и кургузым бесформенным комком покатила навстречу. Митягин бежал прямо на нее, но вдруг сообразил, прилип к месту. Да ведь это же медведь! Он совсем забыл о нем!

Медведь отмахивал грузным галопом, вскидывая зад. Митягин стал судорожно срывать с плеча ружье, оступился, упал в траву, замер... Рядом послышались тяжкие удары мягких лап о землю, громкое соление...

Промчались лающие собаки...

Митягин нащупал в траве ружье, распрямился. Из тумана вынырнула сначала одна фигура, за ней другая. По войлочной шляпе узнал Семена Тетерина, Дудырев бежал за ним шагах в десяти.

Они не обратили внимания на выросшего, словно из-под земли, Митягина. Тяжело дыша, с шумливой суетой проскочили мимо. Митягин рванулся за ними. Теперь он знал — не отстанет ни на шаг.

6

Проснулась сила предков. Дудырев перестал быть обычным человеком, сам превратился в зверя — злого, жаждущего крови, выносливого. Пот заливал глаза, ветви хлестали по лицу, сучья рвали пиджак, а он бежал, бежал, не чувствуя ни боли, ни тяжести резиновых сапог, перемахивал через кочки, через поваленные стволы деревьев, через пни. Он слышал только собачий лай и еще не видел медведя, но всей кожей ощущал его близость и его обреченность. Не уйти ему от собак, рано или поздно нагонят, а там...

Потные руки сжимают ружье. Впереди Семен Тетерин. Он так сильно подался вперед всем телом, что ждешь — вот-вот упадет, но не падает. Бег его кажется легким, летящим — никак не нагонишь.

Отставший где-то Митягин вдруг почему-то оказался рядом, побежал следом, чуть ли не наступая на пятки.

Лай собак превратился в осатанелый визг. Летящий над высокой травой Семен Тетерин споткнулся, распрямился, уже не побежал, а пошел вперед приплясывающей походочкой, неся на весу ружье. Дудырев перевел дыхание, смахнул рукавом пот с лица. Он понял — собаки нагнали медведя, будет встреча. Захлебывающийся от ярости собачий лай доносился с конца поляны, от самой опушки. И хотя глаза совсем привыкли к темноте, Дудырев сначала никак не мог понять, где собаки, где медведь. Он видел лишь какое-то шевеление среди деревьев. Молодая березка, как в сказке, кланялась и подымалась навстречу приближавшемуся с ружьем Семену Тетерину. Но вот Дудырев различил среди травы спины собак и сразу же отчетливо увидел всю картину...

То, что он принял сначала просто за темный провал в опушке, был стоящий на задних лапах медведь. Собаки захлебывались, рвались к зверю, но держались-таки на почтительном расстоянии. Медведь, ухватив обеими лапами ствол березки, ломал ее, гнул из стороны в сторону, словно гигантским веником отмахивался от собак.

Дудырев не успел добежать до Семена, как тот вскинул ружье, замер, словно заснул на секунду возле приклада... От красного пламени подпрыгнул лес, тугой звук выстрела ударил в уши, отозвался где-то далеко за спиной. И еще отзвук выстрела не стих, а продолжал метаться в конце поляны, как прозвучало болезненно свирепое, короткое, как криканье с надсады, рычание медведя. Собаки с раздирающим душу визгом бросились на него и отскочили...

— Ах, чтоб тебя! — с болью крикнул Семен.

Медведь словно провалился под землю. Из лесной чащи доносился одинокий визгливый лай. Полусломанная березка печально качалась в воздухе.

Семен, осторожно ступая, прошел под самую березку, опустил колени в траву, пригнулся. Подбежавший Дудырев разглядел в траве распластанное собачье тело.

— Эх ты, оказия... Надо же, напоролась. Глупая, без сноровки... Небось Калинка не подвернется... Все нуτρο, стервец, выпустил. Дурной знак, дурной... Слышь... — Семен повернулся к Дудыреву. — Добей, чтоб не мучился. У меня рука не подымеется.

Он поспешно вскочил на ноги, отступил в сторону.

Дудырев приставил ружье к собачьей голове, увидел, что она доверчиво приподнялась, различил мерцающий в сумерках глаз, невольно зажмурился сам и, поспешно нащупав спусковой крючок, выстрелил из одного ствола.

По мокрой траве расползлся пороховой дым. Семена уже рядом не было. Неподвижно стоял в стороне Митягин. Надломленная и перекрученная березка все еще качалась. В глубь леса удалялся визгливый лай Калинки. Она преследовала по пятам зверя.

Первым сорвался Митягин. Дудырев, не успев перезарядить двустволку, с одним патроном в стволе, бросился догонять. Охота продолжалась.

7

Медведь был ранен и уже не мог оторваться от собаки. Иногда лай прерывался осатанелым визгом, за которым следовало секундное молчание. Затем снова лай с возросшей яростью, силой, упрямством. Это медведь пробовал напасть на собаку. Калинка увертывалась.

Они наткнулись на глубокий овраг и погнались зверя вдоль него. Вдруг сиплый визг Калинки возвысился до злобного торжества, потом стал глуше.

— Никак в овраг скатился...— Семен круто остановился.— Так и есть! — Он, повернувшись к Дудыреву, жарко задышал прямо в лицо.— Я вверх оврага проскочу, перехвачу его. А вы здесь спускайтесь. Услышите, что на вас идет,— пугайте издали. В воздух бейте. Гляди же, издали! А то в тесноте да в темноте, чего доброго, заламает вас. Ну, марш!

Склоны густо поросли ольхой, снизу тянуло влажной, затхлой прелью, как из погребной ямы, где лежит прошлогодняя картошка. Как ни привыкли глаза к темноте, но в овраге мрак был особый, густой, слезавшийся. Мир исчез — здесь преисподняя. Шуршит под ногами галька, лезут в лицо сухие сучья, прерывисто посапывает за плечом испуганный Митягин.

— Ну и местечко,— шепотом, выдававшим душевный озноб, обронил он.— Могила.

Совсем неожиданно глухой доселе собачий лай прорвался, стал явственным. Но в этом задушенном темнотой и застойной сыростью подземелье не понять — далеко ли, близко ли лает собака.

— Стреляем? — тем же зябким шепотом спросил Митягин.

Дудырев не ответил. Стрелять? А вдруг рано, вдруг да отдаленные выстрелы не испугают зверя, а насторожат, он не бросится опрометью назад, а полезет по склону вверх. Что тогда подумает Семен? Издали палили, подпустить ближе боялись! Лучше выждать...

Лай слышался отчетливо, и опять не разберешь, приближается ли он. Дудырев сдерживал нервную дрожь: если медведь наскочит внезапно, вряд ли удастся вернуться — сомнет, переломает, он ранен, взбешен.

Дудырев вспомнил — в ружье всего один патрон. Если промахнется, то шабаш — не прикладом же отмахиваться от зверя. Он переломил двустволку, начал слепо нашаривать рукой патроны, но патронташ съехал набок, никак не удавалось расстегнуть клапан.

В эту минуту впереди что-то хрястнуло, обвалилось. Охрипший собачий лай, ворчание — медведь рядом, а ружье переломлено! Задев плечом, чуть не сбив Дудырева с ног, рванулся в сторону Митягин. Ружье переломлено... Хватаясь рукой за кусты, упираясь в землю коленками, Дудырев полез вверх по склону.

Треск, хриплое, прерывистое дыхание, надрывный — почти плач озлобления и бессилия — лай. Снова треск, злобное рычание, но уже дальше...

Лай Калинки стал глохнуть. Тут только Дудырев понял и чуть не застонал от стыда. Испугался, очистил дорогу, зверь прошел, даже не заметив его.

Двустволка была не закрыта. Дудырев с досадой защелкнул ее. Много лет мечтал о такой встрече и — на вот. Как глупо! Как нелепо! Позор! Дудырев морщился в темноте.

Семен Тетерин рассвирепел:

— Помощники! В болото отпустили! Теперь намаемся. Лазай средь ляжин! В руках был! Пугнуть только и просил. Эх, бестолочи! Ты!.. — Он налетел на Митягина, виновато трусившего в стороне. — Забыл, что ружье носишь, а не балясину? Стреляй, коль нужно, не то катись домой, не путайся в ногах! А ты, Константин, хвалился — козлиц в степях стрелял. Оно и видно — на козлиц да на поганых зайцев мастак...

Семен ругался, а Дудырев покорно молчал, не пытаясь оправдаться.

Выбежали на окраину болота. Тощие елочки редко торчали из моховых кочек. Были видны лишь самые ближние, остальные скрывала ночь. И тем не менее чувствовалось, что такой частокол из худосочных деревьев тянется на километры. Даже ночь не могла спрятать унылость болота.

Где-то в глубине этого болота продолжал звучать голос Калинки. Низкорослая, тщедушная собака с бесстрашием до самозабвения, с упрямством до помешательства одна продолжала преследовать могучего озлобленного зверя, который может легким шлепком перебить ее пополам. Плачущий лай Калинки терзал сердце Дудырева.

8

Из болота вырвались, когда ночь начала мутнеть, моховые кочки проступали отчетливее.

Калинка сорвала голос, и вместо яростного лая доносилось взвизгивание, похожее на скрип несмазанного колеса. Грязные, мокрые, выбившиеся из сил охотники заставляли себя бежать. Теперь у каждого из них появилось озлобление против медведя: загонял, измучил, заставил месить трясины, страдать от стыда — накопилось личное, непримиримое, более серьезное, чем простой охотничий азарт.

Медведь, должно, сам измучился. Он выскочил на дорогу и бросился по ней, чувствуя одно — ему легче бежать, не соображая, что здесь охотники быстрее настигнут его.

А эта дорога вела к берегу лесной речки, к лаве, возле которой всего каких-нибудь пять часов назад охотники отдыхали, беседовали, отмахивались от комаров.

Вот и береза — под ней стояли ружья. Вот покатый склон к речке. Вот окруженное кустами высохшее дерево, в подслеповатых сумерках окостенели в бессильной корче его ветви.

Обеспамятевший медведь наткнулся на лаву — она не выдержит его, вплавь перебраться не успеет: охотники рядом. Зверь поднялся на дыбы и шагнул навстречу охотникам...

В скупо брезжащих сумерках, впереди размашистых кустов и вознесенных над ними сучьев сухостойной березы, расплывчатый, от этого еще более грозный и величественный, какой-то бесплотный, двинулся по склону. Он не рычал, не отмахивался от Калинки, которая наскаками зло хватала за ляжки и отлетала обратно, — он молча шел навстречу смерти.

Три ружья одновременно вскинулись на него. Три человека припали к прикладам...

И тут Семен Тетерин уловил за кустами «отвори да затвори» — бездумно веселый, глупенький звук гармошки.

— Не стреляй! — крикнул Семен.

Но было поздно, два ружья разом грохнули, хрипло завизжала Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед медведю. Вялый ветерок понес пахнувший затхлостью дым пороха.

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то далеко в лесных чашах. Дудырев и Митягин стояли не шевелясь, держа на весу ружья, все еще сочившиеся дымяком. И чего-то не хватало, что-то исчезло из этого скудно освещенного мира.

Заглохло наконец эхо выстрелов, словно подавившись, Калинка оборвала сиплый визг, явственно доносился говорок переката в кустах... Семен, вытянув шею, с усилием вслушивался — ничего, только умильно воркует перекат.

Семен отбросил ружье, рванулся к лаве.

Над темным дымящимся бочажком лесной речки перекинута три жерди, упирающиеся в связи из кольев. Застойная речка, неподвижные кусты, грубо сколоченная лава — нерушимый покой, уголок мирно спящего леса, редко навешаемого людьми. Пусто кругом и глухо. Только со стороны, из зарослей, ведет нескончаемую болтовню перекат.

Под тяжестью Семена настланные жерди возмущенно закрипели. Он огляделся и в маслянисто-темной воде, по которой ползли клочья серого тумана, заметил что-то черное. Семен прыгнул с лавы, оглушил себя всплеском, окунулся с головой, достав и руками и ногами илистое дно, распрямился, громко плеская, побрел по груди к плавающему черному предмету. Дотянулся, схватил — гармошка!

Подняв ее над головой, он пошел дальше, старательно вдавливая сапоги в илистое дно. Шаг, другой, третий... И с ужасом почувствовал, как что-то крупное, невесомое, с робкой ласковостью прислонилось к нему.

Семен отшвырнул гармошку, запустил руки, пальцы сразу ощутили мягкую шероховатость сукна... С ленивым всплеском раздалась вода, показалось плечо, за ним сникшая голова с залезанными на одну сторону волосами.

Подымая эту сникшую голову, раздвигая кувшиночные листья, Семен потащил ношу к берегу.

9

Парня положили возле березы, почти на то место, где отдыхали перед охотой. Дудырев, склонившийся над ним, поспешно разогнулся, сорвал патронташ, сбросил пиджак, вылез из одной рубахи, другую, нательную, с треском разорвал на себе.

— В шею попало, — глухо обронил он.

Это были первые слова, произнесенные после выстрелов.

Митягин стоял в стороне, все еще сжимая в руках разряженную берданку. Семен, мокро шуршащий, сильно ссутулившийся, распространяя вокруг себя знобящий речной холодок, шагнул к нему, грубо вырвал из рук берданку, толкнул к распластанному на земле парню.

— Чай, фельдшар как-никак — действуй!

Митягин упал на колени перед парнем, принял из рук Дудырева располозованную рубаху, засуетился — повернул вялую голову, низко, низко, как близорукий, склонился над раной, попросил:

— Тряпку какую намочите. Обмыть бы...

Дудырев схватил кусок рубахи, передергивая от холода голыми плечами, бросился к реке, затрещал среди кустов.

— Ах ты беда, из шеи кусище вырвало,— жалобно бормотал Митягин.— Ах, беда, так беда...

— Ты шевелись, а не плачь! — подгонял его Семен.

— Тут и опытный врач не поможет, куда мне... В клинических условиях не сладят...

Появился Дудырев, встал за спиной Митягина, бережно держа в руках тряпку, с которой капала вода. Его пухлую грудь и плечи жалили комары, он передергивался и ежился.

— Пульс есть ли? — спросил он.

Митягин, выпустив тряпки, поспешно ухватился за руку парня, стал щупать запястье.

— Ах, господи, господи! Не учую никак — пальцы-то дрожат...

— К сердцу прильни,— посоветовал Семен.

Так же послушно, как хватался ощупывать пульс, Митягин сдернул с лысины картуз, прижался ухом к груди.

— Эх, ополоумел! — Семен с досадой оттолкнул его.— Сквозь пиджак слушает.

Он грубо и ловко разорвал руками мокрую одежду, обнажил грудь парня.

— Теперь слушай...

Яйцевидная лысая голова долго пристраивалась, замерла... Замер, сгорбившись над Митягиным, Семен Тетерин, замер продолжавший бережно держать в руках мокрую тряпку Дудырев. Снова беспокойно заездила митягинская лысина. Семен и Дудырев, не дыша, ждали.

— Не прослушивается,— слабо произнес Митягин, подымая голову.

— Ну-кася! — Семен отстранил Митягина, тоже припал к груди, долго слушал, молча поднялся.

— Ну?..— с надеждой спросил Дудырев.

— Не чуть вроде — ни сердца, ни дыхания.

— Сонная артерия... Пока в воде был да пока вытаскивали, сколько крови вышло,— бормотал Митягин.

— Может, искусственное дыхание сделать? — предложил Дудырев.— Вдруг да...

Он присел, взялся за раскинутые руки парня. Но когда он коснулся этих рук, то почувствовал — холодны, едва ли не холоднее той мокрой тряпки, которую только что держал в ладонях. Дудырев выпустил руки, помедлил с минуту, вглядываясь в бледное, какое-то стертое в сумерках лицо парня, с натугой встал, передернул зябко плечами, с усилием нагнувшись, поднял с земли свой пиджак и рубаху, стал молча одеваться.

А утро послушно, по привычке наступало. Блеклые звезды глядели утомленно и неверно. Над рваной кромкой хвойных вершин расплывался свет, пока еще мутный, какой-то мыльный — не заря, лишь далекий предвестник доброй зари. И еще довольно темно — не разглядишь росу на кустах, хотя и чувствуешь тяжесть мокрой листвы. И не проснулись еще птицы... Утро? Нет, умирание обессиленной, состарившейся ночи.

В сумеречном пугливом освещении лежал на траве парень в черном костюме с растерзанной на груди рубахой. Он казался плоским, раздавленным, только носки сапог торчали вверх. Бросалось в глаза: одна штанина заправлена в голенище, другая выбилась.

Опустив головы, стояли охотники. Их усталые, небритые лица с ввалившимися щеками были бледны той бесплотной бледностью, какая обычно бывает при брезжущем свете. Мокро лоснилась удлиненная лысина Митягина. Дудырев нахмурился, глаз не видно, под выпирающим

лбом — темные провалы. Семен Тетерин сгорбатился, словно не в силах выдержать тяжести безвольно опущенных широких рук.

Семен первым пошевелился.

— Ну, дружочки мои, потешились, теперь похмелку принимай. Ты, Константин, — обратился он к Дудыреву, — скорым шагом давай в район. Что уж, докладывай без утайки кому нужно... А ты, — Семен направил тяжелый взгляд на Митягина, — крой в Пожневку. Сообщи бригадиру Михайле о сыне... Мне придется здесь куковать. Бросить все, уйти — не гоже.

Дудырев угрюмо кивнул головой, а Митягин сжался.

— Ты сам, Семен, сходи... Не могу... — попросил он угасшим голосом. — Не неволь, как же к человеку с эдаким...

Семен взял Митягина за плечо, сурово взгляделся в него.

— Иль чует кошка, чье мясо съела?

— Да ведь я не один стрелял...

— Двое стреляли. Один медведя свалил, другой — человека. И сдает-ся мне: ты с ружьем-то похуже справляешься. Иди! — Семен легонько и властно подтолкнул Митягина.

Не подняв с земли ни ружья, ни картуза, поникнув лысой головой, фельдшер покорно направился в лес. Дудырев, хмуро кивнув на прощание, подхватив двустволку и патронташ, двинулся в другую сторону.

От убитого медведя доносилось рычание. Калинка стояла на туше, шерсть на ее спине вздыбилась, налитые кровью глаза невидяще скользнули по Семену и опять уставились вниз. Маленькая, жиловатая, она со злобным остервенением рвала медвежий загривок, торжествовала над поверженным врагом, мертвому зверю мстила за смерть дочери.

— Кыш! Стерво! — угрюмо прогнал ее Семен.

Подойдя ближе, удивленно покачал головой.

— Однача...

Медвежий загривок был искромсан в кровавое месиво.

10

В свое время зашевелились в кустах и засвистели птицы. В свое время заалела верхушка старой березы. Туман над рекой поднялся выше кустов... Солнце вывалилось из-за леса — свеженькое, ласково теплое, услужливое ко всему живому. По траве протянулись росяные тени...

Клочок зеленой земли в положенное время привычно изменялся, переживал свою маленькую историю, повторявшуюся каждое утро.

Станным, чуждым, враждебным этому живому и радостному миру были два лежавших на земле трупа. Медведь уткнулся мордой в траву, выступая на пологом склоне бурым наростом, в его густой шерсти искрились на солнце росинки. Ранние мухи уже вились над ним. Парень распластался во влажной тени, косо повернув набок голову.

За лавой вкрадчиво закуковала кукушка, обещая кому-то долгую жизнь.

Медленно-медленно ползло вверх солнце. Семен не стал сушиться после ночного купания. Раздеваться, развешивать по кустам свои тряпки, беспокоиться о себе, когда рядом лежит убитый, когда обрушилось такое несчастье...

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» — высчитывала бестолковая птица.

Семен Тетерин много видел, как умирают люди. Ему было всего шесть лет, когда его дядю Василия Тетерина, тоже лихого медвежатника, заломала медведица. Отец Семена убил ее, и это было нетрудно — медведица оказалась вся израненной. Погибнуть охотнику от зверя — смерть законная и даже почетная. Люди умирали от болезней, от старо-

сти, на фронте — каждый день убитые, но с такой обидной смертью Семен встретился впервые. Шел парень к зазнобе, кто знает, рассчитывал, верно, жениться, обзавестись семьей — и на вот, подвернулся. Не болел, не воевал, на медведей не ходил. В старину говорили: на роду написано. Пустое! Просто жизнь колена выкидывает.

Солнце поднялось, стало жестоко припекать. Кукушка или утомилась, или улетела в другое место. Семен ждал, что с часу на час приедет отец парня — Михайло. Рано его потревожил. До приезда судебного следователя убитого нельзя увозить. А следователь так быстро не обернется. Пока-то Дудырев добежит до райцентра, пока сообщит, пока сборы да разговоры да путь сюда — к вечеру жди, не раньше. Михайле терпеть до вечера, смотреть на сына. Не подумавши поступил.

Семен поглядывал на подымающееся к полудню солнце и с тоской ждал, что со стороны Пожневки застучит телега.

Но случилось так, что первыми приехали из района. За рекой раздавалось натужное гудение мотора, затем мотор заглох, и слышались громкие, деловитые голоса:

— Дальше не пролезем.

— Да тут рядом.

— Вылезайте, пешком дойдем.

По шаткой лаве один за другим стали перебираться люди: длинный, узкоплечий, в наглухо застегнутом кителе, с портфелем под мышкой незнакомый Семену человек; за ним, сильно прихрамывая, ощупывая толстой палкой жерди, сам прокурор Тестов, без фуражки, с копной курчавых волос, смуглолицый и бровастый, в вышитой рубашке, смахивающий на заезжего горожанина, выбравшегося на природу ради отдыха; с чемоданчиком в руке молодая женщина в пестром платье; Дудырев, мятый и грязный, без ружья, без патронташа, но уже какой-то новый, словно подмененный — держится свободно, неприступен; сзади всех парень в комбинезоне и покоробленных кирзовых сапогах — должно быть, шофер, что привез всех.

Дудырев подошел к Семену, бросил хмуровато:

— Вот, доставил.

— Быстро. Ума не приложу, как это обернулся..

— Дошел до Сучковки, позвонил по телефону на строительство, сказал, чтоб машину к прокуратуре подогнали, а потом сразу же связался с прокурором, попросил приехать и меня захватить заодно..

Семен кивнул головой. Он забыл, что Дудырев только в лесу, на охоте, простоват, не то что среди людей: снял трубку — и даже сам прокурор все дела бросил. Это не Митягин. Бригадир Михайло, видать, спозаранку убежал на поля или на покосы, а он его ждет до сих пор.

Прокурор, припадая на покалеченную на фронте ногу, энергично опираясь на палку, прошел прямо к убитому, с минуту постоял молча, вглядываясь острым, оценивающим взглядом, щелкнув портсигаром, закурил, живо обернулся к Семену на здоровой ноге.

— Как же это, а?

Семен развел руками.

— Надо же, подвернулся... Тут не только ночью, а добро бы за целый день один человек пройдет. Не бойкое место.

— Ты-то опытный, должен бы сообразить.

— Сообразил. Да ведь в момент за руки не схватишь. Крикнул им, а уж готово..

— Крикнул?... — Смуглое, узкое, под густой курчавой шевелюрой лицо прокурора насторожилось, взгляд живых черных глаз обострился. — Что крикнул?

— Да как же, услышал гармошку и кричу: «Не стреляй!» Да в горячах-то, видать, они не сообразили сразу...

Подошел и высокий с портфелем, подался вперед, вслушиваясь. Прокурор значительно переглянулся с ним, повернулся к Дудыреву.

— Он действительно кричал это?

— Припоминаю — что-то кричал, — ответил Дудырев.

— Вы и гармошку слышали?

— Гармошки не слышал. А разве это важно для следствия?

— Важно, — сурово ответил прокурор. — Весь ход дела меняет. Если один мог предусмотреть, то ничего не мешало то же самое предусмотреть и другим. В нашем деле придется быть педантами. Крик был, кто-то должен сесть в тюрьму. Иначе просто был бы несчастный случай, или что называется на нашем языке — юридический казус.

Все вокруг него подавленно молчали.

Пока шел разговор, никем не замеченная, подъехала подвода из Пожневки. Пятеро, приехавшие с машиной, Семен Тетерин да Митягин с Михайлом, прибывшие с подводой, — восемь человек. Для другого места не такая уж большая компания, но заброшенный лесной угол, должно быть, с самого сотворения мира не видел столько народу сразу.

II

Среди бела дня, при ярком солнечном свете начали обстоятельно, с самого начала разыгрывать ту историю, которая произошла в сумерках, на рубеже ночи и утра.

Долговязый следователь по фамилии Дитятчев снял свой форменный китель, засучил рукава на волосатых тощих руках, принялся придиричиво расспрашивать Семена Тетерина и Дудырева, кто из охотников где стоял во время выстрелов.

— Так, вы здесь стояли... Здесь, значит, товарищ Дудырев... Ага, чуть в сторонке. Так, а третий... Этот третий здесь?

— Здесь, — робко выдвинулся вперед Митягин.

— Так. Припомните точней, где вы стояли... Здесь. Отлично!

Дитятчев занял место Митягина, сощурившись, словно сам целился из ружья, поглядел в сторону уткнувшегося в землю медведя. За медведем из кустов торчало сухое дерево с ободраным толстым стволом и вознесенными кривыми ветвями.

— Отлично!.. А этот зверь, не припомните, сразу упал или еще сделал несколько шагов вперед? Нам важно знать, где он стоял в то время, когда произошли выстрелы.

— Сразу вроде, — ответил Семен.

— Сразу. Так. Впрочем, мы еще установим — мгновенно у него наступила смерть или нет. Обратите внимание, — повернулся Дитятчев к прокурору, — этот товарищ... Как ваша фамилия?.. Ага, Митягин! Так вот, Митягин стоял чуть ниже Дудырева, да к тому же Дудырев выше его ростом...

Прокурор хмуро глядел вверх медведя в ствол старой березы.

— Это дерево прикрывает часть мостков, — сказал он скупно.

Следователь сразу же понимающе зашелкал языком:

— Тэк, тэк, тэк!.. — Отступил в сторону Митягина, взгляделся. — А отсюда мешает меньше...

— Не торопитесь с выводами. Постарайтесь установить как можно точнее, с какого места упал парень в воду.

В это время подошла врачиха с листками бумаги, которые она заполняла возле убитого. Прокурор и следователь склонились возле нее. Врачиха, молодая, с миловидным, не тронутым загаром, очень белым

лицом, сосредоточенно нахмурив золотившиеся пушком брови, принялась пояснять:

— Пуля прошла с левой стороны шеи сквозь мякоть. Навылете сделала рваную рану. Перебита сонная артерия. Шейные позвонки не задеты. Смерть наступила минут через пятнадцать, если не раньше. Приходится учитывать, что погибший упал в воду, захлебнулся...

— Ясно, ясно,— перебил прокурор.— Вытащили на берег уже мертвым. Обождите минуту, займетесь вместе с Дитятичевым медведем. Будем надеяться, что пуля, уложившая медведя, застряла в нем.

Следователь рысцой побежал к лаве. Прокурор встал на место, откуда стрелял Дудырев. Они стали перекликаться.

— Я иду, Алексей Федорович! — кричал Дитятичев из-за кустов.

— Не вижу! — отвечал прокурор.

— А так?

— Не вижу!

— Я на самой середине перехода!

— Не вижу! Кусты закрывают вас целиком! По голосу чувствую, что вас как раз должен закрывать ствол дерева. Найдите какой-нибудь шест или ветку и поднимите вверх, чтоб я точно знал, где вы стоите.

Через минуту следователь поднял над кустами носовой платок, привязанный к палке. Прокурор встал там, откуда стрелял Дудырев, приказал:

— Сделайте два шага вперед!

Носовой платок продвинулся над кустами.

— Еще шаг!.. Еще!.. Стоп!.. Пострадавший мог пройти посередине лавы по крайней мере метра два под прикрытием дерева.

— Больше, Алексей Федорович! Три метра! — крикнул из-за кустов следователь.

— Проверим с другой точки.— Прокурор отошел к месту, с которого стрелял Митягин.

Снова медленно поплыл над кустами привязанный к палке платок.

— Вижу... Вижу... — бросал прокурор.

— Еще шага четыре — и лава кончится!

— Стоп!..

— Три шага до берега. Почти весь путь открыт!

— Не будем спешить с выводами. Просмотрите внимательно настил, не осталось ли где следов крови, — приказал прокурор.

Уже немолодой, долговязый Дитятичев встал на четвереньки и пополз по шатким жердям, словно обнюхивая их, временами останавливался, изучал внимательно. Так он прополз от берега до берега, поднялся, деловито стряхнул грязь с колен.

— Следов нет.— Он подошел к Семену.— Вы с какого места бросились в воду?

— Вроде посередке. Как гармошку увидел, так и прыгнул.

— Где была гармошка?

— Да в воде.

— Понятно, что не в небе. В каком месте?

— Возле середки лавы, чуть поодаль.

— А где наткнулись на тело?

— Шага через четыре к этому берегу. Тут течения-то, считай, нет — бочаг. Как шагнул, чую — прислоняется...

— Добро. Все за то, что парень в момент выстрелов находился приблизительно на середине мостков, а не возле того или другого берега.

— Оставьте эти хитроумия. Займитесь медведем да пулю найдите. Она все объяснит, — предложил прокурор.

Обступили медведя. Врачиха присела возле морды, рой мух с жужжанием взлетел в воздух.

— Что это? — удивленно показала врачиха на медвежий загривок.

— Это собака... — ответил Семен. — Покуда мы паренька из воды вытаскивали да покуда обхаживали его, она, проклятушная, лютовала на хозяине.

— Почему именно это место рвала?

— Кто ее знает. Так понравилось, видать.

Врачиха, хмурясь, осторожно стала ворочать белыми тонкими пальцами крупную, кудлатую, с грубыми и могучими формами башку зверя.

— Что за беда? Не вижу пулевого отверстия.

— Глядите, глядите. Медведь, судя по рассказам, упал замертво при выстрелах.

— Может, в области сердца. Попробуйте его перевернуть на спину, грудь осмотрю.

Общими усилиями — Семен, Дитятичев, Дудырев, шофер с машины, — цепляясь за густую шерсть на боках, толкая друг друга плечами, перевернули тяжелую тушу.

Сосредоточенно нахмурившееся миловидное лицо врачихи склонилось над звериной грудью, маленькая рука медленно, вершок за вершком, ощупывала грудь, живот, бока.

— Есть! Ранена лапа! Но это же... не опасная рана. От такой бы он сразу не умер.

— Это я ковырнул. Первая... — торопливо пояснил Семен. — Еще на пожневских покосах, как нагнали, в него ударил. В голову целил, да, видать, в ту минуту лапой прикрылся. Он с этой раной часа три бегал от нас.

— Не пойму, куда же девалась та рана, смертельная? — недоумевала врачиха, продолжая медленно шарить рукой по шерстистому туловищу.

— Может, сердце сдало? И такое, я слышал, у медведей бывает, — подсказал прокурор.

— Наверно, бывает, хотя и редко, — неохотно согласилась врачиха. — Не очень-то привлекательное занятие такой туше при таких условиях вскрытие делать с моими инструментами. Пойщем еще...

— Ищите. И нам интереснее знать, что от пули дядько погиб, а не от своей сердечной слабости. Обе пули мимо него прошли, тогда и во все не выпутаешься...

— Обождите, обождите! — Врачиха ухватилась обеими руками за медвежью морду, с усилием раздвинула пасть. — Ну, так и есть! Как же я раньше-то не догадалась? Глядите! Убит! Пуля попала прямо в раскрытую пасть. Видите, выбиты передние зубы, в том числе и клык. И кажется... пуля прошла выше глотки...

— Кромсайте! Ищите пулю! — приказал прокурор.

Врачиха сокрушенно покачала головой.

— Такие могучие кости и сочленения, а я инструменты-то взяла...

— Ищите!

Следователь присел на корточки рядом с врачихой.

Медведь лежал на самом солнцепеке. Воздух застыл от зноя. От звериной туши несло крепким, острым, нечистоплотным запахом лесного животного, к нему примешивался неприятно мутящий запах свернувшейся крови. Все отошли в сторону, уселись в тени, только следователь остался возле врачихи, помогал ей. Да вокруг ходил шофер, с любопытством и удивлением приглядывался к убитому зверю.

Прокурор, вытянув на траве негнущуюся ногу, задумчиво курил. Дудырев казался тоже спокойным, но его слишком неподвижное, осунув-

шееся, небритое лицо, устремленный вперед из-под тяжелого лба замороженный взгляд, жадные короткие затяжки папиросой выдавали взволнованность.

А в нескольких шагах от них сидели рядышком и молчали фельдшер Митягин и отец убитого Михайло Лысков. Голова Митягина безвольно поникла на грудь. Михайло устало мигал, глядя куда-то мимо врача и следователя, возившихся у медвежьей туши. Это был тщедушный мужик с задубленным, изрезанным глубокими морщинами кротким лицом, один из тех, про кого обычно говорят — воды не замутит. Все время он держался в стороне, не плакал, не кричал, не приставал ни к кому с вопросами, и о нем как-то забыли.

Семен Тетерин, всегда уверенный в себе, всегда спокойный, на этот раз чувствовал в душе непонятный разлад. Его расстраивала возня около медведя, озлоблял парень-шофер с дудыревской машины. Ходит вокруг зверя, глядит не наглядится на диковинку. Рядом же убитый человек лежит, такой же парень, как и он. Неужели медведь интереснее? Посовестился бы для виду пялить глаза. Раздражали Семена и яркий солнечный свет, и запах медведя, и долговязый следователь, и врачиха. Он постоянно ощущал присутствие Михайлы, боялся взглянуть в его сторону... Даже мальчишкой Семен не плакал. Мать, которой случалось задавать ему трепку, всегда жаловалась: «Не выбьешь слезу из ирода». А тут надрывается душа, кипят слезы, вот-вот вырвутся — это при людях-то! Вот бы подивились: Семен-медвежатник, ну-ко, слезу пустил...

Наверно, всем было нелегко, даже прокурор, посторонний к событию человек, приехавший сюда по службе, произнес со вздохом:

— Вот ведь как получается: не угадаешь, где несчастье наступит. Чистая случайность.

Дудырев, к которому он обратился, промолчал.

В это время следователь и врачиха поднялись возле медвежьей туши. Кряхтя, с усилием опираясь о палку и о ствол дерева, встал прокурор.

— Ну как?..

Следователь развел длинными руками.

— Нет пули.

— Не проглотил же ее потапыч?

— Прошла навывлет. И собака-то рвала загривок потому, что там было выходное отверстие. Где кровь, рвала.

— Вы уверены, что пуля вылетела?

— Врач уверен, а я не имею права ей не доверять.

— Поискать если кругом...— несмело предложил прокурор, но, взглянув на склон позади медведя, заросший травой и молодой порослью ольхи, на буйно подымающиеся кусты по берегу речки, махнул рукой.— Бесплезно. Давайте закругляться да — домой...

Врачиха, стянув резиновые перчатки, собрав инструменты, направилась к реке мыть руки. Лицо у нее было потным и усталым.

Всех дома ждали дела. Всех, даже Митягина. На берегу лесной речонки остались только Семен и Михайло Лысков.

Лишь потоптанная трава да брошенные то там, то сям окурки напоминали о недавнем нашествии. Изменилась еще поза медведя. Он теперь лежал на боку, чья-то рука прикрыла лапой раскромсанную морду. Над ней уже снова вились мухи.

Семен подошел к Михайле, выводившему из леса лошадь.

— Помочь тебе довести парня-то? На оврагах, поди, один не удержишь — завалишься.

— Ну, коль не трудно...

Они уложили на сено убитого, поудобнее приладили все время косо сваливающуюся на один бок голову. Михайло разобрал вожжи, молча тронулись в лес.

Но не проехав и двадцати шагов, Михайло выронил вожжи, шагнул в сторонку, опустился на землю.

— Чтой-то со мной делается... Ноги не держат.

Маленький, узкоплечий, крупноголовый, с раздавленными работой кистями рук, сложенными на коленях, под глазами набрякшие мешки, крупный мясистый нос уныло висит... И от чужого горя, невысказанного, непоправимого, безропотного, у Семена Тетерина перехватило горло. Он вновь почувствовал странный разлад в душе. Тянуло уйти в сторонку, спрятаться в лесу и без свидетелей, ну, не плакать — где уж! — а просто забыться. Семен переминался возле Михайлы, с мученическим лицом, почтительно глядя в сторону.

Михайло глубоко и прерывисто вздохнул, вяло пошевелился, стал подыматься.

— Садись, что ли, наперед, — посоветовал Семен. — А вожжи мне дай.

— Ничего. Полегчало... Дойду.

Разбирая вожжи, Михайло негромко сообщил:

— Двух-то старших у меня в войну убило... Этот последыш.

И они снова молча пошли. Михайло, придерживая вожжи, чуть впереди, Семен — отступая от него шага на два.

Покатые плечи, сквозь выгоревшую рубаху проступают острые лопатки, шея темная, забуревшая, походка расчетливо спорая, не размашистая, как у всех пожилых крестьян, которым еще пришлось-таки походить на веку за плугом. Семен шагал сзади, глядел в проступавшие сквозь рубаху лопатки...

Он опять вспомнил парня-шофера, разглядывавшего медведя. Медведь удивил, а беда Михайлы прошла мимо! Он даже и не заметил, поди, Михайлу, тихо сидевшего в сторонке. Спокойненько потешал себя: мол, эка чудо-юдо зверь лежит!.. Да возмутись же, обидься за другого — живая душа мается! Такая же живая, как твоя собственная. Прими ее боль, как свою. Можешь помочь — помоги, не можешь — просто пойми человека. Понять — это, пожалуй, самое важное. Совсем от бед и напастей мир не спасешь — они были, они будут! Сколько бы умные люди ни раздумывали, как бы удачнее устроить жизнь на земле, как прибавить всем счастья, — все равно и при новом счастье и при удобно налаженной жизни дети будут оплакивать умерших родителей, красные девки лить слезы, что суженому понравилась другая, все равно станут случаться такие вот нелепицы с негаданной смертью или увечьем. Худо в беде быть единому! Ежели мир напрочь забудет эти слова, то какие-то несчастья проще обойти, а неминуемые — вынести.

Семен не смог бы складно высказать свои мысли, он только чувствовал: что-то значительное, слишком сложное, чтоб объяснить словами, тяжело засело сейчас в нем.

До Пожневки добрались без особых хлопот. Бригадир Михайло Лысков жил на другом конце, пришлось ехать через всю деревню.

Выходил народ. Детишки, женщины и старухи медленно, с угрюмым молчанием двинулись к избе бригадира вслед за подводой.

С крыльца сбежала жена Михайлы, жидкие волосы растрепаны, ворот кофты распахнут на тощей груди. С силой расталкивая людей, она прорвалась к подводе, прижалась к сыну и заголосила:

— Золотко ненаглядное! Головушка горемышная! Покинул ты меня, сирую да убогую! Мне б лучше заместо тебя помереть такой смерти-и-ю!..

Ее плач подхватили другие бабы. Среди собравшихся поднялся ропот:

- Охотнички!
- Помогли, нечего сказать!
- Душегубы проклятые!

Стряслось несчастье, и люди не находили ничего лучшего, как искать виновников, попрекать их.

Семен Тетерин стоял, опустив голову.

13

Михайло не в пример всем не считал Семена виновным, он заставил его взять лошадь.

— Не на себе же зверя потащишь. Чего уж... Нам со старухой легче не будет, коль этот медведь пропадет зазря...

Доброта, как и озлобление, бывает заразительной. Сразу же смолкли недружелюбные выкрики, двое парней вызвались помочь Семену.

Всю обратную дорогу Семен жаловался ребятам. Толкнуло же его связаться с Митягиным, ружья, должно, не держал в руках, хвалился, мол, баловался... Думалось, трудно ли уберечь непутевого от зверя, а вон как обернулось — от него самого нужно беречься, близко к такой забаве не подпускать... Проще всего успокоить себя — это указать пальцем на другого: не я, а он виноват. И Семен жаловался, охаивал Митягина, проникался к нему обидой. Оба парня из Пожневки сочувственно его слушали, охотно соглашались.

Обычно Семен привозил в село добычу торжественно. Стар и мал выскакивали навстречу, помогали стащить убитого зверя с телеги, рассматривали его, трогали, охали, дивились. На этот раз подъехали к дому глухой ночью, свалили тушу в сарай. Ребята простились, забрались в телегу. А Семен, разбудив старуху, наскоро перекусил — больше сукот маковой росинки не было во рту, — завалился на койку и заснул мертвым сном.

Встал утром по привычке рано. Едва ополоснув лицо, направился к сараю, где лежал убитый зверь. У дверей сарая уже дежурила Калинка, при виде хозяина вскочила, скупно махнула хвостом.

Голова зверя была искромсана врачихой, с нее свисали клочья кожи, сквозь мясо торчали кости. Семен решил для начала отнять голову, разрубить на куски, выбросить Калинке, которая привычно сидела в распахнутых воротах, не скуля, терпеливо ожидая своей доли.

Работая ножом, Семен почувствовал, что верхний позвонок, который соединяет шею с черепом, перебит. Он ковырнул ножом, и на разостланную мешковину, прямо под колени, выпал какой-то темный кусочек, смахивающий на речную гальку. Семен поднял его. Он был не по размерам увесист. Пуля! Та самая, что искала врачиха! Сплющенный свинцовый слиток, медвежий жакан, какие Семен вбивал в патроны.

Отложив нож, зажав пулю в ладони, Семен поднялся, отогнал Калинку, прикрыл ворота и зашагал к дому.

У крыльца его перехватила Настасья — жена Митягина. Худая, с плоской грудью, с остановившимися сердитыми глазами, с горбатым, угрожающе направленным вперед носом — недаром же по селу прозвали ее «Сова», — она стала на пути, уперла тощие кулаки в поясицу.

— Вы чего это — компанией нашкодили, а на одного всю вину сваливаете? — начала она своим резким голосом, чуть не подымающимся до надсадного крика.

— Ну полно! — Семен, сжимая в кулаке пулю, хотел пройти мимо.

Но фельдшериха не пустила его.

— Прячешь глаза-то! Совестно! А ты видишь их?..— Она тряхнула подолом, за который цеплялись два меньших из митягинских детишек: круглые чумазые рожицы, выпученные светлые глазенки — истинные совята.— Отца отнять хотите! Шуточное дело — человека убили. Испугались, что холодком пахнуло, давай, мол, сунем в зубы овцу попроще, авось нас не тронут. А он-то сразу раскис, хоть ложкой собирай. Пользуетесь, что безответный. А я не спущу! Не-ет, не спущу-у!..— Настасья заголосила.

Ребятишки, привыкшие к крику матери, продолжали пялить из-за юбки глаза на Семена. А Семен, хорошо знавший, что более взбалмошной бабы, чем Настя Сова, по селу нет, переступал с ноги на ногу, глядел диковато, исподлобья, изредка ронял:

— Ну, чего взбеленилась? Эко!

— Я все знаю! Ты-то небось в сторонке останешься — мол, не стрелял. А другой высоко сидит — рукой не достанешь. Кому быть в ответе, как не моему дураку!..

— Ну, чего ты...

Голос Настасьи неожиданно сорвался, она уткнулась носом в конец платка и заплакала:

— Совести у вас нету... Пятеро же на шее сидят. Нам, выходит, теперь одно остается — в чужие окна стучись... И за что я наказана? Надо же было выйти за непутного, всю жизнь из-за него маюсь...

От слез Насти, от отчаяния, зазвучавшего в ее голосе, а больше всего от бездумно вытарашенных ребячьих глаз Семен ощутил одуряющий разлад в душе, точно такой, какой он испытывал, когда врачаха ковырялась в медведе.

— Брось хныкать! Никто и не мыслит твоего Василия топить,— сказал он и, отстранив плечом, прошел мимо.

Возле печи Семен отыскал две чугунные сковороды — одну большую, другую поменьше. Прихватив их, он закрылся в боковушке, где висели у него ружья, где обычно готовил себе охотничьи припасы. Бросив сплюснутую пулю на большую сковороду, он принялся ее раскатывать, придавливая сверху маленькой сковородой.

Семен катал неровный кусок свинца, а сам думал, что сейчас каждое его движение ведет Митягина к беде. Прокурор давеча сказал — дело плохо, кто-то должен сесть в тюрьму. И ежели он, Семен, положит на стол пулю, скажет, что вынул ее из медведя, — Митягину не отвертеться.

Вчера, шагая за подводой следом за Михайлом, Семен испытывал что-то большое и доброе. Худо человеку в беде быть единому! Беда нависла над Митягиным. Слепая беда, негаданная, прямых виновников в ней нет. Настя останется бобылкой, дети — сиротами... После неласковой встречи в Пожневке, после выкриков: «Охотнички! Душегубы проклятые!» — Семен и не вспомнил, что Митягину худо, даже охаивал его, пальцем указывал, свою совесть спасал. Сейчас пулю раскатывает, словно эта пуля добру послужит... Жаль Митягина...

И все-таки Семен продолжал раскатывать. Кусочек свинца становился круглее, глаже, уже не стучал под сковородой.

Берданку, которую Семен дал Митягину, забрал с собой следователь. Но двустволка Семена и двустволка Дудырева имели один калибр, можно пулю проверить и на своем ружье. Семен снял со стены двустволку, поднес пулю к дульному отверстию и... тут случилось неожиданное. Пуля не вошла в ствол! Семен не поверил своим глазам, приложил еще раз — нет, не подходит! Пуля, уложившая медведя, вылетела из берданки Митягина.

Семен опустился на лавку, поставил между колен ружье, разглядывал пулю на ладони. Убил парня, выходит, Дудырев. Но и Дудыреву Семен не хочет зла. Спрятать? Выбросить? Нельзя, на Митягина обрушатся, а Дудырев за себя постоять сумеет. Надо пойти к нему, показать пулю, рассказать все. Лучшего советчика не придумаешь. По-доброму решить...

Семен положил пулю в карман.

Через десять минут он уже шагал по шоссе, ведущему к Дымковскому строительству.

14

Строительство не смело с лица земли деревню Дымки. Она продолжала стоять на прежнем месте — два неровных ряда бревенчатых изб, тесно прижатых к берегу реки. Прежде не бросались в глаза их ветхость и убожество — избы как избы, потемневшие, исхлестанные дождями, с честью прошедшие через время. А сейчас, когда за их спинами выросли сборные дома с широкими окнами, выкрашенные, как один, в игривый, легкомысленный салатный цвет, когда позади осевших поветей, мшистых крыш, выпустивших из-под себя рогатых, полусгнивших «куриц», теперь стало видно, какие все избы корявые, подслеповатые, вбитые в землю — рахитичное, обветшалое племя! Его не уничтожили, ему милостиво разрешили сгнить самому.

У крайней избы стоял трактор, не обычный деревенский, колхозный, а скрепер, с угрозой приподнявший над утоптанной завалилкой тяжелый, в засохших комьях грязи стальной щит. На завалинке же грелась, повернув к солнцу сжатое в темный кулачок крохотное личико, знакомая Семену старуха, по прозвищу Коза. Ей было лет девяносто, если не больше — во всяком случае, Семен молодой ее не помнил. Всю свою жизнь бабка Коза прожила в Дымках, вставала с петухами, ложилась с курами, самый большой шум, какой она слышала до недавнего времени, был шум весеннего ледохода, когда река хрустит и стонет. Теперь же из-за крыш несется непрерывный гул, грохот, крики вразнобой, а тяжелый скрепер нагло устался в избу с завалилкой.

Из избы вышел парень в рубахе с засученными рукавами, с пиджаком, перекинутым через плечо. Дожевывая на ходу, он направился к скреперу. Кажется, один из внуков бабки Козы. Заметил Семена, остановился, продолжая жевать, поздоровался.

— Не по делу ли какому, Семен Иванович? — Парень, как и все местные, знал в лицо известного медвежатника.

— Да вот к вам на строительство. Как тут у вас к конторе добраться?

— К какой конторе? Контор много, у каждого участка своя. Тебе какую?

— А лях его знает! Я в ваших местах как баран в кустах. Мне бы Дудырева самого.

Парень присвистнул:

— Дудырева!.. Так бы и спрашивал. Не контору ищи, а управление. Садись, до котлована доведу, там покажут.

Семен неловко вскарабкался в кабину. Парень деловито сел за рычаги, мотор оглушительно взревел, на минуту Семену стало жутковато: вдруг да эта рычащая зверина рванется вперед, сомнет избу вместе с пригревшейся на завалинке бабкой Козой? Но трактор, как солдат на учении, лихо повернулся на одном месте и, потрясая перед собой тяжелым скрепером, покатился вдоль деревенской улицы, распугивая кур.

— Съест Дымки строительство! — прокричал Семен.

— Съест, — охотно кивнул головой парень.

— И не жалко? Место родное, пригретое!..

Парень презрительно махнул рукой, потом, пригнувшись к Семену, ответил:

— Ужо квартиру получу в новом доме, я по своей избе вот на этой прокачусь! — Хохотнул весело: — Всех тараканов подавлю!

— Дождись, дура, пусть хоть бабка в своем углу помрет! — сказал Семен в сердцах.

Он понимал старуху. Стройка нарушала и его покой, врожденный, душевный покой человека, привыкшего к лесу, к одиночеству, к тишине. И впервые в жизни вместе со страхом перед завтрашним днем Семен почувствовал себя очень старым, чуть ли не ровесником бабке Козе.

Со скрепера он слез у котлована, в самом центре строительства. Самосвалы шли мимо него, обдавали едким угаром и где-то неподалеку медлительно сваливали целые горы песку. Один за другим, один за другим, все без отлички тупорылые, грозно рычащие, обремененные тяжким грузом, нет им конца и краю. Что таким болота, что для них леса и реки — без пощады засыплют начисто. А в углу котлована ворочается, страдает от тесноты, от собственной неуклюжести, чудище с колченогой железной рукой. Ворочающаяся зверина запускает ее в землю. Тупорылые самосвалы толпятся к ней в очередь. Земля, словно вода, течет с одного места на другое, диковинные машины выворачивают наизнанку привычный мир. Что там сказки, испокон веков населявшие лес лешицами, ведьмами, болотными кикиморами, что все эти кикиморы по сравнению с такими вот колченогими чудовищами!

— Эй, деревня! Чего рот раскрыл? — раздался выкрик.

Семен отскочил в сторону. Грузовик с прицепом, везущий бетонные балки, прошел мимо, обдав вонючим чадом. Со стороны скалил белые зубы парнишка-подросток в грязной майке, в промасленной кепке, в больших брезентовых рукавицах. Он тащил конец стального троса.

— Милый, — несмело обратился к нему Семен, — как пройти в управление, к Дудыреву?

— Топай прямо да ворон не считай. Толкнут ненароком...

Семен направился по обочине дороги, оглядываясь во все стороны. А мимо шли и шли рычащие машины, то тащившие на себе трубы, в которые мог бы пролезть добрый пестун, то какие-то катушки, каждая высотой в человеческий рост, то подъемные краны, то плещущий через борта, густой, как серая сметана, цемент. Как идти? Куда? Он, старый медвежатник, знавший как свои пять пальцев самые далекие лесные углы, умевший найти дорогу из глухих согр, запутался, растерялся и где — возле самой деревни. Прежде здесь был кочковатый выгон, росли кусты можжевельника и реденькие березки вперемежку с осинками, тянулись кривые тропинки к опушке леса. Да полно, было ли все это? Не верится...

И Семен представил себя — в рыжем пиджачке, надетом поверх коворотки, в кепчонке, натянутой на лоб, маленький, беспомощный, лишний... Сколько машин, сколько людей, светопреставление, и всему голова — Дудырев. Тот человек, который с почтением беседовал с ним в лесу, кого он, Семен Тетерин, в сердцах обругал за нерасторопность. Сейчас, оглушенный, Семен идет к нему, сжимает в кулаке свинцовую пулю. Не для веселого разговора идет...

В эти минуты Семену на память пришла Калинка, с трусливой оглядкой пробирающаяся по шатким жердям лавы. Тогда еще Семен удивлялся — чего боится, дурь нашла на собаку. Теперь-то он ее понимал...

Он упрямо шагал вперед, а Калинка, с тоскливой оглядкой стоящая посреди лавы, не выходила у него из головы.

Дудырев вышел навстречу из-за стола, протянул руку Семену, подвел к дивану.

— Садись.— И, заглядывая в лицо из-под тяжелого лба запавшими глазами, спросил:— Ну?..

Он был в легкой трикотажной рубашке, плотно обтягивавшей его выпуклую грудь и сильные плечи, по-прежнему простоватый, не совсем подходящий к широкой, с огромным окном комнате, уставленной стульями, мягкими креслами, диваном, двумя столами: одним под красным сукном, другим — под зеленым. Даже не верилось, что этот знакомый, не очень изменившийся после леса Дудырев заворачивает таким диковинным миром, который оглушил Семена и размахом и бесноватостью.

— Что-нибудь неприятное?

Семен со вздохом запустил руку в карман, вынул пулю, протянул Дудыреву.

— Вот...

Дудырев с недоумением покатал пулю на ладони.

— Из медведя вынул,— сообщил Семен.— Эти-то с врачом не доискались.

— Из медведя?..

Дудырев не глядел на охотника, насупив брови, продолжал разглядывать свинцовый катышек на своей ладони.

— Под самым черепом застряла...

За окном, сотрясая стекла, проходили тяжелые грузовики. Семен, широко расставив колени, опираясь на них руками, сидел раскорячкой на самом краешке дивана и, затаив дыхание, вглядывался в сосредоточенное лицо Дудырева.

Зазвонил телефон. Дудырев, стряхнув задумчивость, зажав в кулаке пулю, прошел к столу, снял трубку, спокойным и внушительным голосом принялся разговаривать с кем-то:

— Да, помню... Да, заходите, только не сейчас, а позднее. Да, догадываюсь — опять разговор о капитальном строительстве. Не могу жертвовать миллионы рублей... Заходите попозднее, сейчас занят...

Он положил трубку, вернулся к Семену, раскрыл ладонь.

— Чья?..

— К твоему стволу не подойдет, Константин Сергеевич,— твердо ответил Семен.

— Ты примерял?

— Примерял. Митягин уложил зверя...

Наступило молчание. Сотрясая стекла, шли под окном машины. Дудырев задумчиво катал на ладони пулю.

— Константин Сергеевич,— снова заговорил Семен,— надо бы все как-то по-людски решить. Вина одинакова, что у Митягина, что у тебя. Дурной случай, каждый может сплеховать. Я потому и пришел к тебе, чтоб мозгами пораскинуть.

И опять Дудырев ничего не ответил, глядел в ладонь. Семен, оцепенев, ждал его ответа.

— Возьми,— наконец протянул Дудырев пулю.

Семен покорно принял ее обратно.

— Ты от меня ответа ждешь? — спросил Дудырев.

— Для того и пришел. Где мне своей головой решить?

— А ты на минуту встань на мое место. Представь, что тебе приносят пулю и говорят: вот доказательство, что ты убил человека. Ты убийца!.. Ты бы с готовностью согласился?

— Так, выходит, пусть Митягин отвечает? А ведь с ним-то церемо-

ниться не будут. Прокурор говорил — кого-то по закону посадить должны.

— Перед законом как я, так и Митягин одинаковы.

— Перед законом, а не перед людьми. Не равняй себя с Митягиным, Константин Сергеевич. Люди-то, которые возле законов сидят, на тебя с почтением смотрят.

— Значит, ты мне предлагаешь прикрыть собой Митягина?

— Ничего не предлагаю. Вот принес пулю, которая медведя свалила. Эта пуля митягинская. Выходит, твоя пуля парня прикончила. Вот что я знаю. А там уж ты решай по совести, как быть. Ты поумней меня.

Дудырев поднялся. Семен заметил, что у него на виске напряженно бьется жилка.

— Сообщи о том, что нашел пулю, следовательно,— сухо сказал Дудырев.— А я сам ни себе, ни Митягину помочь не могу.

Семен вышел от Дудырева. Мимо него шли грузовики с прицепами. На обочине котлована ползали скреперы, разравнивали кучи песка. Экскаватор заносил свой ковш над самосвалами. Пуля жгла ладонь Семена. Маленький кусочек свинца, хранящий в себе тайну. Если эта тайна не будет раскрыта, суд может приговорить Митягина к заключению. Несправедливо же!.. Раз Дудырев не может помочь, что ж... Хочешь не хочешь, а надо идти к следователю. Дудыреву придется самому за себя постоять.

16

Следователь Дитятчев, склонив набок ушастую голову, с минуту внимательно вертел в руках пулю, положил на стол.

— Вы ее такой кругленькой из медведя вынули?

— Помята была, раскатал, чтоб узнать, из чьего ружья.

— Раскатали и нам преподнесли...— И вдруг, остро взглянув Семену в самые зрачки, спросил:— Вы давно соседи с Митягиным?

— Соседями-то?.. Да считай, лет десять добрых, ежели не больше. Третий год шел после войны, как он к нам переехал.

— Так... А по какой причине вы взяли его на охоту?

— Какая такая причина? Давно он просил меня взять.

— И вы не отказали?

— Много раз отказывал, а тут уж неловко стало — просит человек.

— Так... А вы не вздорили с Митягиным, не ругались?

— Упаси бог,— испугался Семен, не зная, куда гнет следователь.— Бабы ежели когда схватятся, а мы нет — дружно жили.

— Так... Вы не отрицаете, что жили дружно?

— Чего отрицать, коли так было.

— Так...— Следователь кивнул на покойно лежавший на закапанном чернилами сукне кусочек свинца.— Соседи десять лет, жили дружно, а вы не подумали о том, что у нас создается впечатление, что эту пульку вы отлили ради десятилетней дружбы с Митягиным? Первое, что придет нам в голову,— вы собираетесь спасти виновного друга и утопить Дудырева...

Семен оторопело уставился на следователя.

— Вы понимаете, чем это пахнет? — продолжал тот спокойно.— Ложное показание с целью ввести в заблуждение правосудие. Вы, должно быть, не знаете, что за такое дело привлекают к уголовной ответственности. Пулька... Наивный вы человек, подобная фальшивая пулька расценивается как своего рода преступление.

— Слушай, добрая душа,— Семен сердито заворочался на стуле,— я в ваших делах не боек. А только пулька эта не фальшивая, хоть голо-

ву руби! Своими руками утром из медведя вынул. Сплоховали вы с врачихой, не углядели ее.

— Вы можете настаивать на этом. Можете! Но прикиньте: кто вам поверит? Не посторонний человек, а врач-профессионал ищет пулю в голове медведя. Имейте в виду, ищет старательно, я тому свидетель. Ищет, но не находит, об этом составляет форменный акт, ни на минуту не колеблясь, подписывает его. Не просто словом, а письменно отвечает за то, что пули не существовало. И вдруг вы приносите и кладете нам на стол эту пулю. Пуля ваша обкатана, она не имеет никакой деформации, то есть не сплющена, не сдавлена, по ее форме никак теперь не определишь, что вынута она из разбитого медвежьего позвонка, а не из охотничьего загашничка. Ответьте, почему вы не принесли пулю такой, какой вынули?

— Примерить же хотел.

— Примерить! Не терпелось! Дитя любопытное! У ребенка, пожалуй, хватило бы соображения — нельзя уничтожать такую важную для следствия улику...

Семен, насупившись, молчал. Когда он раскатывал пулю, то думал о Митягине, хотел убедиться, на самом ли деле убил фельдшер. Следователь в те минуты был для Семена далеким, посторонним. Даже когда открыл — убил не Митягин, подумал опять же не о следователе, а о Дудыреве, хотел не подыгать шума, уладить полюбовно. Могло ли прийти в голову, что начнут придирааться — обкатал пулю, уничтожил улику. Эх, знать, где упасть, — подстелил бы соломки.

— Слушайте дальше, — продолжал следователь, — вы откровенно признаетесь, что жили с Митягиным бок о бок лет десять, что за эти десять лет у вас с ним не было никакой ссоры, ни единой размолвки. Этим самым вы признаетесь, что вас связывает с Митягиным десятилетняя дружба, тогда как с Дудыревым вы познакомились всего несколько дней назад. Все за то, что вы любой ценой хотите спасти дружка, хотя бы для этого пришлось свалить вину на Дудырева. Вот как выглядит! Настаивайте теперь на своем, но вряд ли вам кто поверит — все данные против вас.

Следователь замолчал, угрюмо молчал и Семен Тетерин.

— Вы-то как доказываете, что Митягин виноват? У вас у самих, поди, карманы-то не особо набиты доказательствами.

— Этим-то вы и хотели воспользоваться, — спокойно ответил следователь. — Да, прямых улик против Митягина у нас нет, но есть косвенные...

— Прямых нет — значит, кривые подходят. Хорошо, нечего сказать.

— Не нравится вам наше поведение, обижены, что не соглашаемся выгораживать вашего дружка. Но разрешите спросить: вы знали, что Митягин в жизни не держал в руках ружья?

— Говорил, что баловался в молодости, а там кто знает, я не видел.

— А он здесь час тому назад сам признался, что никогда не был охотником. Тогда как Дудырев охотится уже много лет.

— Мало ли что, и на старуху иной раз находит поруха.

— Согласен. Может случиться всякое, мог и Дудырев промахнуться. Однако можем мы не принимать в расчет тот факт, что Митягин неумелый стрелок, неопытный, а Дудырев опытный?

— Наверно, все должны в расчет брать. Все! Потому и пулю не след обходить стороной.

— Вы же видели, как мы искали эту пулю. Искали и не нашли, вдруг вы приносите, без особых доказательств требуете, чтобы мы верили... Но слушайте дальше. Вы присутствовали, когда мы вели расследование на месте убийства. Вы сами показывали, где стоял Дудырев, где Митя-

гин. Так вот, Митягин стоял на более покато́м месте, чуть сбоку, ростом он к тому же ниже Дудырева, попасть в медведя ему было труднее. И это не все. С того места, откуда стрелял Дудырев, большая часть мостков — а именно середина — была прикрыта старым деревом. С места Митягина почти все мостки через реку открыты. Сами же вы показали, что парень упал в воду примерно с середины лавы. Промаяхнись Дудырев по медведю, он бы всадил свою пулю в ствол дерева. Десять шансов за то, что пуля Митягина прошла мимо цели и...

— И все же в медведе оказалась. Складно вы рассказываете, а на деле-то вышло иначе.

Следователь сбоку, как петух на рассыпанное просо, взглянул на Семена.

— Я бы советовал вам не вести себя с излишней развязностью. Вы и так во всей этой истории выглядите не очень красиво. Как знать, не придется ли нам и против вас возбудить дело.

— Эко! Уж не я ли, на проверку, убил парня? Ловки, вижу, можете повернуть, куда любо.

— За что намереваемся судить? За убийство с расчетом, за убийство преднамеренное? Нет. Судим за убийство по неосмотрительности. Если шофер по неосмотрительности собьет прохожего, нанесет ему тяжелое увечье или даже убьет его, то этого шофера, как известно, судят и наказывают. Тут точно такая же неосмотрительность со стороны того, кто пустил пулю мимо медведя. А если разобраться добросовестно, то вы... да, да, вы более повинны в неосмотрительности, чем Митягин.

— Эко!

— Вот вам и эко. Разве осмотрительно взять на медвежью охоту человека, не державшего ружья в руках? Виноват он, что напросился, что пошел, но вы, опытный охотник, хорошо знающий все опасности, все неприятности, какие могут произойти с людьми, не привыкшими к обращению с огнестрельным оружием, вы виноваты, пожалуй, больше. Если мы судим неосмотрительных шоферов, судим неосмотрительных растратчиков, неосмотрительных руководителей, то мы не можем проходить мимо и неосмотрительных охотников. Помните, что вы сами не безвинны!

Следователь встал, узкий, высокий, на полголовы выше сутуловато поднявшегося Семена Тетерина. Отчеканивая слова, Дитятичев закончил:

— Сегодня я вас не вызывал. Разговор наш, так сказать, случайный. На днях вы ко мне придете по вызову как свидетель. Мы еще вспомним эту беседу. До свидания.

Семен молча глядел на следователя: длинная сухая шея, бледное пористое лицо кабинетного человека, большие уши, мягкий старушечий рот. С минуту назад Семен смотрел на него просто, как на самого обычного человека, только образованного и более умного, чем он сам. Теперь же видел в нем что-то особое, какую-то силу, способную обвинять. И глаза следователя, серые, неприметные, с помятыми веками, казалось, заглядывают сейчас внутрь, ищут в тебе порочное. Семен не в силах был выдержать его взгляд, опустил голову, повернулся.

— Вы что же, оставляете мне это? — окликнул его следователь. Он указывал на пулю, лежавшую на столе.

Семен покорно вернулся, взял пулю, опустил в карман.

Согнувшись, он зашагал прочь от прокуратуры, где сидел пугающий его человек. Возле поворота он невольно оглянулся и увидел, что к крыльцу прокуратуры подъехала машина, из нее вылез Дудырев.

И Семен Тетерин впервые испытал бессильную ненависть и к Дудыреву и к следователю: «Они-то сплуются... Они-то отыграются! И на ком?... Эх!»

Дудырев любил застывшие, казалось, наполненные не водой, а тяжелым жидким металлом озера на рассвете, когда чуткие камыши спят, когда запутавшийся в них туман вязок и недвижим. Он любил острое, тревожное, никогда не притупляющееся чувство — дичь близко, она где-то рядом, любил идти на лыжах по синей строчке лисьих следов на мерцающем, словно смеющемся снеге. Дудырев любил охоту.

Но в любой охоте был для него один всегда неприятный момент. После того как долгожданная дичь, на выслеживание которой уходили все силы, расходовалась вся душевная страсть, появлялась — птицы ли с шумом взлетали в чуть подкрашенное зарей небо или среди холодных сугробов мелькало горячее пятно лисьей шубы, — после вскинутого к плечу ружья, после возвышенного мгновения, когда разум отсутствует, а действует инстинкт, после выстрела и торжества — видеть кровь, брать руками противно теплую тушку, хранящую остатки жизни, той жизни, что оборвана твоим выстрелом... Среди наслаждения — жестокость, среди поэзии — грубая проза! Нужно только перетерпеть, не заметить, не придать значения, а потом снова — уснувшие камыши, следы на снегу, ствол, настигающий взмывающую птицу, торжество победы... Дудырев любил охоту.

Но последняя охота оставила убийственно тягостные воспоминания. Смерть собаки, которую пришлось Дудыреву добить, ее страдальчески мерцающий в темноте глаз, страх в овраге и унижающий стыд, ожесточение после болота, злобное, личное ожесточение против зверя, повинного лишь в том, что отчаянно спасал свою жизнь, — и ради чего все это, каков конец? Грязный свет умирающей ночи, распластанное на земле тело в черном костюме... Вот он, конец погони сквозь чащи, кусты, сквозь зыбкую топь болота, вот он, финиш! Смерть зверя перемешалась со смертью человека! И то и другое выглядит чудовищным, страшно оглянуться назад — противен сам себе, нет оправдания!

Дудырев не верил, что именно его выстрел, миновав медведя, уложил человека. Без того тяжело, а тут еще считать себя убийцей. Только не это! Скорей всего сплеховал Митягин. «Он, а не я!» И все же не мог отделаться от странного чувства, похожего на то, какое приходилось испытывать в глубоком детстве. У них дома, в темном коридоре, стоял большой шкаф, и всякий раз, когда Костя Дудырев проходил мимо него, казалось, что за ним, притаившись, ждет кто-то неведомый, неизвестное существо, не имеющее ни лица, ни тела. Ждет, чтоб напасть. Знал, что нет его, не существует, а все-таки...

И сейчас Дудырев испытывал страх перед чем-то неведомым, притаившимся впереди. Однако этот страх не заглушал острой вины. Прокурор и следователь во время обратного пути пробовали участливо заговаривать с ним — мол, со всяким может случиться подобная история. Они словно не замечали забившегося в угол машины Митягина. Его-то они не утешали...

Он, Дудырев, не только выдающаяся личность в районе, он еще нужный человек, чудотворец, создающий дороги, налаживающий автобусное движение, подымающий жизнь из сонного застоя. А Митягин?.. Как его легко обвинить!

Нет, Дудырев не станет выгораживать себя. Что бы ни случилось, какими бы неприятностями ни угрожало ему будущее, он будет держаться беспристрастно, честно признает за собой часть вины. Часть! Равную с Митягиным долю! Гнусно прикрываться собственным всеислием. Превыше всего — уважение к человеческому достоинству!

И все эти высокие мысли вылетели из головы, когда явился Семен Тетерин, положил перед ним на стол пулю. Охотник еще не произнес ни слова, но Дудырев уже почувствовал панический ужас. Вот оно, то таинственное существо, до сей минуты не имевшее ни лица, ни плоти, ни голоса, вот оно явилось воочию, приобрело плоть! Смущаясь, пряча глаза, Семен Тетерин беспощадно объявил: «Ты убийца, Константин Сергеевич!»

Комочек свинца на зеленом сукне, аккуратно круглый, обкатанный, ничем не отличающийся от других медвежьих жаканов. У него одна роковая особенность — размер. Он точно подходит к стволу ружья Митягина и не подходит к его, Дудырева, двустволке.

Дудырев смотрел на свинцовый шарик и чувствовал, что все его существо восстает против этой улики. Убийца! Он, который все силы, всю жизнь отдал на то, чтобы лучше устроить жизнь людям. Там, где он появлялся, проходили новые дороги, вырастали новые поселки, подымались столбы электролиний, дремота сменялась кипением. Для себя Дудыреву нужно очень мало: крышу над головой, не слишком прихотливую пищу и как роскошь раз в месяц свободный день, чтоб отдохнуть с ружьем на приволье. Все для людей — и бессонные ночи, и напряженные дни, и постоянный расход нервов. И ему предлагают признаться в самом страшном людском грехе — в убийстве!

Мутный рассвет, отяжелевшая от росы неподвижная листва кустов, распластанный человек в черном костюме, с выбившейся из голенища сапога штаниной, лысина Митягина, припавшая к груди убитого... Пройдут года, десятилетия, и все равно, вспоминая это, будешь содрогаться в душе. Существовала спасительная тайна, даже больше — существовала убежденность, что виновник не он, и если он, Дудырев, берет половину вины на себя, то только из чистой солидарности. В этом было что-то красивое, благородное, успокаивающее совесть. С этим еще можно жить, не терзая себя!

Свинцовая пуля, угрюмое лицо медвежатника... Нет, не может поверить! Не признает себя! Нет, нет и нет! Только не по доброй воле, лишь через силу, лишь припертый к стене, не иначе.

Семен ушел, унес с собой проклятую пулю...

Рабочий день, прерванный на каких-то пятнадцать минут приходом Семена Тетерина, пошел своим обычным порядком.

Дудырев отвечал на телефонные звонки, отдавал распоряжения прежним твердым голосом, и все ждал, что дурная минута пройдет, он вновь обретет былую уверенность в себе. Но «дурная минута» не проходила.

Тогда он решил ехать к следователю. Нельзя больше терпеть неясности, может, там что-то прояснится... Дудырев вызвал машину.

Голос следователя был почтительно бережный. Таким голосом разговаривают врачи у постели серьезно больного.

— Поверьте, мы не формалисты, хватающиеся за букву закона. Мы понимаем очевидную невиновность как Митягина, так и вас. Но поставьте себя на наше место. Представьте, что мы прикроем это дело, не доведем до суда. Стоит родственникам убитого поднять голос, указать на то, что был предупреждающий крик, что вполне можно было бы избежать несчастья, как сразу же мы оказываемся в незавидном положении. Нас упрекнут, что мы прикрываем преступную неосмотрительность.

— Не собираюсь толкать вас на незаконные действия,— возразил

Дудырев.— Однако напоминаю, что справедливость требует наказания не одного Митягина, но и меня. Я в равной степени виноват.

Где-то в глубине глаз под бесстрастно опущенными веками Дитятичева промелькнула понимающая улыбка. И Дудырев уловил ее: следователь догадывается о его смятении. Этот внезапный наезд он расценивает как слабость всесильного Дудырева. И черт с ним! Пусть что хочет, то и думает. Ему, Дудыреву, нужна ясность: как держаться, как поступать? Он не может прикрываться Митягиным, по сути таким же безвинным, как он сам, но не может и с легким сердцем назвать себя убийцей. Как быть?..

— О наказании говорить рано,— с мягкой уклончивостью ответил Дитятичев.— Мы не выносим обвинительных приговоров, этим занимается суд.— Помолчал и доверительно добавил:— Думаю, что суд будет снисходителен.

— У вас был Семен Тетерин? — в упор спросил Дудырев.

— Только что ушел.

— Что вы скажете о его заявлении?

— О пуле?..

— Да.

— Думаю, что это грубая уловка.

— Почему так?..

— Пытается спасти своего старого знакомого. А так как он по натуре своей человек честный, не искушенный во лжи, то эти попытки выглядят весьма неуклюже. На что он рассчитывает: Дудырев — человек влиятельный, свалим-ка на него, ему все с рук сойдет. Но стоило этому Тетерину объяснить, что его поведение преступно, как сразу же дал задний ход. Лишнее доказательство, что мои догадки справедливы.

— Задний ход — доказательство?

— Вы же не откажете Тетерину в решительности. Его профессия уже сама по себе что-то значит. И если этот не робкого десятка человек не осмелился настаивать на своем, покорно забрал пулю, то всякие сомнения у меня исчезают — не верит в свою правоту. Значит...

— Значит, пуля фальшивая? — сумрачно перебил Дудырев.

— Да.

— Тетерин не робкого десятка — что верно, то верно. Но разве вам не известно, что офицеры или солдаты, не боявшиеся на войне смерти, без страха бросавшиеся в самое пекло, часто теряются и робеют в мирной обстановке перед сугубо штатским начальником? Не делайте далеко идущие выводы, что храбрый медвежатник спасовал перед вами.

— Хорошо, я соглашусь принять во внимание его пулю. Но ведь этим самым я впутая Тетерина в весьма неприятную историю. Если его пуля окажется фальшивой, ему придется отвечать за ложные показания с целью ввести следственные органы в заблуждение. Не говоря уже о том, что мы и для себя осложним и запутаем дело.

— Боятесь осложнений?

— Я думаю, и вы бы на моем месте предпочитали простоту и ясность.

Дудырев с сумрачным вниманием вглядывался в Дитятичева. Тот сидел, выкинув длинные руки на стол, приподняв к ушам острые плечи,— полный почтительного бесстрастия, уверенный в своей правоте человек. Он терпит возражения Дудырева лишь из уважения к его особе.

— Разрешите напомнить вам один старый анекдот,— произнес Дудырев.

Дитятичев склонил голову: «Слушаю вас...»

— Пьяный ползает на коленях под фонарем. Его спрашивают, что, мол, ты ищешь. «Кошелек потерял». — «Где?» — «Да там», — кивает на

другую сторону улицы. «Почему же ты тогда ищешь здесь, а не там, где потерял?» — «Здесь светлее..»

Впервые за весь разговор Дитятчев озадаченно взглянул на Дудырева.

— Чем же я напоминаю этого пьяного?

— Да тем, что боитесь сложности, ищите истину, где светлей да удобней, а не там, где она лежит на самом деле.

Дитятчев нахмурился.

— Не считаю удачным ваше сравнение, — ответил он с чуть приметной обидой. — Все данные за то, что Тетерин темнит, уводит от истины, но если он будет настаивать на своем, что ж, я пойду на любые осложнения.

Разговор, казалось, закончился ничем. Усевшись в машину, Дудырев продолжал досадовать: «Пуля-то Тетерина не только для меня, но и для него страшна. Пришлось бы следователю меня брать за шиворот, а это грозит столкновениями с райкомом, с областью. Ему проще Митягиным откупиться. Искать под фонарем! Как это подло! Что делать? Молчать? Наблюдать со стороны? Быть молчаливым помощником Дитятчеву?.. Подло! Низко!»

Как бы то ни было, а страх и растерянность отступили перед досадой и возмущением. Сейчас Дудырев думал о себе меньше.

Машина шла среди полей. Впереди показался лесок — густая, приветливая зеленая опушка. Но Дудыреву хорошо было известно: этот лесок — только декорация. От большой, некогда тенистой рощи теперь осталась узкая полоска, остальная часть вырублена под территорию строительства. Зимой и ранней весной, когда деревья не одеты в листву, с этого места сквозь стволы уже видны огни рабочего поселка.

Машина ворвалась в лесок и сразу же выскочила в поселок. Среди торчавших пней стояли бараки, все, как один, новенькие, свежие, не обдутые еще ветрами, какие-то однообразно голые, с унылой ровностью выстроенные в ряды. Чувствовалось, что здесь люди живут временно, некрасиво, бивуачно. Сам поселок раздражает своей казарменной сухостью.

Будет отстроен комбинат, вокруг него вырастут дома, быть может благоустроенные, быть может красивые, но рядом с ними останутся и бараки. В них, уже покосившихся, осевших, латаных и перелатанных, непременно кто-то будет жить. Секрет прост: те строители, которые займут его, Дудырева, место, станут планировать жилье с расчетом на эти бараки. Раз стоят, значит жить можно, мало ли что некрасиво и неудобно — не до жиру, быть бы живу. Они, как следователь Дитятчев, не захотят лишних осложнений, станут искать решения попроще.

Он возмущался следователем. А сам?.. Настаивал строить не капитальное жилье, а бараки, приводил веские доводы — быстро, дешево, просто... Главное, просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, не надо задумываться — откуда оторвать рабочую силу, не надо беспокоиться, что сорвешь утвержденные планы. Проще! Легче! Разве это не называется — искать под фонарем?

Дорога спускалась к котловану. Развороченная, растерзанная земля лежала внизу. Над ней, притихшей, израненной, успокоившейся на короткое время, в багровом закате летали чайки.

Дудырев сейчас начинал понимать то, о чем раньше, как ни странно, не задумывался: истина и счастье людей неотделимы друг от друга, а счастье же слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко; под фонарем, где светлей да удобней, его не найдешь.

Вынутая из медведя пуля стала наказанием для Семена Тетерина. До сих пор он покойно жил, никого не боялся, любому и каждому мог без опаски смотреть в глаза. Сейчас же, выходя из своего дома во двор, он каждый раз оглядывался — не столкнется ли с Митягиным или с Настей, не нарвется ли на попреки или расспросы. Даже один вид митягинских ребятишек, возившихся с гамом и смехом целыми днями в прогулке перед домом, смущал и расстраивал.

Стала для Семена страшным человеком и Глашка Попова с почтовой сумкой, бегавшая иноходью из деревни в деревню. Всякий раз, когда Глашка, пыля сапогами, бежала вдоль села, падало сердце: к нему повернет или проскочит мимо? А после того как она пробежала мимо, почему-то становилось еще более беспокойно — лучше бы принесла этот вызов к следователю. Семен представлял себе лицо Дитятичева, суховатое, с тонкими мягкими губами, с лопушистыми серыми ушами, его спокойный, холодный взгляд. При одной мысли, что этот человек будет смотреть на него, допрашивать, тянуть душу, Семен загодя чувствовал себя преступником. Пуля! А ну, докажи, что это та самая. Митягина спасешь, знаем, не без умысла: ежели на него падет вина, то и у самого рыльце пушком обрастет — на медвежью охоту неумелого взял, твоя неосмотрительность до беды довела. И то, что следователь медлил, не вызывал к себе, казалось Семену дурным знаком. Что-то там за его спиной придумывают, какие плетут петельки?..

В первые дни Семен опасался, что Митягин покою не даст — каждый день будет приходить и жаловаться. Но Митягин вылезал из дома только на работу. Из окна по утрам Семен видел, как фельдшер, глядя под ноги, словно высматривая что-то оброненное, шел, волоча ноги, в сторону медпункта. Ежели кто-нибудь окликал его, испуганно оборачивался, прибавлял шаг.

Как-то Семен столкнулся с ним нос к носу. Виски впали, хрящеватый нос туго обтянут кожей, в глазах дурной блеск, под глазами круги — эх, перевернуло мужика. При виде Семена Митягин съезжился, заморгал, уставился куда-то в сторону.

— Оно надо же, беда свалилась... Кто ж гадал... — виновато забормотал он, пряча глаза.

И Семен понял, что фельдшер сам избегает с ним встречи, ничего не знает, верит, что убил он, мучится. Сжалось сердце, хотелось выложить начистоту: «Твоя пуля медведя свалила, а не человека...» Но скажи, а Митягин шум подымет, начнет требовать — действуй, вызволяй из беды! Рад бы, а как? Мимо Дитятичева не пройдешь, а тот в один узелок свяжет его и Семена.

Только и нашелся Семен, что сказал:

— Ты того, дружок... Не убивайся шибко-то...

Но Митягин с натугой, словно шею его душил ворот рубахи, покругил лысиной, махнул рукой.

— Беда ведь... Эх!

На этом и расстались.

У Семена появилась новая забава, от которой порой становилось тошно. Он скрывался от старухи в свою боковушку, высыпал на дощатый стол пули — весь запас, какой был, — а рядом с ними клал ту, проклятую, вынутую из медведя. Потом долго перебирал, внимательно сравнивал — есть ли отличка. Нет, не было. Брось эту пулю в общую кучу — затеряется. Странно, маленький, ничем ровным счетом не приметный свинцовый кругляш — мертвая вещь, но в нем какое-то злое колдовство! Запутывает, раздирает душу, и не бросишь его, не от-

делаешься. Казалось бы, что стоит легонько подтолкнуть к куче других пуль — и не разберешь потом, какую же вынул из-под медвежьего черепа. Подтолкни... А завтра выбегут на улицу митягинские ребятишки, будешь на них глядеть и казнить — в руках правду держал, помочь мог бы, а нет, испугался. И хочется подтолкнуть, и нельзя.

Семен опускал пулю в карман, но каждый раз оставалось такое чувство, что положил не ту, а какую-то другую. Каждый раз испытывал тоскливое бессилие — раз все пули друг на друга так похожи, то носи любую и доказывай: в ней правда спрятана. Кто поверит? А не поверят. То и нянчиться нечего с пулей, зря мучить себя...

Строже всего Семен хранил тайну от жены. Баба и есть баба — во-лос долог, да ум короток. Поведай, не утерпит — разнесет по селу. Проще признаться Митягину. Но с кем-то хотелось поделиться, услышать со стороны добрый совет. Один на один с этой трижды проклятой пулей можно сойти с ума.

Самым уважаемым по селу человеком был Донат Боровиков, председатель колхоза. Он в председатели был выбран давно, лет пятнадцать назад. Но добрых лет десять ни он сам, ни его колхоз ничем не выделялись среди других. Вырвался как-то неприметно: выстроил новую свиноферму, новый скотный двор, птицеферму с инкубатором и пошел разворачиваться. Раньше Донат был тош, вертляв, теперь стал осанист, басовит, нетороплив, его имя печатали в газетах, на районных собраниях выбирали в президиумы...

Семен по давней дружбе часто заглядывал к Донату. Тот ставил для медвежатника поллитру и просиживал с ним за полночь, беседуя об охоте, о глухих лесных местах, о рыбных озерах в лесу, хотя сам ни охотой, ни рыбалкой не баловался.

Ему-то и открылся Семен.

— Да-а, история,— протянул Донат. Он сидел за столом в натальной рубахе, краснолицый, благодушный, разморенный пропущенным стаканчиком.

— Поганая история, больше некуда,— поддакнул Семен.— Скажи: ты-то хоть веришь ли мне?

— В чем?

— Что пулю вытащил из медведя, а не подсунул ее.

— В это верю. Только хочу совет дать: ты эту пулю при себе храни, а не шуми о ней на всех углах.

— Эко! Не шуми... Ты тоже хочешь правду упрятать?

Донат удобнее устроился за столом, заговорил внушительнее:

— Правда?.. А ты задумывался когда-нибудь, что это такое? Вот я снял Гаврилу Ушакова с заведования молочной фермой. Он говорит: я полжизни на этом месте проработал, все силы отдавал, коли какая-нибудь корова растелиться не могла, ночами не спал, дежурил, нянчился. Правда это? Слов нет, правда — и сил не жалел и ночами не спал. А все-таки я пошел поперек его правды. Гаврила — старик, образования никакого, норовит все сделать, как бабки да деды делали. Мы ему покупаем разные там электродойки, проводим автопоилки, налаживаем подвесные дороги, а они ему не к рукам — ломаются, стоят без пользы, ржавеют. Прикинул я: Гаврилино руководство только за два года вытряхнуло на ветер из колхозного кармана тысяч триста, ежели не все четыреста. Вот тебе две правды — его и моя. Представь, что я с Гаврилиной правдой соглашусь,— то-то будет житуха в нашем колхозе!

— Ты к чему гнешь, Донат?

— К тому, Семен, что, кроме митягинской правды, которую ты выковырял из медведя вместе с пулькой, есть и другая. Я этих судебных законов толком не знаю, но, видать, так уж положено: раз человека уби-

ли — верно, для острастки другим следует наказать. Скажешь — глупо. Согласен! Я и сам хотел быть милосердным. Но ведь не мы с тобой законы выдумываем. Будем считать, что кто-то непременно пострадать должен. Ты вот докажешь, что виновен Дудырев, что его по всей строгости должны в каталажку упрятать, с работы убрать. Буду я этому рад? Нет! А почему? Да потому, что боюсь — заместо Дудырева сядет какой-нибудь тип, пойдет тогда на строительстве, как на престольном празднике: кто-то стекла бьет, кто-то шкуру рвет. Интересно это мне, к примеру? Да упаси бог, сплю и вижу тот день, когда этот комбинат рядышком станет, рабочий класс вокруг него поселится. Еще в позапрошлом году семьдесят тонн капусты свиным скормил. Вырастить-то эту капустку мы вырастили, а продать — шалишь. Пока из наших глухих мест по бездорожью на бойкое место ее вывезешь, она так в цене подскочит, что и глядеть-то на нее покупатель не хочет. А тут под боком у меня будет постоянный покупатель. Я ему и капусту, и помидорчики из теплиц, и огурчики — ешь витамины, рабочий класс, плати звонкой монетой. Мои колхозники на эту монету в твоих же магазинах велосипеды и мотоциклы покупать будут... Любуй бабе, любому парню, на кого ни укажи пальцем, — всем выгодно, чтоб строительство шло как по маслу, не срывалось бы, не разваливалось, чтоб Дудырев сидел на своем месте. Эта ваша глупая оказия, на проверку, не только Дудыреву коленки подобьет — нам всем по ногам ударит.

— Эх, Донат, Донат, зачем ты на себя наговариваешь, волчью шкуру на себя напяливаешь. Мутит тебя от нее, а влезаешь.

— Жизнь, братец. А жизнь не коврижка с медом, иной раз вжуешься — скулы сводит, а глотать нужно.

— Опять врешь. Гаврилу-то ты пристроил на другое место, и вроде не безвыгодное для Гаврилы. Доброту свою под словами прячешь! Постыдись-ко!

Донат насупился, уставился в тарелку с надкусанным огурцом.

— Ну, чего молчишь? — грубо спросил Семен. — Ведь жаль же тебе Митягина?

— Жаль, конечно, но...

— То-то, разные «но» мешают, а ты их откинь.

Донат поднял голову.

— Обойдется все. По суду оправдают.

— А коль не оправдают?..

— Ну, чего на бобах гадать. Подопрет — пораскинем мозгами.

От любых напастей Семена всегда спасал лес. Находила дурная минута, не глядя — вечер ли во дворе иль раннее утро, — брал ружье, оставлял порог дома и ударял куда-нибудь подальше — в Кошелевскую тетеринку или в Глуховскую, что стоит на самой окраине его владений. Спал то в пропахшем дымом срубе, то под осевшим стожком сена, ловил рыбу в черных озерах, бил уток, пек их по-охотничьи на костре, в угольях, обмазав перья глиной или жидкой грязью. И всегда из лесу Семен возвращался помолодевшим, каким-то чистеньким изнутри. Лес обмывал душу, лес наделял силой, всякий раз после леса завтрашний день казался приветливым. Не было лучшего друга у Семена, чем лес.

И Семен решил бежать от всего — от следователя, от Митягина, от истории с проклятой пулей, — бежать в лес.

От мягкого утреннего зарева подрумянились крыши и стены домов. Улицы села были пусты, на пыльной дороге бестолково судачили галки. Калинка, бежавшая впереди хозяина, вспугнула их. Птицы с гневливым

криком сорвались в воздух. Семен размашистым шагом миновал село, свернул с дороги, тропкой вдоль поля ржи направился к лесной опушке. Знакомый путь — пересечет первый лесок, обшаренный бабами и детишками, набегавшими сюда за грибами и ягодами, километров пять пройдет полями, снова лес с покосами, потом покосы кончатся и там уж начнется лес серьезный...

Семен шагал почти на хвосте Калинки, резво бегущей впереди. К черту все! Митягин, Дудырев, следователь, пуля, разъедающие душу мысли! К черту! Луг от росы морозно-матовый, вылупился краешек солнца, растопил кромку леса, косо легли от деревьев влажные тени. И воздух легкий, подмывающе свежий, дышишь им, и кажется, что растешь вверх. И птицы поют, и начинают пробовать силы кузнечики, и в ложбинках лениво тронулся слежавшийся за ночь туман. Вроде привык к этой красоте, столько раз видел ее, сколько раз встречал по утрам солнце, а вот идешь, дивишься, словно видишь впервой. К черту все! Жалок тот, кто спит сейчас в теплой постели, не видит этих простеньких чудес с набухающим туманом, с выползающим солнцем. Мелок тот душой, кто, проспав рождение солнца, сразу нырнет в обычные дела, закрутится в досадных заботах — заболела корова, обижен бригадиром, страшат судом. К черту все, что осталось за спиной! Семен Тетерин быстрым шагом уходил в лес...

Солнце поднялось, высушило росу. Утро кончилось, наступил день. А Семен все шел и шел, не сбавляя шага. Шел, не зная куда, без цели, без мысли, бежал дальше от села — лишь бы в лес, лишь бы забраться глубже.

Тени съежились, листва, обмытая росой, радовавшая глаз яркостью, теперь потускнела. Начался день, и сразу все стало на свои места — привычно кругом, буднично, скучновато. Но Семен подгонял себя, боялся — пропадет азарт.

В полдень его занесло в болото.

Наверно, не бывает на свете печальнее места, чем лесное болото в солнечный полдень. Ночь еще как-то прячет его устрашающую унылость. В кочках и вмятинах мшистая земля, бесконечный частокोल рахитичных, засушенных обилием влаги елочек. Их стволы тощи, шершавы, похожи один на другой. Взгляд проникает сквозь них, пока не увязнет в каком-то сизом тумане, — это тысячи дальних и близких стволов сливаются в рыжую муть. Проклята та земля, что плодит такой жалкий лес. Ни в каком другом месте человек не чувствует так свое одиночество. И не только человек — зверь обходит стороной болото. Только глупые куропатки жируют на кочках черники и брусники.

Семен остановился и сразу почувствовал, что устал, — ружье оттягивало плечо. Вот и лес, пришел... А что дальше?.. Калинка, усевшись в стороне, выжидающе поглядывала на хозяина.

Искать зверя, загнать, пристрелить? А зачем это? Он никогда раньше не задавал себе такого вопроса. Раз пришел в лес — действуй, показывай охотничью сноровку. Сейчас задумался: блуждать, искать след, гнаться, выбиваясь из сил, убить. А ради чего?.. Ради мяса? Ради шкуры?.. Ничего не нужно.

Ружье оттягивало плечо, во всем теле нехорошая истома, хочется выбрать место посуше и лечь. Никогда прежде не уставал, мог колесить по лесу целые сутки, десятки верст бежать без передышки за зверем — усталость приходила только во время привалов вместе со сном.

Мертвая пустыня, украшенная тощим ельничком, окружала его. Воздух парной, удушливый, не свистели птицы, не надрывались кузнечики. Пусто. Только Калинка сидит и ждет приказа. Один.

Он ушел от людей. А они живут себе по-своему. Должно быть, у скот-

ного двора доярки загружают подъехавшую полуторку бидонами, смеются, весело перебраниваются с шофером, на лугах за речкой трещат косилки, мужики навивают стога. Плохо ли жить, как все живут! Разве лучше торчать в болоте, одному, с глазу на глаз с Калинкой? Надб возвращаться... Возвращаться! Чтобы и день и ночь думать о проклятой пуле, сидеть дома в четырех стенах, держать себя под арестом — лишь бы не видеть ни Митягина, ни Насти, ни их ребятишек...

Донат Боровиков, ежели поразмыслить, столько же виноват, сколько и он, Семен. Но этот Донат сидит, верно, сейчас у себя в кабинете, уточняет сводки из бригад, думать не думает ни о Митягине, ни о пуле, что вчера показывал ему Семен. Но Доната еще можно простить, а вот Дудырева... Неужели и он спокоен, забыл обо всем, покрикивает себе по телефону? Вот уж у кого, верно, черная душа да каменное сердце...

Семен стоял посреди кочек, плотно заросших черничным листом, и сжимал тяжелые кулаки. Высоко сидит этот Дудырев, не замахнешься, был бы попроще, научил бы его Семен совестливости.

И вдруг охватило озлобление. Донат Боровиков не думает, Дудырев не травит себя, а он, Семен Тетерин, хочет быть лучше других, эко! Вздумалось болящего Христа из себя корчить. Для него Митягин такой же сват и брат, как, скажем, для Доната. Все спокойны, людская беда как с гуся вода, отряхнутся — сухи и чисты. А он убивается, пулю таскает, то Дудыреву, то следователю эту пулю под нос сует. Их мутит от этой пули, зубы показывают, как Калинка при виде палки. Простак ты, Семен, простак. Считаю, век прожил, а до сих пор в ум не возьмешь, что плетью обуха не перешибают. Дудырев и следователь не медведи, с лесной ухваткой не свалишь. Малой шавке не след на матерых волков лаять. И перед Митягиным от стыда корчиться нечего. Помогай там, где можешь помочь, не можешь — живи себе в сторонке. А пуля?.. Да будь она неладна!

Семен сунул руку в карман, вытащил пулю, хмуро оглядел ее в последний раз и бросил в сторону. Калинка, следившая за хозяином, метнулась туда, куда упала пуля, обнюхала, сконфуженно отошла.

Спихватись сейчас Семен, примись искать, навряд ли бы нашел ее среди кочек в высоком мху. Медвежий жакан, хранящий в себе правду, исчез для людей.

Семен повернулся, решительно зашагал прочь в сторону села.

Дудырев почти ничего не знал о Митягине. За короткое знакомство во время охоты этот человек оставил у него смутный след — ничем не примечателен, не интересен. Жалость к Митягину была, но слишком общая, отвлеченная, так жалеют, когда прочитают в газетах о пассажирах, погибших во время железнодорожной катастрофы. Нет, не жалость заставляла Дудырева верить Семену Тетерину, не она толкала — действуй, не успокаивайся, добивайся истины. Просто одна мысль, что есть возможность прикрыться слабым и беззащитным, была противна Дудыреву. Разве можно после этого относиться к себе с уважением? Жить с вечным презрением к себе — да какая же это жизнь!

При новой встрече со следователем Дудырев стал спокойно и твердо доказывать, почему верит Семену Тетерину. Если б охотник задался целью во что бы то ни стало спасти соседа, то поступал бы более осмотрительно. Он бы мог придать пуле нужную форму, а не обкатывать ее. Он бы понес пулю не к нему, Дудыреву, а прямо к следователю. Наивная доверчивость не совмещается с характером человека, который решился на заведомый обман... Сухостойное дерево... Но оно не прикры-

вало собой всю лаву. Нет прямого доказательства, что парень упал в воду точно на середине реки. Это догадки...

Когда Дудырев пункт за пунктом объяснял Дитятичеву, в кабинет, постукивая палкой, вошел прокурор Тестов, уселся в кресло, вытянув негнущуюся ногу, из-под сухих курчавых волос уставился черными прищуренными глазами.

Дудырев привык к уважению в районе, к тому, что его слово ловят на лету. Но на этот раз его напористые, решительные доводы не производили впечатления. Лицо Дитятичева было, как всегда, вежливо-бесстрастным, прокурор же с любопытством шурился, и под его жесткими ресницами в темных глазах пряталась снисходительная усмешка. И едва Дудырев замолчал, как следователь суховато и обстоятельно начал возражать:

— Ваши рассуждения не лишены интереса, но... отмахнуться от врачебной экспертизы, с распростертыми объятиями ринуться навстречу весьма сомнительным доводам охотника... К тому же, как кажется, он лицо заинтересованное... Друг Митягина...

А прокурор, внимательно глядевший до сих пор на Дудырева, отвернулся, спрятал лицо.

Они не соглашались и не собирались соглашаться. Дудырев, выступающий против Дудырева,— некий любопытный парадокс, чудачество почтенного человека, уверенного в своей полной безопасности. И Дудырев понял — им смешно и немного неловко за него: зачем эта неискренняя игра, к чему казаться святей папы римского?

А ведь прокурор Тестов славился по району как недюжинный человек. Он заядлый книголюб, знает наизусть стихи Блока и Есенина, ходит молва, что в обвинительных речах проявляет мягкость и уступчивость. Как он-то не понимает, что со стороны Дудырева не фальшь, не поза, а обычная норма поведения. Как не догадывается, что нельзя уважать себя, свершив подлость, пусть не своими, а чужими руками.

Дудырев против Дудырева. Он выступает против своего, известного всему району имени. Имя — бестелесный звук, но оно могуче, оно грозит прокурору и следователю осложнениями, заставляет их искать удобные пути, искать истину «под фонарем». И сам Дудырев, с его напористостью, твердостью, отделившись на время от своего имени, оказывается бессильным что-либо сделать.

— А все-таки поприслушайтесь... — сказал он мрачно. — Прислушайтесь и не опасайтесь за то, что я окажусь в невыгодном положении. Мне легче будет, если я отвечу за свою вину, чем спрячусь за чью-то спину.

Последние слова он произнес с такой угрюмой настойчивостью, что прокурор с удивлением поднял голову, а бесстрастное лицо Дитятичева дрогнуло, слегка вытянулось. Они поняли наконец, что с ними не шутили, не играли в благородство.

Ответил прокурор:

— Хорошо. Мы еще раз попытаем этого Тетерина... И поверьте, беспристрастно.

— Именно этого я и добивался.

Дудырев вышел, а прокурор и следователь с минуту сидели молча. И только когда от крыльца донесся подвывающий звук стартера дудыревской машины, Дитятичев произнес:

— Черт его знает, донкихот какой-то.

Прокурор, задумчиво шуря глаза в угол, возразил после минутного молчания:

— Скорей Нехлюдов... Иной раз прорывается в душе русского человека эдакая совестливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыльной проституткой.

22

На следующий день Дитятичев вызвал к себе Семена Тетерина. Стараясь придать своему голосу мягкость, он попросил рассказать, как и при каких обстоятельствах была найдена пуля, не сможет ли Семен Тетерин назвать свидетелей, видевших пулю до того, как она была обкатана.

Обветренное лицо Семена потемнело еще сильнее.

— Нет пули,— ответил он глухо.

— Как так нет? Вы ее доставали или не доставали?

— Считаю, что не доставал. Нету — и все.

Плотно сжав губы, следователь с презрением разглядывал охотника. Как обманчив бывает вид. Вот он сидит перед ним, сгорбившись, тяжелые плечи покато опущены, лицо угрюмое, суровое, шрам на скуле придает особую диковатую силу — бесхитрое, честное лицо, а глаза прячет, отвечает с подозрительным раздражением, отрицает то, что говорил прежде.

— Мне нужно знать точно: нашли вы после врача пулю в труп медведя или не нашли?

Долго молчал медвежатник, наконец выдавил:

— Не нашел...

— Значит, вы лгали мне в прошлый раз?

Снова молчание.

— Лгали или нет?

— Считаю, как хошь...

Дитятичев ничего не выжал из Семена.

А Семен, шагая домой, вспомнил, как мягко, почти ласково начал свой допрос следователь. Лисой прикидывается, про пулю признаться поуждает, а для чего? Угадать не трудно — решили его, Семена Тетерина, пришить к Митягину, мол, одна бражка, один и ответ держать. Прост ты, Семен Тетерин, лесная дубина. Долго ль им, ученым да сноровистым, вокруг пальца тебя обвести? Нет, шалишь, в лесу похоронена пуля, словечка о ней клещами теперь не вытащат. Но ведь они и без пули могут придраться. Запутают, придется на старости лет сухари сушить, в дальнюю дорогу за казенный счет ехать. Срамота какая!

С этого дня не укору совести мучили Семена Тетерина, а страх. Все казалось, что за его спиной против него затевается страшное, тайное, непонятное, против которого не попрешь, с чем не схватиться в открытую, не оборонишься кулаком. Бессильным чувствовал себя Семен, впервые в жизни бессильным и беспомощным, словно младенец.

23

Прошло лето, зарядили дожди, развезло дороги. В эту осень не было золотых деньков, не сияли березовые перелески под негреющим солнышком, не полыхали багрянцем осины, не заметало тележные колеи шуршащей листвой. Никто и не заметил, как оголились леса, как ударили первые утренники.

Всю осень воевали за хлеб. Многие учреждения в райцентре закрылись, служащие разъехались по колхозам. Дудырев отрывал рабочих от строительства, посылал на поля.

В суете и заботах люди совершенно забыли о несчастье, которое случилось во время охоты в середине лета. И если кто ненароком ронял об этом слово, равнодушно отмахивались — старые дрожжи поминать дважды.

Митягин жил по-прежнему тихой жизнью, из дому выходил только на работу, постарел, потускнел как-то, ссохся, казалось, стал меньше

ростом. Он перестал выпивать, возился с ребяташками, копался на огороде, покорно сносил нападки сварливой Настасьи. В их семье наступил мир и покой, какого, пожалуй, не бывало со времен свадьбы.

Митягин и Семен Тетерин сторонились друг друга, при встречах перекидывались двумя-тремя ненужными словами, про охоту не вспоминали.

Семен, как и все, помогал колхозу — отремонтировал сушилку, работал на токах. В лес выбирался изредка, но в эту осень ему не везло — всего только и добычи, что принес лису-огневку. На одном из таких неудачных выходов Калинка сломала ногу, кость не срасталась — сказывался возраст, как-никак по собачьему веку старуха.

Временами и Семен забывал о несчастье, по несколько дней не вспоминал о пуле. Но всегда после таких спокойных дней тревога охватывала с новой силой. Притихли, забыли, не напоминают о себе! Перед грозой-то всегда затишье бывает. Не могут же они забыть начисто, не миновать суда. Грянет гром — по кому-то ударит. Правда, следовательно больше его не тревожил, с него, Семена, не взяли подписки о невыезде, как это сделали с Митягиным. Но что там подписка — знают, что и без нее Семен никуда не денется. Суд-то будет, уж спросят о пуле, начнут при народе пытаться. Нет пули — и шабаш! Не хочет он принимать во чужом пиру похмелье.

По-прежнему с глухой, тайной ненавистью вспоминал о Дудыреве. И больше всего возмущало, что люди в один голос хвалили начальника строительства: Дудырев собирает бараки сносить, каждой семье квартиру обещает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходителен, он и добр... Семен-то знает его доброту. Ох, люди — за полушку покупаются!..

При первых заморозках в дом к Семену ворвалась Глашка Попова, принесла повестку на суд...

Семена усадили в соседней комнате, в одиночестве. Он сидел и прислушивался к глухим голосам, доносившимся из-за стенки, представлял себе Митягина — на него глазают из зала, шушукуются, показывают пальцами. Пожалуй, нет ничего на свете страшнее, чем торчать вот так перед людьми, покрытым срамом. Семен согласился бы выйти против разъяренной медведицы с голыми руками, чем оказаться сейчас в шкуре Митягина.

Рядом с Митягиным, верно, сидит и Дудырев. Как ни крутился следовательно, а, должно быть, не сумел совсем выгородить начальника строительства — все же причастен к убийству. Но всем ясно — Дудырев сидит ради приличия. Митягин и стреляет хуже, и дерево сухостойное позади медведя стояло для него не выгодно — вся вина на нем, ему и ответ держать. Дудырев посидит, может покраснеет даже, а потом отряхнется — что ему, непременно оправдают.

Семен ждал долго, изнывал от страха, томился. Наконец открылась дверь.

— Свидетель Тетерин! Пройдите!

Он встал перед столом, боком к народу, мельком увидел — в первом ряду восседает Донат Боровиков, смотрит в упор на Семена, и взгляд его торжественно-тяжелый, чужеватый, без сочувствия. Других не различал, но чувствовал, что и все смотрят на него выжидающе, по-чужому.

Народного судью — Евдокию Павловну Теплякову — Семен часто встречал в районе, как-то даже случалось беседовать на берегу реки, ожидая перевоза. Помнится, говорили тогда о сухой ерунде — о грибах, которые в том году росли наотличку. Теплякова — женщина тихая, многосемейная, вечно озабоченная. Сейчас Семен видел ее руки, лежа-

щие на каких-то бумагах,—руки хозяйки, шершавые, с коротко подстриженными ногтями, видать и бельишко стирает ребятам, и полы моет, и картошку копает. Без мужа живет, тоже бабе приходится из кулька в рогожку переворачиваться.

Теплякова и все остальные, что плотно, с разных сторон обсели стол,—люди как люди, должно, не злы, при случае готовы и пожалеть, и посочувствовать, и помочь в беде. При случае, а не сейчас. Сейчас-то между ними и Семеном Тетериным стоит красный стол.

Теплякова скользнула отрешенным взглядом, взяла бумагу со стола.

— Свидетель Тетерин Семен Иванович, год рождения 1904, промысловик-охотник, место жительства — село Волок Густоборовского района... Свидетель Тетерин, вас поставили в известность, что за ложные показания вы привлекаетесь к уголовной ответственности по статьям?..

Голос Евдокии Тепляковой нисколько не похож на тот, каким она разговаривала с Семеном о грибах.

— Свидетель Тетерин! — К нему обращаются торжественно, его величают строго.— Расскажите суду, что произошло на охоте в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля сего года. Постарайтесь припомнить все.

Семен робко кашлянул в кулак и начал, запинаясь, рассказывать о том, как собрались на охоту, о том, как гнали медведя, о том, как выгнали его к лаве, как он, Семен, услышал гармошку, успел крикнуть...

— Свидетель Тетерин, вы видели, чтобы подсудимый Митягин когда-нибудь занимался до этого охотой?

У Семена упало сердце: «Вот оно, копают».

— Н-нет,—признался он.

— Вы знали, что он не умеет обращаться с ружьем?

— Н-нет... Говорил, что баловался прежде.

— И вы поверили?

— Поверил.

— Свидетель Тетерин, вы как-то предъявили следователю пулю, которую вы якобы достали из убитого медведя. Вы уверяли, что врач, искавший эту пулю, не нашел ее. Вы подтверждаете это?

Вот оно... У Семена стали мокрыми ладони, он молчал, сутулился, угрюмо уставившись в пол. Вот оно — самое страшное, вот он — пробил час. Много дней и недель жил в страхе перед этим часом. Все молчат, ждут, что он скажет. Молчит и он. Признаться? Сказать правду? Спросят: где пуля, покажи! А пуля лежит во мху, среди кочек, затерялась в глухом болоте, сам черт ее теперь не отыщет.

— Свидетель Тетерин, вам понятен вопрос?

— Нету пули,—выдавил из себя Семен.

— Вы утверждаете, что не показывали пулю следователю?

— Никакой пули не знаю.

— Следователь Дитятчев, вы подтверждаете, что свидетель Тетерин Семен Иванович вам показывал пулю, вынутую, по его словам, из трупа медведя и подходящую под калибр ружья, которым пользовался Митягин?

— Подтверждаю.— Дитятчев приподнялся с места.

— Какого числа это было?

— Шестнадцатого июля. На следующий день после события.

— Свидетель Тетерин, вы по-прежнему отрицаете, что приносили пулю следователю?

— Н-нет.

— Что означает ваше «нет»? Приносили пулю или не приносили?

— Приносил.

— Вы, как сообщил следствию Дудырев, и ему показывали эту пулю?

— Показывал и ему.

— На следующих показаниях вы отрицали, однако, что эта пуля у вас есть, что вы достали ее из медведя?

— Отрицал, — признался Семен, еще ниже опуская голову.

— Значит, это пуля не из медведя, вы просто принесли другую пулю из своих запасов? Не так ли?

Семен молчал. Он чувствовал себя совсем раздавленным, тело стало грузным и непослушным, ноги вялыми, колени дрожали от напряжения. Вконец запутался. Если он скажет правду, что вынул из медведя, что нашел ее под самым черепом, в шейном позвонке, что сам раскатал ее, тогда спросят: почему раньше увилывал? Чему верить? Зачем водите суд и следствие за нос? Где пуля? Почему вы ее бросили? Конца и краю не будет расспросам. Все равно правда похоронена вместе с пулей.

Суд ждал, без конца молчать было нельзя, и Семен, набрав в грудь воздух, с усилием выдавил лишь одно слово: «Да» — лживое слово, прозвучавшее придушенно.

— Не из медведя? — уточнила Теплякова.

— Да...

— Вы ее принесли для того, чтобы спасти от наказания Митягина?

Надо было лгать и дальше, Семен снова с усилием выдавил:

— Да...

На минуту наступило тяжкое молчание. Семен стоял, опустив голову.

— Со стороны обвинения будут вопросы?.. Со стороны защиты?.. Нет. Свидетель Тетерин, имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?

Семен Тетерин ничего не имел, он еле держался на ногах.

— Свидетель Тетерин, вы свободны. Можете пройти в зал и присутствовать на заседании.

Спотыкаясь, никого не видя, Семен направился на народ. Кто-то — он не видел кто — пожалел его, уступил место на скамье. Семен грузно опустился. Сидел, уставившись в пол до тех пор, пока не услышал голос Дудырева.

В мягкой кожаной куртке, чисто выбритый, прочно стоящий на расставленных ногах перед судебным столом, по всей вероятности не испытывавший ни смущения, ни волнения, коротко, точно и спокойно Дудырев отвечал на вопросы. Слышал ли он предупреждение Семена Тетерина? Да, слышал, но не мог уже остановиться, выстрелил почти одновременно с выкриком. Слышал ли он звук гармошки? Нет, не слышал...

После обычного завершающего вопроса: «Имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?» — Дудырев чуть вскинул тяжелую голову и твердо сказал:

— Да, имею.

Зал, и до этого внимательно настроженный, притаился за спиной Семена Тетерина так, что Семен услышал свое напряженное дыхание.

— Мне известно, — размеренно и по-прежнему спокойно начал Дудырев, — что ряд косвенных улик, принятых во внимание следствием, отягощает вину Митягина и облегчает мое положение. Поэтому сейчас, перед лицом суда, хочу заявить: не считаю себя менее виновным. Мы одновременно выстрелили. Я стреляю лучше Митягина, но это не может гарантировать полностью того, что я не мог промахнуться. Указывают на местоположение сухостойного дерева, которое прикрывало от меня середину лавы. Но достаточно было потерпевшему выдвинуться вперед на полшага, а пуле пролететь в каком-нибудь сантиметре от ствола дерева, как обвинение против Митягина рухнет. Свидетель Тетерин отри-

цает теперь наличие пули. Я не собираюсь ни уличать его, ни попрекать в непостоянстве. Пули нет, кто из нас убил — для меня до сих пор тайна, как и для всех. Мы оба повинны, оба в одинаковой степени!..

Зал одобрительно загудел.

— Но это не значит, что я покорно признаю себя виновным. Думаю, никто не решится упрекнуть ни меня, ни Митягина в преднамеренном убийстве. Нас могут судить лишь за неосмотрительность. Но является ли эта неосмотрительность преступной? Мы стреляли в лесу, где никакими законами, никакими частными предупреждениями стрельба как таковая не возбраняется и не ограничивается. Мы не могли предположить, что за кустами может оказаться живой человек. Место, где мы стреляли, чрезвычайно безлюдно, прохожие встречаются на дню один, от силы два раза. Как я, так и Митягин не слышали гармошки. Ее услышал Тетерин, не в пример нам обоим более опытный охотник. Выкрик Тетерина прозвучал почти одновременно с выстрелами, мы просто физически не успели сообразить. И мне думается, никто не позволит себе допустить такую мысль, что мы решились спустить курки, услышав выкрик, поняв его значение. Я не считаю себя совершившим преступление, а следовательно, не считаю преступником и Митягина. Если же суд не согласится с моими доводами, посчитает нужным вынести наказание, то это наказание я в одинаковой мере должен нести с Митягиным.

Семен слушал Дудырева, сидел, вытянувшись, с каменно-неподвижным лицом, из-под скулы, приподнятой шрамом, глядел с суровым прищуром. И если б кто-нибудь в эту минуту взгляделся в него, то все равно не смог бы разглядеть, что этот человек с каменным лицом корчится сейчас внутри от стыда.

24

Прокурор не настаивал на наказании. Народные заседатели совещались недолго.

Суд вынес решение оправдать Митягина, приняв во внимание, что крик Семена Тетерина, предупреждавший об опасности, прозвучал слишком поздно.

Семен вместе со всеми стоя выслушал это решение, вместе с одобрительно гудевшей толпой вышел из суда на улицу и только там натянул на голову шапку.

Люди не спешили расходиться, топтались по только что выпавшему снегу, радостно переговаривались между собой. Каждый чувствовал, что совершилось что-то доброе и красивое. И все в эту минуту, столпившись под лампочкой в жестяном абажуре, качавшейся от легкого ветерка на столбе, простосердечно тянулись друг к другу, хотели продлить праздничную минуту.

Митягина, вышедшего из суда вместе с женой, сразу же обступили, хлопали по плечу, поздравляли, отпускали незамысловатые шуточки.

— Что, братец, верно бельишко уже собирал?

— Не тужит, что не привелась дальняя дорога.

— Сердце-то, поди, до сих пор в пятках сидит!

— На тебя бы такую напасть — тоже, чай, не особо бы радовался.

Митягин вертел косо напыленным на лысину лохматым треугом, растроганно, со слезой, бубнил одно и то же:

— Ах, беда! Вот беда так беда!..

Видать, эти слова прочно въелись в него за последнее время.

Его Настя, стоявшая рядом, вздернув голову в пуховом платке, победно оглядывала обступивших, всем своим видом говорила: «То-то! Мы не какие-нибудь арестанты. Против правды-то не попрешь!»

Неожиданно люди замолчали, расступились. Рука об руку прошли прокурор и следователь. Следователь, высокий, прямой, прокурор по плечо ему, сильно прихрамывающий. И по тому, что они вышагивали с достоинством, не без подчеркнутой торжественности, было понятно — их вовсе не оскорбляет добрая радость людей, не спешащих расходиться по домам. Служба заставляла их проявлять строгость, они сделали свое, теперь тоже довольны, что окончилось хорошо.

Прошел быстрым шагом и Дудырев, кивая на прощание направо и налево.

Шагая враскачку, приблизился Донат Боровиков, встал на расставленных коротких ногах перед Митягиным, крепкий, приземистый — не столкнешь с места, — заговорил покровительственно:

— Ждал, поди, что люди готовы съестъ тебя. Ан нет, и понять всегда готовы и руку протянуть при нужде... Мало доверяем друг другу. Великое дело — доверие. Так-то.

— Ах ты, беда... Да я же и не мыслил...

Семен, стоявший на отшибе, чувствовал себя обворованным. У него было одно утешение — маленькое, неверное, постыдное, но все-таки утешение. Считал, что все люди плохи, такой, как Дудырев, спасает свою шкуру, не мучится совестью. Так к чему выглядеть красивее других, зачем лезть на рожон? Было утешение, теперь нет. Дудырев защищал Митягина, готов был разделить с ним вину. Нет оправдания Семену, не на кого кивать. А ему ли бы сейчас не радоваться вместе со всеми, ему ли не торжествовать за Митягина? Все довольны, все добры друг к другу, у всех праздник. У всех, но не у него.

Тоскливый среди всеобщего возбуждения голос заставил Семена обернуться. Поеживаясь в вытертом полушубке, невидяще уставившись мимо Семена на людей, толкущихся вокруг Митягина, стоял бригадир Михайло Лысков, отец парня, убитого на охоте.

— Не вернешь Пашки теперь, — говорил он рослому детине в распахнутом ватнике. — Не след другим жизнь портить. Мне от чужой напасти теплее не будет.

— Само собой, злобой не излечишься, — с охотой поддакивал детина.

Казалось бы, кому, как не Михайле, озлобиться, возроптать на всех, а на вот, не озлобляется, не теряет совести, остается человеком. Ему-то, Семену, не в пример проще было не пятнать душу. Врал, увиливал, Митягина продал... Голос Михайлы словно прожег насквозь Семена. Он повернулся и, сторонясь людей, зашагал в темноту, к дому...

А в это самое время Дудырев, сидевший в машине, которая несла его по черной, отчетливо выделявшейся среди покрытых снегом полей дороге, думал о Семене.

Отрекая от пули, но что-то мешало Дудыреву до конца верить в это отречение. Как бы там ни было — солгал ли охотник сейчас на суде или же лгал ему, Дудыреву, раньше, принося фальшивую пулю, — в обоих случаях некрасиво.

Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться.

Он, Дудырев, требует от Семена Тетерина больше, чем от самого себя. Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву, окончившему институт, приписавшемуся к интеллигенции. Умилялся и забывал, что он сам строит новые заводы, завозит новые машины, хочет того или нет, а усложняет жизнь. Усложняет, а после этого удивляется, что Семен

Тетерин, оставив лес с его пусть суровыми, но бесхитростными законами, теряется, путается, держит себя не так, как подобает.

Люди меняются медленнее, чем сама жизнь. Построил комбинат — перевернул в Густоборье жизнь. Комбинат можно построить за три-четыре года, человеческий характер создается десятилетиями. Мало поднять комбинат, проложить дорогу, переселить людей в благоустроенные дома. Это нужно, но это еще не все. Надо учить людей, как жить.

Слепое преклонение не есть любовь. Истинная любовь деятельна.

25

Дома старуха размешивала у печи пойло корове; увидев переступившего через порог Семена, разогнулась, поспешно вытерла руки о завеску, спросила с тревогой:

— Чтой там? Аль строго дали?

Семен ничего не ответил, стянул обшитый солдатским сукном полушубок. Его молчание старуха поняла по-своему, припала сморщенной щекой к костлявому кулаку, скорбно закачала головой, вполголоса запричитала:

— И на кого, горемыка, детишек-то оставит! И теперь вольница неухоженная, без отца-то совсем от рук отобьются... Господи! Не чаяли горяшка, да свалилось!..

— Цыц! — рыкнул на нее Семен. — Сбегай к Силантьихе! — И, видя, что жена собирается возражать, угрожающе заглохшим голосом прикрикнул: — Кому сказано! Живо!

Старуха послушно накинула на голову платок.

Силантьиха — бобылка, живущая через три двора от Семена, таясь от участкового Малышкина и председателя Доната Боровикова, варила самогон и при нужде сбывала его из-под полы.

Семен прошел в свою боковушку, не зажигая света, сел за стол, навалился локтями, сжал ладонями голову. За окном — что в погребе: темно и тихо. Только за сеньями, под поветью, слышно было, как ворочается нетерпеливо корова, которой не принесли поила.

И вдруг тишину за окном прорезал собачий вой. Надрывно завывала Калинка. Не беду хозяина учуяла она, не из преданности изливалась она в плаче в черное небо — у нее своя беда, свое непоправимое несчастье. Лапа не срастается, на последней охоте трижды теряла след, часто ложилась — уходят силы, чует это собачьим нутром.

Семен понял — с Калинкой ему больше не охотиться, прошло ее время, надломилась.

Он сидел, сжав лицо широкими ладонями.

Как случилось?.. Сколько себя помнит — не приходилось краснеть перед людьми, знал себе цену. До чего дошел: последние месяцы, считай, заячьей жизнью жил. Это он-то! И добро бы беда настоящая грозила, так не было ее! Заместо зверя огородное пугало принял. Сраму боялся. Вот он, срам, — по уши влез. Вперед наука. Наука?.. Ежели б в семнадцать лет такая наука выпала, а он уж не мальчишка — старик, через четыре года за шестой десяток перевалит. Не поздно ль учиться?..

Семен сжимал голову, готов был выть в один голос с Калинкой.

Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести.



ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

АИСТ

Порожек с подковой, продымленный дом,
Покрытый соломою, шаткий.
А рядом — береза с мохнатым гнездом,
Похожим на дедову шапку.

Там аисты жили до самой зимы,
Росли аистиные дети.
Твердили соседи, что счастливы мы,
Согласно народной примете.

И впрямь, я счастливым себя ощущал,
Когда возвращался мой аист.
Его я всегда от других отличал,
Ликуя, гордясь, наслаждаясь.

Ужа или жабу тащил он домой,
Птенцы были лакомству рады.
Я злился — зачем неразборчивый Ной
Спасал от потопа и гадюк.

Я глупым птенцам удивлялся не раз,
Нелепости вкуса такого:
Гадюки для них аппетитней колбас,
А жабы вкуснее жаркого.

Я аиста все же потом разгадал,
Я многое понял, увидел.
В ночи клекотал он и спать не давал,
Но не был на то я в обиде.

И дружба душевная сблизила нас,
Сроднила мальчишку и птицу.
Я знал, что наступит кормления час —
И аист в гнездо возвратится.

Я к доброму другу настолько привык,
Что вел с ним беседы любовно,
Что стал понимать аистиный язык,
Отрывистый, немногословный.

Когда же осенний надвинулся шквал,
Разлуки приблизилось горе.

На длинной ноге он в раздумье стоял,
Как флюгер на панском подворье.

Потом улетел он... Но время прошло,
Вернулся он к нашему дому,
На крыльях весенних принес он тепло
И мне и березе знакомой.

Подрос я, уехал в иные края,
С отцовскою хатой прощаясь.
А дома остались родные, друзья
И добрый, испытанный аист.

Учился я, зрелость обрел я в труде,
Приехал в свой дом обветшалый.
Опять аистята клекочут в гнезде,
Но старого друга не стало.

Проходят знакомой своей чередой
Весна за весной в Беларуси.
И аисты вновь прилетели домой,
А вот своего не дождусь я.

1960 г.

ПИСЬМА

К таежным чащам, горным высям
Со всех концов во все концы
Летят по свету стаи писем,
Как быстrokрылые гонцы.

Чтоб к адресату достучаться,
Чтоб вовремя явиться к нам,
Они на самолете мчатся,
Бегут по рельсам, по волнам.

И тот поток неиссякаем
В ненастье, в солнечные дни.
Мы, ожидая их, гадаем:
А что же принесут они?

Когда мы ждем вестей счастливых,
Нам кажется, что он ползет
Улиткою неторопливой —
Несущий почту самолет.

А коль посланья попадутся
Без искренности, без души,
Пускай хоть на волах плетутся,
Ты получать их не спеши.

Но письма есть чернее мрака,
В них кривда, зависть, злобный взгляд.
Такие поручить бы раку,
Чтоб с ними пятился назад.

1960 г.

Перевел с белорусского Яков Хелемский.



ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР

★

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭСМЕ

Рассказ

Совсем недавно я получил воздушной почтой приглашение на свадьбу, которая состоится в Англии восемнадцатого апреля. Я много бы дал, чтобы попасть именно на эту свадьбу, и потому, когда пришло приглашение, в первый момент подумал, что, может быть, все-таки мне удастся полететь в Англию, а расходы — черт с ними. Но потом я очень тщательно обсудил это со своей женой, женщиной на редкость уравновешенной, и мы решили, что я не поеду: так, например, я совсем упустил из виду, что во второй половине апреля у нас собирается гостить теща. По правде сказать, я вижу матушку Гренчер не так уж часто, а она не становится моложе. Ей уже пятьдесят восемь — она и сама этого не скрывает.

Но где бы я ни оказался в тот день, мне кажется все-таки я не из тех, кто хладнокровно допустит, чтобы чья-нибудь свадьба вышла донельзя пресной. И я стал действовать соответственно: набросал кое-какие заметки, разоблачающие невесту, какой она была почти шесть лет тому назад, когда я ее знал. Если заметки мои доставят жениху, которого я в глаза не видел, несколько неприятных минут, — что же, тем лучше. Никто и не собирается делать приятное, отнюдь. Скорее — вразумить и наставить.

Я был одним из шестидесяти американских солдат и унтер-офицеров, которые в апреле 1944 года под руководством английской разведки проходили в Девоншире (Англия) специальную подготовку в связи с предстоящей высадкой на континент. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что народ у нас тогда подобрался довольно своеобразный — из всех шестидесяти не нашлось ни одного общительного человека. Мы всё больше писали письма, а если и обращались друг к другу по неслужебным делам, то обычно лишь за тем, чтобы спросить, нет ли у кого чернил, которые сейчас ему не нужны.

В те часы, когда мы не писали писем и не сидели на занятиях, все разбредались кто куда. Я, например, в ясные дни обычно бродил по живописным окрестностям, а в дождливые забирался куда-нибудь в сухое место и читал, зачастую как раз на таком расстоянии от стола для пинг-понга, откуда можно было хватить его топором.

Наши занятия, длившиеся три недели, закончились в субботу, очень дождливую. В семь часов вечера вся наша группа выезжала поездом в Лондон, где нас, по слухам, должны были распределить по пехотным и парашютно-десантным дивизиям, готовившимся к высадке на континент. В три часа дня я сложил в вещевого мешок все свои пожитки, включая брезентовую сумку от противогаза, набитую книгами, которые я привез

из-за океана (противогаз я вышвырнул в иллюминатор на «Мавритании» еще с месяц тому назад, прекрасно понимая, что если враг когда-нибудь в самом деле применит газы, я все равно не успею нацепить эту чертову маску вовремя). Я помню, что очень долго стоял у последнего окна в нашей казарме и смотрел на скучный косой дождь, не ощущая решительно никакой воинственности. Позади слышалось недружное чирканье множества авторучек по многочисленным бланкам для микрофотописем.

Внезапно, без всякой определенной цели, я отошел от окна, надел дождевик, кашемировый шарф, галоши, теплые перчатки и пилотку (я надевал ее не как положено, а по-своему, слегка надвигая на оба уха,— мне и сейчас еще об этом напоминают), затем, свернув свои ручные часы с часами в уборной, я стал спускаться с холма по залитой дождем мощеной дороге, которая вела в город. На молнии, сверкавшие со всех сторон, я не обращал внимания. Либо уж на какой-нибудь из них стоит твой номер, либо нет.

В центре города, где было, пожалуй, мокрее всего, я остановился перед церковью и стал читать вывешенные на доске объявления — главным образом потому, что четкие цифры, белые на черном, привлекли мое внимание, а еще и потому, что после трех лет пребывания в армии я пристрастился к чтению объявлений. В тринадцать — говорилось в одном из них — состоится спевка детского хора. Я посмотрел на свои часы, потом снова на объявление. К нему был подклеен листок с фамилиями детей, которые должны явиться на спевку. Я стоял под дождем, пока не прочитал все фамилии, потом вошел в церковь.

На скамьях сидело человек десять взрослых, некоторые из них держали на коленях маленькие галошки, подошвами вверх. Я прошел вперед и сел в первом ряду. На возвышении, на деревянных откидных стульях, тесно сдвинутых в три ряда, сидело около двадцати детей, большей частью девочек, в возрасте от семи до тринадцати лет. Как раз в этот момент руководительница хора, могучего телосложения женщина в твидовом костюме, наставляла их, чтобы они пошире открывали рты, когда поют. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, спрашивала она, чтобы крошечная птичка решилась спеть свою прелестную песенку, не раскрыв своего крошечного клювика широко-широко-широко? Такого, по-видимому, никто никогда не слышал. Дети смотрели на нее непроницаемым взглядом. Потом она сказала, что хочет, чтобы каждый из ее деток понимал смысл слов, которые поет, а не просто произносил их, как попка-дурак. Тут она дунула в дудку, и дети, словно команда малолетних шангистов, подняли свои псалтыри.

Они пели без всякого музыкального сопровождения, или, как правильнее было бы выразиться в данном случае, без всякой помехи. Голоса их звучали мелодично, без малейшей сентиментальности, и человек, более склонный к религиозным чувствам, чем я, мог бы без особого напряжения испытать душевный подъем. Правда, двое самых маленьких все время чуть-чуть отставали, но получалось у них это так, что разве только мамаша композитора могла бы придираться. Гимна этого я никогда раньше не слышал, однако меня не оставляла надежда, что в нем будет стихов двенадцать, а то и больше. Слушая пение, я всматривался во все детские лица, но одно из них — лицо моей ближайшей соседки, сидевшей на крайнем стуле в первом ряду, — особенно привлекло мое внимание. Это была девочка лет тринадцати с прямыми пепельными волосами, едва покрывавшими уши, прекрасным лбом и холодноватыми, оценивающими глазами — такие глаза, решил я, могли бы глядеть в щелку занавеса в зрительный зал, подсчитывая, сколько в нем собралось народу. Голос ее явственно выделялся из всех остальных — и не только

потому, что она сидела ко мне ближе, чем другие. Самый высокий и чистый, самый мелодичный, самый уверенный, он естественно вел за собой весь хор. Но юной леди, по-видимому, слегка прискучило ее дарование, а может быть, ей просто было скучно сейчас, в церкви. Я видел, как в перерывах между стихами она дважды зевнула. Зевок был благовоспитанный, с закрытым ртом, но все-таки его можно было заметить: подрагивание ноздрей выдавало ее.

Как только гимн кончился, руководительница хора начала пространно высказываться о людях, которые во время проповеди не могут держать ноги на месте, а язык за зубами. Из этого я заключил, что спевка закончена, и, не дожидаясь, пока голос регентши, прозвучавший неприятным диссонансом, полностью нарушит очарование детского пения, я поднялся и вышел из церкви.

Дождь лил пуше прежнего. Я пошел по улице и заглянул в окно солдатского клуба Красного Креста, но внутри, у стойки, где отпускали кофе, люди стояли в два-три ряда, и даже через стекло было слышно, как пощелкивают в задней комнате шарики пинг-понга. Перейдя улицу, я вошел в обычное кафе. Там не было ни души, кроме пожилой официантки, по виду которой сразу можно было сказать, что она предпочла бы клиента в сухом дождевике. Я подошел к вешалке и разделся, стараясь действовать как можно деликатнее, потом сел за столик и заказал себе чаю и гренок с корицей. Это были первые слова, произнесенные мной за весь день. Затем я обшарил все карманы, заглянул даже в дождевик и нашел наконец два завалывшихся письма, которые можно было перечитать: одно от жены — о том, как плохо стали обслуживать в кафетерии Шрафта на Восемьдесят восьмой улице, а другое от тещи — чтобы я был так добр и прислал ей немного кашемировой шерсти для вязанья, как только мне представится возможность отлучиться из «лагеря».

Я еще не допил первой чашки, когда в кафе вошла та самая юная леди, которую я только что разглядывал и слушал в церкви. Волосы у нее были совершенно мокрые, и из-под них торчали кончики ушей. С ней был совсем маленький мальчуган, явно ее брат. Она сняла с него шапку, подняв ее двумя пальцами, словно объект для лабораторного исследования. Шествие замыкала энергичного вида женщина в фетровой шляпе, по-видимому, гувернантка. Юная леди из хора, снимая на ходу пальто, выбрала столик, на мой взгляд, весьма удачно: всего в каких-нибудь восьми — десяти шагах от моего, прямо у меня перед глазами. Девочка и гувернантка сели, но малыш — ему было лет пять — садиться не собирался. Он выскользнул из матросской курточки и сбросил ее, после чего с невозмутимым видом прирожденного мучителя принялся методически изводить гувернантку: то выдвигал свой стул, то снова его задвигал и при этом не сводил с нее глаз. Гувернантка раза два-три сказала ему приглушенным голосом, чтобы он сел и прекратил наконец свои фокусы, но только когда к нему обратилась сестра, он обошел свой стул и разлегся на сиденье. Но тут же схватил салфетку и положил ее себе на голову. Сестра сняла салфетку, расправила ее и разостлала у него на коленях.

К тому времени, когда им принесли чай, девочка из хора успела заметить, что я рассматриваю их компанию. Она тоже пристально посмотрела на меня своими оценивающими глазами, потом вдруг улыбнулась мне осторожной полуулыбкой, как ни странно, радужной и ясной, — это бывает иной раз с такими осторожными полуулыбками. Я улыбнулся в ответ, но далеко не так радужно и ясно, стараясь не поднимать верхней губы, чтобы не открылась угольно-черная солдатская пломба между передними зубами. Не успел я опомниться, как юная леди уже стояла око-

ло моего столика, держась с завидной уверенностью. На ней было платье из яркой шерстяной шотландки (по-моему, это были цвета клана Кэмпбеллов¹), и я нашел, что это чудесный наряд для очень молодой девушки в такой дождливый-дождливый день.

— А я думала, американцы презирают чай,— сказала она.

В этих словах не было развязной бесцеремонности; скорее в них чувствовалась любовь к точности, к статистическим данным. Я ответил, что некоторые американцы ничего не пьют, кроме чая. Потом спросил, не присядет ли она за мой столик.

— Благодарю вас,— сказала она.— Пожалуй, но только на полсекунды.

Я встал и выдвинул для нее стул — тот, что стоял напротив моего; и она села на самый краешек, держась очень прямо — это получалось у нее естественно и красиво. Я пошел, вернее бросился, к своему стулу, горя желанием поддержать разговор. Но, сев на место, никак не мог придумать, что мне сказать. Я снова улыбнулся, стараясь прикрывать угольно-черную пломбу. Наконец я сообщил, что погода сегодня просто ужасная.

— О да,— ответила моя гостья таким тоном, который ясно показывал, что она терпеть не может пустых разговоров. Она положила пальцы на край стола, вытянув их, словно на спиритическом сеансе, но почти тотчас же спрятала их, прижав к ладоням,— ногти у нее были обкусаны до самого мяса.

На руке у нее я увидел часы военного образца, напоминавшие штурманский хронометр. Циферблат их казался непомерно большим на ее тоненьком запястье.

— Вы были на севке,— сказала она деловито,— я вас видела.

Я ответил, что действительно был и что голос ее выделялся из остальных. Я сказал, что, по-моему, у нее очень красивый голос.

Она кивнула.

— Я знаю. Я собираюсь стать профессиональной певицей.

— Вот как? Оперной?

— Боже, нет, конечно. Я буду выступать с джазом по радио и зарабатывать кучу денег. Потом, когда мне исполнится тридцать, я все брошу и уеду в Огайо, буду жить на ранчо.— Она потрогала ладонью макушку: волосы у нее были совершенно мокрые.— Вы знаете Огайо? — спросила она.

Я ответил, что несколько раз проезжал там поездом, но, по сути дела, тех краев не знаю. Потом я предложил ей гренók с корицей.

— Нет, благодарю,— сказала она.— Я ем, как птичка, знаете ли.

Тогда я сам откусил кусочек гренка, после чего сказал ей, что вокруг Огайо попадаются совсем дикие места.

— Я знаю. Мне один американец говорил. Вы уже одиннадцатый американец, которого я встречаю.

Гувернантка усиленно подавала ей знаки, чтобы она вернулась к своему столику и перестала наконец надоедать человеку. Но моя гостья преспокойно подвинула стул на несколько дюймов, так что оказалась спиной к своему столику, устранив этим всякую возможность дальнейшей сигнализации оттуда.

— Вы ходите в эту секретную школу для разведчиков — там, на пригорке, да? — холодно осведомилась она.

¹ В старину каждый из шотландских кланов носил клетчатую материю своей особой расцветки. (Примеч. перев.)

Так же памятуя о бдительности, как и всякий другой, я ответил, что приехал в Девоншир на поправку.

— Вот как,— сказала она,— я, знаете ли, не вчера родилась.

Я сказал, что, ясное дело, не вчера — могу за это поручиться. Некоторое время я молча пил чай. Мне вдруг стало казаться, что сижу я как-то не так. Я выпрямился.

— А вы кажетесь довольно интеллигентным для американца,— задумчиво произнесла моя гостья.

Я ответил, что говорить подобные вещи, если даже так и думаешь,— порядочный снобизм и что, по-моему, это ее недостойно.

Она вспыхнула, и мне сразу передалась ее спокойная уверенность, которой мне раньше так не хватало.

— Да, но большинство американцев, которых я видела, ведут себя, как скоты,— сказала она.— Вечно толкают друг друга, всех оскорбляют и даже... знаете, что один из них проделал?

Я покачал головой.

— Швырнул пустую бутылку из-под виски моей тете в окно. К счастью, окно было открыто, но как вы считаете, это очень интеллигентный поступок?

Я считал, что не очень, но умолчал об этом. Я сказал, что многие солдаты во всех странах мира оторваны от родного дома и у большинства из них в жизни мало хорошего. Мне казалось, добавил я, что многие люди могли бы и сами это сообразить.

— Возможно,— ответила моя гостья без особого убеждения. Она снова потрогала рукой влажные волосы и, взяв несколько намокших светлых прядей, переложила их так, чтобы прикрыть уши.— Волосы у меня совсем мокрые,— сказала она.— Я сущее пугало.— Она быстро на меня посмотрела.— Вообще-то волосы у меня довольно волнистые, когда они сухие.

— Я вижу, вижу, что волнистые.

— Нельзя сказать, чтобы они были кудрявые, но вообще-то довольно волнистые,— сказала она.— А вы женаты?

Я ответил, что женат.

Она кивнула.

— Вы очень любите свою жену? Или это вопрос чересчур личный?

Я ответил, что, когда будет чересчур, я сам скажу. Она снова положила руки на стол, и я помню, что мне захотелось что-нибудь сделать с огромными часами, которые красовались у нее на запястье,— посоветовать ей, чтобы она носила их вокруг талии, что ли.

— Вообще-то мне не так уж свойственно чувство стадности,— сказала она и бросила на меня быстрый взгляд, проверяя, знаю ли я смысл этого слова. Однако я ничем не дал понять, так это или не так.— Я подошла к вам исключительно потому, что вы показались мне чрезвычайно одиноким. У вас чрезвычайно выразительное лицо.

Я сказал, что она права, я и в самом деле чувствовал себя одиноким и очень рад, что она подошла ко мне.

— Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура,— сказала она и снова потрогала макушку.— Я живу с тетей. Она чрезвычайно мягкая натура. После смерти мамы она делает все, что только в ее силах, чтобы мы с Чарльзом приспособились к новому окружению.

— Рад это слышать.

— Мама была чрезвычайно интеллигентный человек и довольно страстная натура во многих отношениях.— Она посмотрела на меня с обостренным вниманием.— А как вы находите, я страшно холодная?

Я сказал, что вовсе нет,— по правде говоря, совсем наоборот. Потом назвал себя и спросил, как ее зовут.

Она помедлила с ответом.

— Меня зовут Эсме. Фамилию свою я, пожалуй, пока не скажу. Дело в том, что я ношу титул, а может быть, на вас титулы производят впечатление. С американцами, знаете ли, такое случается.

Я ответил, что со мной такое вряд ли случится, но, пожалуй, это мысль — пока пусть своего титула не называет.

Тут я почувствовал сзади на шее чье-то теплое дыхание. Я повернулся, и мы чуть было не стукнулись носами с маленьким братом Эсме. Не удастаяв меня внимания, он обратился к сестре, проговорив тонким, пронзительным голоском:

— Мисс Мегли сказала — иди допей чай! — Выполнив свою миссию, он уселся на стул между сестренкой и мной, по правую руку от меня. Я принялся разглядывать его с большим интересом. Он был просто великолепен — в коротких штанишках из коричневой шотландской шерсти, в синей фуфайке и в белой рубашке с полосатым галстучком. Он тоже смотрел на меня восторженными своими огромными зелеными глазами.

— Почему в кино люди целуются боком? — спросил он решительно.

— Боком? — повторил я. Эта проблема мучила и меня в дни моего детства. Я сказал, что, наверное, у актеров очень большие носы, вот они и не могут целоваться прямо.

— Его зовут Чарльз, — сказала Эсме. — Он чрезвычайно сообразителен для своего возраста.

— А вот глаза у него, безусловно, зеленые. Верно, Чарльз?

Чарльз бросил на меня тусклый взгляд, какого заслуживал мой вопрос, и стал медленно сползать со стула, пока не очутился под столом. Наверху осталась только его голова, и, закинув ее, словно делал «мостик», он лег затылком на сиденье стула.

— Они оранжевые, — проговорил он в нос, обращаясь к потолку. Потом поднял угол скатерти и закрыл им свою красивую непроницаемую рожицу.

— Иногда он очень сообразителен, а иногда не очень, — сказала Эсме. — Чарльз, а ну-ка сядь!

Чарльз не шевельнулся. Казалось, он даже затаил дыхание.

— Он очень скучаег по нашему отцу. Отец погиб в Северной Африке.

Я сказал, что мне очень жаль это слышать.

Эсме кивнула.

— Отец его обожал. — Она задумчиво стала покусывать заусеницу. — Он очень похож на маму, я хочу сказать — Чарльз. А я — вылитый отец. — Она снова стала покусывать заусеницу. — Мама была довольно страстная натура. Она была человек экспансивный. А отец был человек замкнутый, склонный к рефлексии. Впрочем, они вполне подходили друг к другу — если судить поверхностно. Но, говоря вполне откровенно, отцу, конечно, нужна была более интеллектуальная спутница, чем мама. Он был чрезвычайно одаренный гений.

Весь обратившись в слух, я ждал дальнейшей информации, но ее не последовало. Я взглянул вниз, на Чарльза, — теперь он положил щеку на сиденье стула. Заметив, что я смотрю на него, он закрыл глаза с самым сонным ангельским видом, потом высунул язык — поразительно длинный — и издал громкий фыркающий звук, который у меня на родине послужил бы славной наградой ротозею судье на бейсбольном матче. В кафе просто стены затряслись.

— Прекрати, — сказала Эсме, на которую это явно не произвело впечатления. — При нем один американец проделал такую вещь в очереди за жареной рыбой и картошкой, и теперь он тоже это устраивает, как

только ему станет скучно. Прекрати сейчас же, а то отправишься прямо к мисс Мегли.

Чарльз открыл свои огромные глаза в знак того, что угроза сестры дошла до него, но в остальном не проявил особого беспокойства. Он снова закрыл глаза, продолжая прижиматься щекой к сиденью стула.

Я заметил, что ему, пожалуй, следует приберечь этот трюк — я имел в виду способ выражения чувств, принятый в Бронксе, — до той поры, когда он станет носить свой титул постоянно. Если, конечно, у него тоже есть титул.

Эсме посмотрела на меня долгим, пристальным взглядом, слегка напоявнив мне врача, ставящего диагноз.

— Такой юмор, как у вас, называется бесстрастным, не так ли? — сказала она, и это прозвучало грустно. — Отец говорил, что у меня совсем нет чувства юмора. Он говорил, что я не приспособлена к жизни из-за того, что у меня нет чувства юмора.

Продолжая наблюдать за ней, я закурил сигарету и сказал, что, когда попадаешь в настоящую переделку, от чувства юмора, на мой взгляд, нет никакого прока.

— А отец говорил, что есть.

Это было не возражение, а символ веры, и я поспешил перестроиться. Кивнув в знак согласия, я сказал, что отец ее, по-видимому, говорил это в широком смысле слова, а я в узком (как это следовало понимать — неизвестно).

— Чарльз скучает по нем невероятно, — сказала Эсме после короткой паузы. — Он был невероятно милый человек. И необыкновенно красивый. Не то что бы внешность имела большое значение, но все-таки он был необыкновенно красивый. У него был необычайно пронзительный взгляд для человека с такой изначально присущей добротой.

Я кивнул. Должно быть, сказал я, у отца ее был весьма необычный язык.

— О да, весьма, — сказала Эсме. — Он был архивист — любитель, конечно.

Тут я почувствовал настойчивый шлепок, вернее даже удар по плечу, с той стороны, где находился Чарльз. Я повернулся к нему. Теперь он сидел на стуле почти в нормальной позе, только ногу поджал.

— А что говорит одна стенка другой стенке? — нетерпеливо спросил он. — Это такая загадка.

Я задумчиво поднял глаза к потолку и повторил вопрос вслух. Потом с растерянным видом взглянул на Чарльза и сказал, что сдаюсь.

— Встретимся на углу! — выпалил он торжествуяще.

Больше всего ответ развеселил самого Чарльза. Он чуть не задохнулся от смеха. Эсме даже пришлось подойти к нему и похлопать его по спине, как во время приступа кашля.

— Ну-ка, прекрати, — сказала она. Потом вернулась на свое место. — Он всем задает одну и ту же загадку и каждый раз вот так закатывается. А когда хохочет, то непременно пускает слюни. Ну, довольно! Прекрати, пожалуйста.

— А кстати, это одна из лучших загадок, какие я слышал, — сказал я, поглядывая на Чарльза, который очень медленно приходил в нормальное состояние.

В ответ на мой комплимент он совсем сполз на сиденье стула и до самых глаз закрыл лицо уголком скатерти. Потом взглянул на меня поверх скатерти — в глазах его светились медленно угасавшее веселье и гордость человека, знающего парочку стоящих загадок.

— Могу я осведомиться, чем вы занимались до того, как пошли в армию? — спросила Эсме.

Я ответил, что ничем не занимался, что только за год перед тем окончил колледж, но мне хотелось бы считать себя профессиональным писателем-новеллистом.

Она вежливо кивнула.

— Печатались? — спросила она.

Вопрос обычный, но, как всегда, щекотливый, и так вот, сразу, на него не ответишь. Я стал было объяснять, что большинство редакторов в Америке — просто свора...

— А мой отец писал превосходно,— перебила меня Эсме.— Я сохраняю многие его письма для потомства.

Я сказал, что это прекрасная мысль. Тут мне снова бросились в глаза ее огромные часы, напоминавшие хронометр. Я спросил, не принадлежали ли они ее отцу. Эсме серьезно и сосредоточенно посмотрела на свое запястье.

— Да,— ответила она.— Он дал их мне как раз перед тем, как нас с Чарльзом эвакуировали.— Неожиданно застеснявшись, она убрала руки со стола.— Разумеется, просто в качестве сувенира,— сказала она и тут же переменяла тему.— Я буду чрезвычайно польщена, если вы когда-нибудь напишете рассказ специально для меня. Я страстная любительница чтения.

Я ответил, что напишу непременно, если только сумею. Но что вообще-то я не бог весть как плодовит.

— А вовсе не обязательно быть бог весть каким плодовитым. Лишь бы рассказ не получился детским и глупеньким.— Она задумалась.— Я предпочитаю рассказы, где говорится про убожество.

— Про что? — спросил я, подаваясь вперед.

— Про убожество. Меня чрезвычайно интересует проблема убожества.

Я собирался расспросить ее поподробнее, но тут Чарльз ушипнул меня за руку, и очень сильно. Я повернулся к нему, слегка поморщившись. Он стоял совсем рядом.

— А что говорит одна стенка другой стенке? — снова задал он вопрос, не очень для меня новый.

— Ты его уже спрашивал,— сказала Эсме.— Ну-ка, прекрати!

Не обращая на сестру никакого внимания, Чарльз вскарабкался мне на ногу и повторил свой коронный вопрос. Я заметил, что узел его галстучка сбился на сторону. Я водворил его на место, потом взглянул Чарльзу прямо в глаза и сказал:

— Встретимся на углу?

Не успел я произнести эти слова, как тут же пожалел о них. Рот у Чарльза широко раскрылся. У меня было такое чувство, будто это я раскрыл его сильным ударом. Он слез с моей ноги и с видом человека, чьей гордости нанесен смертельный удар, зашагал к своему столику, даже не оглянувшись.

— Он в ярости,— сказала Эсме.— Невероятно вспыльчивый характер. У мамы была тенденция его баловать. Отец был единственный, кто его не портил.

Я продолжал наблюдать за Чарльзом. Он уселся за свой столик и стал пить чай, держа чашку обеими руками. Я ждал, что он обернется, но напрасно.

Эсме поднялась.

— Il faut que je parte aussi¹,— сказала она, вздыхая.— Вы знаете французский?

Я тоже встал — со смешанным чувством печали и смущения. Мы с

¹ Надо и мне идти (франц.).

Эсме пожали друг другу руки. Как я и ожидал, рука у нее была нервная, влажная. Я сказал ей — по-английски, — что общество ее доставило мне большое удовольствие.

Она кивнула.

— Полагаю, что так оно и было, — сказала она. — Я довольно общительная для своего возраста. — Тут она снова коснулась рукой головы, проверяя, высохли ли волосы. — Ужасно жаль, что у меня такое с волосами. Мой вид, должно быть, внушает отвращение.

— Вовсе нет! Если на то пошло, волосы уже опять волнистые.

Быстрым движением она снова коснулась головы.

— Как вы полагаете, окажетесь вы здесь снова в ближайшем будущем? — спросила она. — Мы бываем здесь каждую субботу, после спевки.

Я ответил, что это было бы самым большим моим желанием, но, к сожалению, я твердо знаю, что больше мне прийти не удастся.

— Иными словами, вы не вправе дискутировать о переброске войск, — сказала Эсме, но не сделала никакого движения, которое говорило бы о ее намерении отойти от столика.

Она стояла, переплетя ноги, и глядела на пол, стараясь выровнять носки туфель. Это получалось у нее красиво — она была в белых носках, и на ее стройные щиколотки и икры приятно было смотреть. Внезапно Эсме взглянула на меня.

— Вы хотели бы, чтобы я вам писала? — спросила она, слегка покраснев. — Я пишу весьма вразумительные письма для человека моего...

— Я был бы очень рад. — Я вынул карандаш и бумагу и написал свою фамилию, звание, личный номер и номер моей полевой почты.

— Я напишу вам первая, — сказала она, взяв листок, — чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя скомпрометированным. — Она положила бумажку с адресом в карман платья. — До свидания, — сказала она и направилась к своему столику.

Я заказал еще чаю и сидел, продолжая наблюдать за ними до тех пор, пока оба они и замученная вконец мисс Мегли не поднялись, чтобы уйти. Чарльз возглавлял шествие — он хромал с трагическим видом, как будто у него одна нога на несколько дюймов короче другой. В мою сторону он даже не посмотрел. За ним шла мисс Мегли, а последней Эсме — она махнула мне рукой. Я помахал ей в ответ, приподнявшись со стула. Странное волнение охватило меня.

* * *

Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарльза за рукав курточки.

— Чарльз хочет поцеловать вас на прощание, — объявила она.

Я сразу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но в полнели она уверена?

— Вполне, — ответила Эсме несколько мрачно. Она выпустила рукав Чарльза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и вlepил мне звучный мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжелое испытание, он сделал было шаг к двери и к иной жизни, где обходятся без таких сантиментов, но я поймал его за хлястик куртки и, крепко за него ухватившись, спросил:

— А что говорит одна стенка другой стенке?

Лицо его просветлело.

— Встретимся на углу! — выкрикнул он и опрометью бросился за дверь — видимо, в диком возбуждении.

Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги.

— А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня этот

рассказ? — спросила она. — Не обязательно, чтобы он был специально для меня. Пусть даже...

Я сказал, что не забуду ни в коем случае — это совершенно исключено. Что я никогда еще не писал рассказа специально для кого-нибудь, но что сейчас, пожалуй, самое время этим заняться.

Она кивнула.

— Пусть он будет чрезвычайно трогательный и убогий, — попросила она. — Вы вообще-то имеете достаточное представление об убожестве?

Я сказал, что не так чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ним сталкиваться — в той или иной форме, — и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки.

— Как жаль, что нам не довелось встретиться при менее тягостных обстоятельствах, не правда ли?

Я сказал, что, конечно, очень жаль.

— До свидания, — сказала Эсме. — Надеюсь, вы вернетесь с войны невредимым и сохраните способность функционировать нормально.

Я поблагодарил ее и сказал еще несколько слов, а потом стал смотреть, как она выходит из кафе. Она шла медленно, задумчиво, проверяя на ходу, высохли ли кончики волос.

* * *

Такова убогая — она же трогательная — часть этого рассказа. Дальше декорации меняются. Меняются и действующие лица. Я по-прежнему остаюсь в их числе, но по причинам, которые открыть не волен, я замаскировался, притом так хитроумно, что даже самому догадливому читателю меня не распознать.

Это было в Гауфурте, в Баварии, примерно в половине одиннадцатого вечера, через несколько недель после Дня победы над Германией. Старший сержант Икс сидел в своей комнате, на втором этаже частного дома, куда он вместе с девятью другими американскими солдатами и унтер-офицерами был назначен на постой еще до заключения перемирия. Примостившись на складном деревянном стуле у захлапленного письменного столика, он держал перед собой раскрытый роман в бумажной обложке и пытался читать, но дело не ладилось. Впрочем, неладно было с ним самим, а не с романом. Правда, книги, ежемесячно приходившие из Отдела специального обслуживания¹, прежде всего попадали в руки солдатам с нижнего этажа, но на долю Икса, видимо, досталась книжка, которую он выбрал бы и сам. Однако этот молодой человек, пройдя через войну, не сохранил способности «функционировать нормально», и потому он больше часа перечитывал по три раза каждый абзац, а теперь стал проделывать то же самое с каждой фразой. Он на мгновение прикрыл глаза рукой, заслоняя их от резкого, слепящего, холодного света голый электрической лампы, висевшей над столом.

Затем вынул сигарету из лежащей на столе пачки и с трудом закурил ее — пальцы его тряслись, то и дело легонько стучаясь друг о друга. Сев чуть поглубже, он затаился, совершенно не чувствуя вкуса дыма. Уже много недель он дымил беспрерывно, закуривая одну сигарету от другой. Десны его кровоточили, стоило прикоснуться к ним кончиком языка, и он без конца повторял этот опыт: это уже превратилось в своего рода игру, и он иногда занимался ею чуть не по часу. Так

¹ Отдел организации отдыха, культурных развлечений и общеобразовательной подготовки американской армии. (Примеч. перев.).

сидел он минуту-другую — курил и проделывал все тот же опыт. Потом внезапно и, как всегда, без предупреждения его охватило привычное чувство — будто мозг его сдвинулся с места и перекачивается из стороны в сторону, как чемодан на пустой верхней полке вагона. Он сразу прибег к тому средству, которое уже много недель помогало ему водворить мир на место, — стиснул виски ладонями и с силой сжимал их несколько секунд. Он оброс, волосы у него были грязные. Он мыл их раза три-четыре в госпитале, во Франкфурте-на-Майне, где он пролежал две недели, но на обратном пути в Гауфурт за время длинной поездки в пропыленном джипе они загрязнились снова. Капрал Z, забравший его из госпиталя, по-прежнему гонял на своем джипе на фронтовой лад — опустив ветровое стекло на капот, а есть перемирие или нет — дело десятое. В Германию были переброшены тысячи новобранцев, и, разъезжая на своем джипе по-фронтовому, с опущенным ветровым стеклом, капрал Z желал показать, что он-то не из таковских, он не какой-нибудь там дерьмовый новичок на европейском театре военных действий.

Перестав наконец сжимать виски, Икс долго смотрел на письменный стол, где навалом лежало десятка два нераспечатанных писем и штук пять-шесть нераскрытых посылок — все на его имя. Протянув руку над этой свалкой, он достал прислоненный к стене томик. Принадлежал он тридцативосьмилетней незамужней дочери хозяев дома, живших здесь всего несколько недель тому назад. Эта женщина занимала какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту. Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал ее книгу и перечитывал краткую надпись на первой странице. Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами было написано по-немецки пять слов: «Боже милостивый, жизнь — это ад». Больше там ничего не было сказано — ни сверху, ни снизу. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинения, классической инвективы. Икс вглядывался в них несколько минут, стараясь им не поддаваться, а это было очень трудно. Затем взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал ни в одно дело, приписал внизу по-английски: «Отцы и учителя, мысля: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Он начал выводить под этими словами имя Достоевского, но вдруг увидел — и страх волной пробежал по всему его телу, — что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Тогда он захлопнул книгу.

Потом схватил со стола первое, что попало под руку, — это было письмо от его старшего брата из Олбэни. Оно лежало на столе еще до того, как он уехал в госпиталь. Икс вскрыл конверт и вяло приготовился прочесть все письмо целиком, но прочитал лишь верхний кусок первой страницы. Он остановился после слов: «...раз проклятущая война уже кончилась и теперь у тебя, наверно, времени вагон — так как насчет того, чтобы прислать ребятишкам парочку штыков или свастика...» Икс разорвал письмо и взглянул в корзину на его обрывки. Только тут он обнаружил, что в письмо был вложен любительский снимок, которого он не заметил раньше. Еще и сейчас можно было разглядеть чью-то ногу, стоящую на какой-то лужайке.

Он положил руки на стол и опустил на них голову. Болело все, с головы до ног, и казалось, что все зоны боли связаны между собой. Совсем как лампочки на рождественской елке: соединенные общим проводом, они гаснут все разом, стоит испортиться одной.

* * *

Дверь с шумом распахнулась, хотя никто не постучал. Икс поднял голову, повернул ее и увидел капрала Z, стоящего в дверях. Капрал Z был его напарником по джипу и постоянным спутником во всех пяти военных кампаниях, с первого дня высадки на континент. Он жил внизу, а наверх, к Иксу, обычно поднимался затем, чтобы выложить новости или повозмущаться. Это был здоровенный, фотогеничного вида детина лет двадцати четырех. Во время войны его сфотографировали в Хюртгенском лесу для одного из американских журналов; позировал он с величайшей охотой, держа в каждой руке по индейке, присланной ко Дню благодарения.

— Что, письмишки пишешь? — обратился он к Иксу. — Ну и темно-тища тут, черт подери! — Входя в комнату, Z обычно предпочитал, чтобы был включен верхний свет.

Икс повернулся к нему и попросил войти — только осторожнее, чтобы не наступить на собаку.

— На кого?

— На Элвина. Он у тебя прямо под ногами, Клей. Зажег бы ты свет, к чертям собачьим, что ли!

Клей нащупал выключатель, щелкнул им, потом прошел через маленькую комнатушку — размером с каморку для прислуги — и сел на краю постели, лицом к Иксу. С его тщательно расчесанных кирпично-красных волос еще стекали капли — он не пожалел воды, чтобы хорошенько прилизать свою шевелюру. Из правого нагрудного кармана серовато-зеленой гимнастерки привычно торчали гребешок и зажим авторучки. Над левым карманом красовался значок пехотинца — участника боевых действий (хотя фактически носить его было ему не положено), нашивка за участие в операциях на европейском фронте с пятью бронзовыми звездочками (вместо одной серебряной, заменявшей пять бронзовых) и знак отличия, полученный еще до Пирл-Харбор.

— Чтoб тебя разорвало! — проговорил он с тяжким вздохом. Это не означало ровно ничего — армия! Потом он вынул из кармана гимнастерки пачку сигарет, вытряхнул одну, снова водворил пачку на место и застегнул клапан кармана на пуговицу. Пуская дым, он обводил комнату бессмысленным взглядом. Наконец глаза его остановились на приемнике.

— Эй, — сказал он, — через пару минут по радио колоссальное обозрение. Боб Хоуп и еще там всякие.

Открыв новую пачку сигарет, Икс ответил, что только что выключил радио.

Ничуть не обескураженный, Клей стал с интересом наблюдать за тем, как Икс пытается закурить.

— Ух, черт, — сказал он с азартом болельщика, — посмотрел бы ты на свои дурацкие лапы. Ну и трясушка у тебя, черт подери. Да ты сам-то знаешь?

Иксу удалось наконец закурить сигарету; он кивнул и сказал, что Клей, конечно, здорово все подмечает.

— Эй, кроме шуток. Я чуть не сомлел, к чертям, когда увидел тебя в госпитале. Лежит — мертвец мертвецом, черт тебя подери. Сколько ты весу спустил, а? Сколько фунтов? Ты сам-то знаешь?

— Не знаю. Как ты тут без меня — много писем получил? От Лоретты есть что-нибудь?

Лоретта была девушка Клея. Они собирались пожениться при первой возможности. Она довольно часто писала ему из безмятежного своего мирка тройных восклицательных знаков и скрoспелых суждений.

И всю войну Клей читал Иксу вслух все письма Лоретты, даже самые интимные,— в сущности, чем они были интимнее, тем он охотнее их читал. А прочитав, всякий раз просил Икса то придумать ответ, то его приукрасить, то вставить для пущей важности несколько французских или немецких слов.

— Ага, вчера получил от нее письмо. Оно внизу, у меня в комнате. Потом покажу,— ответил Клей равнодушно. Сидя на краю постели, он вдруг выпрямился, задержал дыхание и звучно, со вкусом, рыгнул. Потом, видимо, не слишком довольный своим достижением, снова развалился в прежней позе.— Этот сукин сын, ее братец, смывается из флота — бедро у него повреждено. Подвезло ему с этим бедром, гаду.— Он снова сел прямо и приготовился рыгнуть, но на сей раз результат получился совсем неважный. Вдруг лицо его выразило некоторое подобие озабоченности.— Эй, пока я не забыл. Завтра встаем в пять и гоним в Гамбург или еще там куда-то. Получать эйзенхауэровские куртки на все подразделение.

Окинув его враждебным взглядом, Икс объявил, что ему лично эйзенхауэровская куртка ни к чему.

Клей посмотрел на него удивленно, даже слегка обиженно.

— Хорошие куртки. И вид у них красивый. Чего это ты?

— Все равно. Зачем нам вставать в пять утра? Война-то кончилась, черт их дер!

— Да я не знаю. Сказано — до обеда вернуться. Пришли какие-то новые бланки, надо их до обеда заполнить. Я спрашивал Буллинга, чего ж он сегодня их не дает заполнять,— они же у него на столе, эти чертовы бланки. Так нет, не желает конверты распечатывать, сукин он сын.

Они помолчали секунду, остро ненавидя Буллинга.

Вдруг Клей взглянул на Икса с новым — повышенным — интересом.

— Эй,— сказал он,— а ты знаешь, что у тебя половина морды дрыгается по всей комнате?

Икс ответил, что знает, и прикрыл рукой одну сторону лица.

Клей разглядывал его еще некоторое время, потом объявил весело и оживленно, словно сообщая невесть какую радостную новость:

— А я написал Лоретте, что у тебя нервное расстройство.

— Да-а?

— Ага. Ее здорово интересуют всякие такие штуки. Она специализируется по психологии.— Клей растянулся на кровати прямо в ботинках.— Знаешь, она что говорит? Так, говорит, не бывает, чтобы нервное расстройство началось ни с того, ни с сего — просто от войны и вообще. Говорит, ты, наверно, всю свою дурацкую жизнь был слабонервный.

Икс прикрыл глаза ладонью — лампа над кроватью ослепляла его — и заметил, что глубина суждений, свойственная Лоретте, неизменно приводит его в восторг.

Клей бросил на него быстрый взгляд.

— Слушай, ты, гад,— сказал он,— уж как-нибудь она понимает в этой самой психологии побольше твоего.

— Может, ты все-таки соизволишь сбросить свои вонючие ножищи с моей постели? — спросил Икс.

Несколько секунд Клей оставался в прежней позе, как бы говоря: «Будешь ты мне еще указывать, куда ноги класть». Потом спустил ноги на пол и сел.

— Мне все равно надо вниз. В комнате Уокера есть приемник,— сказал он. Но с постели почему-то не встал.— Эй, я сейчас рассказывал внизу этому паршивому новичку, Бернстайну. Помнишь, в тот раз при-

ехали мы с тобой в Валонь, и два часа нас обстреливали как проклятых, и тогда эта проклятущая кошка как вскочит на кузов джипа — мы еще лежали в той яме, — я ее и подстрелил, помнишь?

— Помню, только вот что, Клей, не заводи ты опять про эту кошку, ну ее к чертям. Не хочу я больше об этом слышать.

— Да нет, я только хочу сказать, я написал про эту историю Лоретте. Они ее обсуждали всем классом, все эти психологи. На занятиях и все такое. И ихний дурацкий профессор, и все.

— Вот и прекрасно. Но я не желаю об этом слышать, Клей.

— Да нет, знаешь, что говорит Лоретта: почему я пальнул в эту кошку прямо в упор? Говорит, у меня было временное помешательство. Кроме шуток. От обстрела и вообще.

Икс с силой провел растопыренными пальцами по грязным волосам, потом снова заслонил глаза от света.

— Никакое это не помешательство. Просто ты выполнял свой долг. И киску эту убил, как мужчина. При тех обстоятельствах так каждый бы сделал.

Клей подозрительно взглянул на него.

— Что ты мелешь?

— Эта кошка была немецкая шпионка. И ты должен был снять ее метким выстрелом в упор. Это была лилипутка, очень коварная, а для маскировки нацепила манто из кошачьего меха. Так что вовсе тут не было никакого зверства, или жестокости, или там пакости, или еще...

— Черт подери! — сказал Клей, поджимая губы. — Ты хоть когда-нибудь что-нибудь говоришь всерьез?

Икс вдруг почувствовал, что его сейчас стошнит; он быстро повернулся на стуле и схватил мусорную корзинку — как раз вовремя.

Когда он выпрямился и снова взглянул на своего гостя, тот стоял со смущенным видом на полпути между кроватью и дверью. Икс хотел было извиниться, но потом передумал и потянулся за своими сигаретами.

— Эй, пошли вниз, послушаем Хоупа по радио, — сказал Клей, держась на прежней дистанции, но стараясь проявлять оттуда максимум дружелюбия. — Тебе это будет полезно. Честное слово.

— Ты иди, Клей... а я посмотрю тут свою коллекцию марок.

— Вон что! У тебя, значит, коллекция есть? А я и не знал, что ты...

— Да я шучу.

Клей медленно сделал несколько шагов к двери.

— Я потом, может, в Эштадт махну, — сказал он. — Там у них танцулька. Часов до двух, наверно. Поехали, а?

— Нет, спасибо... Я, может, немножко попрактикуюсь тут, в комнате.

— Ну ладно. Пока! Ты того, не расстраивайся, пес с ним. — Дверь с треском захлопнулась, но тут же снова отворилась. — Эй, письмо к Лоретте я положу тебе под дверь, ладно? Я там втиснул кое-чего по-немецки. Так ты уж подправь, а?

— Ладно, а сейчас оставь ты меня в покое, черт подери!

— Ну, факт, — сказал Клей. — Знаешь, что мне мать пишет? Рада, говорит, что мы с тобой вместе всю войну отбарабанили и вообще. В одном джипе и все такое. Говорит, письма у меня стали куда интеллигентнее с тех пор, как мы с тобой действуем на пару.

Икс поднял голову, поглядел на него снизу вверх и сказал, с большим трудом выговаривая слова:

— Спасибо. Поблагодари ее от меня.

— Ладно. Спокойной ночи.

Дверь с треском захлопнулась, теперь уже насовсем.

* * *

Икс долго сидел, глядя на дверь, потом повернулся вместе со стулом к письменному столу и поднял с пола портативную пишущую машинку. Расчищая для нее место на заваленном всяким хламом столе, он толкнул осевшую стопку нераспечатанных посылок и писем. Ему казалось, что если он напишет одному своему старому нью-йоркскому приятелю, то, может быть, ему сразу же полегчает, хотя бы немного. Но он никак не мог правильно вставить бумагу за валик — с такой силой тряслись у него пальцы. Он сделал еще одну попытку, но потом скомкал бумагу в руке.

Икс понимал, что надо вынести корзинку из комнаты, но вместо этого опустил руки на пишущую машинку и, уронив на них голову, снова закрыл глаза.

Прошло несколько минут, наполненных пульсирующей болью, и когда он опять приподнял веки, перед его сощуренными глазами оказалась нераспечатанная посылочка в зеленой бумаге. Должно быть, она соскользнула с груды пакетов, когда он расчищал на столе место для пишущей машинки. Он увидел, что посылку много раз пересылали с места на место. Только на одном ее боку он разобрал по крайней мере три старых номера своей полевой почты.

Он вскрыл посылку без всякого интереса, даже не взглянув на обратный адрес. Просто пережег веревку спичкой. Ему куда интереснее было следить за тем, как бежал по веревке огонек, чем открывать посылку; но в конце концов он все-таки вскрыл ее.

В ящичке, под исписанным чернилами листком, лежал небольшой предмет, завернутый в папиросную бумагу. Он взял листок и прочел:

«7 июня 1944 г.
Девон. ...ская улица, 17.

Дорогой сержант Икс!

Надеюсь, Вы мне простите, что к переписке с Вами я приступаю лишь тридцать восемь дней спустя; но дело в том, что я была чрезвычайно загружена, так как моя тетя заболела стрептококковой ангиной и едва не погибла, и я, естественно, была обременена множеством обязанностей, которые сваливались на меня одна за другой. Однако я часто вспоминаю Вас и тот чрезвычайно приятный отрезок времени, который мы провели в обществе друг друга,—30 апреля 1944 года между 3.45 и 4.15 пополудни (на тот случай, если событие это ускользнуло из Вашей памяти).

Высадка союзников необычайно всех нас взволновала и повергла в благоговейный трепет. Мы возлагаем все надежды на то, что она приведет к скорейшей ликвидации войны и того способа существования, который, мягко выражаясь, можно назвать нелепым. Мы с Чарльзом оба основательно за Вас беспокоимся; хотелось бы надеяться, что Вы не были в числе тех, кто совершил первую высадку на полуостров Котантен, положившую начало кампании. А может быть, были? Пожалуйста, ответьте как можно скорее. Шлю сердечный привет Вашей жене.

Искренне Ваша
Эсме.

Р. S. Я беру на себя смелость послать Вам вместе с этим письмом свои часы — пусть они остаются в Вашем владении на всем протяжении конфликта. Во время нашего непродолжительного общения с Вами я не заметила, были ли у Вас на руке часы, но эти чрезвычайно удобны,—

они не боятся воды и сотрясений, а также обладают рядом других достоинств, в частности. по ним можно, при желании, определить скорость передвижения при ходьбе. Я вполне уверена, что в эти трудные дни они принесут Вам больше пользы, чем мне, и что Вы согласитесь взять их на счастье, как талисман.

Чарльз, которого я учу читать и писать и который показал себя чрезвычайно понятливым для начинающего, хочет прибавить от себя несколько слов.

ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО
ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО

Пожалуйста, напишите, как только у Вас будет время и склонность».

Прошло много времени, прежде чем Икс нашел в себе силы отложить письмо, а тем более — вынуть из ящичка часы, принадлежавшие отцу Эсме. Когда же он наконец их вынул, то обнаружил, что стекло треснуло при пересылке. Он с тревогой подумал о том, нет ли там еще каких-нибудь повреждений, но завести их и проверить у него не хватило духу. И опять он долго сидел без движения, держа часы в руке. Потом, внезапно, как ощущение счастья, пришла блаженная сонливость.

Перед тобою, Эсме, сонный-сонный человек, и у такого без условно есть шанс вновь обрести способность функ-ф-у-н-к-ц-и-о-н-и-р-о-в-а-т-ь нормально.

Перевела с английского С. Митина.



СТИХИ ПОЭТОВ ГАНЫ

Ниже мы печатаем стихи поэтов Ганы.

Эндрью Аманква Опоку родился в 1912 году. Его поэма «Афрам» (печатается с сокращениями) несет в себе черты явной преемственности от эпических народных сказаний. Написанная еще до завоевания страной независимости, она славит народ. Священная река Афрам является как бы символом вечного движения, вечного стремления народа вперед, которого никому не сдержать. Как и река, народ идет трудным, долгим, но великим путем.

Джозеф Гхарту — автор стихотворения «Харматтан» — родился в 1911 году. Его перу принадлежат пьесы и стихи на языке фанти.

Фрэнк Паркс — один из самых молодых поэтов Ганы. Родился в 1932 году. Его стихотворение «Африканский рай» построено на ритмах африканских барабанов — там-тамов.

ЭНДРЬЮ АМАНКВА ОПОКУ

★

АФРАМ

Я река... Я в движеньи...
Зовут меня Красной рекой, в горах начало мое.
Обращенная к морю лицом,
В Квафóроамоа я рождена
В незапамятной дали времен создателя Одоманкóмы.
Не первый день я иду,
А все еще длится путь.
Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
Красной рекой по красной земле разлилась.
Извиваясь змеей,
Я бегу по песку,
Я бегу по камням.
Не сдержать никому этот бег.
Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
В движеньи поток поселенцев.
Леса же мои — на другом берегу.
Переправы боишься? Так строй свою ферму в низине.
От вас охраняю лагуны, притоки свои.
Переправы боишься? Питайся травой:
Не поймать тебе рыбы, разве что высохнут воды мои,
Но не жди!
Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Сегодня спешу мимо голых пустынь и саванн.
 Это ты виноват, Тете Куаши¹,
 Принесший в страну древо богатства и прибыли,
 Древо раздора.
 С тех пор племена перестали жить в мире
 И каждый стал продираться ногтями на звон
 призывный монет.

Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Играю песком золотым,
 Драгоценные камни ношу;
 Словно сахар, лижу серебро.
 Знаю я, где таится руда, но я не люблю рудники.
 Хотите добыть — желаю удачи,
 Я же к великому морю пойду богатства искать.
 Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Храню я множество истин, великих решений,
 Подслушанных у величавых старейшин,
 Завещанных мне ручейками иссякшими,
 Чтобы сама широко разлилась по земле.
 Пока правда останется правдой,
 Она просочится сквозь все рубежи.
 Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Прежде чем лагерь охотничий городом стал,
 Я уже родилась.
 И видела я, как город растет в государство...
 Когда создавались впервые законы, я шла по тому же пути...
 Я природная связь, я посредница между народами!
 Не опровергнуть свидетельств моих!
 Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Атаара собрался войну объявить.
 Он порох и пули готовит.
 Он требует то, чем владеет народ Кодиаби.
 Но если охотник прикончит буйвола,
 Я не стану пробовать мяса.
 Если буйвол прикончит охотника, не приду на поминки его:
 Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 В мою честь, барабаны, гремите!
 В мою честь, барабаны, гремите!
 Я достигла величья!
 Бейте в гонги, славя меня!
 Ибо та, что стремится вперед,
 Той же самой приходит назад...
 Я река... Я в движеньи...

¹ Тете Куаши основал первую на Золотом Берегу плантацию какао.

Я река... Я в движеньи...
 Великой рекой я иду, и что мне до малых рек!
 И разве не так же проходят и люди?
 Богатые лорды проходят, проходят их слуги...
 Меня не сдержат, но и вас не сдержат.
 Навстречу скала — перепрыгнем скалу.
 В дождливые дни и в засушливый год
 Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Иду к еще большей реке на подмогу.
 Меня пригласила в союзницы Вольта — река,
 Что давно меня поджидает.
 Я к ней, извиваясь, иду, не боюсь расстояний.
 Короткий путь — суета.
 Путь долгий благословен!
 Я река... Я в движеньи...

Я река... Я в движеньи...
 Раз начав, я дойду до конца.
 Так путник дальних дорог под старость не станет
 крестьянином мирным.

Скоро достигну я Вольты-реки,
 И тогда мой труд завершен,
 Ибо Вольта-река сама понесет мои воды
 К Нана Босонопо, где встречу я с теми, кто раньше ушел.
 Я река... Я в движеньи.

Перевела с английского Ольга Берг.

1955 г.

ДЖОЗЕФ ГХАРТИ

★

ХАРМАТТАН

Снова проносится ветер черный
 В туче горячей пыли,
 Деревья сгибают спины покорно,
 Забыв, что гордыми были.
 Листьев стаи,
 Вдаль улетаая,
 Стволы оставляют голыми,
 Жалкими, потерявшими головы.

О огнедышащий ветер горя,
 Травы рвущий руками!
 Там, где цветов колыхалось море,
 Над мертвыми стебельками
 Гибнут пчелы
 В саванне голой.
 Что жизнь? По сухой траве она
 С цветочной пылью развеяна.

Повсюду гибель и разрушенье,
 Смерть снует торопливо,
 Но путь расчищает ветров вторженье
 Для завтрашнего прилива,
 Все впереди —
 Плоды и дожди.
 Сквозь камни, сквозь пекло самое
 Пробьются ростки упрямые.

И если порой по жизни народа
 Пронесется харматтаны,
 А солнце с горящего небосвода
 Смотрит сквозь дым багряный,—
 Только тот,
 Кто, глядя вперед,
 Смело идет навстречу беде,
 Выживет, чтобы дожидаться радости и дождей.

Перевел с английского А. Сендык.

ФРЭНК ПАРКС

★

АФРИКАНСКИЙ РАЙ

Дай мне души негров —
 Пусть они будут
 Черного или
 Шоколадного цвета
 Или же цвета пыли,
 Что темней песка.
 Но, если можно,
 Пусть они будут
 Черными,
 Черными!

Дай мне барабаны —
 Пусть их будет три
 Или четыре
 Черных барабана,
 Черных и грязных,
 Деревянных,
 Обтянутых овечьей
 Кожей.
 И пусть они
 Гремят,
 Гремят!

Пусть гремят,
 Грохочут
 Громче
 И громче,
 А после
 Тихо,
 Очень тихо
 Пусть говорят барабаны!

Пусть калекбас,
Что бусами полн,
Бусами агри,
Яростно бренчит,
Напевно
Звенит,
Пусть он гремит
Барабанам в лад!

Пусть в эти звуки
Вольется лязг
Дерева о жесь:
Кен-тен-тсе-кен-кен,
Кен-тсе кен кен кен!

Дай мне голоса
Обыкновенных
Душ —
Женщин голоса
И басы
Мужчин.
(И плач детей?)

Пусть танцоры, негры
Широкоплечие,
Бьют по земле
Босыми ногами
И полуголые
Танцовщицы
Извиваются
Под четкий
Ригм
«Том Шики-шки»
И «Кен», —
А голоса их душ
Поют,
Поют!

Пусть сияет
Закат
Над пальмами
Вдали.
А здесь пусть будет
Битая дичь
И горою —
Ямс! *

И если на пиру
Не слишком много
Гостей,
Позволь, о бог,
Зрителям прийти,
Черным
И
Белым.

Зрителей пусти,
Пусть увидят они

Битую птицу,
И сладкий ямс,
И зелень пальм,
И танец душ.

Одоманкóма,
Разреши им
Прийти,
Чтобы услышать
Наш родной напев,
Палочек стук о жесь,
Песни звонких бус
И барабанов гром.

Тверампóн, прошу тебя,
Зрителей
Пусти!
Чтоб им
Погреться
В ласковых лучах
Вечернего
Солнца
На нашем милом
Африканском небе!

Перевел с английского Андрей Сергеев.



ТАДЕУШ БРЕЗА

★

БРОНЗОВЫЕ ВРАТА

(Римский дневник)

Тадеуш Бреза — видный польский литератор старшего поколения (р. 1905), романист и публицист. Имя Брезы приобрело широкую известность после войны, когда вышли его романы «Стены Иерихона», «Небо и земля», «Валтасаров пир» и другие, сочувственно встреченные критикой и отмеченные литературными премиями. Но подлинно всеобщее признание получила его книга «Бронзовые врата» (Римский дневник), вышедшая в 1960 году и за короткий срок разошедшаяся в двух изданиях. По количеству откликов и по оценкам в печати книга заняла в прошлом году первое место в Польше. Ей присуждена также премия Общества атеистов и свободомыслящих и журнала «Аргументы».

В Польше, с ее особыми, исторически сложившимися чертами духовной жизни общества, книга Т. Брезы, незаурядная по своим литературным качествам, имела чрезвычайно большое и притом злободневное значение. Об этом можно судить по мгновенной реакции польской католической печати. Критик Л. Куц, выступивший со статьей о книге Т. Брезы в католическом еженедельнике «Гыгодник повшехны», пользуясь старой формулой церковной цензуры, обеспокоенно предупреждает читателя: «Capię legendit!» («Читай осторожно!»).

Редакция «Нового мира» полагает, что книга Т. Брезы о Ватикане представляет немалый интерес и для советского читателя, так как Ватикан в наше время являет собой оплот самой черной реакции, а католицизм превратился в одно из течений, определяющих идеологию современного капитализма и дающих ему действенное оружие в борьбе за влияние на миллионы людей в различных странах Старого и Нового света.

Мы публикуем главы из Римского дневника Т. Брезы с авторским вступлением, разъясняющим, как родилась эта книга.

ОТ АВТОРА

Я прожил в Риме с 1955 по 1958 год, работая в польском посольстве в качестве атташе по вопросам культуры. Первый год у меня ушел на то, чтобы освоиться со страной, языком, климатом и административными обязанностями. Но после этого вступительного периода я затосковал — захотелось писать. В течение двадцати пяти лет я занимаюсь своей профессией и успел приобрести прочные навыки. Заглушенные поначалу полной переменной образа жизни, они вновь проснулись и стали напоминать о своих правах. Однако работы, связанной с посольством, было много. По своему характеру она не была изнурительной, и все же у меня была уйма обязанностей, заполнявших не только рабочие часы, но, в общем, и весь остальной день. Таким образом, не могло быть и речи о том, чтобы отвлечься от нее в будни. Оставались свободные воскресенья, праздники, период отпусков. Я использовал их для работы над книгой.

Охотнее всего я пишу романы. Тот, кто их писал, знает: если ты садишься за стол с большими перерывами, от случая к случаю, из твоего

замысла ничего не получится. Работа над романом требует гораздо более строгой последовательности, чем та, которую я мог себе позволить. Понимая это, я решил пока что собирать материал. Никакого точного плана или продуманной темы у меня не было, поэтому вначале я делал заметки самого разнообразного свойства. И все же, хоть я и не знал, для чего хочу собирать материал, я довольно быстро понял, какой материал я собирать не хочу. Италию ежегодно посещает пятнадцать миллионов туристов, и поскольку литераторы любят рыскать по свету, мне легко было догадаться, что известный процент от этих миллионов составляют работники пера. Догадка сама по себе вещь недостоверная, поэтому добавлю еще, что ее ежегодно подтверждали сотни сочинений, посвященных Италии, которые я находил в итальянских книжных магазинах и прежде всего в многочисленных разноязычных книжных магазинах Рима. Так вот, сказал я себе, поскольку о солнечной Италии, ее красоте, ее памятниках, ее искусстве и ее людях написано уже много и, безусловно, будет написано еще больше, то в какой-то момент количество, вероятно, перейдет в качество, и, если принять во внимание колоссальные размеры этого количества, даже в отличное качество. Зачем же повторять уже сказанное, к тому же, быть может, делая это хуже?

Впрочем, если ты пробыл в чужой стране недолго, то у тебя появляется желание описывать все, а если ты провел там много времени, твои наблюдения и интересы как-то специализируются. В один прекрасный день я убедился, что и у меня в этой стране появился свой круг интересов. Я не раз задумывался над тем, почему я остановился именно на той теме, которой посвящена моя книга. Это не был сознательный выбор. Просто вначале я охотнее записывал все, что относилось к области моих позднейших интересов. Да, охотнее, гораздо охотнее, а потом уже — исключительно. Но, как уже сказано, я действовал не преднамеренно. Как же так получилось? При отборе фактов безусловно сыграла большую роль моя склонность к восприятию определенных впечатлений и интерес к ним. Но бесспорно и то, что мало кто из вышеупомянутых литературных туристов специально интересовался той областью, которая занимала меня. Таким образом, эта замечательная область осталась почти свободной, нетронутой.

Это увлекло меня как писателя. И не только это. Италия воистину земля обетованная для литераторов, там легко найти вполне девственную тему, не затронутую туристами; та, о которой я говорю, обладала, с моей точки зрения, еще одним ценным качеством, я даже могу назвать его самым главным, «кульминационным». Так вот, по мере моего пребывания в Италии мне стало казаться, что область, о которой я пишу, имеет важнейшее значение. Мой интерес к ней неуклонно возрастал, я даже склонен был считать, что она отбрасывает тень на все вокруг. Автор привязывается к своей теме, часто случается, что он возводит ее в абсолют. Что касается моего случая, моей, так сказать, специальности, то, разумеется, мне трудно разобраться, не произошло ли здесь нечто подобное. Добавлю, однако, себе в оправдание, что мой образ видения мира не составляет исключения. Я встречал множество людей, итальянцев и неитальянцев, которые считали, будто то, что говорят, думают и решают по ту сторону реки, имеет для Италии первостепенное значение.

Al di là del fiume! Fiume — это река. А река — это Тибр. За Тибром, как известно, находится Ватикан. Его учреждения рассеяны по всему Риму. Некоторые ватиканские министерства, именуемые святыми конгрегациями, помещаются в левобережных дворцах, далеко от своего центра. Учреждения римского викариата, то есть курии папы как

епископа Рима, тоже находятся там. Точно так же, как и все главные ватиканские трибуналы. Тем не менее о приговорах или решениях этих трибуналов или управлений говорят, что они приняты за рекой. Говорят: за рекой решили, за рекой не желают того или иного, за рекой еще не высказались. Это не единственный случай подмены значения слов. Я знаю их несколько. Например, по аналогии с выражением за рекой говорят: за бронзовыми воротами. В данном случае речь идет об одном из входов в ватиканские дворцы — парадном, торжественном. Отсюда и заглавие моей книги — «Бронзовые ворота».

Собирая материал, всегда тесно связанный с названной выше темой, я заметил, что никогда не пишу о религии. Звучит это странно, учитывая избранную мною область. Но дело в том, что у той темы, которая меня привлекла, имеются две четко выраженные стороны, как у медали. Одна — мистическая, общая, как мне кажется, для любых религий. Другая сторона медали совсем не мистическая. Она конкретная, земная, наглядная, пристроенная к той, первой стороне. Только эта пристройка и вызывает мой интерес. Она необычайно велика. Многие противники церкви ничего, кроме нее, не видят в церкви. Это ошибка, но не они в ней повинны. Это скорее вина тех, кому хотелось бы все подчинить интересам этой пристройки.

Материал связывают воедино те устремления, которые руководили мною при его отборе. Внешне он как будто очень неоднороден. Это разговоры, встречи, события, случаи, записанные чаще всего в форме статьи или очерка. Если вначале, приступая к своим записям, я думал о материале для романа, то быстро отказался от такого к ним подхода. Хотя многие факты я записывал по горячим следам, тем не менее это уже не сырье. Читатель найдет в книжке некоторое количество сведений, а также некоторое количество суждений. Спешу оговориться: не о них я заботился в первую очередь. Единственный и главный предмет моей заботы составляли различные наблюдения и мысли, не искаженные, по моему беспристрастному мнению, никакой предвзятой идеей или принципом.

Что касается событий, разговоров, встреч, то, разумеется, все они происходили в действительности. Как правило, я сообщаю подлинные фамилии моих собеседников — в тех случаях, когда я их сообщаю. Когда же я не могу назвать лиц, с которыми сталкивался, то заменяю фамилию первой буквой, чаще всего, впрочем, условно. Изредка я пользуюсь вымышленными фамилиями и именами, поскольку общение с людьми, выступающими на многих страницах книги и названными только буквами, утомляло бы читателя. Записи я помечаю датами, соответствующими моменту их возникновения. Иногда я писал одну заметку на протяжении многих свободных дней. В таких случаях дата, стоящая впереди, обозначает день ее начала.

Фиуджи, 6 июня 1956 года

В Фиуджи пьют воду, вот почему я и оказался в этой местности. Пьют каждое утро натошак — от шести до двенадцати стаканов. После этого я уже не успеваю в пансионат к завтраку, прихожу прямо к обеду. Затем сплю, встаю, отправляюсь на прогулку, ужинаю, снова иду гулять, прохожу примерно с километр, как советовали наши отцы, возвращаюсь и — в постель.

«Вода требует движения» — такого мнения придерживается врач, к которому идешь сразу же в день приезда. Следовательно, надо пить, прохаживаясь, и, помимо того, ходить, ходить, ходить.

Внизу, возле кранов с водой и возле «эдикола»¹, предназначенных для ее стока, многолюдно. Попеременно с оркестром играет радио. Полно солидных мужчин, дам, детей, священников, монахов, крестьян, монашек и карабинеров. Прогуливаясь, я поднимаюсь выше, куда не долетает гул оркестра и даже голос репродуктора звучит приглушенно. Здесь тоже есть «эдикола»-одиночка, одна на весь парк, поэтому возле нее толкотня, иной раз мне приходится, не дождавшись очереди, шмыгать в кусты. В таких случаях согласно местному обычаю надо перед прыжком в чашу робко улыбнуться и в оправдание себе бросить в пространство: «Ничего не поделаешь! Эффект лечения!»

У меня камешек величиной с маленькую фасоль, он покинул почку и сам, собственными усилиями, прошел девять десятых пути к «желтому морю», как выразился упомянутый выше врач, имея в виду мой мочевой пузырь. Я спрашиваю у него, справятся ли местные воды с моим камнем. На этот раз с его губ срывается не сентенция и не метафора; его ответ можно расценить как попытку применить к повседневной жизни расселовскую систему рассуждений «с помощью высшей аналогии». Доктор показывает мне три камня, сходные с моим, они принадлежат к коллекции курорта. Камень какого-то генерала, какого-то министра и кардинала Лаури — его фамилию я запомнил, потому что до войны он был нунцием в Польше.

— Ну и что? — говорит врач, внимательно разглядывая камни. — Ваш тоже выйдет!

Мне трудно передать тон его голоса. В нем звучит и гордость от сознания, что на местных водах побывали такие высокопоставленные пациенты, и ирония по отношению ко мне: как я могу питать сомнения по поводу такого же камня — это при моем-то общественном положении?

Фиуджи, 12 июня 1956 года

В течение получаса кружит возле меня бедно одетый гигант и наконец спрашивает: «Который час?» Я сижу на скамейке в парке, в наиболее отдаленном от репродуктора уголке. Термос с водой я повесил на спинку скамейки. Попиваю воду из кружки и томлюсь над грамматикой. У гиганта вместо термоса обыкновенная бутылка, обернутая в бумагу, и какая-то странная жестянка, из которой он пьет могучими глотками. Он ничего не читает, хотя у него есть очки — он мне их показывает: после аварии на железной дороге у него всегда вот здесь — он дотрагивается до лба и глаз — *confusione* (туманно). Он родом из Палермо, живет там в доме, принадлежащем железной дороге, у него одиннадцать душ детей и двадцать семь внуков; получает полную пенсию, потому что, проработав сорок лет, попал в катастрофу во время работы и таким образом судьба была к нему милостива.

Можно даже сказать, что лично к нему судьба с самого начала была исключительно милостива. В 1910 году он получил работу, и с тех пор без перерыва работал и «во время войны, и во время разрухи, и при Муссолини, и всю вторую мировую войну, и при американцах, и при республике». Зато у его детей жизнь сложилась иначе — так, как считается нормальным на Сицилии. Только четверо нашли себе занятие вне дома, а у семерых со дня рождения не было постоянной работы. И значит, эти семеро взрослых, женатых, замужних живут вместе с ним.

Если мимо нас кто-нибудь проходит — независимо от того, карабинер ли это, священник или человек в обычной одежде, — мой собеседник умолкает, перестает говорить. Когда он узнает, откуда я родом,

¹ Небольшое строение, киоск; здесь — уборная (итал.). (Здесь и дальше примечания переводчика.)

confusione не позволяет ему некоторое время сообразить, где находится эта Polonia. Я ему подсказываю, и тогда он говорит: «Браво! Браво!» Ему важно то, что мы «уничтожили безработицу». Говорит, что у них на Сицилии слушают наши радиопередачи на итальянском языке, те, что обращены «к рабочим массам всего мира». Но слушают только в своей компании, среди очень верных людей. И он умолкает, потому что снова кто-то проходит мимо нас.

Хотя я живу в Италии уже год и о трагедии безработицы на Сицилии, и не только на Сицилии, знаю многое, я слушаю и задаю вопросы. Что они едят? Один раз в день макароны, приправленные оливковым маслом и какой-нибудь зеленью. Объясняя мне, он наклоняется, разглядывает окружающие нас кусты и показывает мне несколько листьев и травок, пригодных для еды. А как с работой? По-разному. И по-разному во всех отношениях: ведь работа — это только один из способов добывать средства пропитания. Ходят, просят, кланчат, находят, подбирают, получают. Так, например, недавно перед общинными выборами священники из прихода приносили по тысяче лир на квартиру. В нынешнем году вспомоществования всегда получает мать в собственные руки: она отвечает за дом.

Мне не ясно, где живет в Фиуджи мой железнодорожник-пенсионер. Когда я угощаю его сигаретой, он берет две, чтобы в свою очередь отблагодарить одного синьора из пансионата, угостившего его сигаретой. Значит, он, возможно, и не живет под открытым небом, как я было подумал. Однако он сам себе готовит еду. Извечные спагетти, привезенные в чемодане с Сицилии, приправленные оливковым маслом, и (во всяком случае, так было на следующий день, когда мы снова беседовали) салат, который кто-то ему дал.

Он надоедает мне, повторяя подряд одни и те же врачебные советы, один и тот же рассказ о жене, которому я «могу верить или не верить». Советы его не лучше и не хуже сотен других, которые мне приходится выслушивать. А рассказ о том, как у его жены, в течение трех часов корчившейся от боли в корыте с горячей водой, вышли один за другим — «хлоп! хлоп!» — два камня, тоже не грешит оригинальностью. Старик повторяет уже сказанное, потому что не хочет остаться один, а память у него ослабела, вероятно, в результате confusione.

Confusione другого рода производит, однако, еще большие опустошения в его мозгу, чем confusione после железнодорожной аварии. Это разновидность *déformation professionnelle*¹, точнее «деформации», вызванной определенного характера условиями жизни. Смещение понятий приводит к тому, что все проблемы мира, бытия и человека, в сущности, сводятся к двум правилам: одно учит, каким образом лучше всего использовать заработанные деньги; другое — каким путем найти работу. В точности так же, как наркоман сразу находит злачные места в незнакомом городе, так и человек, на сознание которого наложила печать вечная, преследующая его от рождения нужда, разыскивает в городе, через который он проезжает, городе, ему не знакомом, не ресторан, не харчевню, а рынок, базар или ларьки, где можно купить продукты по дешевке.

Узнав, что я живу в Риме, он спрашивает меня, где моя жена покупает картофель, рис и овощи. Он хорошо понимает, что я принадлежу к другому миру, чем он, тем не менее вопросы задает инстинктивно. При слове «Рим» в его памяти возникает не купол собора св. Петра, не замок св. Ангела, не Колизей, а знакомые ему палатки на различных больших римских рынках. Мне известно, что у некоторых из нас и в осо-

¹ Профессиональная деформация, отступление от нормы (франц.).

бенности у членов наших делегаций или у туристов, приезжающих из стран, еще не завершивших процесс экономического восстановления после войны, при слове «Рома» в памяти не обязательно возникает археологически-художественный образ,— слово это вызывает перед глазами картины магазинов на улицах Кондотти или Национале. Это совсем не то, хотя тоже нехорошо. У нас это вид обостренной восприимчивости, вызванной соприкосновением двух миров,— явление быстро-преходящее, в конце концов оно длится одно мгновение. А у железнодорожника — сознательная, прочная позиция. От зари его жизни до самого заката одно и то же серое, ограниченное внутреннее содержание.

Среди его замечаний и рассуждений относительно способов получения работы меня больше всего поразило то, что он сказал о красивых женах или красивых сестрах. «Если у кого-нибудь в семье красивая сестра или даже собственная красивая, молодая жена, так он посылает ее, и она-то уж добьется для него работы. Многие так поступают». Но на Сицилии, да и в других местах этот метод не считается безупречным. Человек, получивший таким путем работу, обрекает себя на издевательства и насмешки. Где бы он ни находился — на гулянье, в баре, даже на людной площади перед церковью в воскресенье, его задевают и пускают ему вслед пошлые остроты. Можно к ним не прислушиваться, но не всегда это удается, особенно если тот, кто к тебе пристает, пьян. Тогда уже надо отомстить. Отомстить — это значит затаиться где-нибудь ночью и разрешить вопрос с помощью ножа.

Железнодорожник рассказывает мне об одном таком неудачном случае. Это было у них в Палермо. Рабочий убил мастера. «Точных доказательств против него не было, но он лишился места». А в другом случае — недавно — братья посылали сестру, но и они «в конце концов потеряли работу». Тема о потерянном месте постепенно выдвигается на первый план в рассказах железнодорожника. Не то плохо, что посылают жен или сестер, и не то, что ты падаешь в глазах людей, и не кровь, или драка, или потасовка — нехорош самый метод, потому что, прибегнув к нему, все равно рано или поздно тоже теряешь работу.

Рим, 4 августа 1956 года

У Пейрфитта¹, а также в различных книжных публикациях и репортажах о Ватикане всегда упоминаются два немца, вызывающие общий интерес, два иезуита, два секретаря папы, работающие с ним изо дня в день и, по общему мнению, его доверенные советчики. Один из них — отец Роберт Лейбер, другой — отец Вильгельм Гентрих. И тому и другому сегодня по семидесяти лет. Первый вступил в орден в 1906 году, второй — в 1907-м.

Если вы заглянете в Каталог общества Иисуса Римской провинции или Ежегодник папского Григорианского университета, милостиво кем-либо предоставленные в ваше распоряжение (в книжных лавках их нельзя купить, в библиотеках их не выдают), вам и в голову не придет, что Лейбер и Гентрих — важные персоны. Первый фигурирует в этих иезуитских «Who is who»² в качестве преподавателя подсобных дисциплин на факультете истории церкви. Читает лекции два часа в неделю. Лекции его обязательны для студентов первого курса всех факультетов.

¹ Пейрфитт — современный французский писатель, автор остро критического романа «Ключи Ватикана».

² Английские и американские справочники, дающие сведения о примечательных чем-либо лицах. Буквально значит: «Кто есть кто».

Кроме того, он два часа в неделю ведет семинары, на которых рассматривает различные «случаи практики установления точной хронологии и исторической критики в документах древних, средневековых и современных». Вот и все.

О Гентрихе мы получаем еще более скудные сведения. В ежегоднике вообще не упоминается такая фамилия. Каталог называет Гентриха в числе сотрудников Института истории общества Иисуса. Таких сотрудников много. Отец Гентрих не занимает никакой руководящей должности. Не редактирует ни одного из научных латинских изданий института. Ни «Памятники истории общества Иисуса», ни «Архив историков О. И.», ни «Библиотеку Института истории общества», ни даже испанский журнал «Разум и вера», который неведомо почему попал в число исторических изданий.

Если же в поисках сведений относительно официального положения отца Лейбера и отца Гентриха вы обратитесь к «Аннуарио понтифицио», большому ежегодному персональному ватиканскому справочнику, то среди шестнадцати тысяч фамилий, которые там перечислены, Лейбера вы вообще не найдете, а Гентриха обнаружите в числе двадцати четырех советников Конгрегации кардинальской коллегии. Разумеется, это уже что-то означает. Правда, если учесть, что существует двенадцать конгрегаций и, помимо них, есть еще трибуналы, высшие управления, ну и секретариаты и что в каждом из них самое меньшее до двадцати советников, то отца Гентриха на этом основании можно было бы принять за одного из четырехсот ему подобных. Между тем таких только двое.

В Риме о них кое-что знают. Отзываются недоброжелательно. Итальянское духовенство раздражает то, что они немцы; немецкое духовенство недоброжелательно тем, что они «обитальянились». Французы, англичане, американцы не любят их и по той и по другой причине. Представители духовенства — иностранцы ездят в свои посольства, помогают советами. Лейбер и Гентрих, кажется, этого не делают. Немецкое происхождение имеет для них третестепенное значение. В первую очередь они слуги папы, потом иезуиты и только по душевному складу — в данном случае обстоятельство малосущественное — они немцы. Вдобавок ко всему они никогда не выступают перед широкой аудиторией. Не читают публичных лекций, не организуют пышных говений. Служат обедню и произносят проповеди они бог знает где. А здесь, в Риме, тот, кто не заботится о шумихе, недостойн известности, которой он пользуется. А если он недостойн того, что у него есть, так за что же его любить?

В. хорошо знает Лейбера. Относится к нему очень положительно. И. и С. никогда не были с ним близки, но тоже с ним встречались. Впрочем, они принадлежат к одному и тому же миру, миру работников вертограда господня, — он необъятен, но един. Я охотно слушаю их рассказы об этом человеке; судя по их словам, он представляет собой личность весьма необычную. Особенно занимает меня его позиция, то, как он поставил себя по отношению к папе¹. Интересно само его официальное положение, ибо Лейбер формально не занимает должности секретаря. Когда-то он официально выполнял эти обязанности при нынешнем папе. Это было еще в годы первой мировой войны, в Баварии, при нунции епископале Евгении Пачелли. Потом он выполнял те же обязанности при кардинале Пачелли. Но с 1939 года, когда Пачелли стал папой, Лейбер просто приходит и работает с ним. В. утверждает, что папа не назначил Лейбера своим секретарем, потому что такой должности не существует. Создать ее для Лейбера, ну и для Гентриха, он не может — назначение на

¹ Во время пребывания Т. Брезы в Италии папой был Пий XII — Евгений Пачелли (1876—1958).

такой пост фактически лишило бы их возможности выполнять обязанности секретарей. Подобно тому как каждая вещь, к которой прикасался Мидас, становилась золотой, так и каждое лицо, получившее назначение при дворе папы, сразу вырастает и лиловеет¹.

Папа является епископом Рима, в качестве епископа он имеет своего суфрагана². Вы поглядите только, что происходит с таким суфраганом. Он сразу становится видной фигурой: кардинал, заместитель декана Священной коллегии, великий канцлер Латеранской апостольской коллегии, член девяти (из двенадцати) святых конгрегаций, почетный патрон десяти и обычный патрон самое меньшее девятнадцати религиозных союзов, различных братств, обществ, институтов, объединений, монашеских орденов.

У папы есть библиотека. Но поскольку это библиотека папы, она не может быть обычной библиотекой и становится Библиотекой святой римской церкви, а ее библиотекарем должен быть кардинал. А раз он кардинал, то тут уже действует дальнейший автоматизм. Кардинал обрастает святыми конгрегациями и патронатами. Даже такая простая, незначительная должность, как ризничий, приобретает огромное значение, если речь идет о ризничем папы. По ватиканской иерархии это крупная фигура. «Аннуарио понтифично» отводит ему место непосредственно после умерших кардиналов. Это — ошеломительное соседство, по крайней мере в отношении протокола. Занимая такое высокое место, ризничий не может не быть епископом. Поэтому монсеньор Пьетро Канисио ван Лерде — епископ. И каких еще званий у него нет! В скольких святых конгрегациях он заседает, сколько у него блистательных и почетных обязанностей! То же самое случилось бы с каждым, кого официально назначили бы на должность секретаря папы. Он сразу бы вырос, оброс, достиг гигантских размеров. Отсюда следует, что отец Лейбер и отец Гентрих, будь они назначены секретарями папы, не могли бы ими остаться в действительности.

Но вызывает интерес не только формальное положение отца Лейбера при особе папы. Фактическая позиция еще более интересна. Психологическая позиция. Папа и Лейбер сотрудничают сорок лет. С небольшими перерывами Лейбер постоянно состоял при монсеньоре, епископе, кардинале и, наконец, при папе Пачелли. Половину своей жизни папа прошел бок о бок со своим секретарем. Лейбер провел подле папы годы своего возмужания, зрелости и старости. Папа отнял всю его жизнь. Как ученый Лейбер — ничто. В своем ордене стоит на низкой ступени. В университете — а он уже двадцать шесть лет состоит профессором в Григориануме — Лейбер не выдвинулся. В. считает его человеком необычайно способным и утверждает, что Лейбер отлично разбирается в современном состоянии исторических дисциплин. Но у него, очевидно, нет времени для научных занятий. Утро и вечер он проводит у папы, всегда и неизменно, — четыре, пять, шесть, семь часов в день. Всегда бдительный и деятельный, но всегда пассивный. Быть может, эта особенность Лейбера больше всего меня занимает, больше всего поражает в рассказах о нем В., а также И. и С. Все они сходятся на том, что Лейбер — человек умный, одаренный, великолепно знающий мировую политику, да еще на протяжении сорока лет, — никогда в присутствии папы ничего не говорит от своего имени. Никогда ничего не говорит по собственной инициативе.

В Ватикане папы и кардиналы курии, особенно самые важные —

¹ Епископ носит мантию лилового цвета. Отсюда «лиловеет» означает «возвышается в сане».

² Епископ без епархии, помощник епархиального епископа.

префекты и секретари разных святых конгрегаций или святых управлений,— всегда высоко ценили сотрудников, излагающих свои мысли в безличной форме. Папы и такие важные кардиналы — это чаще всего глубокие старики. Их физические силы столь же ограничены, сколь неограниченна их власть. Им надо помочь, стараясь не поколебать их власти, стараясь не влиять на нее, не направлять ее, не подталкивать. В отношении к папе всякое нарушение этого правила означает едва ли не прегрешение против святого духа, если не настоящий грех. Вроде того, как когда-то считалось преступлением и беспутством исказить слова Кумской Сивиллы, поскольку само небо ее устами взывало к людям. То же самое происходит с голосом и мыслью папы — ведь это голос и мысль заместителя Христа на земле. Иногда, по причине старости представителя Христова, ему трудно ясно изложить свою мысль. Нужно помочь ей родиться, но не более того! Тройка моих информаторов, зная Лейбера, утверждает, что именно он — мастер своего дела, он, как никто, умеет пассивно-активно присутствовать при рождении папской мысли. Он великий акушер этой мысли. Мысли политической в самом широком значении этого слова.

Политика поглощает папу; он посвящает ей множество времени. У него огромное политическое честолюбие. Он хочет сам руководить политикой Ватикана. В этом отношении он не первый такой папа. Но уже несколько веков не было папы, который обходился бы без статс-секретаря. После смерти кардинала Мальоне папа больше никого не призвал на этот пост. Говорят, что Мальоне надоел ему, он подавал в отставку всякий раз, когда не соглашался с линией, навязанной ему папой. Но, так или иначе, он служил как бы щитом между папой и ватиканской политикой. Если ее результаты оказывались плохими, били не папу, а кардинала. После 1944 года, то есть после смерти Мальоне, положение изменилось. Монсиньоров Монтини, Тардини или Делло'Аква не бьют или не били — ведь они только исполнители. Ни по уставу, ни нравственно они не несут ответственности. Несет ее папа. По определению В., папа не столько человек властный, сколько нетерпимый к проявлению чужой воли. И близость папы с Лейбером именно на том и зиждется, что папа всегда опирается на его интеллект, никогда не чувствуя воздействия его воли.

И., который одно время сталкивался с папой не по вопросам политики, а по поводу ватиканских научных учреждений, то есть в той области, которая не очень сильно занимает папу, говорит, что Пий XII на аудиенциях и за работой — совсем разные люди. Работать с ним тяжело, улыбка исчезает с его лица. Общительности, разговорчивости, интереса к другому человеку — как не бывало. Пропадает теплота, открытость, скромность. За работой папа холоден и натянут. От всей дипломатически-куртуазно-отеческой амуниции, которая вызывает такое восхищение у людей на приемах, остаются только безупречные манеры и инстинктивная вежливость, ввергающая его сотрудников в большое смятение. Папа способен нагнуться и поднять с пола бумажку, которую обронил сотрудник, либо сам приставит лесенку и достанет с полки нужный для работы фолиант — «а то ты еще у меня упадешь», — как он сказал, обращаясь к И. Но при всем том докладывать ему — чистая мука, а делать выводы — и вовсе страшно. В выводах всегда содержится нечто вроде совета. А к советам папа относится как к колкостям, бестактности, как к невольному оскорблению. Лицо у него мрачнеет, становится непроницаемым. От него веет холодом. Папа никогда не кричит, но видно, что каждое слово его раздражает.

Затрудняет работу с папой еще и то, что он никогда не слушает чужого мнения, а своего не высказывает. Часто приходится по десяти раз

его спрашивать и при каждом удобном случае возвращаться к одному и тому же вопросу, потому что никогда не удается все выяснить с одной встечи; нельзя же приставать к папе с ножом. Проходит немало времени, пока он что-нибудь пробурчит на интересующую вас тему, причем неизвестно, что это — совет, указание или поручение.

И. несколько раз повторяет: «A chi gli domanda come deve regolarsi nell'espletare un affare affidatagli dal Papa, Pio XII risponde in maniera evasiva»¹. И., должно быть, здорово надоели неясные инструкции папы, если спустя годы он говорит о них с таким раздражением и горечью. Оказывается, помимо того, что папа любит считать себя ответственным за все, что происходит вокруг, он не любит брать на себя эту ответственность. Указания он дает гуманные, а если результаты получаются плохими, то немилосердно преследует того, кто выполнял его волю, в особенности если при этом пострадала репутация папы или репутация кого-либо из тузов курии. В отношениях с Пием XII никогда нельзя ничего заранее предвидеть. Только ценой тяжелых усилий можно от него добиться какого-либо обещания. Вдобавок, добившись, вовсе нельзя почитать на лаврах. И. утверждает, что все это происходит вовсе не из-за плохого характера Пия XII. По мнению И., нерешительность и двойственность папы вызваны высокими причинами. Пий XII сознает, что в современном мире (и коммунистическом, и американском, и цветном) церковь не может стоять на прежних позициях, а что следует делать — ему не ясно. Но я не знаю, так ли это, потому что мысли эти принадлежат самому И. Он антикоммунист, антиамериканец, а «цветных» считает либо кандидатами в коммунисты, либо кандидатами в американцы — правда, низшего сорта. Вместе с тем он убежден, что с Европой *finis*? Он показывал мне сотни абзацев в речах папы, подтверждающих его тезис. Но сотни этих абзацев можно подменить тысячами совершенно противоположных.

Мне все же хотелось узнать, каков сам он — Лейбер. О., который содрогается при виде каждой рясы и каждой сутаны, питает к Лейберу слабость. Он восхищается его огромной культурой, ясностью ума, гуманностью, широтой кругозора. Ему нравится то, что Лейбер сознает недостатки и ограниченность клира в понимании различных политических и общественных требований нашего времени. Наконец, ему нравится искренность Лейбера, его отношение к папе и папскому окружению. С теми, кто завоеует его доверие, Лейбер разговаривает совершенно свободно о слабых сторонах и пороках этого мирка, включая и самого папу. «E'insomma, un uomo eminente!»³ — говорит о Лейбере О.

О. восхищает в Лейбере еще одно качество, а именно: его враждебность фашизму и гитлеризму. Лейбер всегда был таким. До войны его антигитлеризм носил антипрусскую окраску. На его взглядах сказывались некоторые внутригерманские противоречия. Но это у него прошло. Во время войны его антигитлеризм созрел и очистился от нефилософских и негуманистических примесей. О. уверяет, что отношение Лейбера к Польше всегда было дружественным, он глубоко сочувствовал ее страданиям и несчастьям.

Коммунизм в глазах Лейбера — тяжкое испытание, ниспосланное человеку в этом мире. Но не более тяжкое, чем протестантизм или масонско-буржуазные светские общества. Лейбер принадлежит к тем

¹ Тем, кто спрашивает папу, как следует разрешить порученное ему дело, Пий XII дает уклончивые ответы (*итал.*).

² Конец (*лат.*).

³ В целом — выдающийся человек! (*итал.*)

немногим людям в ватиканской верхушке, которые не верят, что коммунизму когда-нибудь придет конец. Лейбер считает, что коммунизм будет распространяться все шире, на весь мир, или, во всяком случае, достаточно широко, чтобы церковь очутилась перед необходимостью найти свое место и слиться с этой новой общественно-идеологической и экономической действительностью.

Лейбер осуждает коммунистов не за то, что они подчас с бурным ожесточением борются с религией и церковью, ибо он считает, что это — явление преходящее. По его мнению, самое скверное в коммунизме — его несоприкасаемость с церковью, которая скажется только после периода преследований и борьбы. Выразится она в том, что экономика, политика, искусство, мысль, наука, вообще вся жизнь в коммунистическом государстве пойдет одним путем, а другим путем, несоприкасаемым с этим первым, потечет жизнь церкви. При феодальном строе церковь сливалась с государством, при либеральном — была в его орбите, при коммунистическом строе, после этапа столкновений и борьбы, она окажется на запасном пути, никогда не сообщаемся с главной магистралью. В коммунистическом государстве будущего отношение религиозной жизни ко всей остальной жизни человека будет примерно таким, как отношение снов к яви. Таковы перспективы, которые пугают Лейбера. По крайней мере по словам О.

Однажды О. долго разговаривал с Лейбером и потом записал эту беседу. Лейбер высказывал примерно такие суждения: «Капитализм Соединенных Штатов или Англии обречен на поражение, потому что не содержит в себе ничего такого, что могло бы пробуждать энтузиазм у масс, и ничего, что можно было бы расценить как правильное, справедливое дело. Их филантропическая и свободолюбивая фразеология, в особенности последняя, призывающая к почитанию священных прав личности, ничего не говорит простому человеку, потому что выражается не его языком и пользуется недоступными для него понятиями. Зато те, кто понимает этот язык и эти понятия, то есть люди из высших сфер или интеллигенции, знают, что скрывается за такой фразеологией. В этом отношении коммунисты находятся в лучшем положении. Когда они говорят об общественной справедливости, их понимают самые простые люди, и понимают легко, а люди непростые понимают, кроме того, что во всем этом есть какая-то великая правда. Противопоставлять этой правде священные права личности и высокий жизненный уровень ста миллионов людей, замалчивая условия жизни всей остальной части человечества, которая обитает в долларовой или стерлинговой зоне, что составляет по меньшей мере один миллиард человек,— долго не удастся!»

— Таким образом,— заключает О. свое сообщение о Лейбере,— он принадлежит к маленькой группке, к просвещенному ватиканскому авангарду, к тем, кто видит, как мир движется вперед. Это люди отнюдь не отсталые и не сектанты, они понимают, что пришла пора начать поиски нового пути для церкви, а может быть, даже сделать первый шаг. Но Лейбер ни единым словом не подтолкнет папу на этот путь. Для этого у него не хватает смелости. Впрочем, он стар. Лейбер мечтает — как он однажды признался О.— прожить последние свои годы на покое. Помимо того, уклонение от небольших стычек, а тем более конфликтов с папой стало его второй натурой. При всем том, если бы папа поинтересовался его мнением, он безусловно сказал бы ему то, что думает. По собственной инициативе он не признается ни в чем, но и не отступит, если папа потребует от него правды. Выскажет всю свою правду, не боясь, что его обидит. Но, вероятно, папа никогда его не спросит.

Рим, 3 октября 1956 года

П. рассказывает, что папа вообще не любит номинаций, назначений на должности, и в особенности не терпит возле себя новых лиц. В самом деле, я вспоминаю, что уже много лет в «Аннуарио понтифичио» полно пробелов. То и дело встречается словечко «vacat» или же точки, заменяющие это словечко. Пейрфитт в книге «Ключи Ватикана» иронически замечает, будто папа потому не назначает нового кардинала-камерленго¹, что в его обязанности входит установление факта смерти папы. Таким образом, настал бы день, когда такой кардинал, взяв в руку традиционный золотой молоток, прикоснулся бы им ко лбу папы, троекратно восклицая: «Евгений! Евгений! Евгений!» А папа не отозвался бы.

Но, разумеется, не страх смерти воздействует в данном случае на решение папы. И, вероятно, не властолюбие удерживает его от назначения статс-секретаря, не стремление захватить в свои руки все бразды правления. Папа и так абсолютный владыка и, с точки зрения традиции, церковного права или устава, ни с кем не должен делить власть. Так ведется испокон веку. Все зависит от того, властный ли у папы характер или нет. Если властный, то папа не спокоен, если даже заполнил все вакансии своими людьми. Если не властный, то и вакантные места не помогут. А Пий XII — самодержец до мозга костей.

Следовательно, вовсе не потому, что его раздражают некоторые неприятные обязанности камерленго или первостепенное значение статс-секретаря, Пий XII не заполняет вакансий. Он не назначает и секретаря Святой конгрегации по особым делам. Не назначает секретаря Святой конгрегации почетного строительства базилики св. Петра, не назначает заседателя Высшей святой конгрегации Священной коллегии. П. говорит, что папа никого не назначает потому, что все эти посты требуют постоянного общения с папой. Существует даже регламент, расписание, установленное десятки лет назад, по которому, например, для заседателя Священной коллегии отведены аудиенции у папы каждую пятницу, а, допустим, для секретаря Конгрегации почетного строительства аудиенции всегда отводят в первую среду каждого месяца. Разумеется, независимо от аудиенции для префектов этих конгрегаций.

П. говорит, что на более низких должностях происходит то же самое. Вот уже семь лет прислуживает папе при мессе его камердинер Марио Стоппа. До этого ему прислуживали разные молодые монахи и священники, принадлежащие к грандиозному папскому двору. Но они выросли, понаторели в своем деле, заняли различные должности в конгрегациях и учреждениях. На их место пришли другие, но их папа уже не допустил к столь доверительной обязанности в своей часовне, как ранняя месса. Равным образом он обходится без мажордома, без четырех camerieri segreti (остался у него только пятый — монсиньор Марио Нозалли-Рокка ди Корнелиано), без первого капитана Guardia Nobile и без многих других сановников и чиновников.

П. говорит, что кардиналу Канали, управителю всех папских дворцов, хорошо известно, как неприязненно относится папа к новым лицам, и, если даже кто-нибудь из числа обычной прислуги умрет или перестанет работать, он не посылает новых людей убирать ту часть ватиканских апартаментов, куда может заглянуть папа. Поэтому сады зарастают, на дворцовой мебели прочно оседает пыль. Полы плохо натерты. И все это из-за отворачивания папы к новым лицам.

¹ Кардинал, ведающий папскими финансами, а также ведающий делами церкви во время выборов папы.

Однако если эта версия правдива, то представляет психологический интерес тот факт, что, пожалуй, уже несколько веков не было папы, который бы так неутомимо давал людям аудиенции. Я говорю, разумеется, не о деловых аудиенциях, во время которых папа работает с людьми из курии, но о тех разнообразных, индивидуальных и групповых визитах, которые ему наносят в Ватикане или в Castel Gandolfo¹. Я говорю о той массе людей, которых он постоянно принимает, приветствует речами, и потом, спустившись с трона, общается с ними. Это самые разнородные общества, миссии, экскурсии, паломничества, прибывшие к нему либо же посетившие его по случаю приезда в Рим. Он с великой охотой принял бы представителей каждого конгресса, каждого съезда, каждой конференции, происходящих где бы то ни было на территории Италии, чтобы, как говорит С., «переделать на свой лад» всех их участников. П. утверждает, что в Ватикане бывают недели, когда Пий XII изо дня в день принимает, здоровается, беседует или же во время массовых аудиенций обменивается несколькими словами самое меньшее с пятьюдесятью посетителями, которых видит впервые. Следовательно, может оказаться, что неприязнь к новым лицам в часы служебной работы, в часы частной жизни, в часы молитвы — это самая обычная реакция на обилие впечатлений.

Но когда я говорю об этом моему знакомому С. и добавляю, что папу можно понять, С. упорно возражает. Он видит в поведении папы только обычную старческую неприязнь к продвижению людей. Он видит в этом только старческую дряхлость папы, умноженную на дряхлость церкви. Он говорит, что Пий XII хмурится, если должен причислить кого-либо к списку епископов, плохо себя чувствует, если дело касается архиепископа, и просто смертельно страдает, если речь идет о кардиналах. Ему доставляет удовольствие только одно: он любит причислять к лику благословенных или святых своих предшественников в апостольской столице. Тогда ему кажется, будто его самого вознесли ввысь.

Рим, 14 декабря 1956 года

«Чивильта каттолика» не только ведущий ежемесячный журнал церкви. Это целый исследовательский институт. Папа, руководители статс-секретариата, префекты святых конгрегаций то и дело поручают этому институту разработку всевозможных проблем. Разумеется, аппарат «Чивильта» чертовски подкован в вопросах коммунизма. Конечно, его сотрудники ничего не могут предугадать, но в текстах Ленина, Маркса или Сталина они разбираются, как китайский ученый в своих классиках. Т. рассказывает, что несколько раз, прикидываясь простачком, он ходил в «Чивильта» для архивных розысков. Он ссылаясь на некоего итальянского товарища — главный источник, из которого он черпает эрудицию. Товарищ этот якобы слышал, будто существует некий текст или цитата. Т. использовал свои старые знакомства в «Чивильта», и сейчас же не тот, так другой иезуит сообщал ему фамилию автора, год издания, название произведения и страницу.

Импозантно! Вместе с тем вызывает недоумение, что такие подкованные в историческом материализме лица тратят время, труд и деньги на то, чтобы привлечь на совещания в Рим претендента на австро-венгерский трон, эрцгерцога Отто Габсбурга. Кажется, он тоже принадлежит к числу крупных знатоков марксизма и коммунизма. В кругу сотрудников «Чивильта» он должен выступить с лекциями на эту тему, после

¹ Летняя резиденция папы.

чего он засядет вместе с великим Мартегани и отцом Мессинео, и они будут состязаться в своем знании марксизма.

Кстати, об отце Мессинео. Так вот, Священная коллегия, которая водила пером этого иезуита во время неудачной атаки на Жака Маритэна¹, встревожена тем, что Маритэн сможет оказать влияние на ход заседаний евхаристического конгресса в Каракасе. Говорят, что Маритэн выступит там с докладом. Для того чтобы нейтрализовать его влияние, в Венесуэлу посылают знаменитого испанского юриста и социолога Анхеля Лопеса Амо, теоретика фалангистской доктрины, а также ректора Духовной академии в Наварре, богослова, стоящего на позициях классической теологии, отца Исмаэля Санчеса Белла. Священная коллегия уговорила епископа Венесуэлы пригласить их. Что-то будет с церковью, для которой знатоком марксизма является Габсбург, а специалистами по социологии — испанские фалангисты! Таковы огорчения господина В.

Рим, 23 декабря 1956 года

Семь дней назад католический писатель Данило Дольчи опять объявил голодовку. Он голодаст не один. Вместе с ним голодают его ближайшие сотрудники. Они отправили телеграммы Гронки, Сеньи, председателю парламента Сицилии и председателю провинциального совета. Дольчи приехал в Партино из Триеста и, потрясенный нищетой этого сицилийского городка, сразу же объявил голодовку протеста. Затем он перепробовал разные методы борьбы. Теперь вернулся к голодовке. Дольчи и его сподвижники лежат в постели, каждый у себя дома, не все в Партино. Мауро Гоббини, студент философского факультета Римского университета, и Джованни Маттура, лицеист, находятся в Бизакино.

Бизакино — маленький городок, окруженный обширными поместьями, в каждом по несколько тысяч гектаров. Это Санта Мария дель Боско, Личия и Джибилканна. Но их земли, по странной прихоти кадастра, приписаны не к Бизакино, а к другим городкам, и поэтому сельскохозяйственным рабочим из Бизакино туда нет доступа. Не всеми окрестными землями владеют крупные помещики. Шесть тысяч четыреста восемьдесят гектаров им не принадлежат. Они раздроблены на пять тысяч микроскопических хозяйств. В 1952 году в Бизакино были большие волнения, и рабочие городка вышли на поля Санта Мария дель Боско, чтобы захватить земли. Привело это только к штрафам, судебным издержкам и арестам.

Непонятно отношение «Оссерваторе романо» к этим вопросам и к самому Дольчи. То, что делает Дольчи, — это вопль священного ужаса. Дольчи — одно из самых благородных сердец, которые бьются в Италии. Взгляды Дольчи утопичны. Но возмущение «О. Р.» по поводу того, что Дольчи «не уважает порядок», и особенно насмешки над ним для меня непостижимы. Недавно газета эта писала о нем с иронией: «Католический писатель?! Следует, пожалуй, делать различие между католическим писателем и писателем крещеным».

¹ Жак Маритэн (р. 1882) — французский католический писатель, публицист и политический деятель, автор многих книг. После войны был послом Франции в Ватикане, где его считали крупнейшим из современных светских католических философов. Де Гаспери называл его «светочем католического мира». В последние годы взгляды Маритэна прошли сложную эволюцию. Он призывал церковь к «интегральному гуманизму», демократизации, осовремениванию взглядов, утверждал, что мир создан для людей, а не для бога. Враждебность Ватикана к новым идеям Маритэна нашла выражение в резкой статье католического священника Мессинео, опубликованной в «Чивильта» (сентябрь 1956 года).

Рим, 27 декабря 1956 года

Госпожа Клэр Бут Люс покидает Рим. Свои верительные грамоты она вручила в феврале 1953 года. Ее назначение на пост посла Соединенных Штатов при Квиринале¹ не встретило в Италии энтузиазма. Все считали, что в Англию, Францию или в Советский Союз Эйзенхауэр не послал бы женщину. Госпожа Люс просила называть себя «госпожа посол». По-польски говорят «пани министр» и «пани директор», поэтому и этот титул не звучал бы странно. Зато по-итальянски и по-французски — *signora ambasciatore* или *madame l'ambassadeur* — воспринимается как нелепое коверканье языка.

Следующее осложнение возникло в связи с супругом госпожи Бут Люс — господином Люс. Не потому, что госпожа Люс, увлекшись лингвистическими новообразованиями, потребовала, чтобы его называли «господином посольшей», а потому, что неизвестно было, куда его сажать во время приемов. Согласно мертвой букве протокола он должен был сидеть за столом между двумя мужчинами. Из этого положения нашли выход. Решили посадить Люса между двумя дамами. Но раз уж протокол допустил, чтобы с Люсом обращались как с лицом самостоятельного значения, и так удачно наметил ему соседей по столу, то следовало также определить его ранг. В довершение всего господин Люс был не просто мужем госпожи Люс и больше никем. Он был владельцем и директором трех мощных печатных органов: «Тайм», «Лайф» и «Форчун». Из анализа всех этих элементов получалось, что господин Люс следует по рангу непосредственно за послами, перед посланниками.

В 1944 году госпожа Люс потеряла свою единственную дочь. До этого и после все в ее жизни складывалось так, как она хотела. Она шла от победы к победе. В политике, в журналистике, в литературе, в интимной и в светской жизни. Смерть дочери во время автомобильной катастрофы ввергла ее в бездну отчаяния; вся Америка была убеждена, что госпожа Люс покончит с собой или попадет в сумасшедший дом. Она была в Америке личностью очень известной, и о ней тогда без конца писали. Писали без конца также и о ее дочери, восемнадцатилетней девушке, и о том, что госпожа Люс, поглощенная своими успехами в различных областях и отличавшаяся скорее большим умом и сильной волей, чем мягким сердцем, не слишком много внимания уделяла дочери. Но если бы даже это было и так, иначе говоря, если бы даже к отчаянию не примешивались укоры совести, если бы даже девушка не была единственным ребенком, и к тому же ребенком женщины, которой так во всем везло, — даже если бы это была обыкновенная смерть обыкновенного ребенка обыкновенной матери, то этого тоже достаточно.

Госпожа Люс, однако, не покончила с собой и не сошла с ума, а только на глазах у всей Америки перешла в католичество. Ее обратил в католичество знаменитый епископ Фултон И. Шин, тоже одна из известнейших фигур в Америке, великий ловец избранных душ и выдающийся телевизионный католический проповедник, чьи изобретательные проповеди слушает еженедельно около двадцати миллионов человек; после каждой проповеди епископ передает чек на несколько тысяч долларов — полученный им гонорар — одному из своих любимых благотворительных обществ. Госпожа Люс, страстная и непоколебимая во всех своих чувствах — страстная и непоколебимая республиканка, сторонница Атлантического пакта и антикоммунистка, — стала после своего обраще-

¹ Некогда резиденция пап, с 1870 года — итальянских королей; в настоящее время — дворец президента республики, находящийся в доме с тем же названием.

ния столь же страстной и непоколебимой католичкой. Рассказывают, что, приехав в качестве посла в Рим, она на первой аудиенции в Ватикане так надела на Пия XII, что тот в конце концов прервал ее рассуждения, проникнутые непреклонным католическим фанатизмом, словами: — Извините, мадам, вынужден вам напомнить, что я тоже католик.

Рим, 4 февраля 1957 года

Вчера в капелле папской Престольной коллегии, подчиненной Конгрегации пропаганды веры, сам кардинал Тиссеран, декан кардинальской коллегии и секретарь Конгрегации по восточной церкви, посвящал в епископы монсиньора Бернардена Гантэна. Как сообщает пресса, в церемонии посвящения участвовали — «в пурпуре и за отдельными попитрами» — кардинал Фумазони Бионди, префект Конгрегации пропаганды веры, и кардинал Чельсо Костантини, член кардинальских коллегий названных мною конгрегаций, и еще несколько представителей высшей церковной иерархии. Из них в особенности двое первых — тузы курии. В результате капелла еле вместила всех жаждавших попасть на церемонию архиепископов, послов, депутатов и сенаторов, да и множество других, менее крупных деятелей. Глаза всех были устремлены на монсиньора Бернардена Гантэна, который в эти минуты принимал сан епископа. Во взоре присутствующих, особенно во взоре упомянутых мною деятелей не первого значения, можно было прочесть, несомненно, очень противоречивые чувства, вызванные зрелищем человека, которому надевали на голову митру, хотя он только в 1951 году получил церковный сан и хотя ему сейчас всего тридцать два года. В течение трех последних лет он учился в Риме и год назад защитил два диплома: магистра богословия и магистра права.

Молодость, митра, дипломы и этот головокружительный темп заставляют вспомнить времена nepотизма или судьбы младших королевских и княжеских сыновей, делавших духовную карьеру благодаря поддержке того или иного земного владыки. Но нет! Монсиньор Гантэн не состоит в родстве с сильными мира сего. Ни с папой, ни с кем-либо из кардиналов. У него нет также никаких связей с аристократией. Начисто нет — в капелле, где теснились виднейшие деятели Ватикана, дипломаты и чиновники всех видов и мастей, не хватало именно представителей знатных родов, без которых обычно не обходятся никакие церковные церемонии.

П., присутствовавший на торжественной церемонии, рассказал мне, что, возвращаясь домой и уже находясь на улице Урбана VIII, у подножия Джаниколо¹, на котором помещается Коллегия пропаганды веры, он услышал разговор двух прелатов, язвительно комментирующих событие.

— До чего дожили! — сказал один.

— В наше время нужно быть чернокожим! — добавил второй.

Дело в том, что у нового епископа черная кожа. Бернарден Гантэн — негр из Котону, из Французской Западной Африки. В этом тайна его успеха, двигатель его карьеры.

Черным, коричневым, желтым, «цветным» людям в наши дни легко сделать карьеру в католической церкви. Ибо, защищаясь от ударов антиколониалистского движения, церковь придает туземную окраску своей иерархии на местах. Это грандиозная революция. Ватикан пересматривает давнюю, многовековую схему белой верхушки и белых кадров и «цветных» масс. Решение было принято три года назад. С тех пор

¹ В древности Джаникулум, один из семи римских холмов на берегу Тибра.

всей работой по этой части заправляет один из самых интересных и талантливых представителей курии, кардинал Евгений Тиссеран, тот самый, который совершал сегодня обряд посвящения. Он рассылает в разные концы света десятки своих подчиненных, пишет сотни писем, несколько раз в год, не жалея сил, сам пускается в путь и ищет по всем азиатским, африканским и австралийским епархиям, включая Океанию, от Бандунга на Яве до Сикоку в Японии, от Гонолулу на Гавайских островах до Айтипе на Новой Гвинее, от Мандалая в Бирме до Равалпинди в Пакистане, от Нконгсамба в Камеруне до Лагуата в Алжире,— ищет сотни нужных ему кандидатов на должности «цветных» епископов.

Рим, 19 февраля 1957 года

Сегодня был в гостях у Б. Он профессор Римского университета. Вся семья сугубо католическая. Разговор зашел о том, что Ватикан осудил литературное творчество Унамуно¹. Б. несколько раз бывал в Испании, куда его приглашали для чтения лекций. Он рассказал нам, что еще в 1954 году в связи с Унамуно обнаружились резкие разногласия между епископами и правительством, с одной стороны, и студенчеством и интеллигенцией — с другой. Тогда исполнялось девяносто лет со дня рождения писателя из Бильбао. Университеты, научные и культурные учреждения страны собирались торжественно отметить эту годовщину.

Но местная церковь так запугала кого следует, что связанные с датой торжества прошли совсем незаметно и не было надобности обращаться в Рим за помощью. Я не поверил своим ушам, услышав, что архиепископ Толедо, кардинал Пля и Дениель, вызвал тогда к себе группу ученых — энтузиастов празднования юбилея,— в том числе старого профессора Мананан и талантливейшего, пожалуй, представителя молодого поколения Х. Марисиса, и надавал им пощечин. Я усомнился, правда ли это. Но все присутствующие подтвердили, что случай этот общеизвестен, а профессор Б., желая помочь мне разобраться в данном факте, добавил: «Это же Испания. И они оба католики».

Рим, 9 марта 1957 года

Три дня провел в Палермо. Шестого в семь вечера выезжаю поездом в Неаполь. В Неаполе еду на такси в порт, на пароход «Калабрия». Пароход громадный, белый, ярко освещенный. Ужасный ужин. Уютная каюта и хорошая койка, но трясет, гудит и, что хуже всего, качает. Не могу уснуть. Мне скучно. Я одеваюсь и выхожу на палубу. Вернее, на палубы, так как их три. Еще рано — около одиннадцати.

Слева огни. Это Сорренто и самый кончик Амальфийского полуострова. А потом уже ночь, темно, и становится все холоднее. Кругом ни души. Качает. Сверкает латунная арматура фальшборта у спуска на трапы и в разных других местах. Бросаются в глаза и действуют на воображение спасательные круги. При виде их в тебе просыпается желание броситься в море и поплыть. Желание, всколыхнувшее лишь сотую долю твоей энергии. Или даже тысячную. Это маленький психологический и исторический пережиток могучей жажды приключений, подвига, риска. Пережиток вроде тех, что в критические минуты овладевают душой героев Достоевского, превращаясь в страшные, неистовые психические силы.

¹ Мигель Унамуно (1864—1937) — прогрессивный испанский писатель, крупнейший представитель так называемого «поколения 1898 года».

В баре я разговорился с высоким угрюмым господином, который возвращается из Рима в Палермо, где он будет выступать на сцене. Родом он из Генуи. Играл во всех городах Италии, получая ангажемент на два, три, четыре месяца, иногда на весь сезон — то есть на полгода. Постоянный театр существует только в Милане, а вся остальная театральная жизнь — это временные труппы, спектакли, приуроченные к случаю, зрительные залы, снятые на несколько месяцев. Изредка появляются смутные надежды на что-то постоянное, ростки постоянного, как теперь в Генуе и в Риме. Хрупкие ростки. Обманчивые надежды.

Кроме того — цензура. Штрелер два года добивался разрешения на постановку «Трехгрошовой оперы». И это в Милане, где обстановка совсем иная, чем в Риме, не говоря уже о Палермо. Милан — огромный торговый город, крупнейший промышленный центр. Влияние светской интеллигенции там настолько велико, что даже папская курия ведет в Милане несколько более либеральную политику.

Мой собеседник рассказывает, что Палермо в этом отношении страшный город. Руффини, кардинал Палермо, ненавидит и презирает театр. Охотнее всего он бы его закрыл. Даже опера, гордость Палермо, знаменитый «Театро Массимо», не пользуется его расположением.

В 1945 году, когда Руффини приехал в свою столицу, она представляла собой груды развалин. Пренебрегая всеми возникшими перед ним проблемами и трудностями, кардинал вплотную занялся планом реконструкции оперного театра, отстраивая который архитекторы восстановили старинную итальянскую систему дверок, соединяющих смежные ложи. Благополучие оперных театров в Италии основано в значительной степени на системе абонементов. Знакомые и родственники снимают смежные ложи на весь сезон. Во время спектаклей они навещают друг друга, меняются местами. Это, быть может, мешает художественному восприятию, но с точки зрения нравственности, на мой взгляд, в этом нет ничего предосудительного.

Руффини, однако, был другого мнения. Он бушевал, метал громы и молнии. Происходило это сразу же после войны, в период, когда церковь еще не держала политическую, хозяйственную и культурную жизнь страны в такой петле, как сегодня. В конце концов Руффини победил. Ему помогло то, что нигде в Италии таких дверок нет. Их уничтожил папа Иннокентий XI¹, тот самый, который посылал монсиньоров в прачечные, чтобы отбирать рубашки со слишком большим декольте. В молодости Иннокентий XI увлекался театром и даже, будучи кардиналом, любил устраивать спектакли. И поэтому он прекрасно знал, что люди переходят из ложи в ложу, движимые не только родственными и дружескими чувствами. Когда-то даже снимали смежные ложи в театре с той же целью, как столетиями позже снимали смежные комнаты в гостиницах. Став папой, Иннокентий XI из соображений высшей нравственности велел уничтожить злополучные дверки или — там, где это было невозможно, — по крайней мере заколотить их гвоздями.

Мой собеседник утверждает, что палермские архитекторы, пытавшиеся восстановить дверки, заинтересовались ими исключительно как памятником прошлого, элементом национальной архитектуры, ибо в современной Италии смотреть на дверки с позиции охраны нравственности — нелепость. Смешной анахронизм.

Мой собеседник рассказывает, что кардинал Руффини прямо-таки издевается над театрами. То, что ту или иную пьесу ставят в других епархиях, для него не довод. Пусть ее пропустили кардинал Сири, или

¹ Бенедетто Одескальки. На папском престоле под именем Иннокентия XI с 1676 по 1689 год.

кардинал Леркаро, или даже кардинал Мимми — Руффини все равно не согласен. Ужасно также то, что решение его остается неясным до самого конца. На генеральную репетицию вдруг приходит какой-нибудь тип в светской одежде — ибо Руффини, как и Мимми, неведомо почему использует для этих целей разных скромно, бедненько одетых, но чрезвычайно благовоспитанных представителей так называемого «общества». Он молчит, потеет, ерзает, краснеет. Затем потихоньку встает, отправляется куда следует и губит пьесу.

Любопытно, что кино свободно от такого сверхконтроля. Однажды в разговоре с Руффини кто-то выразил удивление по поводу того, что он не припускает пьесу, против которой не возражал венецианский патриарх. Руффини ответил, что не кардинал Ронкалли¹, а он отвечает перед богом за души жителей Палермо. В отношении киноискусства души всей Италии равноправны. То, что пропущено римской цензурой, всюду идет без препятствий. Зато стоит появиться живому человеку на сцене, как начинается канитель. Мой собеседник объясняет это какой-то сверхчувствительностью кардинала.

Я с ним не согласен. По-моему, здесь проявляется то, что мой знакомый С. считает самым ужасным в современной католической церкви, а мой знакомый Ц. — спасительным для церкви и значительно смягчающим ее консерватизм. Это близорукость церкви, которая ведет к тому, что она обрушивает всю энергию на явления, ей известные. С чем она издавна боролась — с тем и продолжает бороться. Короче говоря, она будет еще тысячу лет составлять списки запрещенных книг, но не будет запрещать фильмы. Будет придирается к мелочам, как кардинал Руффини к лолам, в то время как гигантская волна свободы нравов разрушает на совсем ином участке и иными способами то, что ею строилось веками. Но если бы даже церковь заметила это и вступила в борьбу — чего бы она добилась? По-моему, есть глубокая мудрость в ее слепоте.

Рим, 19 июля 1957 года

В сегодняшних прогрессивных газетах Этторе Делла Джованна жалуется, что РАИ (итальянское радиовещание) исказило его очерк о Кашмире. Очерку была предпослана в качестве эпиграфа старая индийская поговорка: «Три вещи делают человеческую жизнь прекрасной: зеленые луга, ключевая вода и красивые женщины». Слова эти повторялись и обыгрывались также в тексте очерка. Однако радиоцензура, которая в свою очередь находится под контролем Centro Cattolico Televisivo, изменила поговорку. В новом варианте эпиграф звучит так: «Человеческую жизнь украшают зеленые луга, ключевая вода и молитва». Так как цензор торопился, он только в поговорке заменил женщин молитвой, а в тексте самого очерка упоминание о женщинах осталось. В результате действующий там индеец ведет себя весьма странно: стоит ему увидеть зеленый луг или выпить ключевой воды, как он тут же начинает молиться, но в то же время ни на минуту не расстается с красивой женщиной.

Рим, 17 ноября 1957 года

...Молодого Л. перевели из Палаццо Киджи в Палаццо Фиренце — из политического департамента в департамент культуры. Л. сидит сейчас за своим новым столом надутый и нелюбезный. Он выражает таким образом свое огорчение и обиду.

¹ Анджело Джузеппе Ронкалли (р. 1881). В 1953—1958 годах — патриарх Венеции; с 1958 года — папа Римский (под именем Иоанна XXIII).

Л. происходит из старинного княжеского рода, одного из тех, которые ведут генеалогию со времен Римской империи. Он правнук того князя, который на вопрос Наполеона, правда ли, что его род берет начало от Муция Сцеволы, ответил, что скорее всего это легенда, но очень старая: она передается в его семье из поколения в поколение вот уже две тысячи лет.

Вчера мы с Л. разговорились. Я выразил ему сочувствие; мне не раз в жизни приходилось заниматься вещами, которые меня не интересовали, и я знаю, какая это мука. Он немножко оттаял, но не совсем. По-прежнему цедил сквозь зубы, но зато высказывался более откровенно. Тогда я заметил, что отношения в области культуры — суррогат настоящих, политических, отношений. А поскольку теперь отношения между всеми государствами мира улучшаются, то в скором времени дипломатам не придется выступать на культурном поприще, этим займутся люди искусства и науки. Такая перспектива вернула Л. хорошее расположение духа. Он стал по-старому вежлив, как будто снова очутился в Палаццо Киджи. Преподнес мне даже сочинение своего дяди — «Мир Ватикана». Этот дядя, очень плодовитый писатель, кажется, задаривает племянника своими сочинениями, и Л. не знает, куда их девать. Я проговорился, что люблю такие книги, и вот несу под мышкой одну из них.

Дома я листаю «Мир Ватикана». Книга интересна. Там подчас встречаются мысли остроумные и исполненные мудрости. Я бы сказал даже — политической. Пожалуй, Л. зря расстался с этой книгой. Вот пример:

«Ватикан представляет собой государство в государстве. Это независимая территория в самом сердце итальянской столицы. Имеет правящего государя, королевский замок, двор, дипломатические представительства. Там есть свои музеи, свои секретные архивы, своя астрономическая обсерватория. Ватикан пользуется полной автономией в лечении своих больных, поскольку имеет собственных врачей, собственную аптеку и собственную больницу. Может присваивать звания и награждать орденами. Может печатать все, что считает нужным, причем на любом языке. Имеет собственную пожарную охрану. и, стало быть, может потушить любой пожар, лишь бы он был не слишком большой».

Рим, 2 января 1958 года

Позавчера днем, когда я ходил в город за покупками, хлынул ливень. Пришлось спрятаться в кафе «Канова», на Пьяцца дель Пополо, где собирается местная богема. Из знакомых художников не было никого, зато я там встретил очаровательную госпожу Т., видную деятельницу Союза преподавателей средней школы; мы с ней подружились два года назад, когда я оформлял ее поездку в Польшу.

Дождь льет, я злюсь, она тоже бесится, нам дорога каждая минута, через несколько часов встреча Нового года, а мы здесь теряем время на разговоры, необязательные, ненужные, без которых прекрасно можно обойтись. Я сел рядом с ней на диван. Нам достаточно наклониться, чтобы проверить, идет ли еще дождь. Наклоняемся по очереди — то я, то она. Но, как всегда, ничего нельзя предвидеть заранее! Когда мы прощались час спустя, на улице было уже сухо: о дожде все и думать позабыли. А мы неожиданно увлеклись разговором о деле юных святотатцев из Терни, слухи о котором только на днях начали проникать на страницы печати, но которое уже значительно раньше вызвало волнение в кругах учителей.

Впрочем, дело это совсем недавнее. Ему всего две недели. Две недели назад произошли события, вызвавшие всю эту бурю. Местом дей-

ствия была аудитория второго класса «А», расположенная на третьем этаже лицея Тацита. Декабрь — пора дождей; в тот день в Терни лило как из ведра, и на перемене после урока математики ребята не рискнули выйти во двор. Но для разминки им захотелось побегать, пошалить. Они начали драться ремнями от ранцев, а те, у кого были резиновые ремни, делали из них рогатки и стреляли друг в друга кусками мела и каштанам.

Еще увлекательнее, однако, оказалась стрельба по мишени — то есть по громкоговорителю, который при каждом попадании издавал звук и извергал столб пыли. Громкоговоритель находился на передней стене аудитории, то есть за кафедрой, примерно в полуметре от деревянного распятия. И вдруг кто-то попал в гипсового Христа. Он свалился на пол, и у него отлетела рука. Ребята подбежали, молча убрали осколки, руку кое-как приладили наспех умятым хлебным мякишем. Едва они успели водворить распятие на место, как в дверях появился преподаватель. На следующей перемене ребята вышли из класса. На третьей — тоже. Между собой о случившемся не говорили.

Так прошло два дня. Никто ни о чем не вспоминал, и ребята совсем перестали думать об этом случае. И вот на ближайшем уроке закона божьего, едва только преподаватель, отец Паолоне, приставив к стене скамеечку, потянулся к распятию, дети поняли, что дело плохо. Паолоне молча прижал распятие к груди и вышел из класса. О злосчастном выстреле каштанами или мелом его анонимно уведомили по телефону. Он как раз собирался в лицей, но, придя туда, направился сразу не к директору и не во второй класс «А», а в тот класс, где у него по расписанию были занятия. Только третий урок у него был в классе со слованным распятием. Тогда он и пришел туда. Судя по всему, он правильно отнесся к тому, что произошло. Считал этот случай прискорбным и достойным порицания, но в порицании не усердствовал сверх меры. Он унес распятие, чтобы показать его директору, и по всей вероятности думал, что достаточной мерой наказания будет покаянный молебен и строгая нотация. Спокойствие и сдержанность отца Паолоне доказывают, по мнению госпожи Т., что не он был вдохновителем дальнейших крутых мер. Она считает, что новый оборот придал делу директор лицея Арканджело Петручи.

Директор словно только и ждал подобного материала и сразу же принял его обрабатывать: внушил отцу Паолоне, что тот должен тут же бежать в свой монастырь, сообщить о случившемся настоятелю, а настоятель в свою очередь обязан предупредить епископа. Немедля он повестками вызвал в лицей всех отсутствовавших в тот день преподавателей, а тех, кто был на месте, предупредил устно во время ближайшей перемены, чтобы не уходили, так как сейчас же после занятий состоится заседание педагогического совета. Кажется, он в тот же день уведомил о происшедшем квестуру, то есть полицию.

Я был в Терни проездом несколько раз. Недавно, по дороге в Ассизи, я провел там часок. Это красивый городок на полпути между Перуджей и Римом, в Умбрии. Он очень древний. Основан еще умбрами. Когда-то назывался Интерамна. Здесь родился Тацит. Поэтому все в этом городе носит имя древнеримского историка: помимо упомянутого уже лицея, крупнейшая площадь в городе — Пьяцца Тацито, самая красивая улица — Корсо Корнелио Тацито, кинотеатр — его имени, ресторан — тоже. Памятников старины здесь, однако, не много: дворец князей Спада, построенный по эскизам Сангалло-младшего, прекрасные склепы под собором и хорошая картина моего любимого Беноццо Гоццоли в городском музее.

Есть в Терни и новая часть города, над рекой Нерой, выросшая рядом с известными во всей Италии домами и сталелитейными заводами. По своему политическому профилю город, можно сказать, «красный». Во время последних муниципальных выборов две трети голосов получили коммунисты и социалисты. О местном епископе я знаю только, что он родился в 1902 году и зовут его Джан Баттиста Даль Пра. Стоять во главе «красной» епархии — дело не из приятных. В римской курии смотрят на тебя с укором, а в Конгрегации консистории, от которой ты как епископ полностью зависишь, не только смотрят, но и упрекают. И трудно утешать себя тем, что не ты один находишься в таком неприятном положении, что туго приходится и кардиналам, например Леркаро из Болоньи, и архиепископам, например Москони из Феррары. Не говоря уже о таких епископах, как знаменитый Фиорделли из Прато и многие другие.

Во всех этих городах большинство избирателей отдает свои голоса «красным». Это неприятно, оскорбительно и ставит в затруднительное положение даже в такой мелочи, как ежегодные статистические данные для Ватикана по епархиям. В самом деле, кто эти «красные»: католики или нет? Как их записывать? Они почти все крещеные, но уже много лет своим голосованием на выборах доказывают ясно, что откололись от церкви. Все же заносить их в графу убывших епископы не хотят. Туда заносят только минимальный процент. Отсюда статистические парадоксы. В Болонье свыше 300 тысяч жителей. Большинство — коммунисты, но среди них только 750 неверующих и не католиков. То же самое во всех городах, которые я назвал. За исключением Терни, где епископ вообще никого и ничего не хочет вычеркивать. Напротив: по его данным, во вверенной ему епархии 116 007 жителей; из них 116 012 католиков. Как у него получается, что католиков больше, чем жителей, я не знаю. Во всяком случае, так он официально сообщает в Святую конгрегацию консистории. Я сам проверял эти цифры в «Аннуарио понтифичио». Очевидный статистический просчет. А появился он в результате нелепых натяжек. Тянут статистику, тянут, и в конце концов получается этакий урод.

В тот злополучный день, когда преподаватели собрались на заседание, директор Арканджело Петруччи вынужден был извиниться перед ними и уехать — его вызвали к епископу. После обеда собрались вторично. Петруччи вернулся из курии в крайнем возбуждении. Он узнал от епископа, что случай — сам по себе ужасный — имеет еще более ужасную подоплеку. Не так давно вспыхнул пожар в соборе — за ризницей, в помещении, где держат всякий хлам и куда никто никогда не заходит. Однако кто-то зашел, раз там загорелось. Неизвестно кто, неизвестно что вызвало пожар — быть может, случайно брошенный окурочок. Но если не окурочок и не случайно, то налицо явный акт вандализма. Мало того: в небольшой молельне св. Франсиска разбили стекло. По соседству, в древнем аббатстве св. Петра из Валле, украли два золотых подсвечника. События в школе нельзя рассматривать вне связи с этими фактами, а эти факты — вне связи с атмосферой фанатического материализма, который приводит к тому, что большинство жителей Терни на выборах в муниципалитет голосует не за католиков, а за коммунистов.

Преподаватели в Италии не слишком запуганы, у них свой профессиональный союз, довольно независимый и энергичный, и поэтому на собраниях разгорелась горячая дискуссия. Но директор получил строгие указания от епископа. Он использовал в качестве тактического приема довольно мощный аргумент: если мы не хотим видеть в лице полиции, заявил он, то мы должны доказать, что сами сумеем подойти к вопросу с позиции

закона, карающего со всей строгостью любые святотатства, любое богохульство.

Он так обрабатывал и запугивал своих коллег, что в конце концов они создали комиссию, наделенную самыми широкими полномочиями. В комиссию вошли директор, отец Паолоне и еще три человека: один из объединения «Католическое действие», другой из христианско-демократической партии, а третий тоже из чего-то в этом роде.

На следующий день начались допросы. Полиции фактически не было, но на допросах царил вполне полицейский дух. Двери были плотно закрыты, занавески задернуты, шторы спущены. На кафедре горела лампочка в сто ватт, абажур был повернут таким образом, чтобы свет падал на лицо допрашиваемого. За кафедрой — член комиссии, ведущий допрос. По обеим сторонам допрашиваемого — остальные члены комиссии. Для дополнительной проверки установили телефон и тот самый громкоговоритель, который с честью выдержал обстрел мелом и каштанами. Телефон и громкоговоритель подключили к кабинету директора. Там сидел уполномоченный комиссии. Время от времени он посылал во второй класс «А» за кем-нибудь из учеников и сажал его рядом с собой. Из зала, где велся допрос, ему по телефону сообщали вопросы. Он задавал их мальчику, вызванному из класса. Тот отвечал тоже по телефону. На время его ответа включали механизм с громкоговорителем. Прием сложный, но, говорят, действенный. Задерганный комиссией допрашиваемый ученик, услышав в громкоговорителе голос товарища, который освещал ту или иную деталь иначе, чем он, терялся окончательно.

Тех, кто вел допрос, интересовали прежде всего две вещи: во-первых, кто попал в распятие, во-вторых, как влияет на каждого из допрашиваемых мальчиков «общая материалистическая атмосфера» города Терни. Первый вопрос никак нельзя было разрешить окончательно — не хватало данных. Речь могла идти о четырех учениках, и комиссия решила, что ни один из них не будет допущен к экзаменам в конце года. Вторая проблема была не менее сложной. Прежде всего надо было установить критерий для определения связей обвиняемых с общей предосудительной атмосферой. Критерий устанавливали в ходе допроса. Этому содействовала также местная католическая пресса. Четыре дня длились допросы. Четыре дня писала об этом пресса. Писала все резче, все злее, поскольку ей удалось спустя сутки после событий в лицее напасть на след якобы существующего в Терни молодежного клуба богохульников.

В том, что такой клуб создан, никто из заинтересованных лиц не сомневался. Ни епископ, ни Петруччи, ни отец Паолоне, ни остальные члены комиссии, ни представители прессы. Доказательства были, но информация носила секретный характер, и ее нельзя было публиковать. Целью членов клуба было богохульство. Условием принадлежности к клубу было богохульство не случайное, а систематическое. Систематическое — это значит не только постоянное, но по выработанному плану. С планом в руках, или, вернее, с календарем. Нужно было согласно календарю каждый день оскорблять богохульными, грубыми словами нового святого. По воскресеньям, кроме приходившегося на этот день святого, под обстрел богохульников и сквернословов попадала очередная догма. Так как игра была опасной, разрешалось и считалось вполне достаточным произнести вслух ругательство или проклятие и уж про себя назвать адресата, то есть данного святого и догму.

Следовательно, если какой-нибудь юноша сквернословил, его могли взять на подозрение. Комиссия же прямо считала его подозрительным. Учеников на допросах без конца терзали — ругаются ли они, а если нет, то пользуются ли грубыми выражениями. Если да — комиссия знала, что об этом думать. Если нет — дело считалось неясным, ибо комиссии

было трудно поверить, что существуют примерные мальчики, которые никогда не сквернословят. Допросы длились невыносимо долго. Мальчика, больше других подозреваемого в том, что он отколол руку у гипсового Христа, допрашивали битых четыре часа — с девяти до часу. Парень как-то выдержал атаку, несмотря на ее сценическое оформление — мрак, свет, голоса из громкоговорителя и постоянные напоминания, что за столь тяжкий проступок, как оскорбление предмета культа, угрожает много лет тюрьмы.

Комиссия не смогла доказать чью-либо принадлежность к клубу. Если бы ей это удалось, такого ученика исключили бы из лица. Но относительно четырех мальчиков решили, что они совершали поступки, вдохновленные, по всей вероятности, руководителями клуба, вербующими новых членов. Мальчики признались, что им случалось иногда выругаться или произнести скверное слово. Больше они ничего не сказали, ибо больше ничего и не могли сказать. Итак, это скорее всего кандидаты в члены клуба, решила комиссия. Им запретили две недели посещать занятия. Последней среди наказанных была девушка — ученица другой школы. Задержанный комиссией юнец показал, что во время злополучной перемены звонил ей по телефону и не был в классе, когда все произошло. Свидетельство оказалось ложным. Алиби было выдуманным. По настоянию комиссии, девушку отстранили от занятий в школе на десять дней.

Местная католическая пресса продолжала неистовствовать. О втором классе «А» писали как о питомнике «иконоборцев». Клеймили «материалистических фанатиков», которые довели молодежь до того, что она взяла в руки меч иконоборчества. Сравнение резиновой рогатки с мечом иконоборчества имело такой успех, что его заимствовала центральная печать — правительственная газета «Мессаджеро» и даже ватиканская «Оссерваторе романо»; последняя заклеила случай с распятием со свойственной ей тупостью и резкостью, писала о «потенциальных гангстерах», «пропащих людях без сердца и бога» и тому подобном.

В такой атмосфере юные иконоборцы — гангстеры, сражающиеся резиновым мечом, — провели рождественские праздники. За эти несколько дней в Терни кое-кто из инициаторов скандала наконец опомнился. Первым пришел в себя отец Паолоне, по натуре неплохой человек, который за несколько лет преподавания в лицее никогда ни на кого не жаловался директору, ни на кого не писал доносов, никого не отстранял от занятий, никого не записывал в журнал. Опомнились также некоторые преподаватели, вначале поддавшиеся воздействию фанатика спиритуализма Арканджело Петручи. Многие в Терни начинали понимать, что в этом деле не все ладно. Из восьми ребят, которых так бесцеремонно перемолола мельница комиссии, пятеро принадлежали к разным стройкам объединения «Католическое действие». У девушки, отстраненной от занятий, тоже была безупречная репутация верующей. Пока дело носило чисто школьный, местный характер, родители стояли на стороне школы. Но когда их детей стали все более грубо поносить в центральной прессе, взрослые потеряли терпение. Кроме того, кто-то, кажется, опроверг исходное положение, на котором были построены приговоры комиссии, — я имею в виду «клуб богохульников», — пролил свет на его происхождение.

Все началось с доклада, который за месяц или за два до случая в Терни разослал куриям всей Европы испанский монашеский союз «Opus Dei» («Творение божье»). Это союз новый и, пожалуй, самый фанатический и реакционный из всех, существующих ныне в Испании. Правее его нет ничего, левее — иезуиты, с которыми он на ножах, считая их тайными коммунистами. В третий монашеский орден союза «Opus Dei»

принимают только людей с положением. В уставе третьего ордена, утвержденном в Риме совсем недавно (в 1950 году), есть любопытный параграф: «О чьей-либо принадлежности к третьему ордену «Opus Dei» могут знать только три человека: его святейшество, глава союза и местный руководитель, остальные должны только догадываться». Члены ордена обязуются под присягой беспрекословно повиноваться своему главе. Словом, это нечто вроде католического ку-клукс-клана, и в Испании потихоньку, когда никто не слышит, его так и называют.

Что касается доклада, разосланного союзом «Творение божье», то в нем говорилось о натиске враждебных сил на религию, церковь и католицизм в Испании. Среди средств борьбы, которыми пользуется враг, в докладе перечислялись именно «клубы богохульников». Доклад был совершенно секретным. Его вручали епископу в собственные руки, правда в нескольких экземплярах, которыми он мог распоряжаться по своему усмотрению. Предположение, что документ этот вышел за пределы курии и, едва посеяв зло, уже принес свои пагубные плоды, казалось невероятным. Еще менее вероятным представлялось, чтобы такой клуб мог возникнуть в Терни независимо от доклада, а значит, не в порядке подражания. Просто какой-нибудь священник или монах прочел в докладе о существовании таких клубов и рассказал другому, а тот передал дальше. Информация о клубах дошла таким образом до кого-то из членов комиссии; тот воспринял ее как рабочую гипотезу, а следующий его коллега — как страшное, прочно укоренившееся в городе явление, которое только простачки не замечают и в которое только слепые не верят. Теперь же, когда был открыт источник информации, злосчастная гипотеза совершала обратный путь, причем все здравомыслящие люди не только не верили уже в существование такого клуба в Терни, но даже сомневались, существуют ли они в Испании.

Епископ, однако, продолжал неистовствовать. На воскресенье 29 декабря он назначил во всей епархии покаянные молебны и велел установить у подножий алтарей большие распятия, чтобы все знали, в чем тут дело. Еще большее впечатление произвело пастырское послание, которое епископ велел зачитать во всех церквях. Там говорилось, в частности: «Эпизод этот, страшный сам по себе, становится еще страшнее, если его рассматривать как симптом. Оказывается, что подобные случаи сегодня могут без труда произойти всюду. Они могут возникнуть в среде молодежи легко и без особой причины, так же как иногда без особой причины игра переходит в драку. Но именно эта легкость доказывает, что следует бить тревогу. Ибо только ненависть к господу богу, только враждебность к церкви — если таковы были чувства, побудившие виновников святотатства поднять руку на распятие, — могут привести к подобного рода поступку. Это может произойти только в среде, проникнутой духом материализма и безнравственности, только в среде, отравленной явной или тайной враждебностью к религии. Оскорбленное распятие протягивает к нам руки, моля о защите. Нам нельзя не откликнуться на его зов, так же как нельзя пройти мимо тяжелого оскорбления, нанесенного распятию, пройти мимо истинных, чудовищных причин самого события».

В отличие от церковных властей довольно разумно вела себя в этом деле полиция. Вообще квесторы, офицеры сикуреццы (охранки) и многие рядовые старые полицейские относятся к церкви хотя и раболепно, но бдительно. Так и в этом случае, получив донесение от директора лицея, квестор переслал его выше по инстанциям, сообщив одновременно своему начальству, что дело подлежит юрисдикции школьных властей. Здравый рассудок полицейского подсказывал квестору, что незачем вводить полицию в школу и превращать в пугало для молодежи. Время от

времени он высказывался даже в защиту лицейстов. В беседе с журналистами он заявил, что на подведомственном ему участке никогда не было никаких случаев оскорбления церкви, а если взрослые себе этого не позволяют, то с кого молодежь могла взять пример? Нет, он совершенно не верит, чтобы руку у Христа отбили умышленно. Это обыкновенное ребячье озорство. Ребята озорничали, а несколько старых ослов раздули дело!

После того как епископ выступил со своим посланием, квестор притих. Но он снова обрел дар речи, когда к нему на стол посыпались жалобы, ибо родители в конце концов не выдержали. Какой-то отец даже усмотрел в пастырском послании епископа оскорбления по адресу своих детей. Местная газета «Мессаджери» и члены комиссии одно время писали и рассказывали всевозможные небылицы о юношах и девушках из Терни, называя при этом их фамилии. Но ветер переменился, родители перешли в контратаку. Никто не трогает «Оссерваторе романо». А что касается епископа, то родители полагают, что достаточно послать делегацию к папе — и епископ возьмет все свои заявления обратно. Во всем инциденте нет ни малейших следов преднамеренности содеянного, самое решение комиссии опровергает тезис о преднамеренности проступка: четверых ребят обвиняют в стрельбе по распятию, между тем весь класс единогласно показывает, что в Христа попали случайно только один раз.

Так или иначе, 13 января судебный следователь в Терни начинает вести расследование по жалобам на клевету, оскорбления, распространение вредных и ложных сведений устно и в печати. Таких жалоб поступило больше десяти. Некоторые родители требуют денежной компенсации.

Конечно, римская курия менее всего заинтересована в возникновении подобных скандалов. Итальянское государство создавалось в борьбе с церковью, и традиции этой борьбы еще живы. Для престижа церкви нет ничего более вредного, чем такие отрезвляющие встряски, как дело в Терни. Это не Ватикан подстрекает епископа Терни. Напротив, Ватикан кипит от ярости, хотя и будет защищать епископа до конца. И никогда не дезавуирует его. Он не может так поступить, и это, по сути дела, вполне понятно.

Меня больше всего занимает в таких случаях постепенное созревание той крупной ошибки, которую в конце концов совершает церковь. Ошибка эта зарождается не в пустоте, а в определенной атмосфере. И затем при малейшем толчке происходит взрыв. Мне только непонятно, почему в столь сложном церковном механизме не существует шнура со звонком, сигнализирующим тревогу. А как видно, его не существует.

Рим, 12—15 января 1958 года

Двадцатого января начнется судебный процесс против епископа Пьетро Фиорделли из Прато. С момента подписания Латеранских договоров, то есть с 1929 года, это первый епископ на скамье подсудимых. Вместе с ним предстанет перед судом священник прихода церкви Вечной помощи — Данило Айацци. Если, конечно, они предстанут.

Об этом деле, расколовшем всю Италию на два лагеря, писали очень много. Отклики на него я находил в католической прессе Франции, Англии и Германии. В Италии его очень горячо обсуждают. Одни обвиняют епископа, другие защищают, но и те и другие поражены ходом событий.

Когда рассказываешь об этом деле человеку, который раньше ничего о нем не слышал, не знаешь, с чего начать: с действующих лиц, с обстановки или с самой проблемы. В сущности, следовало бы пустить

все три потока информации одновременно, так как все они нужны с самого начала. Но поскольку это невозможно, начну, пожалуй, с обстановки, то есть с городка Прато.

Прато расположен на полпути между Флоренцией и Пистойей, чуть ближе к Пистойе. В городе сохранилось несколько прославленных памятников старины и такие картины крупных мастеров, что ни одна серьезная выставка итальянской живописи — независимо от школы и эпохи — не может без них обойтись. Но вы не найдете здесь больших картинных галерей. Напротив, они маленькие, и, собственно говоря, галерея только одна — муниципальная, во дворце претора. Остальные памятники — это несколько церквей. Но и в галерее и в церквях картины великолепные. В Прато хранится также знаменитая реликвия — «препоясие Христово». Она находится в часовне Святого препоясия, самой красивой часовне собора, построенного в тринадцатом веке. Часовня отделена от нефа чудесной бронзовой решеткой пятнадцатого века, расписана готическими фресками Гадди, изображающими историю святого препоясия. Ту же самую историю, на этот раз написанную кистью неизвестного тосканца, можно увидеть в музее. Зато амвон в соборе — не анонимное творение. Все считают, что его автор — Микеллоццо. А что касается ангелов или амурчиков, пляшущих вокруг святого препоясия, то они работы Донателло.

Справа от собора — епископский дворец. До недавних пор епископ там не жил, но дворец всегда называли епископским, потому что там останавливался епископ из Пистойи, приезжая в Прато для инспекционного осмотра. Прежде Прато не было настоящей епархией. Говорят, что весной 1653 года здешние горожане добились этой чести. Но только чести. Без собственного епископа. И вскоре, очевидно, ветер подул в другую сторону, потому что в сентябре того же года новая епархия была объединена с Пистойей личной унией. И так уже осталось. Причем столицей этой сдвоенной епархии был город Пистойя. Они разделились только в январе 1954 года. Пистойе досталось сто семьдесят приходов, двести священников и пятьдесят семь монастырей. Новой епархии Прато — пятьдесят один приход, шестьдесят четыре священника и тридцать семь монастырей.

Одни говорят: новая епархия. Другие: старая, но с давно не назначаемым епископом. Характер этой проблемы не чисто исторический. В Латеранских договорах есть статья, предусматривающая постепенное сокращение количества епархий, с тем чтобы их число совпадало с числом провинций. Муссолини придавал этой статье очень большое значение. Он хотел, чтобы на одного префекта приходился один епископ, чтобы влияние обеих властей — церковной и государственной — уравновесилось. Он считал, что в случае возможных конфликтов у противников будут равные силы. Он противился назначению епископа — пользуясь нашей терминологией — в каждый уездный центр, опасаясь, что уездные власти отступят перед столь высоким саном, сдадут свои позиции.

Кардинал Гаспари, статс-секретарь Ватикана и контрагент Муссолини, при заключении Латеранских договоров согласился с ним. Он настоял лишь на том, чтобы епархии ликвидировались не при жизни епископов, а только после их смерти. Сформулированную таким образом статью включили в договор и подписали. Но с тех пор как в Италии пришли к власти католические правительства, статью эту предали забвению. Епархий становится все больше и больше. К этому стремятся и Ватикан и христианские демократы. Там, где сильно влияние коммунистов и вообще светских кругов, создают епархии. Особенно в городах, где синдак (мэр) — «красный». Считается, что

с точки зрения тактики необходимо противопоставить ему авторитет епископа. Во всяком случае, такие выводы напрашиваются из статистики. В 1929 году в Италии насчитывалось двести епархий, теперь их двести восемьдесят.

В связи со всем этим во дворце епископа в Прато появился в начале 1954 года постоянный жилец. Его имя и фамилия нам уже известны. Родился он в Читта ди Кастелло в 1916 году, в епископский сан возведен на тридцать восьмом году жизни, то есть необычайно рано. Впрочем, он до сих пор самый молодой епископ в Италии. В Прато его встретили восторженно. Высокий, живой, приветливый, он произвел на всех самое благоприятное впечатление. За последнее десятилетие количество жителей Прато резко увеличилось. В городе выросла промышленность, он стал одним из крупнейших текстильных центров страны. Такой рост города пробудил в его жителях честолюбивые стремления. Стать столицей провинции — вот о чем мечтал город Прато. И когда молодой епископ в своем ответе на приветствие синдака Роберта Джованнини заявил: «Сегодня — епархия, завтра — провинция», — то энтузиазм охватил не только белое меньшинство, но и красное большинство.

В Прато «красные» составляют подавляющее большинство. Две трети голосов на выборах¹ получают сторонники Тольятти и Ненни. Синдак, конечно, «красный», профсоюзы — «красные», рабочие праздники и разные годовщины, которые в других местах проходят незамеченными, здесь отмечаются с большим размахом. Вероятно, эти причины и заставили архиепископа Флоренции, кардинала Далла Коста, порыться в архивах и раздобыть там подтверждение того, что в старину город Прато имел, или, вернее, должен был иметь, своего епископа. Не подлежит также сомнению, что ныне покойный кардинал Пицца, тогдашний секретарь консистории, великий церковный «заведующий кадрами», долго раздумывал, выбирая подходящего кандидата в епископы Прато. Монсиньор Фиорделли не был консерватором; консерватизм был ему чужд, в то же время не было в нем и ничего популистско-неохристианского — он ничем не походил на иных французов, мнящих себя специалистами по рабочему вопросу. Нет, Фиорделли не таков. Он вполне современный человек, всегда отличался большими организаторскими способностями и безупречной нравственностью, читал прекрасные проповеди, писал с блеском, умел увлекать за собой молодежь — можно ли требовать большего от епископа, брошенного в наше время на революционный участок фронта?

Отвечая на речь «красного» синдака, монсиньор Фиорделли заявил также: «Я хочу быть епископом для всех!» Надо думать, что он был знаком со статистикой и хорошо понимал, что ему досталось нелегкое поле деятельности. Католическая курия в Италии считает неопровержимой истиной то, что коммунист — это католик, на которого обращали слишком мало внимания, то есть человек, который стал «красным» исключительно из-за небрежности и беспечности пастыря. И монсиньор Фиорделли, обещая быть епископом для всех, выражал таким путем надежду, что ему удастся исправить зло, которое причинили «красные» местному пролетариату и прогрессивной интеллигенции.

Первые месяцы прошли у Фиорделли в состоянии непрерывного блаженства, связанного с получением епископского сана, высокого, самостоятельного поста. Повиновение, власть, дворец, автомобили, великолепный собор — все вокруг к его услугам! Когда он вдоволь насладился этими благами, появились новые удовольствия. Блаженство,

¹ Имеются в виду выборы, происходившие до 1958 года.

доставляемое организацией неорганизованного и реорганизацией организованного. И, наконец, блаженство, которое давала ему возможность распоряжаться крупными денежными суммами. Сама епархия причисляла небольшой доход, но у молодого монсиньора денег было вдоволь. Они частично поступали по разным статьям ватиканского бюджета, частично же были местного происхождения. Фабрики, промышленность, банки, поместья — все стремились помочь епископу Фиорделли. Он разработал план наступления на «красных». План предусматривал строительство крупных зданий для католических, рабоче-католических, молодежно-католических и женско-католических организаций. Он предусматривал также жилищное строительство и премирование квартирами за активное участие в этих организациях. Епископ покупал, передвигал, поселял, перемещал. Он приказал организовать в приходах кружки, союзы, объединения. Не жалел средств на клубы. Два года спустя он мог уже сказать себе, что провел очень неплохую строительную и организационную работу. Был ли он доволен полностью? Сомневаюсь. Ибо фундамент фундаментом, а контуры здания, которое должно было на нем вырасти, контуры здания великого духовно-политического перерождения епархии Прато даже и не намечались. Город поглощал святые, или, вернее, расходуемые во имя святой цели, деньги, но совершенно не менялся. Перелом у епископа Фиорделли наступил весной 1956 года, когда в нескольких районах прошли выборы в местное управление и, как и в былые времена, победу одержали коммунисты.

Монсиньор загрузил. Впервые за два года, то есть с тех пор, как он принял епархию, епископ не дал никаких приказаний, решил послушать, что говорят другие, и внял голосу разного рода советчиков, открывших ему глаза на подрывную деятельность, которую ведут в епархии различные силы и лица; иначе говоря, епископ узнал вещи, о которых он и не подозревал. Из-за них, из-за этих-то людей его паства отвечала неблагодарностью на все его труды и заботы. Епископ изменился. Стал менее деятельным. Впрочем, и денег теперь было меньше. Источники, из которых он до сих пор черпал полными пригоршнями, стали менее щедрыми. Епископу объясняли, что вначале он получал намного больше, так как ему давали на обзаведение. Но сам он объяснял это иначе: не дают, потому что разочаровались.

Кажется, именно в это время епископа Фиорделли начали раздражать явления и факты, которых он прежде не замечал. В частности, те самые гражданские браки, из-за которых впоследствии разгорелся скандал. Они были распространенным явлением во всей Италии до Латеранских договоров. После заключения договоров это классическое завоевание светской власти в девятнадцатом веке осталось юридически неприкосновенным, с той только разницей, что отныне приходский священник становился также чиновником, ведущим запись актов гражданского состояния. Итак, с 1929 года можно было заключить гражданский брак в муниципалитете или же оформить его в виде дополнения к церковному браку. Практически это означало, что люди перестали оформлять брак и тут и там, то есть в муниципалитете и в церкви; они просто венчались в церкви, удовлетворяя разом и церковь и государство. Так поступало девяносто пять процентов населения. Пять процентов оформляло только гражданский брак.

Дворец епископа Фиорделли стоит напротив здания муниципалитета. Живя в таком месте, нельзя не заметить, что из-под аркад муниципалитета несколько раз в неделю выходят своеобразные группы, в центре которых всегда находятся двое: он в темном костюме, она в белом платье, с миртовым венком на голове; остальные тоже по-праздничному одеты. Мирт и белое подвенечное платье на невесте, вступаю-

шей в гражданский брак, можно увидеть не во всех городах. Муниципалитеты, в которых большинство составляют христианские демократы, умышленно стараются унизить молодоженов, вступающих в гражданский брак. Браки регистрируют в грязных и темных клетушках, идя туда, нет смысла наряжаться. Совсем иначе обстоит дело в Прато, так же как в Болонье, Ферраре или Пистойе, где большинство в муниципалитете «красные». Точно так же во многих городах на севере Италии, где крепки светские традиции, никто не позволит себе никаких выпадов против гражданских браков. Или во Флоренции, где синдак — францисканец Ла Пира — предоставил для оформления таких браков великолепный аудиенц-зал во Дворце Синьории, считая, что если господь бог захочет вернуть кого-нибудь с ложного пути материализма на путь истинный, то сделает это, не прибегая к помощи людей, которые издеваются над себе подобными.

Сам Ла Пира браки не оформлял и раз навсегда освободил от участия в их оформлении всех католических чиновников муниципалитета; для этого у него были республиканцы и социал-демократы. Зато он не жалел для новобрачных цветов, и однажды на него даже обиделся Далла Коста, узнав, что он отказался дать городские лилии на какое-то божественное представление, а на следующий день велел украсить ими упомянутый мною аудиенц-зал во Дворце Синьории, где должно было венчаться сразу несколько пар. Но Ла Пира объяснил старому кардиналу, что он поступает правильно, и все обошлось. Ему вообще удавалось объяснить кардиналу и не такие вещи. Конечно, сплетни об этом дошли до епископа в Прато. И если они дошли в то время, когда Фиорделли уже задумал поход против гражданских браков, то, безусловно, подлили масла в огонь. Неудачи разожгли фанатизм епископа. Ничто не действует на фанатиков так возбуждающе, как снисхождение к греху или заблуждению. Оно подхлестывает их фанатизм больше, чем самый грех.

В одно из воскресений начала 1956 года епископ Фиорделли взошел на амвон и прочитал проповедь против «так называемых гражданских браков». Дело пастыря — предостерегать, точно так же как дело муниципалитета — оформлять браки людей, изъявляющих к тому желание. Поэтому после проповеди ничто не изменилось, хотя епископ и напечатал ее в епархиальных «Рикьями», то есть «Призывах». Ни он и никто другой не в силах что-либо изменить по существу вопроса. В конце концов если закон о гражданских браках существует, то что тут можно поделывать — будь ты епископ или не епископ? В лучшем случае время от времени можно выражать свой протест. Но оказалось, что епископа не удовлетворяли одни только словесные заявления. Он решил померяться силами.

Сначала он долго выбирал. По собственной воле или был к тому вынужден, сказать трудно. Ему докладывали о каждой чете, готовящейся вступить в гражданский брак, но это были либо коммунисты, либо представители радикальной интеллигенции, либо люди слишком бедные, либо, наоборот, слишком богатые и со связями. Словом, все время были какие-то препятствия, какие-то «но». Почему епископ в конце концов остановился на Лориане Нунциати и Мауро Белланди, никому не известно. Возможно, он испугался, что если будет слишком долго колебаться, то из его плана ничего не выйдет. А может быть, этот выбор ему подсказал священник Данило Айацци, к приходу которого принадлежала семья невесты. Епископ любил Айацци. Кажется, это был его любимый приходский священник. На общих фотографиях они чем-то напоминают Дон-Кихота и Санчо Панса. Один — астеник, другой (я имею в виду Айацци) — пикник. Говорят, толстяк Айацци об-

ладал хорошей деловой сметкой, вернее, был весьма расчетлив. У епископа такие качества отсутствовали. Несомненно, этот контраст в сочувствии со множеством общих черт способствовал тому, что они сдружились и доверяли друг другу. Впрочем, их личной дружбы даже и не требовалось, чтобы выбрать молодоженов для показательной расправы в лучшем из приходо́в. Как бы там ни было, так оно и случилось. Еще один факт представлялся епископу очень соблазнительным при этом выборе: невеста была католичкой, а жених тяготел к коммунистам. Такое соотношение само по себе требовало вмешательства. Победа казалась легкой. А в случае победы была обеспечена громкая огласка. Огласка очень выгодная и в религиозном и в политическом отношении.

Первую беседу с Лорианой провел приходский священник. Он знал ее еще ребенком. И ребенком знал, пожалуй, лучше, чем девушкой, так как в последние годы она довольно редко посещала церковь. Ей это не нравилось. Работала она в принадлежавшем ее отцу кафе с продажей сигарет и бильярдом. Посетители кафе были люди приличные. Милостивой девушкой интересовались все — и старые и молодые, стремясь к более короткому знакомству. Тем не менее у Лорианы была безукоризненная репутация. Но по воскресеньям и в праздники у нее как-то всегда находилось более заманчивое развлечение, чем богослужение в церкви. Что касается ее политических взглядов, то до сближения с Белланди она ничем не выдавала своих симпатий к левым. Правда, спустя три года после войны на празднике газеты «Унита» ее избрали «Звездой Прато», и в связи с этим она получила в подарок от редакции норковое манто. Но это был 1947 год, тогда еще не существовало такой вражды между двумя лагерями, как сейчас, и девушка-католичка могла пойти на праздник, организованный коммунистами, и со спокойной совестью принять шубку, купленную на партийные деньги. Это никому не казалось предосудительным. Ни благонамеренным родителям Лорианы, ни ее еще более благонамеренным ханжам-теткам, которые позднее, то есть весной 1956 года, носились по всему Прато, причитая, что жених Лорианы не хочет венчаться в церкви.

Белланди действительно не хотел. Это был тридцатитрехлетний великан, весивший сто килограммов. Впрочем, когда немцы вывезли его в Дахау, он похудел ровно вдвое. Осенью 1943 года он бросил дом и ушел в партизанскую дивизию «Арно», действовавшую в окрестных горах. Партизанил он полгода, был схвачен парашютистами и приговорен к смертной казни. Когда его уже поставили к стенке, началась бомбежка. Объявили тревогу, и немцы увели его в подвал. Потом вывели. Опять увели и опять вывели. Это повторялось три раза. В конце концов немцы решили спокойно совершить казнь за городом и погрузили Белланди вместе с другими приговоренными в машины. Но судьба словно восстала против палачей. Очередные налеты дали немцам возможность доехать только до вокзала. На вокзале стояли эшелоны. Немцы грузят в вагоны приговоренных и садятся сами. Отсюда в биографии Белланди — Дахау.

Отсюда же — глубокие шрамы на ногах и ягодицах. Следы зубов лагерных собак. Год спустя Белланди уже был в Италии. Снова прибавил в весе. Некоторое время околичивался при американцах, а потом вернулся к отцу, в оптовый продовольственный склад. Если его теперь спрашивают, коммунист ли он, Белланди отвечает только, что он бывший партизан. Если его собеседник настойчив, Белланди добавляет, что не обязан откровенничать по поводу своих убеждений. Сдержанность Белланди не распространяется, однако, на его религиозные воззрения. Он неверующий. Верующим не был никогда. Ни он, ни его

отец, ни мать. Это у них старая семейная традиция, восходящая к временам борьбы Мадзини за республику и светское итальянское государство. Естественно, что Белланди и слышать не хотел о венчании в церкви.

Приходский священник Айацци даже не пытался вызвать его к себе. Когда же он заговорил с Лорианой, то испугался неудачи. Бывшая звездочка Прато превратилась в красивую и бойкую звезду первой величины. Она говорила со своим пастырем как равная с равным. Все свое образование она приобрела за несколько лет, проведенных в баре за стойкой. Но в иных случаях это очень много дает. Например, она теперь без труда отражала атаки священника, с очаровательной улыбкой объясняя ему, что в таких вопросах, как венчание, свадьба и во всем, что с этим связано, решающий голос принадлежит мужчине. Айацци упросил ее пойти к епископу. Но и там Лориана продолжала стоять на своем...

— Если вы не передумаете,— сказал епископ,— я прикажу объявить с амвона, что вы грешники и прелюбодеи.

Девушка, бледная как полотно, ответила:

— Как вашему преосвященству угодно.

Затем она поднялась.

— Так я пойду.

— Но прошу тебя, дитя, подумай хорошенько. И вернись!

Епископ уверял впоследствии, что Лориана в конце их беседы обещала вернуться. Возможно, что она пробормотала нечто в этом роде. Но не вернулась. Тогда епископ вызвал ее отца. Здесь он напал на благодатную почву. Узнав, что намерен предпринять епископ, Нунциати испугался. Он никогда не слышал, чтобы за такие вещи людей публично позорили в церкви, называя фамилии. Он не понимал, почему это должно случиться именно с его семьей, с его дочерью. Но понял, что епископ не шутит. Он содрогнулся, когда Фиорделли стал подробно излагать смысл своего вердикта и его ближних и дальних последствий. Нунциати поклялся, что постарается переубедить дочь и будущего зятя. Но он натолкнулся на такое сопротивление, что махнул рукой, предоставил событиям идти своим чередом и больше в епископском дворце не появлялся.

Приближался день свадьбы. Поскольку и епископ и приходский священник начали атаку очень рано, в последние две недели перед свадьбой царила тишина: все сигнальные ракеты уже взлетели на воздух. Больше ничего не оставалось — ни сказать, ни сделать. Не было никакого «крешендо». Напротив, люди надеялись, что приходский священник или епископ при случае прочтет очередную проповедь против «так называемых браков» и этим дело кончится. Поэтому все, кто был в воскресенье 12 августа на мессе в любой из церквей Прато, в том числе и в соборе, очень удивились, услышав, что там читают. Удивились вдвойне, ибо, во-первых, предполагали, что епископ уже примирился с фактом, а во-вторых, никогда не слышали ничего подобного. В церкви Вечной помощи текст был прочитан трижды. Но из близких родственников семей Нунциати и Белланди никто его в тот день не услышал. Все были заняты — на одиннадцать часов была назначена брачная церемония.

После свадьбы бомба тоже взорвалась не сразу. Молодожены уехали в Кортино д'Ампеццо. Вернулись они в первых числах сентября. Еще не успели распаковать чемоданы, как у входной двери раздался звонок. Господин Белланди открыл дверь и увидел мальчика, который вручил ему конверт и тут же убежал. В конверте лежал номер епархиальных ведомостей «Рикьями» с отчеркнутым письмом епископа Фиор-

делли к приходскому священнику Айацци, то есть с тем самым текстом, который зачитывали в церквах в день свадьбы Белланди. В этом письме — предварительно нажав на разные догматические и эмоциональные клавиши — епископ Фиорделли писал:

«Двое твоих прихожан вступают сегодня в брак в городском управлении, отказавшись венчаться в церкви. Их жест, выражающий явный и полный презрения отказ от веры, причиняет ужасную боль как пастырям, так и пастве. Так называемый гражданский брак для людей крещеных не является браком вообще. Это только начало постыдной и скандальной связи. Имена и фамилии этих людей следующие: Лориана Нунциати и Мауро Белланди. Так как они решили жить в открытом и публичном прелюбодеянии, то с точки зрения церковного права и морали они становятся явными грешниками. Отныне им будет отказано в исповеди и причастии, они не могут быть крестными родителями ни при обряде крестин, ни при обряде миропомазания, их дома не получают благословения, а когда они умрут, то их похоронят в неосвященной земле и без участия священника. За них можно только молиться, просить бога, чтобы он помог им прозреть и как можно скорее снял с них проклятие вызванного ими страшного скандала».

Текст кончался припиской, касающейся родителей Лорианы: «Их дому тоже будет отказано в благословении, в посещении пастыря перед ближайшей пасхой и в окроплении святой водой, ибо, допустив безгранично скандальную и грешную церемонию лжевенчания, они пренебрегли самыми элементарными родительскими обязанностями».

На следующий день Белланди сел в машину и отправился в суд — подавать на обоих священнослужителей жалобу за оскорбление чести. Через несколько дней после поездки Белланди во Флоренцию к тому же самому адвокату, Марио Боччи, явился Нунциати и присоединился к жалобе зятя.

Когда Фиорделли узнал о жалобе, он остолбенел. «Жаловаться в суд на своего епископа? Это неслыханно!» — воскликнул он.

Епископ чувствовал себя обиженным — это не вызывает сомнений. Он был вообще тогда в довольно плохом настроении. Он явно перусердствовал, обещая жителям Прато сделать их город центром провинции. Вопрос надолго застрял в министерстве внутренних дел. Людям, развязавшим для епископа свои кошельки, он обещал столкнуть коммунистов с занимаемых ими позиций. Из этого тоже ничего не вышло. Хуже того — нечто подобное епископ обещал и в Ватикане. Он слишком зарвался! С молодыми Белланди он тоже роковым образом просчитался. Сначала понадеялся, что они уступят, потом — что проглотят обиду. Их медовый месяц, казалось, подтвердил предположения епископа. И вдруг такая бомба!

Епископ был молод, не обладал тактическим опытом. Не рассчитал, как далеко можно зайти в конфликте с Белланди. Но он имел достаточно ясное представление о так называемом «стиле римской курии» и знал, что в спровоцированном им деле Ватикан поддержит его всем своим авторитетом, хотя эта поддержка сильно повредит его карьере. Из этого отнюдь не следует, что Фиорделли был карьеристом. Нет, он просто представлял определенную формацию, определенную школу: он принадлежал к молодым. Конгрегация консистории рискнула назначить его главой епархии. Несколько кардиналов, членов конгрегации, согласились испытать молодых епископов на участках, находящихся под особой угрозой коммунизма. Фиорделли назначили в Прато. Это было своего рода испытанием, экспериментом. До сих пор в принципе все шло хорошо, и с десятков монсиньоров того же поколения ожидали, что им предоставят места в других епископских дворцах, по мере

того как места эти будут освобождаться. И вдруг разразился скандал с Белланди. В результате всего стрелка на ватиканском циферблате могла резко повернуться в обратную сторону, положив конец выдвигению молодых и воскрешая кандидатуры стариков. И если епископ Фиорделли и не слишком был удручен тем, что перед ним надолго закроется путь к дальнейшему продвижению по службе, то его, несомненно, волновало сознание, что он воздвиг преграду перед своими товарищами и те по его вине не сделают даже первого шага по ступенькам церковной иерархии, им снова придется ждать и ждать. Епископ Фиорделли не сомневался, что из жалобы Белланди разгорится крупный скандал.

Скандалы Рим ненавидит! Не потому, что римская курия — организация вялая и стремящаяся прежде всего к покою. Ничего похожего! Это организация энергичная, упрямая, боевая. Но у нее большое тактическое чутье. Как говорит мой знакомый Е.: «Чутье опытной женщины, знающей, чем она может покорить и чем отпугнуть!» В Италии слишком свежи традиции борьбы Гарибальди, Мадзини и савойских войск¹, вторгшихся в Рим через знаменитый пролом рядом с Порта Пиа и пытавшихся прогнать папу, чтобы не надо было остерегаться скандалов. На эту тему можно писать целые тома.

В течение нескольких дней весть о судебной жалобе распространилась по всему Прато. Епископ поехал во Флоренцию, поскольку он ей подчинен. Старый Далла Коста ничего не смог ему посоветовать. Он был готов по примеру Ла Пиры. братски любить коммунистов, если это могло бы на что-нибудь пригодиться господу богу. Но что пользы от этого епископу Фиорделли в данном его положении? Генеральный vikарий Далла Коста (он же монсиньор Тирапани) не любил Фиорделли. В свое время Далла Коста добивался, чтобы в епархию Прато назначили другого кандидата. Поэтому теперь он постарался поскорее от него избавиться.

Фиорделли отправился в Ватикан. Как он и ожидал, его встретили там без энтузиазма, но велели стойко держаться. Ему было приказано на обратном пути остановиться во Флоренции. Курия кардинала Далла Коста уже получила инструкции. Она должна была сделать все возможное, чтобы суд признал жалобу Белланди безосновательной, если же это не удастся, затеять такую волокиту, чтобы дело вообще никогда не было назначено к слушанию. Итак, мозг церкви начал действовать.

Вернувшись в Прато, епископ Фиорделли убедился, что действовать начал не только мозг. В маленьком мирке его дворца и его собственной курии все кипело. Из этого мирка летели искры в приходы, католические кружки, союзы, секретариаты. Особые искры с шипением вырывались наружу из церкви Вечной помощи в Прато. С амвона церкви они падали на страницы местной католической печати. Сначала газеты ограничивались прозрачными намеками, но когда выходящая в Прато коммунистическая газета высказалась по этому вопросу без обиняков, началось сущее светопреставление.

«Сделанного не вернешь!» — видимо, сказал себе Фиорделли.

Потушить пламя он был уже не в силах. Впрочем, он и сам отчасти горел тем же огнем, что и его разбушевавшиеся овечки. Выпад против епископа в их глазах был чем-то страшным. Их приучили относиться к епископу, как к местному папе, и поступок Белланди они считали равносильным святотатству, богохульству. Ведь церковь поднимает епископский сан на огромную высоту. Как папа считается наместником

¹ Войска короля Пьемонта, Виктора-Эммануила Савойского, который стал первым королем объединенной Италии.

Христа, так епископы — заместниками апостолов. А таскать по судам заместника св. Иоанна, Луки или Матфея — это, конечно, неслыханная наглость и кощунство.

Раз так, то у порядочного католика развязаны руки. Католику дозволено все: он даже обязан как-то выразить свое мнение. Выражать его стали по-разному. Начали с малого: объявили Белланди бойкот, ставили пикеты, переходили при встрече на другую сторону улицы, не отвечали на поклон, отказывались подавать руку. Следующая фаза: банки. У Белланди было два торговых кредита, по два миллиона лир каждый: один в Прато, в Итальянском банке, другой — во Флоренции, в банке св. Духа. Оба банка ему отказали в кредите. Третья фаза: драки и нападения. В одиночку, парами. Но после того как однажды ночью стокилограммовый великан Белланди разогнал ударами кулака и пинками банду из пяти человек, преследования такого рода прекратились.

Одновременно действовала пресса. Вслед за местной заговорила флорентийская, после флорентийской — римская. Светская пресса — коммунистическая и некоммунистическая — кипела от возмущения. Казалось невероятным, что в данной ситуации церковь может упорствовать в своей неправоте. Ватикан подписал Латеранские договоры и конкордат. В обоих этих документах вопрос о браке сформулирован очень четко. Перечитывая соответствующие статьи, недоумеваешь, почему церковь отрицает гражданские браки, раз она приняла условие не венчать тех, кто не представит свидетельства о заключении гражданского брака или не согласен, чтобы священник, совершающий обряд церковного венчания, сам предварительно оформил гражданский брак.

При таком положении вещей ни один священник, епископ или архиепископ не могут отговариваться неведением. Особенно если учесть, что с момента подписания договоров прошло почти тридцать лет. За это время сотни тысяч людей сочетались гражданским браком, несомненно вызывая у служителей церкви досаду, но ничего больше. Ведь за этими браками стоял государственный закон, который церковь обязалась уважать. Да у нее и не было иного выхода. Она могла либо молчать, либо разорвать конкордат. Но, казалось бы, она никак не могла публично, устно и печатно обвинить в прелюбодеянии чету, которая поступала согласно государственным законам. Деятели церкви обладают слишком большим опытом, чтобы не понимать, что ни одно государство не разрешит публично поносить свои законы и оскорблять своих граждан, не совершивших, с точки зрения этих законов, ничего предосудительного.

На это богословы с невозмутимым спокойствием отвечали, что, с точки зрения церковного права, гражданский брак является актом, с которого начинается обычное прелюбодеяние, только совершаемое с большим постоянством и упорством.

Выдержки из различных энциклик, папских посланий, папских «бреве» и писем цитировались до бесконечности.

Все они как нельзя лучше подходили к делу Белланди. Но все, даже самые ревностные католики, чувствовали: здесь что-то не в порядке. В Италии люди, в том числе и священнослужители, грешат плотью постоянно, и никто никогда не скажет им за это вслух худого слова, их попрекают только шепотом, на ухо, в исповедальных. А эту чету, приличную и благонравную со всех точек зрения, поносили публично! Ясно, что их обидели. «Жалоба в суд — это, конечно, вещь неслыханная, — рассуждал не один католик, но тут же добавлял: — А что еще мог сделать мужчина, муж, к тому же итальянец, у которого оскорбили жену? Он вынужден был ее защищать!»

Проходили недели. Шумиха не прекращалась. Бесновалась церковная и христианско-демократическая пресса. Бесновались левые и просто

светские газеты. Богословы и специалисты по церковному праву продолжали вести наступление. В двери крупнейших юристов стучались репортеры с просьбой дать интервью. Одни выполняли просьбу журналистов, другие — нет. Тот, кто следил в это время за прессой, согласится со мной, что юристы не проявляли излишней активности. Одни говорили, что им неудобно высказываться, пока дело еще находится в стадии следствия. Другие высказывались, но весьма сдержанно. Из этого, однако, нельзя делать поспешных выводов о бесхребетности крупных юридических авторитетов в Италии. Это не так. Среди итальянских юристов есть настоящие львы. Но они не хотят ухудшать шансы попираемого правосудия, переругиваясь публично. Они яростно защищают его в кабинетах и в залах суда, а тем, кто нарушает закон, как известно, всегда легче снести такие меры, чем публичный позор.

В данном случае положение муниципалитета было особенно сложным, так как он был одинок. Городские власти знали, что никто им не поможет, никто за них не заступится, никто их не защитит. С юридической точки зрения для них не подлежало сомнению, что Белланди прав. И они хотели признать его правоту. Выстоять. Единственной их союзницей могла быть тишина, соблюдение тайны. Поэтому долгое время из стен флорентийской прокуратуры не вырывалось наружу ни звука. В юридических кругах города было известно только, что из дворца на Пьяцца сан Джованни всячески пытаются оказать давление, а флорентийский муниципалитет торгуется и не сдается.

Архиепископ требовал, чтобы прокуратура демонстративно отказалась рассмотреть жалобу. Прокуратура каким-то образом от этого уклонилась. Она продолжала уклоняться и от последующих условий и предложений. Машина, обрабатывающая суд, была колоссальной. Курия воздействовала главным образом на прокуратуру, а в ее лоне прежде всего на доктора Джузеппе Оньибене, заместителя генерального прокурора, в чьих руках находилось дело. Одновременно велась работа снизу. Церковь исподволь пыталась убедить отдельных лиц в своей правоте и создать нужную для себя атмосферу в судебных кругах города. Во Флоренции то и дело распространялись тут же проникающие в Прато слухи о том, что суд отверг жалобу.

Не сидел сложа руки и Фиорделли. Действовал он сам, действовали все приходские священники, кружки, союзы и прежде всего монастыри: босые кармелиты, францисканцы, кармелитки из монастыря по улице Делла Роббиа, терциарки с улицы Галилея, доминиканки из Фонда кардинала Никколо, минориты из Гальчети и поселившиеся недавно в прекрасном здании по улице св. Катерины дочери Доброго милосердия. Все они с утра до вечера метались по Прато, нашептывали, уговаривали, действовали то лаской, то угрозой. Однажды к старику Нунциати, самому слабому звену в лагере истцов, явился незнакомый ему августинец с площади св. Духа во Флоренции и показал решение прокурора, отклонявшее все претензии к епископу и приходскому священнику из Прато, «ибо в их действиях нет состава преступления». Старик Нунциати, видя, что ему ничего не добиться, и стремясь, по совету монахов, «хотя бы в последнюю минуту вернуть себе расположение епископа», взял назад свою жалобу. Эмиссар в рясе не обманул его. Несколько дней спустя пресса опубликовала знаменательное решение доктора Оньибене.

Теперь для молодых Белланди начались самые тяжелые времена. Все меньше находилось людей, готовых даже в ущерб себе поддержать торговлю Белланди. А бойкот, между тем, не прекращался. За этим следили пикетчики, а еще лучше конкуренты-торговцы, которые перехватили у грешника Белланди часть его католических покупателей и теперь ревностно следили за спасением их душ. К счастью, люди — это не

только толпа, но и отдельные личности. Нашлись все-таки добрые сердца, и только благодаря им Белланди сумел прокормить жену и себя в эти тяжелые месяцы.

Для него это было, вероятно, необыкновенно тягостное время. Ни один добропорядочный католик не переступил порога его магазина, но зато множество их без конца вертелось у него в доме. Когда появлялся Белланди, они исчезали или, во всяком случае, умолкали. Они что-то затевали за его спиной, без устали что-то втолковывали его жене. Белланди стискивал зубы. Он не прогонял их, так как считал, что каждый человек имеет право свободно высказывать свое мнение. На собраниях, в печати, в беседах с людьми, а стало быть, также и у него в доме.

Он опасался, что эта свобода может обернуться против него. Тем более, что жена, будучи беременной, владела своими нервами хуже, чем обычно. Лишить такую женщину спокойствия, запугать ее — дело нехитрое. Война, болезнь, хляби морские и беременность — лучшие проповедники и помощники церкви. Лориана ни за что не хотела взять назад жалобу, которую она подписала вместе с мужем. Ее не удалось подбить ни на какие шаги, порочащие мужа. Но зато она согласилась хлопотать о возвращении «in sanctis». Этот термин обозначает процедуру, которую проходит человек, отлученный от церкви, если хочет быть принятым обратно в ее лоно. Конечно, пока церковный брак не был оформлен, ничего нельзя было сделать. Но тех, кто уговаривал Лориану, не интересовал конечный результат. Для них было важно, чтобы жена Белланди «изъявила соответствующее желание».

Итак, в отношениях между супругами появилась первая трещинка. Шумиха вокруг их дела постепенно стихала. Буря прошла. Уже можно было подсчитать причиненный ею ущерб. Он был огромен. Если Белланди хотели что-либо изменить, исправить, нужно было действовать простыми, обычными средствами. Сильные мира сего уже перестали ими интересоваться. Несколько месяцев о молодой чете ничего не было слышно. Но только несколько месяцев.

Оказалось, что тишина была только антрактом. Еще в период этого затишья Лориана родила сына. Ни римская, ни флорентийская, ни даже местная пресса не известила читателей о том, что 16 октября 1957 года в маленьком родильном доме «Вилла Флорида» на окраине Прато у Белланди родился сын. Только спустя десять дней, точнее двадцать пятого числа того же месяца, владелец скромного продовольственного склада в Прато и его жена внезапно снова приобрели громкую известность. На первых страницах всех итальянских газет появилось сообщение: «Кассационный суд признал жалобу четы Белланди на епископа из Прато обоснованной. Обвиняемые — епископ Фиорделли и приходский священник Айацци — предстанут перед судом во Флоренции 26 января 1958 года».

Это сообщение было для всех неожиданностью. Кроме доктора Альдо Сика, начальника следственного отдела кассационного суда, который составил и подписал заключение, никто не ожидал чего-либо подобного. После заявления доктора Оньибене одни считали вопрос исчерпанным, другие потеряли надежду. И у Альдо Сика, рассматривавшего дело заново, была союзница — тишина, окружившая историю в Прато. Тишина эта, несомненно, усыпила бдительность курии, и та ослабила натиск. Доктор Сика, впрочем, работал медленно. Он увлекся делом, углубился в проблему с точки зрения теории. Изучал всевозможные тексты. Искал для бесспорной, пусть и оспариваемой, правоты Белланди научное обоснование. Он исходил из того, что обязанностью государства является защита имущества, здоровья, жизни и чести

граждан. И по самой природе своих прав и обязанностей государство не может уклоняться от подобной защиты или разрешить какой-нибудь организации безнаказанно обижать своих граждан.

Доктор Сика составил очень длинное заключение. Он развивает и обосновывает свой тезис на целых десяти страницах.

В конце своего заключения доктор Сика заявляет, что выражения, употребленные епископом и приходским священником, оскорбительны для чести супругов Белланди. Он пишет: «Согласно нормам общепринятой морали внебрачная связь является делом в высшей степени предосудительным. И заявить, что два человека открыто совершают прелюбодеяние, — значит, глубоко оскорбить их честь».

Кассационный суд переслал все это заключение заинтересованным лицам, то есть епископу, священнику и супругам Белланди. Ровно через сутки кто-то снова позвонил в квартиру Белланди. В дверях стоял мальчик с конвертом. У Белланди защемило сердце, ибо мальчик, вручив конверт, тут же исчез, как и в прошлый раз. Белланди вскрыл конверт и обнаружил там фотокопию свидетельства о крещении сына. Мальчика крестили без ведома отца в часовне родильного дома сразу же после рождения. На документе стояли подписи свидетелей: акушерки синьоры Дидди, двух старых теток Лорианы, которые не раскланивались с Белланди, и внизу — неразборчивые подписи семи человек, именуемых «наблюдателями от имени курии».

Белланди спросил жену, известно ли ей что-нибудь об этом. Да, ей было известно. На следующий день после родов, когда она была еще очень слаба, к ней пришел капеллан Мауро Стефаначчи, состоящий при часовне родильного дома, и спросил, не окрестить ли младенца, поскольку с виду он слабенький. Лориана возмутилась и повернулась к нему спиной. Под вечер пришел другой священник, Нези, глава прихода, на территории которого находился родильный дом. Нези объяснил, что капеллан неправильно выразился. Он хотел сказать: «На случай, если бы младенец оказался слабым». Измученная этими настояниями, Лориана сказала наконец: «Вы можете его крестить, но ведь мальчик совсем не слабый, зачем все это?» Нези ответил, что все в руках божьих и ей не следует волноваться.

На следующий день после получения этого известия Белланди, принимая утром ванну, упал в обморок. К счастью, в ванную комнату вошла жена. Через полчаса он пришел в сознание и даже чувствовал себя неплохо, только у него болела голова. После обеда и это прошло. Белланди был только взволнован. Он сел в машину и поехал к своему другу Лучиано Галли, который поддерживал его в это тяжелое время и душевно и материально. Но и там ему как-то не сиделось. История с крещением расстроила его чрезвычайно. Родные, знакомые, жена — все были против него. Он боролся один против огромной махины. Он верил в правосудие. Но это правосудие было, как видно, не слишком сильным, раз курия решила бросить ему, Белланди, новый вызов, самовольно окрестив его сына. Курия чувствовала себя тогда сильной, это было ведь еще до заявления Альдо Сика. Крещение ей было нужно как следующий шаг на пути к реваншу. Первым шагом было согласие Лорианы на возвращение «in sanctis». Вторым — крещение, тоже с ее молчаливого согласия. Белланди был так удручен всем этим, что, когда приятель предложил ему прокатиться в машине, он сразу согласился.

Галли, который давно дружил с Белланди и знал, что тот не любит кружить без цели, предложил поехать во Флоренцию, к адвокату, беседа с которым всегда успокаивала Белланди. Но до адвоката они не доехали. На пятом километре за Прато Галли в последнюю секунду предотвратил катастрофу, выхватив у Белланди руль и остановив ма-

шину. Какой-то человек, которого Белланди едва не вдавил в витрину магазина, с криком подбежал к ним. К нему присоседился владелец магазина. Оба громко бегали пьяных, но сразу замолчали, увидев белое как мел лицо Белланди. Галли сел за руль. В больнице на окраине Прато врач поставил диагноз: кровоизлияние в мозг.

В монастырях епархии Фиорделли все бросились на колени, чтобы возблагодарить господина за этот явный знак недовольства грешником. Кажется, во дворце епископа тоже многие, услышав, что Белланди разбил паралич, почуствовали благодарность, смешанную с ужасом. Кто-то вспомнил в этой связи знаменитый случай из жизни св. Иоанна Капистрана. К нему принесли студента в гробу, с просьбой воскресить его. Но на самом деле студент был жив, и принесли его безбожники, желавшие подшутить над Иоанном Капистраном. Святой подумал минуту и, протянув руки в сторону студента, сказал: «Раз ты уже очутился среди мертвых, то оставайся с ними». Безбожники кинулись к гробу и, обнаружив, что студент в самом деле мертв, уверовали в бога. И они и все скептики города, в котором свершилось чудо. Остальные же жители, верующие, радовались и благодарили небо, ниспославшее в их город такого святого человека.

В Прато тоже вспыхнул было энтузиазм подобного рода, но из Рима пришел срочный приказ обуздать его. Поэтому благодарственные молебны не состоялись, и католическая пресса старалась писать как можно сдержаннее о новом повороте в деле Белланди. Но трудно быть сдержанным, когда чувство ликования переполняет грудь, и в католических газетах можно было в то время прочесть разное. И рассуждения о провидении, которое помогает, но и карает. И рассказ об Анании, которого поразил гром за то, что он пытался отказать церковным властям в их правах. И бесчисленные цитаты из Лактанция, христианского писателя четвертого века нашей эры, который в своем сочинении «О смертях преследователей» («De mortibus persecutorum») доказывал, что, начиная с Нерона, всех, кто преследовал церковь, постигал плачевный конец. Но поскольку мы живем в двадцатом веке и богословы тоже стараются идти в ногу с эпохой, то они пользовались и современными методами доказательств и ссылками на авторитеты. Вспоминали, например, Фрейд с его теорией торможения, согласно которой запрятанное в подсознании чувство вины приводит иногда к параличу. Или ссылались на Юнга, в произведениях которого описано множество случаев кровоизлияния в мозг вследствие подавляемых укоров совести.

Статьи сыпались одна за другой, но Белланди ничего об этом не знал. Он лежал без сознания в больнице. Его случаем заинтересовались светила медицинского мира, в том числе профессора Лунедди и Фругони. Но ничего подсознательного или сверхъестественного они не обнаружили. Причиной того, что в мозгу лопнул сосуд и произошло кровоизлияние, был запущенный грипп. Конечно, тут сыграли роль и душевное состояние и нервы, но главной причиной была инфекция, или, вернее, легкомысленное отношение к ней больного, если можно назвать легкомыслием то, что преследуемый, затравленный человек не захотел лежать в постели и лечиться.

Болезнь мужа, ее причины, обстоятельства, реакция католической части населения Прато — все это преобразило Лориану.

Ее муж лежал без сознания. Она с нетерпением ждала минуты, когда сможет сказать ему слова, от которых трещинка в их отношениях мгновенно исчезнет. Но Белланди лежал без сознания. И Лориана все-таки кое-что сделала, чтобы показать, как хорошо она теперь его поняла. Когда в больничной палате появился первый человек в рясе и стал намекать на возможность спасти больного, «испросив прощения у бога

и его преосвященства», Лориана сразу оборвала разговор. Следующего священника уже встретил у двери в палату пикет. Это был пикет «красных», к которым Лориана обратилась с просьбой защитить ее мужа.

Настроение в городке стало меняться. Вначале все говорили: «Бог покарал его!», а теперь: «Затравили человека». Говорили, волновались, сердились и одобряли газету «Унита», которая, не стесняясь в выражениях, рассказывала о происшедшем. Епископ метался по своему дворцу и не находил себе места. Он и сам не знал, что делать; ни он, ни его Аяцци, ни секретарь местного отделения христианско-демократической партии, ни секретарь местного отделения «Католического действия». Кажется, именно в эти дни был составлен мемориал, адресованный всем главам епархий и наиболее солидным членам римской курии. Мемориал — мне показал его Д. — очень велик. К нему приложены: копия епископской анафемы, напечатанной в «Рикьями», копия метрического свидетельства новорожденного Белланди и — самое любопытное — копия объяснительной записки, представленной епископом судье во Флоренции.

Тон первого документа, несомненно написанного самим епископом, очень минорный. Слова «я был вынужден» повторяются в нем десятки раз. Документ не понравился в курии прежде всего потому, что, как выразился в разговоре с Д. один монсиньор, «он раскрывал факты, против которых церковь борется уже много лет». В объяснительной записке суду я не нашел новых элементов. Мне запомнилось только, что там все время встречается слово «наказание» или «наказать»: «Сразу, при первом же разговоре, я предупредил, что накажу ее», «Я вынужден был ее наказать в назидание другим» и так далее.

Епископ разослал этот мемориал и снова стал ждать. Из двух курий, которым он подчинен — флорентийской и римской, — не приходило никаких указаний. К епископу приставали журналисты, а он не знал, что им сказать. Однажды он дал интервью, которое выдавало его душевное состояние, пошатнувшуюся уверенность в собственной правоте. Среди прочего он сказал, что в письме к Аяцци слова «открытые грешники» и «открытые прелюбодеи» он всюду брал в кавычки, желая подчеркнуть, что это цитаты из церковного права. Фиорделли как бы возлагал ответственность за эту терминологию на церковное право. Это сразу же подхватила левая пресса. И тогда из Рима пришло ему указание: молчать.

Указание пришло вовремя — к епископу после минутного колебания вернулась прежняя уверенность в себе. Даже излишняя. До получения запрета из римской курии он успел выступить в местной газете со статьей, в которой доказывал, пользуясь несколько рискованным сравнением, что «если, например, охотник не соблюдает правил охотничьего общества, членом которого он является, то это общество вправе сделать ему внушение или исключить, и не было еще случая, чтобы охотник привлек общество за это к судебной ответственности». Статья кончалась заявлением: «Пусть меня приговорят к заключению в тюрьму, к каторге, я выдержу, стерплю. Но, вернувшись на свободу, я при первом же случае поступлю так же, как поступил, и выскажу те же самые слова осуждения, которые высказал».

Белланди не приходил в сознание, товарищи из местной федерации его охраняли, в римской курии ломали голову, как себя дальше вести. А в католическом мире кто-либо из деятелей культуры или политических деятелей то и дело проталкивался вперед, чтобы шегольнуть своей непримиримостью. Ведь для многих такие истории, как дело Белланди, просто манна небесная. Они дают им возможность напомнить о себе, обскакать коллег, очиститься от подозрений в безразличии к религии,

иногда даже полностью восстановить свою политическую репутацию. С помощью декларации, публичного выступления, организованного ими индивидуального или коллективного протеста они надеются впоследствии снискать право записать на свой счет полученную от такого акта политическую прибыль. Это также манна небесная для разных священников и монахов, специалистов по нажиму на колеблющихся и нерешительных.

Энергичнее всего, пожалуй, пользовался этой «манной» министр финансов Джулио Андреотти, который несколько раз на различных собраниях нападал на флорентийский суд за самый факт рассмотрения жалобы Белланди. «Это факт,— заявил он,— неслыханный, непонятный, непостижимый... Ужасающий пример антиклерикальной кампании, с которым нужно бороться не менее решительно, чем с коммунизмом».

Интересно проследить, как в атмосфере, развращенной подчинением государства церкви, никто из правящих лиц, никто из тех, кто касается дела в Прато, не умеет сохранить достоинство. Статья седьмая конституции говорит о церкви и о государстве, что «оба они независимы и суверенны в своей области». Но практически одна суверенность оказывается более уступчивой, чем другая, более легковесной, второстепенной. В Италии статут государства иногда кажется только формой, пустой формой. Подчинив себе государственный суверенитет, церковь постепенно вливается в эту пустую форму, насыщает ее. Она веками вырабатывала в себе соответственную волю и идеологию, стремясь занять главное место на земле. Если не удастся на всей земле, то всюду, где удастся.

На речь Андреотти откликнулись коммунисты и социалисты. Сенатор-коммунист Донини и сенатор-социалист Бузони выступили с запросами в сенате. Премьер-министр Дзоли¹, вынуждаемый ими к ответу, сказал: «Даже если мы захотим признать выступление Андреотти неправильным, нужно учесть смягчающие обстоятельства. Ведь любой католик, министр он или нет, имеет право защищать епископа, который подвергся нападению».

Адоне Дзоли — по профессии юрист. Он был известным адвокатом во Флоренции. Во время войны играл крупную роль в движении Сопротивления. За ним яростно охотилось гестапо. В христианской демократии он всегда воевал с консерваторами, ханжами и клерикалами во имя государственности и демократии. Он блестящий оратор. Но когда ему пришлось отвечать на запрос Донини и Бузони, «у него был,— как пишет корреспондент «Таймс»,— несколько растерянный вид». И он, безусловно, был собой недоволен. В глубине души он, вероятно, проклинал Фиорделли, но на трибуне защищал его, как мог. Весь его ответ носит неприятный характер. Не только из-за некоторой язвительности по отношению к Белланди («учитывая большую популярность жениха и невесты и огласку, какую приняло их решение, епископ...»), но и потому, что он закрывал глаза на сущность вопроса, на то, что сенаторы особо ему указывали. Дзоли вдруг употребил выражение: «так называемый гражданский брак». Когда ему сделали замечание, он ответил, что цитировал слова епископа. Но он не цитировал, а просто запутался. «Я не понимаю,— сказал он,— почему католик, если он министр, не имеет права выразить протест против газетной кампании, направленной против епископа».

— Значит, он нападает на суд, потому что на епископа нападает пресса! — раздался голос из зала.— Да разве судьи редактируют газеты?

¹ А. Дзоли был премьером итальянского правительства до октября 1958 года.

— Он не министр юстиции. Суды ему не подведомственны.

— В вашем кабинете, как и в предыдущих, перестановки не редкость. Мы не удивимся, если Андреотти завтра станет министром юстиции.

Но в такой перестановке даже не было надобности. Вероятно, уже тогда, во время дебатов в сенате, созрело решение у другого члена кабинета Дзоли, а именно у министра юстиции Гонелла. Несколько дней спустя во Флоренцию прибыли приказы из министерства — очень хорошие, одни повышения. Но сторонников доктора Сика, считавшего, что суд должен рассмотреть жалобу Белланди, перевели из Флоренции в другие города. А сторонники доктора Оньибене, который отверг жалобу Белланди как безосновательную, получали назначения, дающие им возможность провести свою точку зрения в соответствующих инстанциях.

Но дело, кажется, не такое простое. Раз уж оно будет слушаться, то, даже проиграв его в первой инстанции, Белланди сможет множество раз обжаловать решение суда. Епископу было бы выгоднее всего, если бы Белланди взял свою жалобу обратно. На обе семьи пытались воздействовать в этом направлении. Недавно сенатор Донини снова вернулся в сенате к этому делу и назвал сумму, которую отделение объединения «Католического действия» в Прато предлагало Лориане за то, чтобы она переубедила мужа. Сумма огромная. Она внесена в один из банков, которые отказали Белланди в кредите. Нужно сказать, что это предложение не только отвратительно, но и весьма неразумно с точки зрения целей, которые преследует епископ Фиорделли. Если за отказ от подобной жалобы можно получить десятки миллионов лир, то, несомненно, найдутся тысячи молодоженов, которые охотно подвергнутся анафеме не по идейным соображениям, а просто ради денег.

Рим, 15 февраля 1958 года

Вчера в Конгрегации ритуалов было решено избрать патрона для телевидения. Патроном, или, вернее, патронессой, будет св. Клара, одна из приятнейших святых средневековья.

Интересно наблюдать, как церковь пытается приобщиться к чудесам второй промышленной революции. По отношению к чудесам первой промышленной революции, той, которая в конце восемнадцатого века поставила мир на то место, откуда впоследствии, в начале двадцатого века, его столкнула вторая промышленная революция, церковь не предпринимала таких попыток. Нет патронов у железных дорог или у газовых заводов, но они есть и у радио и у телевидения. И это не последнее назначение. В Конгрегации ритуалов рассматривается еще с десятков подобных дел. Там спорят, кто должен стать патроном электрического мозга, ядерной физики, автоматизации и так далее.

Эти факты интересны не только как литургическая достопримечательность. Они заслуживают внимания прежде всего потому, что в какой-то мере характерны для современной церкви. А именно: свидетельствуют о том, что церковь хорошо себя чувствует в современную эпоху. Правда, не так хорошо, как в средневековье, но значительно лучше, чем в девятнадцатом веке. Отсюда и ее робость в ту эпоху. Церковь тогда ни за что не осмелилась бы навязывать новым изобретениям своих патронов. Ее бы высмеяли. В девятнадцатом веке «изобретения» и «церковь» были взаимоисключающими понятиями. Теперь все обстоит иначе...

Диктор радиовещания называется по-итальянски *annunziatore*, а праздник благовещения — *Annunziatazone*. На основании этого созвучия

патроном радио был недавно назначен архангел Гавриил — тот самый, от благовещения. Что же касается св. Клары, то ее прикрепили к телевидению благодаря чуду, которое за полгода до ее смерти сотворил над пей Иисус Христос. Это случилось в 1252 году, в канун рождества. Св. Клара была уже тогда очень больна. В рождественскую ночь она лежала одна в монастырской келье. При ней не было никого из сестер, все они ушли на богослужение в церковь, за два километра от монастыря. Когда приблизилась полночь, Кларе стало страшно обидно, что она не может присутствовать на богослужении. Она пожаловалась богу. Не успела она кончить, как услышала голоса и увидела на стене, напротив своего изголовья, какие-то картины. Через несколько секунд голоса и картины слились в четком зрительно-слуховом отражении церковной службы.

Когда сестры вернулись из церкви, св. Клара поведала им о своем видении. После ее смерти, последовавшей 11 августа 1253 года, почти сразу начался процесс канонизации, и сестры рассказали обо всем духовной комиссии.

При изучении вопроса Конгрегация ритуалов учла также один эпизод из жизни св. Франсиска. Он увидел однажды на поверхности воды необычайно четкое и ясное отражение лица св. Клары в сияющем ореоле.

Приняв все это во внимание, конгрегация пришла к заключению, что за семьсот лет до изобретения телевидения св. Клара была не только субъектом, но и объектом передачи изображения на расстояние. Не только — как сказано в декрете о назначении ее патронессой — телезрителем, но и предметом чудесно созданного телевидения. Это создает между св. Кларой и «одним из самых характерных орудий современной цивилизации неразрывную связь, подлинную, естественную и сверхъестественную, одну из тех, какие в состоянии вскрыть только церковь, рассматривающая вещи под углом зрения их самых сокровенных и истинных ценностей».

Рим, 1 марта 1958 года

Сегодня будет вынесен приговор по делу, возбужденному Белланди против епископа Фиорделли и приходского священника Айацци. Процесс длится с двадцать четвертого февраля. Врачи запретили Белланди присутствовать на суде. А присутствовать там Фиорделли и Айацци запретил Ватикан. Еще накануне процесса газеты писали, что епископ явится в суд демонстративно, в сопровождении целой колонны машин, везущих тысячи священников, монахов и представителей «Католического действия». Но он не явился. Прислал письмо, сообщая, что не сможет прибыть. Этот маневр поразил всех, ведь до сих пор отношения между судом и обвиняемыми складывались нормально. Епископ и священник аккуратно давали показания следователю. Повестки с вызовом в суд они встретили очень спокойно. Но в последнюю минуту Ватикан велел им изменить тактику.

Письмо епископа к флорентийским судьям напечатала газета «Осерваторе романо» под заголовком: «Ясный и благородный документ». Письмо начинается с вежливых фраз и кончается вежливыми фразами. Я их опускаю и привожу только ту часть, в которой содержится аргументация.

«Из приведенных мною причин явствует, что я должен избегать всего, что позволило бы истолковать мое поведение как попытку признания, что можно считать подведомственным гражданскому судопроизводству деяние, относящееся к осуществлению духовной власти над

верующими, той власти, свободу которой гарантируют Латеранские договоры и которая была торжественно подтверждена в статье седьмой конституции Итальянской республики!»

«За мою деятельность, связанную с осуществлением духовной власти над верующими, я обязан отвечать перед своей совестью епископа, перед его Святейшеством, перед богом. Я ни в коем случае не хочу брать на себя тяжелую ответственность, не приняв со своей стороны всех мер к тому, чтобы помешать нанести урон свободе церкви и конкордату».

В первый день процесса председатель суда зачитал письмо без всяких комментариев. Затем он допросил нескольких свидетелей по второстепенным вопросам. Из этих вопросов интересен был только один, касающийся времени, когда было впервые зачитано письмо епископа к Айацци по поводу четы Белланди. Суд хотел точно установить, в котором часу епископ устами священника оскорбил молодых людей. Если это произошло до их бракосочетания, то даже со своей — пастырской — точки зрения он не имел права говорить о них как о прелюбодеях и грешниках, поскольку по церковному праву они еще таковыми не являлись.

Из показаний свидетелей выяснилось, что епископ с приходским священником действительно поторопились. Но это обстоятельство не сыграло решающей роли. Надо воздать суду справедливость — он придавал второстепенным фактам минимальное значение. Вместе с прокурором и защитниками обеих сторон он сразу же, что называется, взял быка за рога, то есть подошел к самой сути вопроса, ухватился за тот пограничный параграф, где конкордат столкнулся с государственным законодательством, и от этого параграфа уже не отступал.

Зал суда во Флоренции был очень мал. Эта мера оказалась, впрочем, излишней, потому что процесс не носил сенсационного характера. Защитники обеих сторон произносили по очереди длинные речи, похожие по своему характеру на научные трактаты, из которых явствовало, что епископ оскорбил двух человек и должен за это предстать перед гражданским судом, но вместе с тем право на это оскорбление ему давали церковные каноны и в известной степени также и государство, поскольку в своем основном документе, то есть в конституции, оно дало согласие на известную свободу церкви в областях, в которых она признана компетентной.

Самое большое впечатление произвели на всех два выступления. Первое из них — речь профессора Пьетро Агостино д'Авака, известного специалиста по церковному праву, защитника подсудимых. Он прочел четырехчасовую лекцию о церковном праве. Мир этого права, цельный, логичный, до жестокости конкретный, требовал от епископа того шага, который он совершил, а от государства, давшего церкви свободу, требовал последовательности, ибо в противном случае грозит гибель этому праву, самая природа которого не терпит компромиссов и исключений.

Больше всего комментариев вызвала речь прокурора. Тоже научная, тоже логичная, но парадоксальная по своим выводам. По мнению прокурора, епископ поступил неправильно, уклоняясь от светского суда, которому он подлежит как гражданин итальянского государства. Он подлежит суду также и потому, что совершил поступок, оскорбляющий человеческое достоинство. По мнению прокурора, выражения, которыми пользовался епископ, несомненно, были оскорбительными. Но, несмотря на все это, неожиданно заключил прокурор, суд не властен наказать епископа, так как тот не преступил границы, установленные конкордатов и статьей седьмой конституции.

Маленький зал во Флоренции, где слушалось дело, был заполнен в основном юристами и адвокатами, судьями, профессорами и специалистами по церковному праву. Скамья подсудимых пустовала. На скамье обвинителей сидела все время Лориана Нунциати-Белланди и внимательно слушала. Каждый раз, когда адвокаты обвинения называли ее фамилию или фамилию ее мужа, на лице Лорианы появлялась любезная улыбка. Когда же их фамилии произносили защитники Фиорделли и Айацци, лицо молодой женщины принимало угрюмое выражение. Правда, в последние дни процесса лицо Лорианы ничего не выражало. Не столько из-за страшной усталости, сколько потому, что ничто ее не затрагивало. Правила, каноны, параграфы, кодексы и дух законов вытеснили из выступлений фамилии людей, фамилии Лорианы Нунциати и Мауро Белланди, милой четы, которая не сделала никому ничего плохого и которая, с точки зрения общепринятой морали, вела себя не только прилично, но даже образцово. Если бы кто-то непосвященный заглянул в те дни в зал суда во Флоренции, то, увидев слева от судей, на скамье, одинокую женщину в полуобморочном состоянии от страшной усталости, удивился бы, какое она имеет отношение ко всему этому?

Рим, 1 марта 1958 года, вечер

Епископ приговорен к штрафу. Приходский священник оправдан. Радио сообщает следующие подробности: в четыре часа пополудни председатель суда объявил заседание закрытым, и судьи удалились на совещание. Оно длилось больше пяти часов. В десять вечера был объявлен приговор. Епископа приговорили к уплате сорока тысяч лир штрафа и покрытию судебных издержек. Кроме того, он должен уплатить супругам Белланди компенсацию, размер которой суд установит особо. Уплату штрафа суд отсрочил епископу на пять лет, принимая во внимание мотивы, которыми он руководствовался, и то, что ранее он никогда не привлекался к ответственности. Приходский священник был оправдан как действовавший «в ложном убеждении, что он выполняет свой долг».

Итальянский кодекс предусматривает за диффамацию тюремное заключение или штраф. Штраф колеблется в размерах от восьми до восьмидесяти тысяч лир. Поскольку епископ не стремился к диффамации, а допустил ее случайно, суд приговорил его к штрафу; но поскольку употребленные им выражения были нешуточными, то размеры штрафа оказались солидными.

В зале суда никто не ожидал обвинительного приговора, особенно после того, как сам прокурор предложил оправдать подсудимых. Предполагали следующие формулировки: епископ вступил в конфликт с кодексом, но его поступок не наказуем. Многие ждали безоговорочного оправдания с мотивировкой, что епископ действовал в рамках своей компетенции и поэтому оскорбление не имело места. На обвинительный приговор никто не надеялся. Вне зала суда не надеялись, поскольку никому не пришло в голову задумываться, почему совещание судей так затянулось. А люди, сидевшие в зале, слишком устали.

Когда председатель зачитал приговор, Лориана вначале ничего не поняла. Ей пришлось довольно долго объяснять, пока наконец до нее дошло, и она засмеялась. Когда позвонили епископу, он помолчал у телефона, а затем сказал: «Да свершится воля божья». Адвокат, звонивший ему, удивился: «Разве вы не будете подавать кассацию, ваше преосвященство?» — «Буду!» — ответил Фиорделли. Когда о решении суда сообщили Белланди, он ничего не сказал, хотя и просиял от радо-

сти. Только потом, когда под его окнами собралась большая толпа знакомых и незнакомых, приветствуя его возгласами: «Да здравствует Италия! Ура правосудию! Да здравствует муниципалитет! Да здравствует свобода!» — он вышел на балкон и благодарил. Время от времени он поднимал для приветствия левую руку, правая у него до сих пор неподвижна. Все эти подробности мне сообщил Б. из редакции «Унита», которому я звонил четыре раза. Мы с женой долго не могли заснуть от волнения.

Рим, 20 июня 1958 года

Итальянец, желающий совершить туристскую поездку в Испанию, обязан приложить к заявлению о визе справку о том, что он не принадлежит ни к какой левой группировке. Такую справку выдает приходский священник, а заверяет епископ. С точки зрения международных отношений это курьез. Тем более, что от английских или американских туристов испанцы ничего подобного не требуют. Государственные учреждения этих стран ни за что бы на это не согласились. Пасторы и протестантские епископы, возможно, и согласились бы выдавать такие справки, но это в свою очередь не устраивает испанцев. Итак, создалось странное положение: из Италии в основном могут ехать в Испанию только туристы-католики, а из протестантских стран — все. Конечно, в Италии люди научились обходить это нелепое распоряжение, как и все другие, ему подобные. Итальянцы представляют испанцам справку, что едут по торговым или промышленным делам. Такие справки приносят социал-демократы, коммунисты, социалисты, а также члены мелких светских партий и группировок, которые не хотят ничем быть обязаны священникам.

Рим, 22 июня 1958 года

«Оссерваторе романо» ведет постоянную рубрику, в которой кинофильмы, демонстрируемые в Риме, подразделяются на различные категории. Рубрика озаглавлена: «Оценки комиссии цензуры католического киноцентра». Вот эти категории: В (все), ВО (все с оговоркой), ВЗ (взрослые), ВЗО (взрослые с оговоркой), НС (не советуем), И (исключено). Оговорки касаются в первом случае (ВО) — детей; во втором (ВЗО) имеется в виду, что зрители должны относиться к фильму настороженно, так как в его диалогах, сценах или замысле могут содержаться некоторые опасные идеи. Интересно, что даже высшая — первая — категория считается высшей потому, что «не содержит отрицательных элементов».

Рубрика появляется два-три раза в месяц.

Кино, радио, а с недавних пор и телевидение являются в глазах церкви той формой, теми орудиями, какими в наши дни охотнее и успешнее всего пользуется сатана.

В курии теперь существует весьма сложный механизм, предназначенный для борьбы с носителями зла. Зачатки этого механизма появились в 1948 году. Ватикан подумывал тогда о создании гигантской киностудии. Это была смелая, но, пожалуй, безумная затея. Чудовищные идейно-цензурные ограничения тяготели бы над фильмами ватиканского Голливуда, а кроме того, не трудно предвидеть, какие злые шутки мог бы сыграть сатана с монсиньорами-постановщиками.

В 1952 году Ватикан окончательно отказался от идеи создания киностудии, и тогда возникла «Апостольская комиссия по делам кинематографии», в ведение которой вошло в 1954 году также радио и телеви-

дение. У комиссии есть свой Высший совет, свои консультанты и эксперты из числа ученых монахов и монсиньоров, рассеянных по всему свету. Стоит добавить, что Пий XII неоднократно высказывался по вопросам кино. Он полностью сознает, что, по сути дела, именно кино является инженером человеческих душ двадцатого века. Он как-то сказал, что кинозалы формируют в наше время людей в такой же степени и таким же способом, как в прошлые столетия — церкви. Это, конечно, парадокс, но в нем содержится зерно истины, причем горькой. Как же найти выход из положения? Для Ватикана лучше всего было бы получить исключительное право на выпуск фильмов и устраивая киносеансы в церквях. Но, увы, это неосуществимая мечта! А раз так, если церковь не может подчинить себе производство, то она пытается подчинить себе потребителя.

Году в 1950-м во всем мире начали создаваться различные католические киноцентры вроде того, который по сей день печатает свои оценки в «Оссерваторе романо». Центры эти должны были воздействовать на католическое общественное мнение, а через него на кинематографию. Авторы этой хитроумной затеи полагали, что, преграждая католикам доступ к одним фильмам и побуждая их смотреть другие, они таким образом получают власть над теми, кто занимается производством фильмов. Но их затея не вполне оправдала себя. Прежде всего потому, что иноверцы и язычники всего мира вообще не прислушивались к мнению католических центров. А кроме того, и католики не подчинялись им безоговорочно. Это значит, что в маленьких городках подчинялись, а в больших — в минимальной степени. В перечислении на кассу итоги были и вовсе плачевные, ибо в больших городах стоимость билетов в кино гораздо выше. Таким образом, католические центры с их оценками и рубриками пытались создавать конъюнктуру, соответствующую пожеланиям папы, но это им не очень удавалось. И тогда во всем блеске засиял гений кардинала Канали, который посоветовал комиссии действовать через банки. То есть добиться того, чтобы банки, предоставляющие кредит кинофирмам, требовали от них справки, что фильм не вызовет возражений комиссии. Юридическая основа этого требования не безупречна, но все же не лишена смысла. Банки исходят из того, что они не могут вкладывать средства в фильмы, которым такая мощная организация, как церковь, объявит бойкот. Банки добавляют, что их не интересует идейная и политическая сторона вопроса, просто они как финансовые организации не могут участвовать в сделках, доход от которых вызывает сомнения. Таким объяснением банки спасают свою честь. В действительности же все обстоит проще: их крупнейшим клиентом на территории Италии, да и вообще является Ватикан, и они вынуждены выполнять его волю. Кроме того, родственные связи итальянской финансовой олигархии таковы, что трудно иногда провести грань между финансовым штабом Ватикана и штабом итальянского финансового капитала.

Об этих справках можно написать целые тома. Их берут все, даже такие крупные деятели кино, как Лаурентис или де Понти, которые не нуждаются в кредитах. Берут, чтобы не раздражать монсиньоров из комиссии. А так как речь всегда идет о больших деньгах, иногда даже миллиардах, то естественно, что выдача справок не обходится без грешников определенного рода. Всему этому делу придает также колорит борьба, которая ведется внутри комиссии и в непрерывно возникающих секциях или комиссиях при различных крупных католических организациях, которые тоже хотят выдавать справки. А поскольку эту проблему не регулируют никакие буллы, никакие параграфы никаких законов, никакие официальные заявления курии, то перед каждым энергичным

и смелым католическим деятелем здесь открывается огромный простор для его инициативы. Мне известно, что при случае и монашеские ордена, не колеблясь, выдают справки. Охотно выдают их и неримские крупные курии — например, болонская или миланская. В справках говорится только, что курия не возражает против сценария и полагает, что заснятый фильм можно будет демонстрировать в приходах ее епархии.

Но если даже постановщик, который облюбовал себе какой-нибудь сценарий, не получит справки ни от комиссии, ни от соответственной секции, ни от орденских или епархиальных курий — он не должен отчаиваться. Остается еще один путь: добиваться личного одобрения от кого-либо из высоких сановников церкви. Если была предварительно проведена разведка в разных инстанциях и там сценарий не понравился, то имеет смысл идти только к какому-нибудь кардиналу или к одному из тех лиц, которые — хотя и не одеты в пурпур — пользуются не меньшим весом.

Таким образом, например, смог наконец начать съемки своих «Ночей Кабирии» Феллини. После многочисленных разведок, давших отрицательный результат (говорят, их было восемнадцать), он пошел к кардиналу Сири. И — выиграл! Настолько, что о готовом фильме дала восторженный отзыв «Чивильта каттолика», которая считает кардинала Сири кандидатом в папы¹. Благодаря влиянию этой весьма авторитетной газеты «Ночи Кабирии» получили даже крупную католическую премию. По-моему, это уже в своем роде перегиб. Но он все-таки лучше, чем перегибы комиссии цензуры католического киноцентра, которая приклеивает ярлыки «не советуем» и «исключено» любому фильму, независимо от его идеи и художественных достоинств, если там, как говорит комментатор одного из выступлений Пия XII по вопросам кино, «показаны картины нищеты без одновременного показа высшего промысла божьего» или «показано, как целуются мужчина и женщина, которые не дают оснований полагать, что в будущем они соединятся брачными узами».

Рим, 31 октября 1958 года

После недолгой отлучки возвращаюсь в Рим. Я задержался на несколько дней во Флоренции, чтобы попрощаться с друзьями. Из Флоренции поехал в Болонью — открывать выставку картин польских художников Кобздея, Марчинского, Лебенштейна, Бжозовского и Геровского. Во Флоренции апелляционный суд оправдал епископа Фиорделли и священника Айацци. Приговор по делу супругов Белланди, обвинивших епископа из Прато в оскорблении их чести, — он назвал их грешниками, публично совершающими прелюбодеяние, ибо они вступили в гражданский брак, — имеет горький привкус. Какой толк в том, что зарвавшийся епископ в первой инстанции потерпел поражение. С того момента, как в дело вмешался Ватикан, церковь не могла проиграть последнего сражения. Так уж здесь заведено.

В Риме после конклава возбужденное настроение. Новый папа выбрал себе совершенно неожиданное имя. Уже шестьсот лет в столице Петровой не было Иоанна. А в последнее время, то есть по меньшей мере двести лет подряд, сменяли друг друга Львы или Клименты, Григории, Бенедикты или Пии, и никто другой. Следовательно, имя Иоанн прозвучало революционно, хотя имя это древнехристианское и апостольское. Оно как бы предвещало обновление. Это для мира! А городу, утомлен-

¹ Имеются в виду выборы 1958 года, на которых избранным оказался кардинал Ронкалди — ныне папа Иоанн XXIII.

ному жестокостью предшественника, оно тоже сулит много приятных перемен. Рим восторгается ими. В кафе, ресторанах, салонах, конторах, редакциях только и говорят о том, что и как теперь изменилось за ватиканскими стенами. Новый папа не прогуливается по садам в одиночестве. Его не раздражает то, что поблизости толкуются люди. «У меня здоровая печень, а нервы как веревки,— говорит папа,— соседство людей мне нисколько не мешает».

Никакой он не Зевс, не серафим, не египетский фараон; ходит по Ватикану, как священник по своему новому приходу, заглядывая во все уголки. Пошел на ватиканскую радиостанцию, потому что «ничем таким не располагал в Венеции». Завернул в столярную мастерскую — поблагодарил столяров за их работу при подготовке к конклаву. Выпил с ними вина. И все это без всяких церемоний, без плана, разработанного мастерами протокола. Протокол ему не нравится, и он его то и дело нарушает. Он не хочет принимать трапезу один, как того требует традиция. Говорит, что чувствует себя, «как наказанный семинарист», если сидит за столом в одиночестве. Он вызвал к себе графа делла Торре, редактора «Оссерваторе романо», и запретил ему употреблять применительно к своей особе торжественные обороты, столь характерные для стиля предыдущей эпохи. И значит, никаких «глубокочитимых уст», «вдохновенных слов», «высочайших поучений» и «преподобнейших шагов». Просто — «папа сказал», «папа сделал» и «папа пошел».

Крестьянскому сыну, привязанному к своей деревушке, которую он ежегодно навещал даже будучи нунцием, патриархом, кардиналом, нравится его происхождение. Он считает, что очень полезно начинать свой путь с самых низов, поскольку это учит жизни. Его крестьянское происхождение вызывает восторг у широких кругов населения. П. говорит, что художники тоже радуются приходу нового папы. Предшественник Ронкалли в Венеции, кардинал Пьяцца, был для них божьим наказанием. Он не разрешал священникам ходить на «Биеннале»¹, боролся с кинофестивалями, преследовал концерты современной музыки. Это прекратилось с появлением Ронкалли, который и сам проявлял интерес к большой выставке живописи в Венеции. Об абстрактной живописи он говорил: «Я ее не понимаю, но она меня занимает». Он разрешил исполнять музыку Стравинского в соборе св. Марка, несмотря на возражения курии, косившейся на Стравинского не столько потому, что он композитор современный, но главным образом потому, что он православный. Ронкалли прекратил священную войну, которую Пьяцца объявил всем, кто появлялся на улицах Венеции в шортах и декольтированных платьях. Кроме того, Ронкалли рекомендовал устраивать экскурсии семинаристов и молодежи в Венецию весной или осенью, а не летом, когда люди — преимущественно иностранные туристы — больше всего обнажаются. Таким образом, он нашел компромиссное и разумное решение. Кажется, к таким решениям он склонен от природы.

Но больше всего ликует курия. Здесь восторг вызван причинами личного порядка. Назначения так и сыплются. Одни уже подписаны, длинный список других подготавливается. По старому обычаю, секретарь конклава, тот монсиньор (как правило, высокий ватиканский сановник), в чьи обязанности входит облачать нового папу после избрания, именно в этот момент и становится кардиналом. Он подавал белую скуфью новому папе, а тот, снимая с головы свою прежнюю, кардинальскую, возлагал ее на голову секретаря конклава. Тогда монсиньор неофициально становился кардиналом. Так велось испокон веку. И вдруг тра-

¹ Выставка современного искусства, устраиваемая в Венеции каждые два года.

диция оборвалась. Пачелли ее не продолжил. Когда секретарь конклава подал ему сукфью, Пий XII спрятал свою старую в карман.

Иоанн XXIII вернулся к давней традиции. И вот монсиньор Джорио станет кардиналом. Он только ждет, чтобы консистория официально объявила о его назначении. Ждет, разумеется, без волнения, уверенно. Столь же уверенно ждут и другие. Список новых кардиналов предлагается огромный, более двадцати человек. Пий XII тянул восемь лет с первой консисторией. Иоанн XXIII не хочет ждать даже положенных по уставу сорока дней, которые должны пройти с момента оглашения до самого торжества...

Газеты заполнены фотографиями нового папы. За фотоснимки, изображающие его в гондоле, платят баснословные деньги. Таких снимков много, поскольку Иоанн XXIII, будучи в течение семи лет патриархом Венеции, часто пользовался этим средством передвижения. Но редакции газет не могут ими насытиться, а читатели не могут ими радоваться. Под репродукциями снимков стоят гигантские подписи: «Пастырь и мореплаватель». Так звучит относящееся к новому папе предсказание по св. Малахии. Все знают, что приписываемое Малахии «Пророчество о папах» является апокрифом шестнадцатого века и что Малахия — святой примас Ирландии, умершей в 1148 году, — не приложил к нему руки. Но знание знанием, а удовольствие удовольствием. Его испытывает каждый. Чувство это вызвано соприкосновением с тайной и какими-то реально не существующими рамками, в которые мир втиснут согласно законам, непостижимым для человеческого разума. Удовольствие так велико, что каждый готов хоть на мгновение закрыть глаза, лишь бы не заметить, что тот факт, будто Ронкалли иногда пользовался гондолой, не самое главное из всего, что можно о нем сказать; точно так же, как грубая натяжка заключена в том, что пассажир гондолы приравнивается к мореплавателю. Но ничего не поделаешь! Сегодня трудно спорить даже с С., обычно таким ироничным и недоверчивым. Глаза у него блестят, он умиленно разглядывает снимки, о которых я говорил, и восклицает: «Все-таки это необыкновенно!»

3 ноября 1958 года

Завтра возведение нового папы на святой престол. Ф. говорит, что вся Священная коллегия магистров апостольских обрядов умоляла об отсрочке, не чувствуя себя в силах подготовить в течение недели такое празднество, величайшее из всех, какие знает церковь. Иоанн XXIII заупрямился. Он хочет, чтобы поскорее окончился переходный период, этап, который завершается только с коронацией. От курии это требует огромного напряжения как со стороны литургической, так и со стороны протокольно-дипломатической в связи с прибытием делегаций и отдельных лиц, среди которых немало давным-давно коронованных особ или претендентов на трон. Все они спешат поклониться новому папе.

Патриархов, митрополитов и епископов, во множестве съезжающихся в Рим, надо пересортировать по иерархии, отвести каждому соответственное место в соборе и шествии, поскольку это мир неслыханно чувствительный к престижу. Малейшая ошибка, а обиды хватит на годы. П. рассказывает, что в большинстве своем это люди, которые иной раз по десяти, пятнадцати, двадцати лет ждут повышения. Отсюда их болезненная староруженность. Наконец, на празднество приедет много представителей аристократии. Итальянская явится в полном составе. Французская, немецкая, бельгийская — большими группами. Все общество надо как следует разместить в соборе и к тому же согласно ритуалу.

Как-никак интронизация папы — священное торжество нешуточного масштаба. Таким образом, вся курия — ведь кто только жив, тот мобилизован — буквально валится с ног от усталости.

— И поспеют? — спрашиваю я.

— Должны! — восклицает П.

Вечером беседую с В. Он фанатический католик, из породы «беспокойных католиков», как их называет С. Его беспокоил Пий XII и многие факты, связанные с его понтификатом. Я спрашиваю, что изменится и изменится ли что-нибудь. Мне уже известно, что многое изменится в курии; вместо двенадцати кардиналов будет двадцать четыре. Верно также то, что новый папа будет запрашивать мнение курии по наиболее важным вопросам и, быть может, даже опираться на него. Очень глубоких стариков заменят не столь глубокие старики. Места прелатов, которым перевалило за восемьдесят, займут более молодые, то есть те, кому перевалило за семьдесят. Многое изменится также в стиле, господствующем при папском дворе. Атмосфера станет проще. Это не подлежит сомнению. Но что изменится под этой изменившейся поверхностью — вот главное!

В. так волновался в последнее время, что теперь, успокоившись, смотрит на вещи оптимистически. Впрочем, он сам так определяет свое состояние. Биография Ронкалли внушает ему доверие. Не только его простое происхождение, но и многие другие обстоятельства. Несколько лет он был секретарем у одного из немногочисленных епископов, которые всерьез приняли указания Льва XIII из энциклики «*Regum Novarum*»¹, — у монсиньора Радини-Тедески. Епископа, как и его секретаря, причисляли к «широким натурам», то есть к натурам с широкими горизонтами. Когда при Пие X и кардинале Мерри дель Валь к власти пришли их противники — «непреклонные» — и к тому же умер Радини-Тедески, Ронкалли отошел в тень и в течение семи лет никто о нем не слышал. Вспомнил о нем только Бенедикт XV. Вскоре он вызвал Ронкалли в Рим, определив по ведомству пропаганды веры. Несколько лет спустя он перешел в дипломатию. Двадцать лет он провел в представительствах в Болгарии, Турции, Греции, то есть в некатолических странах. Следующие восемь лет — в Париже в качестве нунция. Но и здесь, подчеркивает В., ему приходилось считаться не с католическим общественным мнением, а со светским. Этот факт В. рассматривает как особенно важный и плодотворный для формирования взглядов итальянских монсиньоров. После Парижа пришла очередь Венеции, уже католической, но с давней традицией независимости от Рима. Такова биография папы.

Существуют и другие мотивы, влияющие на оптимистическое настроение В. Он уверяет, будто у Ронкалли по сей день остались широкие взгляды. Как нунций в Париже он поддерживал в римской курии прогрессивных кандидатов в епископы. В Венеции в течение трех лет покрывал левых христианских демократов и стал теснить их только в 1956 году, да и то лишь по указанию Священной коллегии.

— Но, — продолжает В., — вскоре после этого он приветствовал паптырским письмом съезд социалистов, принял делегацию женского союза, в котором запрашивают коммунисты. А в последнее время встретился с группой литовских католиков, прибывших из-за «железного занавеса», и — единственный из кардиналов — пошел на вокзал, чтобы поздороваться с польским кардиналом Вышинским; и то и другое он

¹ Выпущена папой в 1891 году и демагогически посвящена «рабочему вопросу». Лев XIII ставил перед католической церковью задачу борьбы с социалистическим рабочим движением путем раскола трудящихся на религиозные группы, создания католических (штрейкбрехерских) профсоюзов и т. п.

сделал вопреки откровенным предостережениям Рима. Конечно, ему ближе граф Витторьо Чини, владелец торгового порта в Венеции и десятка дворцов, фабрик, усадеб, чем столь милый вам коммунист Луиджи Чини, преподаватель польского языка и организатор сотен мероприятий, пропагандирующих искусство и науку народной Польши, о котором вы не раз мне рассказывали. Однако Ронкалли не частное лицо, он князь церкви, у которого есть свои пристрастия. Вот почему несправедливо было бы, если бы мы не признали, что климат венецианской курии не такой тяжелый, как в других местах. Пусть бы ваш Чини попытался в Палермо или в Генуе под носом у Руффини или Сири действовать, как в Венеции, его быстро поставили бы на место.

В. задумывается.

— Конечно, это дело сложное. Безусловно, тут играют роль и темперамент, и склонности папы, и, быть может, даже некоторые расчеты. Вероятно, София, Стамбул, Афины, Париж или даже Венеция сильно отличаются от римской курии, где надо вести себя совсем по-иному, для того чтобы видеть вокруг довольные лица, а Ронкалли очень это любит. Быть может, Ронкалли даже придется пойти на компромисс и, вернее всего, действовать с позиций, ему чуждых. Но при всем том невозможно опровергнуть тот факт, что, если даже допустить самое худшее, все-таки останется место для надежды, которой при другом результате конклава вообще не было бы.

Рим, 5 ноября 1958 года

Фантастическое празднество! Мы встаем в пять утра, чтобы поспеть как можно раньше к собору св. Петра. У нас билеты на одну из трибун, даже на хорошую, но места не нумерованные. Кто придет первым, займет лучшее место, возле перил. Мы въезжаем через арку делле Кампане. Держим в руке наше «персональное разрешение присутствовать на церемонии». Служба порядка — этменная. Множество швейцарских телохранителей, гвардейцев, жандармов. Они передают нас друг другу из рук в руки. Половина седьмого, а все площади, площадки и улочки, как и дворы за собором, полны машин. Из них высаживаются величественные прелаты, господа в мундирах или фраках, усеянных орденами, дамы в черных платьях и вуалях, сверкающие бриллиантами. Все несутся как угорелые, подгоняемые камергерами и монсиньорами, ведающими церемониалом, которых в данный момент беспокоит не столько соблюдение протокола, сколько то, чтобы не образовалась пробка.

Сперва месса, перемежаемая почестями, которые воздают новому папе кардиналы и каноники из собора св. Петра. Потом церемония. Потом шествие и — из внешней лоджии — торжественное благословение толпы, собравшейся на площади перед собором. Все вместе продолжается пять часов. Это нечто необычайное. Единственное в своем роде. Торжество колоссальное, подавляющее. Мы выходим из собора разбитые, утомленные изобилием огней, тонов, красок. Тысячи ламп, фанфары, гимны; со стен свисают километры пурпурных, переливающихся золотом тканей; проходят шествия, потрясающие красочностью костюмов. Все имеет подоплеку, имеет старое-престарое, чаще всего безмерно сложное обрядовое значение. Нам это объясняет монсиньор, с которым мы с женой разговорились. Он нашептывает нам на ухо разные премудрости. Но вникнуть в мистический смысл событий, которые проходят перед нашими глазами, мешают гул труб и музыка, попеременно Палестрина и Гуно, который является автором государственного ватиканского гимна со слегка оперной мелодией. Но даже если бы я слышал все пояснения и не был в полубормочном состоянии от усталости, пола-

гаю, что это не нарушило бы пропорции между восхищением формой и равнодушием к содержанию. Не потому, что оно мне чуждо; нет, оно мне не чуждо, поскольку Рим учит нас восхищаться всякой древностью, не только этрусской или латинской. Если в данном случае я говорю о равнодушии, то потому, что здесь содержание исчезает под формой, захватывающей, великолепной, агрессивной...

Из-за папского алтаря показывается самая торжественная часть шествия и направляется к вратам собора. Зачарованная толпа кричит, рукоплещет. Папа с высоты *sedia gestatoria*¹, на котором его несут служители в малиновых ливреях, благословляет всех. Шествие медленно движется. Искрится, переливается красками. Монашеские ордена, капитулы, кардиналы, магистры рыцарских орденов, ватиканские сановники, каждый в одеянии другой эпохи, в зависимости от того, когда было создано ведомство, которое он представляет. Потом в течение получаса перед нами проходят митры — ничего другого, только митры. У одних они на головах — это «*assistenti al soglio*»², другие несут их в руках, прижав к груди, — это те, которые не обладают титулом «присутствующих у трона».

Но так ли несут митры или иначе, с виду они самые разнообразные. Монсиньор объясняет нам, которая из них драгоценная, которая позолоченная и которая простая. Он втолковывает нам, кто, когда и при каких обстоятельствах получает на них право. А потом, почти прикасаясь к митрам пальцем, настолько близко от них мы стоим, он посвящает нас в мир форм этих торжественных епископских головных уборов, которые, по словам формулы посвящения, должны, как настоящим солдатам, «служить защитным шлемом... так, чтобы лицо, которое им украшено, и голова, которая им вооружена, казались страшными всем врагам истины». Ни одна из митр не кажется нам страшной. Некоторым придана необычайная форма. Это митры, принадлежащие митрополитам или патриархам других, не римских обрядов. Митры коптов, маронитов, халдеев или армян.

Поток митр проходит, как прошли предыдущие звенья шествия: звено кардиналов, звено рыцарей, сановников, затем официальных делегатов шестидесяти государств и правительств, которые прислали на торжество специальные миссии. После них прошли еще два звена шествия — уже последние, — их сопровождали монсиньоры церемониймейстеры и офицеры папской гвардии. При виде первого из этих звеньев я испытал странное чувство. До сих пор шли живые люди, нарядившиеся в исторические костюмы. А теперь казалось, что идут духи, одетые обычно, по сегодняшней моде. Первой шла австро-венгерская императрица Зитта, свергнутая с трона сорок лет назад. А затем, в той последовательности, в какой их сбрасывали с трона, — Рупрехт Баварский, Фридрих Саксонский, Иоанна Болгарская и многие другие. За ними шли претенденты на престол. За ними — их семьи.

Наш монсиньор успевал называть только ничтожную часть проходивших. Я то и дело слышал: Аоста, Габсбург, Бурбон, Бонапарт, Браганца, Кобург-Готский, Савойский, один раз даже Гоенцоллерн. За этим звеном, историческим, следовало еще одно, окруженное заботой ватиканского протокола. Снова фраки, ордена. Одни мужчины. Это официальные делегации, присланные крупными международными организациями и, значит, Организацией Объединенных Наций и различными ее ответвлениями, а также и европейскими организациями — Содруже-

¹ Портшез, в котором несут папу во время торжественной церемонии (лат.).

² «Присутствующие у трона» (итал.).

ством европейского рынка, Европейским советом, Содружеством угля и стали, а также Европейским атомным пулом.

Мы уходим. Сливаемся с человеческим морем на площади перед собором. При свете дня цвет мундиров и церковных облачений становится еще ярче. Часть шествия во главе с папой и кардиналами направляется в Зал благословений. Остальные, в том числе сотни митр, мальтийские рыцари, господа, сверкающие орденами, и швейцарские телохранители в блестящих шлемах и панцирях, занимают все пространство монументальной лестницы собора. Проходит еще четверть часа, и теперь создается впечатление некой колоссальной оперной массовки.

В центре, на балконе над главным входом, появляется папа. В величественном золотистом облачении он сверкает, как огромный ангел с рождественской елки. Окна Зала благословений заняли кардиналы. На них серебристые ризы и митры. В каждом гигантском окне стоят семь кардиналов. Они выстроились в ряд. Все вместе производит впечатление фриза. А еще больше — человечков из детской вырезной картинки. Но в целом — великолепное зрелище. Золотое пятно в центре, бело-серебристый ряд кардиналов, буйно-яркая грядка на лестнице — какое архитектурно-живописное чудо!

Рим, 7 ноября 1958 года

Иду прощаться с Э. Он спрашивает меня, был ли я на торжестве. «Да». — «И как?» — «Замечательно». — «А когда вы уезжаете?» — «Вот-вот!» — «Укладываете чемоданы?» — «Укладываю». За время нашего знакомства он проявил по отношению ко мне столько дружеского внимания и рассказал столько интересных вещей! Мне досадно, что я застаю его снова в дурном настроении. Причина все та же самая. Едва он вгрызется в какую-нибудь проблему, подготовит материалы и сядет писать, как тема оказывается чересчур щекотливой. Год назад он отложил в сторону заметки и первый набросок работы о ближайшем окружении пап на протяжении веков. Все звучало так, будто в каждом слове содержались намеки. В последнее время он работал над историей первых пяти лет понтификата Пия IX. Те же самые неприятности. Непреднамеренные намеки, случайные совпадения; ход рассуждений, отдающий самыми зловещими предсказаниями.

Дело в том, что Пий IX взошел на престол окруженный ореолом сторонника прогрессивных и либеральных взглядов. Его предшественник, Григорий XVI, на жизнь и смерть связанный со Священным союзом, долго не решался назначить его кардиналом. «В доме Мастаи даже кошки либеральные», — говорил папа. По поводу кошек позволительно усомниться, зато вполне достоверно другое: брат будущего Пия IX, граф Мастаи Ферретти, так скомпрометировал себя связями с прогрессивными элементами, что был осужден на изгнание. После смерти Григория на конклаве боролись две партии: «крайние» и «умеренные» консерваторы. Победили последние. В курии воцарился новый дух. Публичные аудиенции, прекращение следствий по политическим преступлениям, амнистия, смягчение цензуры, гражданская милиция, совет министров, в состав которого вошли шесть светских министров и только три из духовного звания, и, наконец, конституция, вековая мечта большинства подданных папского государства, — вот как все началось. Консерваторы боялись. Но папа рвался вперед. Он был согласен со своим советником, утверждавшим, что «Италия настроена не коммунистически и не радикально» и ей достаточно умеренной свободы. Но еще до того, как истек 1848 год, все изменилось под нажимом иностранных правительств и консервативной части курии, вновь заговорившей в полный голос. По формуле Э.,

свобода, которая приходит после веков угнетения, должна бурно себя выразить. Даже если проявление свободы связано с кровопролитием и безумными поступками, следует постоянно помнить, что это реакция на былые притеснения. Тогда многие сегодняшние факты уменьшаются и приобретают соответственные размеры. Папа, однако, испугался, потерял голову, удрал из Рима, призвал на помощь французов, испанцев, австрийцев и Бурбонов из Неаполя. Год спустя, когда он вернулся в свой Рим, отданный на это время в руки «крайних», которые восстановили старый, грегорианский, порядок, папа был уже другим человеком. Взлет оборвался.

Идея книги приобретает еще более мрачный колорит из-за финала описываемых в ней пяти лет. Насколько я понял из пояснений Э., он подчеркивает, что случай Пия IX хоть и редкий, но его нельзя назвать нетипичным. В принципе новые папы всегда настроены либерально. Лишь немногие из них вступают на престол с реакционными лозунгами, если так можно выразиться. Все они, во всяком случае подавляющее большинство, принимая власть, хотят перемен. Их либерализм обусловлен напряженным консерватизмом последних лет владычества их предшественников. Случай Пия IX — самый крайний. Либерализм первых лет, быстрый, стремительный перелом и чудовищно реакционный остальной период бесконечно тянувшегося понтификата¹. Э., однако, утверждает, что в меньшем масштабе и не при такой бурной амплитуде колебания подобное явление часто можно наблюдать, изучая историю пап.

— Как же я теперь могу издать мой труд? — огорчается Э.

— Неактуально?

— Слишком актуально, — отвечает Э. — Вы знаете, что я не враг Ватикана. Я только критически изучаю его прошлое. Выводы получаются невинные. И однако текущее положение вещей или текущие события всегда придают им актуальность в самом худшем направлении. Тогда я отступаю.

Э. встает и долго шарит на полках. Наконец возвращается к письменному столу с папкой в руке.

— Несмотря на то, что я сказал, — говорит он, — у каждого понтификата есть свои особенности, и когда он начинается, то скрывает в себе неведомое. А это значит, что возможен новый догмат, новые святые, новые монашеские ордена и тому подобное. Но более вероятно то, что папа не отменит догматов, существовавших до сих пор, не перечеркнет старых святых, не упразднит старые ордена. Кроме того, и это тоже важно, никогда, ни при каких обстоятельствах он не нарушит соотношения между «новым» и «старым». То есть речь идет о соотношении между тем, что может провести в жизнь один папа, властвующий десять — пятнадцать лет, и тем, что было проведено в жизнь его предшественниками на протяжении почти двух тысяч лет. Соотношение это мне часто кажется чисто математическим, по крайней мере оно приближается к таковому. Поэтому на огромном фоне времени «новое» сужается, мельчает. Мельчает до такой степени, что кое-кто сомневается в его существовании.

Э. роется в папке, не прерывая своих рассуждений.

— Все-таки нельзя на этом основании говорить, что церковь вот уже две тысячи лет подливала в старую бочку лишь по одной капле нового. Если взять историю церкви в целом, поражает тот факт, что меняются и самые бочки. И стало быть, поскольку не следует придавать слишком большое значение различиям между отдельными, сменяющимися друг друга понтификатами, безусловно надо считаться с различиями между разными эпохами в жизни церкви. Я когда-то работал и над характери-

¹ Тридцать два года — с 1846 по 1878 год.

кой этих отдельных эпох. На момент задержу ваше внимание на главной особенности последней эпохи. Я называю ее в моих заметках «эпохой децентрализованного консерватизма». Термин звучит странно! Я имею в виду то, что в отличие от предыдущей эпохи, эпохи пореформационной, когда церковь старалась спасти то, что еще удавалось спасти от старых католических укладов,— в позднейшую эпоху, то есть в нашу, она старается спасти то, что еще удастся спасти просто из старых укладов: католических, некатолических, протестантских, буржуазных, монархических, диктаторских, тоталитарных. Уже несколько десятилетий церковь делает это сознательно. По крайней мере со времен Льва XIII. Это он первый установил дипломатические отношения с некатолическими государствами и вообще расширил сеть нунциев. По отношению ко всем старым укладам церковь является лояльным партнером. Весь свой авторитет она бросает на карту старого. Она избегает контактов с новым, не ведет никаких компрометирующих ее закулисных переговоров. Делают это отдельные лица, иногда с высочайшего повеления. Но оно всегда временное, то есть рано или поздно его отменяют. Печальная судьба различных мыслителей, разных групп, разных политических фракций католической «левой» доказывает это. Под конец гильотина Священной коллегии всегда падает и отсекает им голову. Иначе и быть не может. В противном случае нунции во всем мире не могли бы с чистой совестью напомнить кому следует — выражаясь словами кардинала Бурре,— что «католицизм не только частное дело, но общественная сила, которой следует прийти на помощь, чтобы воспользоваться ею для укрепления доброго порядка». На все давят законы и цели «децентрализованного консерватизма». Мысль многих католиков, начиная от рядового и кончая кардиналом, а даже и выше, может от них освободиться, но церковь как организация — никогда.

Рим, 10 ноября 1958 года

Упаковка чемоданов, прощания, вздохи. Что за город Рим, никак нельзя им насытиться, и особенно, когда из него уезжаешь. Мы с женой идем к старому Ч. Т. Он всегда приглашал нас в свой театр на пьесы, в которых выступал. В новой пьесе он не играет. Приходит в зал и садится рядом с нами. А в антракте мы идем к нему. в директорский кабинет. Время от времени он устраивает религиозные спектакли для разных ватиканских учреждений, даже под покровительством различных конгрегаций. У него бывали хлопоты с текстами. Теперь, он полагает, будет легче. Я спрашиваю, как он настроен вообще, потому что он говорит, что несколько раз ездил в Венецию ставить спектакли, заказанные патриархом, и по этому случаю столкнулся с нынешним Иоанном XXIII. Мне нравится ответ Ч. Т., его театральная терминология и то, что в одной фразе он заключает все содержание моей недавней беседы с Э. Старый актер говорит: «Знаете что? Общий замысел роли будет другой, но роль останется той же самой!»

Перевели с польского Ю. Мирская и Э. Гессен.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Г. КОЗИНЦЕВ

★

ГЛУБОКИЙ ЭКРАН

(Главы из книги)

Сергей Михайлович Эйзенштейн говорил, что, по его опыту, в производство идет лишь восьмой-девятый вариант сценария. (То же было и в нашей практике.) Какой вариант эта книга?.. Я не смог бы сосчитать даже самым приблизительным образом.

Иногда в предисловии читаешь: автор не меняет старых статей, пусть читатель прочтет их такими, какими они некогда были сочинены. Иное характерно для этих глав: они много раз до неузнаваемости переделывались. Мне приходилось их писать во время иной работы — режиссерской. Одно было связано с другим: страницы рукописи переходили в монтажные листы, догадки проверялись в ателье; исследовательская работа над трагедиями Шекспира и предваряла и продолжала сценическую. «Король Лир» учил кинематографии, а трилогия о Максиме (поставленная, как и многие другие фильмы, вместе с Л. Траубергом) заставила меня по-новому перечитать «Дон-Кихота». И я опять брался за отложенные листы, вымарывал, дописывал...

Шла жизнь; события, современниками и участниками которых мы являлись, заставляли по-иному относиться к смыслу и сути своего труда. Именно эта тема кажется мне наиболее значительной. Сложность не в том, чтобы определить этот смысл и эту суть несколькими фразами. Они уже давно известны и много раз высказаны мудрыми мастерами. И все же, как написал К. С. Станиславский, в жизни каждого художника вновь происходит «открытие давно известных истин». Их приходится узнавать не только из книг или от сведущих людей, но и обязательно «на своем горбу», иначе они, эти истины, не помогут труду художника.

...Техническое оборудование меняется с невероятной быстротой. Кино стало звуковым, цветным, широкоэкранным. Открыты панорамные кинотеатры, циркорама. Всему этому можно только радоваться. Однако сама по себе техника не так уж много значит. Все цвета радуги и любые размеры экрана мало украсят бессмыслицу. В этом искусстве, как и в других, решают человечность, мысли и чувства. Кинематография немало лет экспериментировала, чтобы, испробовав многие свойства экрана, прийти к тому, что главное из них — глубина.

Обо всем этом речь пойдет дальше. В этих главах передо мной: сцена старого провинциального театра... агитгрузовики... деревянные плакаты на стенах домов... полотно «кинематографа» все в потеках и швах...

КОМИССАР ТЕАТРА ИМЕНИ ЛЕНИНА

Я родился в Киеве, там же учился в гимназии. В первые годы революции это была странная учеба. Занятия нередко прерывались из-за артиллерийского обстрела, и когда, нагруженный ранцем с учебниками, я шел на занятия, неизвестно было, чья власть в городе. Австро-венгерских оккупантов сменяли петлюровцы. На Печерске, недалеко от гимназии, лежали во рву, странно скрючившись, трупы расстрелянных. Учителя рассказывали о флоре и фауне Африки, о спряжении латинских глаголов, а на окраине стреляли пулеметы. Ночами цокали копыта проезжающих рысью отрядов, раздавались выстрелы, и вдруг кромешную тьму южной ночи разрывала какофония криков, ударов, скрежета; что-то гроыхало и бухало, дребезжало и завывало. Это ломались в двери домов грабители, а охрана из жильцов трясла железными листами, колотила в сковородки, била в медные тазы, призывая на помощь неведомо кого. Наступало утро. И опять — ранец за плечами — я шел мимо разбитых стекол витрин, стен, щербатых от пуль, мимо вооруженных людей, нелепо обряженных в синие свитки. Смерть гуляла по городу. О ней говорили непочтительно: «поставили к стенке», «вывели в расход», «отправили налево», «разменяли», «шлепнули». Вдали грохотала артиллерия. Мальчики останавливались, прислушиваясь, спорили о калибрах пушек. Этому научились хорошо — различать звуки выстрелов. По Большой Васильевской толпа вела спекулянта. Его тащили, всего обвешанного тухлыми селедками, — он торговал ими на рынке. Из задних рядов выбегали люди и били торговца наотмашь по лицу. Кровь, казавшаяся мне неестественно яркой, перепачкала лицо спекулянта, сделала его непохожим на человеческое; кровь текла по рубашке, по селедкам.

Память сохранила эти картины; онигодились для «Выборгской стороны».

На моих глазах входили в город части Щорса и отряды Первой Конной армии.

...Был 1919 год.

На стенах домов расклеена прокламация: «Что означает собой красная звезда?»

Люди с красной звездочкой на фуражках и папахах освободили Киев. Эти люди выгнали оккупантов и бандитов, раду, директорию, гетмана, гайдамаков; они прекратили погромы и самосуды, установили народную власть. И сразу же в революционном городе расцвели все виды творчества. Деятельные и жизнерадостные люди ставили столы и табуретки в комнатах Всеукраинского отдела искусств. Неисчислимые комитеты, секции и подсекции обсуждали планы постановки всей мировой классики, устройства массовых торжеств и украшение площадей ко дню Первого мая.

Открылись студии и мастерские. Учились искусству со страстью, и со страстью учили. Чему только не учили! Читались лекции о труверах и менестрелях, об украинском барокко и японском театре. Танцовщица дягилевского балета Бронислава Нижинская ставила «Петрушку» Стравинского; М. П. Алексеев (будущий академик) составлял театральный репертуар.

Я учился не только в гимназии, но вечерами посещал и школу живописи. Александра Экстер занималась с небольшой группой молодежи. Перед учениками был установлен натюрморт: яблоки на салфетке, глиняный кувшин. Следовало изобразить эти предметы, но иные образы владели мною. Я слышал парадную медь оркестра, фигуры из любимых книг, резко и странно освещенные рампой, на мгновение возникали и пропадали, били искры из скрестившихся мечей, горели зеленые глаза

колдуна из «Страшной мести», и, шпоря коней, перескакивали через рвы три мушкетера. Ничего толкового из натюрмортов не получалось. Я сочинял пародии, рисовал карикатуры, придумывал декорации к несуществующим пьесам.

Мои старшие товарищи по мастерской, уже настоящие художники, — С. Вишневецкая, И. Рабинович, А. Тышлер, Н. Шифрин — получили заказ на роспись агитпоезда. Они включили меня в свою бригаду, хотя делать я еще ничего не умел. Ко мне относились — вероятно, вследствие моей молодости и энтузиазма — хорошо и даже доверили мне самостоятельно расписать отдельный вагон. Мы уехали на другой берег Днепра, где формировался состав. Там же я впервые попробовал поставить и сыграть какой-то агитскетч. Он исполнялся в теплушке с отодвинутой дверью; перед вагоном сидели на земле красноармейцы.

Все это было счастьем. Слова о величии труда, об общественной справедливости, о последнем и решительном бое после казенных слов гимназии казались сказочно прекрасными. И, что наиболее удивительно, в этой новой жизни я, мальчишка, уже принимаю участие, тружусь. Вот я еду в шаткой военной двуколке, она перевозит меня обратно в Киев (агитпоезд ушел на фронт), у меня на коленях военный паек, трудовой заработок.

Вместе с этими же художниками я участвовал в украшении города. Ночью на грузовике, груженном расписанной фанерой (мы должны были укреплять ее на стенах домов), лежа наверху трясушейся горы этих деревянных плакатов, мы выкрикивали навстречу темным и пустым улицам строчки стихов, только что полученных из Петрограда:

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.

Вытереть старое из сердца мне было нетрудно. Никаких истин, даже грошовых, я еще не знал.

И вот наконец двери в мир, который мне пока только мерещился, растворились. Художник Исаак Рабинович был приглашен в бывший Соловцовский театр — теперь Театр имени Ленина — и, зная о моих увлечениях, взял меня своим помощником. Обязанности мои были несложны. В низкой и длинной декорационной мастерской нужно было развести в глиняных горшках клеевую краску, обмакнуть большую кисть и, зачерпнув нужный цвет, покрыть им холст, растянутый на полу, согласно пробе самого художника.

Дверь из мастерской выходила на узенький мостик с перилами: он висел над темной сценой. На колосниках были подвешены дворцовые палаты; лес с листьями, наклеенными на сетку; мутные перспективы каких-то улиц. Все было покрыто пылью, покоробилось. Одинокие лампочки мерцали в туманной мгле. Часто приходилось работать ночами. В мастерской было пусто и холодно. Иногда тихо открывалась дверь, и, как привидение, входил старый декоратор. Обычно этот человек бывал невесело пьян. Мутными глазами он смотрел на сохнувшие в мастерской части площадок, диковинные занавесы. Тяжелое недоумение тлело в его глазах. Всю жизнь он обставлял любую пьесу с помощью нескольких задников и парных кулис. Небogatый набор мебели и бутафории обслуживал репертуар. Служилось спокойно, и даже полагался бенефис, и тогда бенефициант щеголял какими-либо эффектами, вроде цветных лампионов, развешанных гирляндами в саду. Теперь происходило что-то странное. Вместо службы в солидной антрепризе, где хорошие актеры

умели растрогать в «Осенних скрипках» или повеселить в «Тетке Чарлея», закружился какой-то чертов вихрь. Шумная жизнь ворвалась в театр, закипели страсти, подобные бурлению уличных митингов, загорелись сочетания красок, схожие с яркостью красных знамен на голубизне весеннего неба.

Революция была уже не только за стенами провинциального театрального здания, но и на сцене.

Утрами я пробирался в задние ряды полутемного, пустого партера и, притаившись, ждал начала репетиции. Собирались актеры; они здоровались друг с другом, говорили обыденные слова. На тускло освещенной сцене стояли выгородки, сколоченные из грязных шитов и обшарпанных площадок. В оркестровой дыре музыканты настраивали свои инструменты. Невысокого роста человек в темной рабочей тужурке садился за столик, стоящий в зале, закуривал папиросу. Начиналась работа.

И вдруг, незаметно для себя, я переставал видеть будничные платья, непримечательные лица, изнанку декораций. В головах актеров появлялась особая сила, разрозненные движения сливались в единый ритм, вступала музыка, вместо статистов закипала гневом народная толпа.

Особый, ни на что не похожий восторг охватывал все мое существо. Происходящее казалось чудом. Я видел только одного человека, создающего это чудо. Передо мной был тот, кто заставил задвигаться, зазвучать весь этот мир. Человек в рабочей тужурке, сидящий за столиком в зрительном зале, был как бы аккумулятором жизненной энергии. Ни актеры, ни статисты, ни музыканты не могли бы зажечь этой новой жизнью, если бы страсть, переполнявшая этого человека, не передавалась всем соприкасавшимся с ним. В этом соприкосновении и совершалось чудо искусства: тусклое становилось ярким, незаметное — значительным, вялое — сильным.

Передо мной был Константин Александрович Марджанов.

Это были репетиции «Фуенте Овехуна».

Казалось, ничего в жизни Марджанова не было и не могло быть важнее этих репетиций. Все происходившее на сцене отражалось в его темных влажных глазах. Выражение их непрестанно менялось. Они загорались восторгом; переполненный счастьем, он громко, на весь зал, восхищался актером, но секунда — и взгляд менялся, гримаса боли искажала лицо. Внезапно и незаслуженно Константин Александрович соприкоснулся с чем-то нелепым, оскорбительным для всего, во что он верил, в чем заключался для него смысл жизни. Глаза делались гневными, он резко прерывал исполнителей, он становился требовательным, придирчивым, сцена повторялась много раз, пока не происходила в ней неуловимая перемена, и тогда опять радостный свет зажигался в его взгляде.

Очевидно, какая-то особая сила заключалась в этой высокой требовательности. Актеру было непросто уйти из театра, не дождавшись веселого блеска в глазах Марджанова.

Хочется рассказать о последней репетиции этого режиссера. Она мне стала известна недавно.

...Сцена была чертовски трудной. Исполнитель не справлялся с ролью. Нужно было еще много работать, а времени, как всегда в театре, не хватало. Режиссер не смог больше репетировать... Пров Садовский стоял у гроба Константина Александровича. Смотря в лицо мертвому режиссеру, актер еще раз прочитал ему поставленный им монолог. (Это было формой последнего прощания.) Раньше эта сцена «Дон Карлоса» не шла, вспомнил Садовский, теперь шиллеровские слова зазвучали по-иному. Константин Александрович, наверное, был бы доволен.

Надпись на вагоне: «Для устриц» — сделала встречу гроба Чехова

схожей с рассказом самого писателя. Память о Пушкине хотели украсть у народа. Империя провожала тело поэта тьмой, охапкой соломы под гробом, жандармами.

Несхожи голоса людей, и различно их последнее молчание.

У театра свои привычки. Жерар Филип завещал похоронить его в костюме Сиды. Артисту хотелось выступить на прощание в любимой роли. Марджанов украл у смерти еще одну репетицию.

...Вспоминая о своем учителе, я хочу понять суть его уроков. Что же мне открылось в них: секрет профессии, тайны мастерства, законы постановочного искусства?

Нет, не это видел я в репетициях «Фуенте Овехуна»; иное увлекло меня сразу же, бессознательно. Неотрывно смотря на художника, в которого я был влюблен со всей силой первого увлечения в искусстве, я видел силу одухотворенности его работы. Над природой этого огня хочется задуматься. Одухотворенность Константина Александровича была особой, и возникла она в особенных обстоятельствах.

Потом мне не раз приходилось наблюдать распушенность режиссеров, наигрывавших перед труппой «муки творчества». Эти люди убежали как бы в отчаянии из репетиционного помещения, бросались целовать актера будто бы от счастья; в маленькой комнате они оглушали криком. Вся эта зыбкость настроений носила характер неврастения, да еще выхоленной на предмет изображения «гения». Ничего схожего с этим не было в Марджанове. Смена состояний, отражавшаяся на его лице, была следствием не нервозности, но совершенной сосредоточенности. Величайшая ясность отличала его труд. В часы работы он чувствовал себя в вымышленном мире обстоятельств и характеров пьесы, как в реальности. В этом чудившемся ему пространстве и времени он жил со всей полнотой духовного существования. Как весело ему было в этом пространстве! Он населял его и украшал, воспевал и застраивал. Их католические величества по его воле окаменели и стали золотыми куклами; они лишь сидели на тронах, дергали искусственными ручками и говорили мертвыми, механическими голосами. Зато всеми красками жизни загорелось село Фуенте Овехуна. Всем его одарил Марджанов, даже скромная крестьянская пирушка захлебнулась во фламандском изобилии: через сцену, привязанные к нескончаемой веревке, путешествовали гуси, окорока, птица, рыбы, фрукты, овощи. Все это фантастических размеров и буйно ярких цветов. Соловцовская сцена не вмещала размаха его выдумки. Я не знаю, был ли понятен режиссеру католицизм пятнадцатого века, но я уверен, что южанин Коте Марджанишвили чувствовал себя под испанским небом, среди деревенских виноградников, как дома. Он знал свет, цвет, страсть юга. Изобилие юга было в нем самом. Работая с актерами, художником, композитором, он щедро дарил им то, что переполняло его: тепло южного солнца, яркость цветов, радующих глаз, страстность проявления прекрасных чувств мужества, верности, любви.

Недавно опубликовано литературное наследство Марджанова. Однако, читая написанные им статьи, стенограммы выступлений, я с трудом узнавал его. Конечно, сами по себе эти страницы представляют интерес, однако в них не сохранилось жизненного тепла. Менее всего он был теоретиком, критиком. Он был режиссером особого склада. Его мышление было поэтическим: вне высоты подъема чувств его искусство не могло бы существовать. Он выверял спектакли не логикой анализа, а градусом нагрева. Это было романтическое искусство в самом высоком смысле этого понятия. Он не режиссировал, но вздымал чувства, сгущал цвета. Он резко лепил формы, подчеркивая контрасты, усиливал выразитель-

ность. Конечно, это менее всего значит, что Марджанов — один из немногих режиссеров, приглашенных в свое время Художественным театром со стороны, — не владел психологическим анализом или логикой раскрытия характеров; он знал многое, но отличала его творчество поэтическая сила воображения.

Эта сила проявилась не сразу, и духовный мир этого художника складывался не просто.

Константин Александрович остался в моей памяти совсем молодым человеком (хотя в те времена все старше тридцати казались нам стариками) — он запомнился легким, подвижным, мгновенно возбудимым. Теперь я посмотрел даты его биографии: он родился в 1872 году, в 1919-м ему было сорок семь лет. За плечами были годы нелегкой работы. Он странствовал по провинции, нигде не мог осесть, найти свой дом. Он трудился со Станиславским и Гордоном Крегом, организовал «Свободный театр» — фантастический караван-сарай, где постояльцами должны были быть Шаляпин и Дузе, а пока загоняли живых волы на сцену в «Сорочинской ярмарке» и целый акт «Прекрасной Елены» вертелся на карусели, сооруженной на подмостках. Все это возникало в бенгальском огне сенсаций, немедленно прогорало, распалось, и он опять кочевал по городам, антрепризам, жанрам, стилям.

Дух беспокойства гнал его, не давая передышки. Он не мог «служить», участвовать в «деле».

Перед революцией, как и все талантливые режиссеры, он оказался на развалинах. Чего только он не пробовал! Ставил в пышных, живописных декорациях и вовсе без декораций. Сокращал диалог, но заставлял читать со сцены все авторские ремарки, искал условность театра, синтетические формы, восстанавливал в «Желтой кофте» приемы китайских постановок; боролся с натурализмом, рутинной, серостью, мещанством. Он был новатором, но не смог открыть неизвестных материков. Он был искателем, но земля его поисков часто оказывалась бесплодной. Синтетический театр стал лишь программой, где на неделе различные актеры играли оперу, оперетту, пантомиму. Ветер не надувал парусов.

Ветер тысяча девятьсот девятнадцатого года ворвался в Соловцовский театр. Ветер с заводских окраин и фронтов гражданской войны гулял по театру. И паруса надулись силой этого ветра.

Революционная власть назначила Марджанова заведующим театральным отделом Наробраза и комиссаром Театра имени Ленина. Он ставил постановку к Первому мая. В наши дни эти слова привычны. Тогда каждое из них произносилось впервые, вызывало жизненные ассоциации огромной силы. Эти ассоциации создали поэзию спектакля. Речь шла не об «осовременивании» классики, приспособлении Лопе де Вега к нуждам момента. Марджанов ничего не приспособлял к революции. Он жил ею. Все происходившее он воспринимал как высокую правду. Эта правда сплывала огнем поэзии бунт вилланов пятнадцатого века и действительность революционного города; сплывала, а не приспособила одно к другому.

Когда теперь, много лет спустя, приходится иногда слышать о тенденциозности как о чем-то скучно-назидательном, несовместимом с внутренней свободой художника, я вспоминаю самый страстный романтический спектакль, который мне посчастливилось увидеть, — «Фуенте Овехуна». Слова Лопе де Вега стали пропагандистскими в полном смысле этого понятия. В ответ на происходящее на сцене зрительный зал запел «Интернационал». Здесь все являлось тенденцией, агитацией, призывом. И здесь все было поэзией. Тут ничего не было от расчета, хладнокровия предвзятых намерений. Это искусство двигалось на таком горючем, что дух захватывало.

Это был расцвет театра, невозможный в дореволюционное время, несравнимый с величайшими достижениями зарубежных постановок. В подъеме искусства отразился жизненный подъем новой эпохи. Марджанов создал театр революционной страсти, и я горжусь, что синее небо «Фуенте Овехуна» было расписано и при моем совершенно неквалифицированном участии.

* * *

Иногда искусство творит легенду, но бывает, что и само оно воспринимается как легенда.

В эту киевскую весну по горбатой улице, мимо покрытых молодой зеленью каштанов шел с песней революционный полк. Люди, плохо вооруженные и обмундированные, со следами ранений — забинтованной головой или рукой на перевязи — вошли в низкое здание с лепными масками на фасаде. Солдаты сели в бархатные кресла, не выпуская винтовок из рук. Поднялся занавес: Испания обратилась к Украине.

Что же увидели эти люди, каким запомнился им спектакль?

Невысокого роста молодой человек, коренастый и курносый, находился среди зрителей. Пулеметчик и политработник Всеволод Вишневский всем своим душевным складом был приспособлен, чтобы сохранить самую атмосферу этой постановки. Какой-то особый восторг ощущения энергической деятельности первых дней революции наполняет его рассказ; будни становятся патетическими.

«Петлюровские полки надвигались на Киев... Марджанов приехал в Киевский партийный комитет:

— Что я могу для вас сделать?

— Что вы можете сделать?..

— Я могу поставить пьесу испанского писателя Лопе де Вега о восстании крестьян. А чем вы можете помочь?

— Ничего у нас нет».

По словам Вишневого, не было даже красок. Оказалась только сухая охра. Тогда Исаак Рабинович сказал: «Давайте охру. Я из этой охры сделаю золотой песок Испании».

Но одного песка, даже испанского, было недостаточно.

«Мы пошли к прачкам, реквизировали синьку, и он (И. Рабинович.— Г. К.) сказал:

— Из синьки мы сделаем синее небо.

...В зал мы вошли накануне боя, с винтовками через плечо. Актеры прекрасно играли, нас поражала эта сила. Весь зрительный зал замирал...

Актеры кричали, и полк кричал, актеры пели, и весь полк пел, а политработники волновались и кричали:

— Скорее, скорее, мы опаздываем.

Мы аплодировали актерам и мчались на шоссе, в бой».

Память не во всем соглашается с этим описанием: театр был на ходу, в декорационной мастерской осталась не только сухая охра. Помочь Марджанову можно было, и ему помогали. Но я слышу интонацию речи Вишневого и перестаю сомневаться: ошибается память; все было именно так, как он описал, и ультрамарин, конечно же, был реквизирован в прачечной.

Прекрасна легенда в искусстве, и прекрасно искусство, способное стать легендой.

Однако мне хочется вернуться к реальности. Она была сложной, и пути художников не проходили по налаженной трассе.

Через несколько дней в театре начались репетиции новой постановки. Актеры читали по тетрадкам «Саломею» Уайльда.

Кто же был этот эстет с орхидеей в петлице, обитатель башни из словенской кости, рискнувший проташить декадентство в искусство революционного города, напряженно борющегося с врагами и разрухой, проташить на ту же сцену?

Тот же Марджанов.

С жаром он говорил о духовной цензуре, некогда запрещавшей пьесу, о мечте Комиссаржевской сыграть эту роль, о трагедии протеста личности.

Конечно, несложно счесть «Фуенте Овехуна» достижением, а «Саломею» — отступлением, определить огромность рывка вперед первой работы и количество шагов, пройденных назад при обращении к истории библейской принцессы. Все это справедливо. Сложность состоит лишь в том, что и рывок и шаги назад художник проделал одновременно. Если это невозможно в физкультуре, то еще менее выполнимо в работе сознания. Жизнь художника не делится на кусочки. С первых дней революции Марджанов не размышлял над ее приятием или неприятием, но трудился для революции, жил ее напряжением, брал тепло у ее костра. Он трудился так, как мог; в его сегодняшнем дне уже начинал жить завтрашний, но еще продолжал существовать и вчерашний. Однако иная страсть уже наполняла все, что он делал. Без понимания сути этой страсти мало что можно понять и в труде этого художника и в искусстве тех лет. Я думаю, что «Саломея» 1919 года была несхожа со старыми постановками этой пьесы. Вместо блеклых тонов и декадентской вялости на сцене была яркость, энергия, страсть.

Летом 1920 года в честь приезда в Петроград делегатов второго конгресса III Интернационала на портале фондовой биржи была поставлена массовая инсценировка «К мировой коммуне». Начальником постановки, как тогда писалось, был Марджанов, играли в ней четыре тысячи красноармейцев и участники рабочих театральных кружков. Около сорока пяти тысяч зрителей смотрело спектакль. Историк театра, описывая инсценировку, вспоминал: «Пляска женщин в синей мгле напоминала марджановскую «Саломею».

Удивительные перемены происходили тогда не только с людьми, но и с образами художественных произведений. Время отражалось в искусстве формами, полными своеобразия; еще все находилось в стремительном движении, противоречивом смещении старого и нового. Передо мной тоненькая брошюра «Революционное искусство», изданная в Киеве Бюро пропаганды всеукраинского литературного комитета Народного комиссариата просвещения. Чего только нет на этих страницах! Кажется, что у авторов захватывало дух от грандиозности целей; слова, даже самые возвышенные, казались недостаточно сильными. «Пролетарское искусство, — писалось в передовой, — создается, как народное, рабочее, монументальное, патетическое, революционное, гневное, убивающее и рождающее в потоке крушения старых форм и развития всечеловеческого, всенародного исполинского стиля творчества жизни в преображенном мире».

А в преображенном мире пока еще гуляли банды, не хватало хлеба, останавливались заводы, надвигалась угроза интервенции. Но ощущение было правда высокой цели, и люди, посвятившие себя искусству, писали о «необъятности еще неведомых горизонтов», «творчестве новой вселенной», «мощном вале современных событий».

Бумаги не было — «Революционное искусство» занимало шестнадцать страничек маленького формата.

В это же время Отдел народного образования Харьковского губисполкома издал на оберточной бумаге «Пути творчества». «Наша задача — заставить мыслить красками и образами коллективистических идей, в духе товарищеской солидарности, над зачатием проекта пролетарского

искусства», — говорилось в одной из статей. Через несколько страничек — хроника: «Артистка Бабаева, достав в московском обществе удостоверение на право выезда с труппой в 18 человек из России на Дон и в Крым, решила и себе некую пользу извлечь из этого удостоверения и людям одолжение сделать». На границе перебежчики были арестованы. Паразителен приговор Революционного трибунала: «Принимая во внимание социальное положение Михлиной, Моргунова и Молотко (артисты), считать их оправданными». Еще страница: «Столбы, подпиравшие старые горизонты верований, надежд, красоты, раздвинулись, вместе с военным и революционным ураганом ринулись водопады новых понятий...» Подпись: «Всеукраинский совет искусств». Вместе с «ураганами» и «водопадами» были простые и прекрасные слова: «Товарищ рабочий, кто б ты ни был, — слесарь ли, токарь ли, каменщик или просто чернорабочий! Товарищ крестьянин — бедняк, батрак или просто середняк — все к нам! Все к искусству! В нем почерпнете вы жизнерадостность, волю к труду и к борьбе за свою долю».

Обращение не было риторикой. Новые зрители пришли в театр. Мало что можно понять в работе художников того времени, не представляя себе зрителей, для которых они играли. Новый театр начался не только с перемены происходящего на сцене, но прежде всего с изменения зрительного зала. И дело было не в том, что аудитория принимала игру за реальность. Некий идеальный зритель, воспетый театральными мемуарами, зритель-дикарь, стрелявший в Яго на сцене, не имел ничего общего с этими людьми. Глубочайшее уважение к культуре, счастье восприятия искусства — вот что отличало этих людей. Вспоминая их, Станиславский писал: «Этот зритель оказался чрезвычайно театральным: он приходил в театр не мимоходом, а с трепетом и ожиданием чего-то важного, невиданного. Он относился к актеру с каким-то трогательным чувством».

Марджанов ставил свои постановки не только для этой аудитории, но и вместе с ней. А жар чувств этих зрителей смог преобразить даже «Саломею».

В одном из журналов недавно воспроизведена саратовская афиша 1918 года. Школьный театр имени Ленина открыл свои бесплатные спектакли для пролетарских и крестьянских детей. Играли «Синюю птицу».

В архиве сохранилась телеграмма, посланная зрителями этого спектакля Ленину. Есть в ней такие слова: «Дети саратовского пролетариата говорят: «Мы сегодня пойдем к Ленину и мы были у Ленина и видели синюю птицу, которой открывается театр. Да здравствует вождь Российской Социалистической Федеративной Советской Республики тов. Владимир Ильич Ленин. Да здравствует вождь коммунистов».

Теперь нетрудно осудить мысль — воспитывать юных зрителей при помощи Метерлинка; придумать пьесу для открытия детского театра в 1918 году было сложнее. И главное — саратовские ребята видели тогда в «Синей птице» совсем не то, что воспринял бы зритель нашего времени или что интересовало дореволюционный партер. Мне ничего не известно о спектакле школьного театра, но я вправе предполагать, что многие из ребят — зрителей этой «Синей птицы» — потом, в трудные годы гражданской войны, голодухи, сыпняка как что-то светлое вспоминали и первый приход в свой театр и то, как девочка Митиль и мальчик Тильтиль искали счастья. И думаю, что в памяти этих людей возникали тогда не мистические туманы Метерлинка, но мерцающий вдали свет пятиконечной звездочки — добрый и ласковый среди пустоты и мрака ночи. Ведь отсвет этой звездочки падал и на бесплатный спектакль «Синей птицы» для пролетарских и крестьянских детей.

Для того чтобы понять театр первых лет революции, нужно не только

анализировать содержание спектаклей, но и понимать горячее, на котором это искусство двигалось.

Молодой Маяковский во время первой мировой войны писал о ее воздействии на каждый сюжет, на любой материал.

«Я никогда не был в Олонецкой губернии,— заявлял Маяковский,— но я достоверно знаю — сегодня ее пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки».

«Можно не писать о войне, но надо писать войною!»

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию», — призывал в январе 1918 года Александр Блок.

Понимать революцию в ее первый год всем сознанием было дано немногим из художников. Марджанов слушал ее всем телом, всем сердцем.

Он «ставил революцией».

* * *

Несколько лет назад я встретился с молодым режиссером, недавно закончившим образование. Речь зашла о спектакле, который мы оба накануне видели. Критическое дарование моего собеседника было очевидным. Он обнажил промахи режиссуры, раскрыл несоответствие авторской идеи и сценического выражения; низко оценив массовые сцены, он объяснил, как их следовало бы поставить. Он привел примеры из работ МХАТа, где подобные задачи были решены давно и с полной ясностью.

Он вышутил неумение художника пользоваться пространством и светом, взгрустнул об отсутствии творческой смелости, вздохнул от эклектичности. Немировича-Данченко он цитировал наизусть.

Потом я увидел постановку этого режиссера. Нечто непробудно нудное, вялое и косноязычное копошилось на сцене. Актеры шатались от тоски, убаюканные кашлем зрителей. Жизненного содержания не было ни в одном штрихе. Старинный провинциальный театр с намалеванным на заднике лесом, толкающимися статистами и играющими на свой риск премьерами был восстановлен во всей своей первозданности.

Я вспомнил наш разговор и удивился. Дело ведь не только в таланте. Трудно было сказать, что увиденный мною спектакль сделан без дарования, но умело и культурно; именно неумение и бескультурность отличали его. Сведения, так хорошо усвоенные молодым режиссером, почему-то совсем не пригодились ему в работе. Сами по себе эти знания были ценны для режиссерской профессии; итоги опыта больших художников могли бы действительно оказаться полезными. Но почему-то случилось так, что все это лежало в какой-то отдельной кладовой сознания, и, когда воспользоваться этими сведениями было бы необходимо, дверь в этот склад оказывалась по какой-то причине плотно закрытой. Слова не становились руководством к действию.

В поваренной книге объяснено, как изготовить какой-либо суп. Мясо и овощи кладутся в воду, кастрюля ставится на огонь, добавляют приправы. Повар пробует «на вкус». После кипячения суп готов.

Сопоставляя эту работу с трудом искусства, можно сказать, что в обоих случаях съедобная пища получается лишь в итоге кипячения. Отдельно усвоенные знания, как и сырые продукты, не переходят в новое качество без стадии крутого кипения.

Кустарная проба «на вкус» также играет немалую роль.

Молодому режиссеру была известна, говоря языком фабрики-кухни, номенклатура продуктов и нормы их выхода. Он только не знал, как развести огонь, на котором все это должно было закипеть. Он разбирался в телятине, картошке и укропе, но ничего не понимал в пламени.

В этой части труд кулинарув все же проще режиссерского. В нашем деле еще не изобретены ни газовые горелки, ни даже примусы.

В пятой статье о Пушкине Белинский объяснял характер этого огня.

«Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом», — писал критик. Однако свойства этой мысли — особенные: «Если б мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства».

Зародышем живых созданий поэзии Белинский считал не отвлеченно философские или рассудочные идеи, но поэтическую идею, «а поэтическая идея — это не силлогизм, не догмат, не правило, это — живая страсть, это — пафос».

«Поэтому выражения: в этом произведении есть идея, а в этом нет идеи, не совсем точны и определены. Вместо этого должно говорить: в чем состоит пафос этого произведения? или: в этом произведении есть пафос, а в этом нет. Это будет гораздо определеннее и точнее: потому что многие ошибочно принимают за идею то, что может быть идеею везде, кроме произведения, где ее думают видеть и где она, в самом-то деле, является просто резонерством, кое-как прикрытым сшивными лохмотьями бедной формы, из-под которой так и сквозит его нагота. Пафос — другое дело. Надо быть совершенно лишенным всякого эстетического такта, чтоб увидеть пафос в произведении холодном, мертвом, в котором идея с формою слиты, как масло с водою, или сшиты на живую нитку белыми стежками».

Думая над уроками Марджанова, я вспоминаю его труд, проникнутый пафосом. Дух революционных перемен, убежденность в правоте новых общественных отношений, ощущение исторического масштаба происходящих событий — истоки этого пафоса.

В 1919 году я мало что понимал во всем этом, но я начинал бессознательно усваивать, что счастье соприкосновения с искусством невозможно без страсти, потрясающей все существо человека. После уроков Марджанова брак по расчету в искусстве никогда не покажется мне привлекательным.

* * *

После одной из репетиций, набравшись храбрости, я показал Марджанову свои эскизы. Внимательно рассмотрев их, он сказал, что познать меня с другим молодым художником и закажет нам декорации к какой-нибудь из своих новых постановок. Мальчик моего возраста, остроносый, с узким разрезом глаз, одетый в блузу с множеством отутюженных складок и в брюки клеш из зеленого материала, появился немедленно. На его голове красовалась цветастая тубетейка, между пальцами он крутил тоненькую палочку. Звали его Сережей, фамилия была Юткевич. Марджанов заказал нам декорации к оперетте «Маскотта». И тут началось самое удивительное: он разговаривал с нами, как бы забыв о нашем возрасте. Прославленный мастер, много раз работавший со знаменитыми художниками, обсуждал свой замысел с мальчишками, как с профессиональными декораторами. Он дал нам текст пьесы со своими вымарками и пометками; объяснил сценические возможности. Казалось, Константин Александрович не видел ничего странного в этом заказе и ничуть не сомневался в наших силах. Теперь мне трудно понять, был ли это способ ободрить нас или вера в молодые силы, интерес к их стремлениям.

Мы начали работать над эскизами. Однако этим дело не ограничилось. Фантастическая идея организации своего театра овладела нами.

Появились молодые актеры. Один из них был Алексей Каплер, будущий сценарист. Единомышленников мы находили легко. Все мы молились в искусстве одному богу, и общность веры казалась нам решающей. Мы мало что знали об этом боге. Понаслышке был известен его могучий бас и высокий рост. Счастливы обладали странно изданными тетрадками его старых стихов. Новые доходили еще только в списках. Мы немедленно выучивали их наизусть, читали громко и бормотали про себя целыми днями. С ними вставали утром и вечером ложились спать. Мы толком не понимали заложенного в них смысла, но энергия ритмов и образов, kloкочущая сила, наполнявшая строчки, заставляла сжиматься сердце. От ощущения мощи, страсти, счастья становилось трудно дышать. Восторг предчувствия какого-то нового и прекрасного мира наполнял нас.

Мы горланили:

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!

Марджанов выслушал наши планы с той же серьезностью. Из кабинета главного режиссера всех театров Киева мы ушли с бумагой, подписями и печатью, удостоверяющей, что нам предоставляется для организации театра подвал, где помещалось прежде кабаре «Кривой Джимми».

По темной лестнице мы спустились вниз. Чиркая спичками, нашли скважину замка. Ключ щелкнул, дверь отворилась. В зале были навалены опрокинутые столики, стулья, валялись пустые бутылки, обрывки бумаг. На крохотной сцене висели оборванные сукна. Молча, затаив дыхание, мы поднялись на невысокие подмостки; нашли распределительный щиток; повернули выключатель. Загорелись софиты. Пусть не все лампы были целы, но софиты горели. Настоящие софиты. За порталом сцены, слева, висели веревки. Одну из них мы попробовали натянуть. Занавес стал закрываться. Настоящий театральный занавес. Мы не раз закрывали и открывали его. Потом сошли в зал, убрали в угол столики и стулья; отыскав метлу, тщательно подмели пол. Расставили рядами стулья. Потом мы сели в первый ряд и долго молча смотрели на сцену. Теперь это был наш театр.

Первой постановкой мы избрали трагедию «Владимир Маяковский». Конечно, содержание этой пьесы являлось для нас тайной за семью печатями; крах наступил на первых же репетициях. Марджанов выслушал рассказ о нашей неудаче с той же серьезностью. Он сказал, что действительно пьеса эта очень трудная. Он не добавил «для вас». Нет, для всех трудная. И посоветовал нам самим что-нибудь сочинить. Какую-нибудь клоунаду, сказал он. Это предложение мгновенно вызвало у нас множество ассоциаций, близких и понятных нашему возрасту. Все мы любили цирковое искусство. Тогда на арене цирка Киссо выступали талантливые клоуны Фернандес и Фрико. Это была классическая буффонада, заканчивающаяся похоронами рыжего; сам покойник выпадал из носилок и шел за процессией, пронзительно вопя и пуская из глаз бьющие к куполу фонтаны слез. Фрико ковылял в аршинных штиблетах и снимал несчетное количество жилетов; Фернандес сверкал цветами и бабочками из блесток на клоунском наряде. Они играли на бутылках и клаксонах, давали друг другу затрещины и убегали на конюшню, по дороге спотыкаясь, падая, оглушительно стреляя петардами, спрятанными в штанах. Это была старинная народная буффонада во всей ее

поэзии. Что-то сказочное было в набеленном лице одного и карикатурно размалеванном — другого. Все это в плохом исполнении кажется тупым и стыдным, но у истинных комиков оживает прелестью юмора и фантастики.

Под влиянием этих клоунад я написал раешник. Фернандес и Фрико одолжили нам свои костюмы. Конечно, бесплатно. Они пришли, посмотрели нашу репетицию. И дали советы. Совершенно деловые, профессиональные советы.

Но нами владели уже иные планы. Старинный приятель, картавый петрушка, выскакивал из-за расписанных балаганными розами ширм и приглашал нас в свои владения. Мы изготовили куклы и поставили пушкинскую «Сказку о попе и о работнике его Балде». Начались странствования по клубам и улицам. Нам даже посчастливилось услышать первые аплодисменты.

...На стене моей ленинградской комнаты, подле письменного стола, висит, наклонив бородатую голову и вытянув прямые коричневые руки, артист из кукольной труппы. Было время, как бешеный крутился он над створками ширмы и свирепо вопил: «Я цыган Мора из хора, говорю басом, запиваю квасом, заедаю ананасом!» Моль съела его бархатную поддевку; выцвела кумачовая косоворотка, и обтрепался золотой позумент. Немало времени прошло с тех пор, как он попал из рук киевского шарманщика в мои. Многим я обязан ему. Ведь именно они: петрушки, глиняные украинские звери, благодущные чудища с кроткими зелеными и коричневыми мордами и шершавыми гривами, лубочные картинки, где парадом выступали мыши, хоронившие на саночках кота, или вылетал из трубы прокутившийся купчина с цилиндром в руке — были друзьями детства; с ними я побывал в веселой стране народной фантазии, где следует побывать всякому, мечтающему об искусстве.

...Родители Юткевича покинули Украину; Сережа должен был уехать с семьей.

В поисках пьесы для постановки я набрел на «Царя Максимилиана». Лубочная патетика и озорная поэзия захватили меня. В библиотеке оказалось несколько сводов текста. Немало мы сочинили и сами, откликаясь на злобу дня. Спектакль было решено играть на площади. Это была уже настоящая постановка с декорациями (правда, ширмами), костюмами (пусть сборными) и даже печатной афишей. Главную роль играл Каплер.

На премьере мне не удалось быть. Я заболел сыпным тифом.

В ПЕТРОГРАДЕ

Киевский союз работников искусств командировал меня в Петроград учиться. Переезд по железной дороге длился восемь дней. Приходилось ехать на багажной полке вагона с выбитыми стеклами; в теплушке; на открытой платформе, устроившись на гряде какого-то железного лома. В наволочке я вез самое необходимое: сухари, рубашку, потрепанную книгу «Все сочиненное Владимиром Маяковским». Составы медленно двигались, подолгу стояли в поле и неожиданно, без предупреждения, отправлялись дальше. Мы проезжали мимо разоренных станций, сгоревших вагонов и брошенных паровозов. В сизом махорочном дыму плакали дети, громыхали крыши под валенками мешочников. На полустанках шла меновая торговля: белье, табак, мыло меняли на хлеб и сало. Где-то стреляли и кто-то ругался; повсюду были развал, разруха, голод.

Петроград ошеломил меня огромностью и пустотой. После обсаженных каштанами уютных улочек Киева дворцы, проспекты, громады

зданий — все казалось нежилым, невозможным для жилья. Все было покинуто людьми; осталась лишь память. По этой площади, задыхаясь, бежал от Медного всадника Евгений; мимо узкого переулка на Васильевском острове ковылял домой Акакий Акакиевич, а в том доме стал убийцей Раскольников. В морозном тумане возникали воспоминания и монументы. Среди вымершего города проезжали на конях императоры. Неторопливо отъезжал от Инженерного замка Петр; высоко над домами горячил тонконового коня Николай I; подле разоренного вокзала дремал на битюге Александр III. Проходили прохожие, некоторые из них везли писк на саночках. Им было не до традиций и воспоминаний. По Михайловской площади с грохотом и лязгом пронесся шатающийся из стороны в сторону вагон; трамваи не ходили, но вдруг появлялся одинокий вагон — он мчался с забитыми фанерой окнами неведомо куда, и никто не знал, где остановки, конец маршрута.

С Мойки я свернул на Марсово поле. Незабитые окна нижнего этажа углового дома привлекли мое внимание. Сквозь грязные осколки стекол и ледяные сосульки можно было разглядеть роспись помещения. Покрытые потеками копоти и пятнами сырости, виднелись на стенах какие-то странные люди, невиданные цветы и птицы. Я вспомнил репродукции в журнале «Аполлон». Это было помещение «Привала комедиантов», расписанное Судейкиным. Здесь собирались петербургские поэты и художники. Здесь Мейерхольд ставил «Шарф Коломбины». А этот призрак в пудреном парике и треуголке, изображенный в нише, — граф Карло Гоцци, венецианский сказочник, возродивший в восемнадцатом веке итальянскую импровизированную комедию.

В памяти возникли небольшие тетради с обложкой А. Я. Головина: между желтыми и синими кулисами — комедиант, подле него три огромных апельсина; с боков из-за пестрых тряпок высовывают свои длинные носы маски Комедиа дель арте. Внизу — старинный росчерк: «Любовь к трем апельсинам».

В Киеве мы достали где-то эти книжки и безуспешно пытались понять смысл написанного в них. Это был журнал доктора Дапертутто. Так называл себя тогда Мейерхольд.

...Доктор Дапертутто. Комедия масок. «Привал комедиантов»...

Замерзший, грязный, оставленный людьми подвал.

Обходя сугробы и ледяные торосы, я пошел по Марсову полю. Занесенная снегом, валялась дохлая лошадь. Прошел военный патруль. Бухнула пушка. Знакомый звук. Я остановился, подумал: начинается.

— Где стреляют? — задал я прохожему привычный по Киеву вопрос.

— Нигде не стреляют, — последовал ответ («стреляют» прохожий понимал так же, как я), — двенадцать часов. Проверь, товарищ, часы.

Я узнал первый обычай нового города.

Из окна моей комнаты на улице Красных Зорь виднелся огромный пустырь. Человек с охотничьим ружьем подстерегал крыс, бегавших по свалке.

Потом на этом месте вскопали огород.

Прошло несколько лет, и пустырь стал спортивной площадкой.

Теперь там сквер, за ним — новые, большие дома; выросли высокие деревья. Окна моей комнаты уже не видно.

...На следующий день после приезда я заинтересовался толпой у витрины магазина на углу проспекта 25-го Октября и Михайловской. Прохожие останавливались у стекла с большой трещиной, читали телеграммы РОСТА, написанные от руки. Возле этих телеграмм висели плакаты В. В. Лебедева, исполненные клеевыми красками.

Плакаты поразили меня сразу же. Какая-то веселая энергия наполнила это искусство. Формы были обобщены до геометрической простоты,

но предметность не терялась. Это была потешная, детская простота, меткость изображения основных черт предмета. Пролетарий с размаху выметал врагов рабочего класса. Маленькие буржуи и кулаки кувыркались под огромной красной метлой, задрыв кверху желтые и серые ножки. А рядом, на другом листе, широким, неостановимым шагом, грозно держа винтовки наперевес, шагали матрос с развевающимся по ветру синим воротником и красноармеец в желтом тулупе.

Здесь было то, к чему я бессознательно тяготел: народная лубочная яркость, экспрессия выражения, радость ощущения жизни.

Тогда, вероятно, я не смог бы назвать ни одного из этих определений. Просто, когда я увидел выставленные плакаты, мне стало весело на душе.

В театре «Паласс» с потрескавшимися мраморными стенками и бутфорским глиняным гротом в фойе я нашел Марджанова. Он руководил Театром комической оперы и распорядился зачислить меня режиссером студии.

Теперь нужно было отыскать Академию художеств и, предъявив командировку, на которой со всех сторон стояли резолюции и подписи, просить о приеме в школу живописи. Все оказалось совсем простым. С торжественным словом «Академия» вязались лишь сфинксы, неестественные на фоне замерзшей Невы, и огромный ледяной вестибюль главного здания. Потом пошли перегороженные фанерой комнатки, маленькие печурки с трубами, причудливо изогнутыми под потолком. Приветливый человек в шубе и шапке определил меня в мастерскую Альтмана. Мастерская находилась во дворе, и, кажется, в ней было особенно холодно. Учеников было мало. Они представляли собой то же веселое братство, что расписывало киевские улицы. Ни холод, ни голод никого не беспокоили. Жизнь казалась поразительно интересной и не оставляла сомнений, что именно теперь настала пора искусства. Это искусство должно быть смелым, как рабочая власть, таким же беспощадным к старому, как революция. Бешено споря о «ритмах современности» и об «индустриальной поэзии», мы кололи дрова и растапливали «буржуйку». К холоду прибавлялся дым. Приходил Альтман, обмотанный шарфом. Озябшими пальцами мы брались за кисти.

...Стреляет пушка. Я спокойно смотрю на часы, ставлю стрелки ровно на двенадцать. Теперь я житель Петрограда...

В это время я познакомился с молодым человеком, приехавшим из Одессы, — Леонидом Траубергом. Он сочинил пьесу в стихах, стремился к театру, был полон рассказов о Багрицком, а пока служил в каком-то учреждении под названием «Упродпитокр».

Марджанов работал над опереттами и комическими операми. Он ставил их с безудержной выдумкой, страстью к буффонаде. Его спектакли радовали красочностью, ритмом; однако ощущение чуда, не оставлявшее меня в Киеве, исчезло.

Вокруг бушевала художественная жизнь. Поразительно, как в эти трудные годы любили искусство! В полуразрушенных залах открывались выставки, страсти бушевали на диспутах. Поэты различных (неисчислимых) направлений читали свои стихи, появлялось множество новых имен, и еще писали те, чьи фамилии казались легендарными. Трудно было себе представить, что эти люди живут в том же городе, где живу я, получают паек, что у них бывает насморк и им нужно починить ботинки.

В железном зале Народного дома я видел, как, облокотившись на тонкие перила балкона, стоял Александр Блок. Отвернувшись от сцены, затаив дыхание, я смотрел на его лицо, и мне казалось, что не может быть на свете других таких же прекрасных и печальных глаз. Веро-

ятно, я видел не только наружность поэта, но и сама его поэзия отражалась для меня в его внешности, делая ее какой-то особо значительной. Он стоял в бобровой шапке, странно спокойный, а кругом него хохотали, глядя на кувыркавшихся циркачей, матросы и их подруги; что-то весело выкрикивали люди в солдатских шинелях; лузгали семечки парни с чубами, вылетающими из-под финских шапок, и чуть не падали с балкона от восторга лихие мальчишки-«папиросники».

В Доме искусств на Мойке гремел бас Маяковского, и мы отбивали руки от аплодисментов, отбивали так, что ладони становились красными, опухали.

Приезжие из Москвы рассказывали о «театральном Октябре».

Имя Мейерхольда возникало в бурлении слухов, споров. Спокойных мнений не было. Образ Всеволода Эмильевича до этого был связан у меня с двумя портретами. На рисунке Н. П. Ульянова режиссер был наряжен в белый балахон Пьеро; поднятое кверху лицо выражало задумчивую и печальную гордость. Стремительный человек во фраке и цилиндре предстал на полотне Бориса Григорьева. Руки в белых перчатках, жест фокусника, правая нога в позиции какого-то танца. Впереди, на фоне кулисы, красный воин натягивает тетиву лука, готовясь послать стрелу в небо.

Кто же этот человек с лицом мудрой нахохлившейся птицы: престижиджитатор, гипнотизер, актер — исполнитель какой-то неведомой роли?.. Вспоминались описания «Балаганчика» в Тенишевском училище: паяц, истекающий клюквенным соком в фантазмагории блоковской метели; мистики, прячущие головы в нарисованные на картоне туловища... Символы, барельефы, сукна, кубы, маски, что-то еще, нам вовсе не понятное.

И все это исчезло, как морок.

В гимнастерке и солдатской шинели внакидку, револьвер в кобуре пристегнут к ремню, приехал с юга почетный красноармеец, коммунист Мейерхольд. Он сорвал со сцены некогда любимые им падуги, завесы, арлекины. На фоне грязной кирпичной стены самого здания сколотили некрашенные конструкции. Вместо гаеров в пышных нарядах на подмостки Театра РСФСР 1-го вышли инструкторы-биомеханики в прозодеждах... Пороховой дым, ржущие кони, натуральность всех элементов... Внизу афиши примечание: «Разрешается во время действия входить, выходить, свистеть и хлопать». Отменены занавес, психология, рампа, образы, гримы, драматургия...

«Скажите рабфакам «красота» и они — свищут, как будто их покрыли матом,— писала в те годы Лариса Рейснер,— от «творчества» и «чувства» ломают стулья и уходят из зала».

«Все заново! — провозглашалось в «Мистерии-Буфф». — Стой и дивись! Занавес!»

Оставалось только дивиться — занавеса уже не было. Молодые и горячие головы с восторгом принимали каждое новое слово. Все были готовы немедленно, не щадя сил, выполнить «Приказ по армии искусства», отданный Маяковским:

На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскрой ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.

До музыкальных инструментов дело по техническим причинам не дошло. Оставалось осуществить последние две строчки. Это было проще.

Мы с Траубергом проводили все свободное время вместе. Возвращаясь после спектаклей Комической оперы по черным замерзшим улицам, сидя на корточках подле «буржуйки» и разогревая «пшу», мы сочиняли какие-то фантастические проекты. Георгий Крыжицкий — взрослый, профессиональный режиссер — сдружился с нами. Вскоре приехали Юткевич и Каплер. Возникла новая группа. Переполненные энергией, увлекающиеся цирком, окнами РОСТА, мы стремились к неведомым зрелищам. В моей голове причудливо перемешался крохотный опыт: украшение улиц, раешник «Царя Максимилиана», клоунада и расписанный самыми яркими красками вагон агитпоезда. К этому добавилась терминология, бытовавшая тогда в среде молодых художников, никому из нас толком не понятная, но казавшаяся сверхсовременной. Мы пользовались ею без зазрения совести. Еще в Киеве, гуляя по тихим провинциальным улочкам, где изредка громыхал по булыжникам одинокий извозчик, мы говорили о «пафосе урбанизма». Посещая до этого преимущественно утренники в Соловцовском театре, мы воспевали мюзикхолл. В петроградском цирке мы увидели нескольких хороших эксцентриков, а на экране — раннего Чарли Чаплина. Слово «эксцентризм» показалось нам особенно выразительным.

Мы организовали ФЭКС (фабрику эксцентрического актера).

В это время мне было шестнадцать лет.

Хотя никаких материальных возможностей у нас не было, мы решили поставить спектакль. Талантливый циркач Серж, несколько эстрадников и неизвестно откуда появившихся любителей увлеклись нашими планами. Мы пробовали ставить «Женитьбу». Я пишу «пробовали», потому что ни к гоголевской пьесе, ни к понятию «ставить» все это отношения не имело. Непрерывно сочинялся и тут же переделывался, как уже устаревший, остов представления, совмещающего цирк, эстраду, кино. Нас увлекали какие-то смутные образы — и немедленно их сменяли иные, еще более причудливые и неясные. Все нам хотелось показать: плакатно преувеличенные фигуры, каскад трюков, совмещение проекции фильма с игрой живых актеров перед экраном. Мы нагораживали частности, совершенно не думая об общем.

Сцену нам предоставили на два часа только перед самым спектаклем. Мы репетировали с актерами, когда зрители, собравшиеся в фойе, шумели, требуя впуска в запертый зал, начала представления.

А в нижней боковой ложе слева юноша с большим лбом и дыбом торчащими волосами, сидя верхом на барьере, перекрикивая шум, подгонял нас. «Медленно! — кричал он высоким, еще ломающимся голосом. — Слишком медленно! Наведите на них темп!..»

Это был Сергей Эйзенштейн.

Можно добавить, мы были виновны во множестве грехов, но одного, вероятно, не было на нашей совести. Уверен, что медленным это зрелище трудно было назвать. Однако по тем временам даже эта кутерьма казалась Эйзенштейну недостаточно быстрой.

Зрительный зал был заполнен в большинстве такой же, как и мы, молодежью из многочисленных студий и мастерских. Зрители принесли с собой в театр большие мячи. Во время спектакля эти мячи летели на сцену и, отбитые актерами, обратно в зал.

Детская самодеятельность имела тогда причудливый характер.

Казалось бы, взрослым людям, в особенности имеющим отношение к искусству, следовало возмутиться как показом этой самодеятельности, так и ее формами. Однако заведующий театральным отделом Петропрофобра Д. Х. Пашковский, посмотрев спектакль, вызвал нас к себе. Посмеиваясь и покачивая головой, он спросил нас о дальнейших планах и не только не накричал на нас или затопал ногами (что было бы

справедливо), но сказал, что поможет нам и даже постарается предоставить помещение для мастерской.

Донат Христофорович Пашковский был актером Александринского театра, учеником В. Н. Давыдова. После Октябрьской революции он возглавил новую, демократическую организацию, возникшую в бывшем императорском театре, — Временный комитет. Он был одним из первых актеров, заявивших о признании революционной власти. Этот человек, уже пожилой, чуждый по своим взглядам и воспитанию всякому сумасбродству, смог увидеть в невнятице наших стремлений что-то, показавшееся ему стоящим внимания. И он поддержал нас, так же как сделал это в Киеве Марджанов. Удивительно, что эти люди, как и другие, встретившиеся нам позже, умели отличить чепуху заемных слов и безрассудство возраста от крохотных, казалось бы совсем не видных, ростков чего-то своего, чему нужно было, по мнению этих людей, дать время созреть и что не следовало, как им казалось, немедленно растоптать.

Разобраться в стремлениях художественной молодежи тех лет было не просто. Суть заключалась в том, что ощущение новизны происходящего в жизни казалось этой молодежи невозможным совместить со старыми формами искусства. И все старались найти какие-то неведомые, новые формы. Это был период бурных исканий, удивительной честности и поразительного сумбура. Среди старших художников были и эпигоны футуризма, и эстеты из «Мира искусства», и заумные путаники, и талантливые люди, отдавшие все свои силы революции. Молодежь — еще совсем зеленая — попадала в сложное скрещение влияний. Борьба рождающегося и умирающего в искусстве тогда не напоминала сражения двух армий, отличимых одна от другой знаменами и формами одежды. Нередко речь шла не об идеях, но пока еще только об ощущениях, достаточно смутных. Однако и здесь зрели начальные формы сложных и противоречивых процессов.

«Цвет времени переменился», — написал в прошлом столетии Стендаль.

Было немало художников, которым казалось, что теперь затихли все звуки, выщвели краски. Само жизненное движение как бы остановилось для этих людей. В «Пещере» Е. Замятина Петроград замерз, погиб в сугробах. Остались льды, схватка доисторических людей — некогда русских интеллигентов, ценителей Скрябина, — за полено. Косматая первобытная тоска, тьма... пещера.

Рядом с этим, по-своему зрелым и сильным мироощущением (характерным тогда не только для одного писателя), вероятно, по-иному выглядели первые, еще совсем неумелые шаги молодежи, буйная пестрота ее нелепых выдумок, неразумная красочность фантазии. Под косноязычным наворотом была любовь к рождающейся жизни, чувство ее яркости, стремительности, активности.

Конечно, поиски новых форм вне отражения нового жизненного содержания ни к чему путному привести не могли. Но дорога к пониманию этого только прокладывалась. Вероятно, и само слово «понимание» для пути художника недостаточно. Предстояло понять не только разумом, но и сердцем.

«Есть истины, — писал Герцен, — которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста».

В 1921 году В. И. Ленин приехал в общежитие Вхутемаса. «Мне потом передавали о большом разговоре между ним и вхутемасовцами, конечно, сплошь «левыми», — писал А. В. Луначарский.

«Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи, — вспоминает эту встречу Н. К. Крупская. — Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц --

их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами.

По поведению Ленина нетрудно догадаться о характере этих вопросов.

«Владимир Ильич отшучивался от них, насмехался немножко», — рассказывал со слов участников разговора А. В. Луначарский.

«Он смеялся, уклонялся от ответов, — писала Надежда Константиновна, — на вопросы отвечал вопросами: «Что вы читаете? Пушкина читаете?» — «О нет, — выпалил кто-то, — он был ведь буржуй. Мы — Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, Пушкин лучше».

Ленин, научивший поколения революционеров непримиримости ко всему враждебному интересам народа и делу культуры, в этом случае лишь улыбался. Владимир Ильич увидел в этой молодежи не одни только «загибы» и «вывихи», но и преданность революции, страсть к труду, чистоту энтузиазма. И очевидно, именно это показалось ему самым важным, важнее нелепых слов и неумелых рисунков. Владимир Ильич поверил этой молодежи, он знал: наступит время — отпадет шелуха невежества, придут знание и жизненный опыт.

Множество раз в те годы молодые художники встречались с этой улыбкой доверия. Именно это — мудрое понимание того, что ты безбожно молод и ничего не умеешь, но что тебе верят и что ты должен понять всю цену этого доверия, — заставляло задуматься больше, нежели справедливые, но холодные слова.

Простая фраза — тебе нужно учиться — тогда была бы бесполезной. Учиться было негде.

Думая о молодежи тех лет, я вспоминаю не «манифесты» и «программы», которые и самим их авторам были непонятны и в которых было больше дури возраста, нежели серьезных намерений. Иное приходит мне на память: голод и холод мастерских и жар стремления к искусству. И вновь я повторяю строчки Маяковского:

Землю,
 где воздух,
 как сладкий морс,
 бросишь
 и мчишь, колеся,—
 но землю,
 с которою
 вместе мерз,
 вовек
 разлюбить нельзя.

Суть процессов, происходивших тогда с молодежью и давших свои результаты не сразу, заключалась в том, что именно тогда молодые художники начинали любить землю, с которой они вместе мерзли.

«ПARIЗИАНА» И «СЕВЗАПКИНО»

Нас с Юткевичем впервые пригласили участвовать в выставке. Развесив свои эскизы, мы поместили над ними лозунги, призывавшие обратиться к «уличным жанрам»: плакату, рекламе, цирку.

Один из серьезных критиков возмутился, прочитав все это, и сказал на прощание: «Этак вы докатитесь до того, что и кинематограф — искусство!»

Мы находились в смятении. На этой же выставке была помещена картина, называвшаяся согласно каталогу «Опус № 6». Тут уже было не до шуток. Висела доска, ровно покрашенная в мутно-розовый цвет. Перед ней стоял автор. Молодая девица допытывалась:

— Что же вы чувствовали, когда создавали этот опус?

— Чувствовал, что нужно покрасить плоскость,— отвечал живописец,— и красил.

К этому у нас душа не лежала.

Группа распалась. Каплер возвратился на Украину. Юткевич поступил декоратором в московский театр Форегера. Единственный взрослый — Крыжицкий — ушел еще раньше, напоследок написав про нас строгую рецензию.

Мы с Траубергом докатились до кинематографа. Нам стало очевидным: все наши стремления связаны именно с этим искусством. Мы не знали, куда нам следует пойти, кто может дать совет. Осведомленный кинематографический помреж, которого мы где-то встретили, покачал головой и сказал: «Безнадежно».

Все же мы написали сценарий.

На киностудии удалось достигнуть только приемной; оценив мало солидную внешность авторов, нам ответили: «Сценарии не нужны».

— Кому же они нужны? — спросили мы.

— Пойдите на проспект Двадцать пятого Октября,— последовал совет.— Знаете, где «Паризиана»? Над ней «Севзапкино». Там читают сценарии.

Адрес теперь кажется мне символическим.

Тогда даже слова причудливо перемешивались.

Французско-нижегородская кличка «Паризиана» по-рыночному зазывала, по-бульварному завлекала; мужчина во фраке, неестественно высоко поднявший брови, и дама, заломившая руки на фоне чего-то роскошного, как бы выростали из этого названия.

Само слово «Севзапкино» врывалось во всю эту коммерцию, как въезжали жильцы подвалов в барские особняки.

...Мимо плакатов «Авантюристки Бизанки», «Сатаны ликующего» и фотографий Гарри Пила с бакенбардами мы поднялись по лестнице на четвертый этаж.

В скудно обставленной комнате секретарь — молодой человек с длинными волосами, одетый в кожаную куртку, — раскладывал на столе художественные открытки. Здесь были греческие статуи, портреты Репина и фотографии старинных карет из Конюшенного музея. Молодой человек принял нас приветливо; через несколько минут мы перешли на ты, спустя полчаса началась дружба.

Секретарь оказался студентом института экранного искусства, и открытки готовились для красного уголка. Это было не просто «культурное мероприятие», как теперь говорят, но боевое дело, подготовка к наступлению. Молодой человек пришел учиться после работы в ЧК (по борьбе с контрабандой). Первое, что он услышал в институте, было обращение «господа»; оно оказалось обычным. Возмущенный студент побежал в Смольный. Еще два комсомольца были отправлены на кинофронт. Вместе с ними этот студент организовал комобъединение, в нем — три человека. Красный уголок — только начало.

И действительно, это было только начало. Фридрих Эрмлер (имя и фамилия секретаря) немало сделал, чтобы в кинематографии привилось слово «товарищ».

А пока он надеялся на актерские успехи; ему была обещана роль в короткометражке «Чай». Роль эта, по словам Эрмлера, совершенно для него как для артиста подходила: нужны были и длинные волосы и ко-

жанка. У него уже была некоторая практика: живя в Режице, во время, свободное от работы в аптеке (как ученик провизора), он заходил в фотографию, надевал визитку, взятую напрокат, вставлял хризантему в петлицу и снимался в виде героя фильма, увиденного накануне. Были фотографии: «Под Максимова», «Как бы Рунич», «С улыбкой Гаррисона».

...Режиссеры «Ленфильма» уже собрались в городе, где им предстоит поставить «Чапаева», «Великого гражданина», «Депутата Балтики»; они еще ничего не знают о своем призвании, о будущих друзьях.

В массовках «Дворца и крепости», заклеенный усами и бородой, бегаёт и размахивает руками Сергей Васильев. Свою первую картину он поставит через пять лет.

Пытается писать заметки в журнале «Рабочий и театр» И. Хейфиц. Он не только не думает о кинорежиссуре, но даже не знает, что в этом году заканчивает Тенишевское училище школьник, увлекающийся самодеятельностью,— Шура Зархи.

По улицам бродит приехавший из Свердловска юноша; он останавливается подле афишных столбов, читает объявления о приеме в студии; его влечет искусство, но он не знает, куда поступить учиться. Скоро Сергей Герасимов увидит афишу ФЭКСа и придет к нам.

В Москве снимается в «Похождениях мистера Веста» актер, или, как тогда говорили, натурщик, Всеволод Пудовкин; в Пролеткульте репетирует «Противогазы» Эйзенштейн. В Харькове появился новый газетный карикатурист Довженко.

Передо мной репертуар петроградских кино этих месяцев. На экранах ни одной советской картины.

...Эрмлер, с волосами, растрепанными во все стороны, с победным выражением лица, ворвался к нам. Сценарий приняли. Это было случаем почти невероятным. Один из севзапкинских режиссеров сказал: «Чепуха». Другой возмутился: «Какой это эксцентризм? Я приехал из Америки — вот там эксцентризм». Третий режиссер, Б. П. Чайковский, неожиданно признался, что эта комедия ему по душе. Председатель совета (называвшегося «научно-художественным») решительно поддержал: нужны новые сценарии, новые жанры, новые силы.

Картину решили ставить. Художественным руководителем постановки назначили Чайковского. Мы должны были стать его ассистентами.

...Я предъявляю пропуск дежурному, миную приемную и вхожу на киностудию. Теперь я здесь работаю.

1924 год. У «Севзапкино» одно маленькое ателье, в прошлом не то оранжерея, не то фотография. Стены застеклены; из осветительных приборов, прикрытых железными корытами, падают осколки горящих углей и обжигают актеров. На студии служат три режиссера и два оператора; специалисты, по-своему опытные, много работавшие до революции. Техника — два старых аппарата Пате. Все покупное, изношенное.

Когда приходят люди, интересующиеся кинематографией, их ведут прежде всего в костюмерную. Директор студии, возглавляющий экскурсию, никогда не забывает показать неестественно большие замшевые бриджи. Это не просто нижняя часть одежды, но исторические штаны. Александр III совершал в них верховые прогулки. Костюмы содержатся в образцовом порядке. Нескончаемыми рядами висят николаевские шинели с седыми бобрами, гвардейские мундиры, ментики, доломаны, сверкают эполеты, горит золотое шитье, рябит от пуговиц, выпушек, кантов, треуголки расцветают плюмажами, из лакированных киверов фонтанами бьют султаны, двуглавые орлы вцепились в каски кавалергар-

дов; мелькают желтые, красные, зеленые околышки; на бархате витрин поблескивают звезды, ордена, медали, кокарды¹.

Здесь, среди тишины и запаха нафталина, хранилась самая суть снявшихся фильмов.

Опытные костюмеры обряжали в эти мундиры актеров; гример припас бороды и усы для всего дома Романовых; в ателье воздвигался дворцовый зал, и все это богатство выстраивалось перед аппаратом, освещенное «лобовым» светом угольных ламп.

Человек с усами и бородой, похожими на царские, приказывал — в длинной и красноречивой надписи — сгноить революционеров в тюрьме; шелкая каблуками, вытягивались адъютанты, и паноптикум великих и малых князей, министров, царедворцев, всех «похожих», всех «как живых» отправлялся дальше, мимо колонн, драпировок и фарфоровых ваз на постаментах из красного дерева.

Потом по красивым улицам, обычно снимаемым для почтовых открыток, скакали, размахивая нагайками, казаки; мимо других видов-открыток бежала толпа, схожая с оперными статистами.

Герой-любовник, с глазами, подведенными темным, принимал героические позы в каземате, и плакала глицериновыми слезами королева экрана — жертва царизма.

Снимали только с трех точек: вначале всю сцену целиком, потом аппарат придвигали ближе, крутили средние, изредка крупные планы.

Если события происходили ночью, пленку красили синим цветом, солнечные сцены — желтым, лесные — зеленым.

Сама атмосфера «Севзапкино» казалась странной для искусства тех лет. Что-то слишком спокойное и чересчур деловое господствовало в настроении людей. Кинематографические мастера жили неторопливо, любили отвлеченно поучать и предаваться воспоминаниям. Они владели какими-то неведомыми секретами профессии, но упоминали о них уклончиво. Иногда они возвышенно говорили на художественные темы, но рассказы о сценарии, написанном на манжете во время ужина в ресторане, или о фильме, снятом за одну ночь в чужих декорациях (для чего подкупили сторожа ателье), получались у них искреннее и человечнее.

Здесь не было ничего похожего со знакомыми мне репетициями Марджанова или накалом страстей молодых живописцев, не понимавших, как это в жизни художника может существовать еще что-то, кроме его труда.

Здесь всё знали, во всем были уверены. Никто ни в чем не сомневался. Служили опытные люди, и ничто, кроме организационных неполадок, не волновало. Было известно, какие фильмы приносят доход, какие — убыток; что получается хорошо на экране, что не следует снимать.

Опыт, позволявший этим людям так уверенно судить обо всем, был опытом дореволюционной кинематографии; хотя изменилась организация, старые вкусы и навыки оставались. Дореволюционная кинематография ставила фильмы на историко-революционные сюжеты.

В области эстетической «Севзапкино» еще не существовало; была сплошная «Паризиана».

¹ В тридцатые годы все это богатство продали в порядке ликвидации ненужного имущества. Продали как-то сразу, без особых размышлений, не то в костюмерные театры, не то в клубы самодеятельности. Занимать этими мундирами столько места было нецелесообразно.

* * *

История археологии знает немало открытий. Ученые обнаруживали улицы древних городов, откапывали предметы неведомого нам быта. Перед глазами современных людей возникали очертания цивилизации, не схожей с нашей; на площади раскопок все казалось удивительным: века отделяли нашу жизнь от этой, скрытой землей, временем.

Перед началом второй мировой войны археологией занялись владельцы парижских кинотеатров. Кому-то из предпринимателей пришло в голову развлечь публику особым способом: перед сеансом показывать старый фильм. Затея увенчалась успехом. Зал хохотал и наслаждался. Как бы из-под земли, будто из тьмы веков, появилось на свет небывалое по своей архаичности зрелище, нелепое до абсурда, ничуть, ни малейшей деталью, не напоминающее современную кинематографию.

Все в этих лентах было несуразным. Курьезы допотопной техники чем-то напоминали модели первых автомобилей: странные повозки, противостественно лишенные лошадиной упряжки. Зрители потешались над галиматией на экране так же, как веселились бы прохожие, встретив на современной улице кургузую карету, грохочущую малосильным двигателем и трубящую в медный гудок (привешенный снаружи) несколько тактов матчиша.

Дергающийся ритм, аффектированные жесты, преувеличенные страсти — все это давно утратило смысл, стало карикатурным. Просмотры старых картин являлись как бы экскурсиями в позабытые времена с их нелепыми модами и наивными развлечениями.

Однако на таких сеансах присутствовали люди, в своей юности воспринимавшие эти фильмы по-иному. И, что самое удивительное, годы, когда эти сюжеты и эта игра пользовались успехом, миновали не так уж давно. Публика кинотеатров — еще на нашей памяти — плакала на подлых драмах и смеялась (как смеялась!) на схожих комических.

Но проходил год — фильм устаревал на десять; десятилетие равнялось иногда веку.

Думая над развитием киноискусства, не следует забывать, что голова принцессы Нефертити, созданная в четырнадцатом веке до нашей эры, кажется и теперь современным произведением, а фильм тысяча девятьсот четырнадцатого года, даже лучший, — лишь архаика.

Время не властно над искусством. Портреты Рембрандта хранят неизменную прелесть человечности; их не нужно извинять датой рождения живописца: они жизненны в современном понимании этого слова. Многие строчки Пушкина кажутся сочиненными сегодня: душевное состояние, наполняющее их, близко большинству людей. Меняются формы общественной жизни, отраженной искусством, но человеческая сущность «Троицы» Андрея Рублева или музыкальных образов Бетховена продолжает волновать новые поколения.

Кинематография — молодое искусство, однако в ее истории уже есть произведения, над которыми не властно время. Они возникли не на пустом месте. Разграничивающую линию между ростом кинопромышленности и появлением элементов художественного выражения провести трудно. Среди хаоса торгашеского бескультурья стали проглядывать черты, еще крохотные, какой-то особой выразительности, не схожей ни с фотографической, ни с театральной. Появился крупный план, склейка двух сцен, происходящих одновременно, монтаж. Сама съемка иногда становилась не только способом показа, но и методом рассказа.

Среди дельцов и техников появились художники. Обычно им помогали техники и мешали дельцы. Иногда художники сами становились дельцами; они или разорялись, или переставали быть художниками.

Кинофирмы с лихими названиями и неведомыми именами владельцев росли как грибы. Фильмы стали товаром. Окончились времена шустрых искателей фортуны, арендовавших сараи для показа «Чуда двадцатого века»; потерянные личности с подозрительно большими жемчужинами в галстукe некогда развозили это «чудо» по ярмаркам в коммивояжерских чемоданах вместе с образцами подтяжек и порнографическими открытками.

Капитализм вывел целлулоидную лавочку на просторы фабричных цехов и банкирских контор. Началась борьба монополий, сражения за рынки. Товар не только приносил доходы, но и распространял идеи. Загрохотали барабаны национализма в исторических боевиках; американцы прославили сыщика, охраняющего сейф. Хозяева не только торговали, они скупали таланты и совесть. Совесть упала в цене, а таланты оправдывали затраты.

В дореволюционной России дело обстояло печально. Здесь капитализм был особенно жесток и невежествен.

Шли споры. Одни считали «киношку» порождением машинного дикарства; другие верили в будущее «кинема»; поэты находили своеобразное очарование в мелькании теней на полотне.

Однако отношение, даже у сторонников, было какое-то особое. Никто не рисковал сравнивать киноленту со спектаклем Художественного театра или повестью Чехова.

Сопоставление показалось бы кощунственным.

Можно было верить в будущность «электробиографа», но причислить его — в настоящем виде — к культуре казалось невозможным. Речь шла о суррогате искусства.

Ни съемки с движения, ни световые эффекты не могли изменить положения. Ленты дряхлели мгновенно, подобно тому как забывались выпуски походов сыщиков или выходил из моды романс. Смысл этой массовой продукции и заключался в быстроте оборачиваемости: товар должен был приносить доход немедленно; потом скоропортящиеся продукты выбрасывали — их и не выдавали за вечные. Хозяева торопились: улица покупала, времени раздумывать не было — конкуренты не спали. Вклинившееся между лавками, бесстыдно освещенное и размалеванное плакатами, это подобие творчества, казалось, от рождения получило желтый билет.

У колыбели других искусств стоял народ. Сказкой воспитывали детей, песней облегчали труд; стихи исцеляли от болезни, привораживали любовь. Искусство было памятью народа и верой в будущее.

«Киношку» вынаничили в грязных конторах дельцов, учили ходить по заплеванному площадям ярмарок. Коммерция господствовала здесь во всем. То, что только отчасти мешало развитию литературы, живописи, театра, в кинематографии являлось решающим. Фильмы ставились «кассой». В них слышался не голос народной совести, а денежные расчеты фирмы.

«Великий немой» был и слепым. Объектив камеры ничего не видел: касса заслоняла мир. Кино, уткнувшись в полотняный четырехугольник, мычало, вспоминая мелодрамы и уголовные похождения; оно заикалось, пробуя выговорить заемные слова из театрального жаргона.

Искусству предстояло вступить в бой с коммерцией. Чтобы увидеть жизнь, нужно было взорвать кассу.

* * *

Касса была взорвана.

Советская кинематография начала свое существование. Первые шаги относились лишь к организации. Положение не казалось простым.

«Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, отражающими советскую действительность, надо начинать с хроники,— записал А. В. Луначарский, — что, по его мнению, время производства таких фильмов, может быть, еще не пришло».

Молодые художники, мечтавшие в это время об экране, были несхожими по мере таланта, знаниям, жизненному опыту. Однако была и общая черта, отличавшая поколение. Эта молодежь не знала власти коммерции. «Касса» никогда не существовала для них; эстетика коммерческого фильма была им всем не только чужда, но и враждебна. В киноделе наследство было небольшим и вовсе не драгоценным. Конечно, в дореволюционных ателье снимали и талантливые люди; истории кинематографии вспомнят их фильмы, однако даже тоненькой ниточки живой преемственности не сохранилось.

«Не забудем, что в период ранних двадцатых годов мы шли в советскую кинематографию не как в нечто уже сложившееся и существующее...— писал С. Эйзенштейн.— Мы приходили, как бедуины или золотоискатели. На голое место. На место, таившее невообразимые возможности, из которых и посейчас еще возделан и разработан смехотворно малый участок».

«Режиссеры моего поколения, вступившие в кинорежиссуру,— вспоминал даже о более позднем времени Довженко,— были похожи на золотоискателей из рассказов Джека Лондона, которые уходили с насиженных мест, шли на Аляску и, терпя голод и холод, год или два долбили пустую породу, пока не находили золотую жилу».

Если бы я не перечитал этих статей, то «золотоискатели» и особенно «долбление пустой породы» появились бы и в моей рукописи. Мерещись фантастические богатства, но место, где они таятся, было совершенно неведомо. Однако казалось: довольно удара кирки — и засияет золото или забьет к самому солнцу нефтяной фонтан.

Наш первый сценарий «Похождения Октябрины» представлял собой род киноплаката. Влияние агитпредставлений и окон РОСТА сказывалось во всем. Акула капитализма пробралась в Петроград и требовала с рабочих и крестьян царские долги. На акуле был цилиндр, и играл ее Сергей Мартинсон (это было его первое выступление) без грима, но с большими наклеенными бровями из бархата; узнав о приезде Кулиджа Керзоновича Пуанкаре (имя акулы), пускался во все нелегкие нэпман в модном клетчатом костюме. Происки этой пары разрушала комсомолка Октябрина (танцовщица Э. Торховская). Девушка в буденовке наводила порядок и попутно боролась со старым бытом. Фигуры эти будто только что соскочили с агитгрузовика, увеселявшего улицу в день Первого мая. Все это плохо соединялось, но всюду бежало по экрану, возникало в головокружительных ракурсах и монтажных стыках, а где дело вовсе не шло — появлялись буквы: причудливо кувывкаясь (мультипликацией), они собирались в слова, лозунги, бытовавшие в эти дни.

Мы набросились на старого трехногого зверя с большим стеклянным глазом и черными коробками, укрепленными сверху. Это была истасканная на работе, устаревшая модель Пате. С глухим астматическим хрипом крутилась ручка, сразу же хрип превращался в шелк — что-то заедало. Открывали бок: выпадала пленка, скомканная гармошкой. Почему-то это называлось «капуста». Ископаемое казалось нам чудом. Можно втащить его три ноги на самое высокое место города и наклонить стеклянный глаз вниз. Можно закопать в землю — и перешагнуть через него. Ручка вращается медленнее и быстрее; можно прокрутить пленку назад и потом снять на ней еще одно (два, пять, десять!) изображение...

Неудобство выбранных нами съемочных мест сыграло значительную роль в нашей судьбе. Режиссер Чайковский — руководитель постановки — выслушал наши планы доброжелательно, но прийти на первую съемку отказался, узнав, что она намечена на покато́й крыше высокого дома. Так как следующим объектом был шпиль Адмиралтейства (из-под флюгера), то пришлось нам трудиться самим, без руководителя.

КОЛЛЕКТИВНОЕ УСИЛИЕ

«Каждый из нас по-своему, своими путями шел и пришел в кинематограф,— написал в дни двадцатилетия советского кино Эйзенштейн.— Вот химик Пудовкин; вот учитель Довженко; вот я, инженер, вот Дзиган, которого я еще помню актером студии Рахмановой; вот Козинцев, Юткевич и Кулешов, пришедшие от живописи; Александров — кинемеханик, театральные реквизитор и электротехник; чекист Эрмлер, поэт Шенгелая... И если бы не революция, кто знает, собрал бы нас 1940 год между крышками одного и того же альбома, как тех, на чью долю выпали счастье и честь строить первые двадцать лет социалистической кинематографии».

Хорошо, что каждый из нас участвовал в этом строительстве по-своему, шел своим путем. Еще лучше, что все мы ощущали общность усилия. Никто не работал в одиночку; каждый слышал удары кирки товарища. Удар за ударом — на самых разных участках — начала взрыхляться земля.

В «Севзапкино» мы были на первых порах единственной молодой группой. Различие поколений — несхожесть их стремлений и вкусов — было полным. Хочется добавить: это различие проявилось только тогда, единственный раз. В дальнейшем конфликта «отцов и детей» не существовало в нашем кино. «Отцы» обычно учили «детей» (и те и другие были в те времена однолетками); опекали их первые самостоятельные шаги, радовались их успехам. Иное наблюдалось в ранние двадцатые годы; речь шла о решительном столкновении. «Свои» находились в Москве; от Юткевича приходили раскрашенные акварелью письма-картинки; Эйзенштейн почему-то писал на обороте старых программек бегов и скачек. Понаслышке был известен Лев Кулешов. Он склеил кадры иностранной хроники с московскими снимками, и тогда на экране женщина (высокая и худая) мгновенно перешла с набережной Москвы-реки на ступени Белого дома. Женщина эта никогда в Вашингтоне не была, через океан ее перенесло сочетание кадров — «монтаж». Женщина (А. С. Хохлова) называлась «натурщица»; в мастерской Кулешова натурщиков учат по-кинематографически располагать свои тела в пространстве и времени. Поэт Николай Асеев (друг Маяковского) написал для них сценарий: ковбой бежит по Петровке и набрасывает на кого-то лассо... Кулешов — пожилой (стукнуло двадцать шесть), работает в кино вечность — чуть ли не целых пять лет...

Таким представлялся нам Лев Владимирович в те времена.

Немалый интерес был и к Дзиге Вертову. Выпуски «Киноправды» еще не дошли до нашего города, но мы читали в «Лефе» манифест «киноков», где именем какого-то «совета трои́х» уничтожалась — ввиду ненужности пролетариату — художественная кинематография. Все это излагалось особым жаргоном, давно устаревшим. Однако дело было не в словах. Манифесты эти кажутся теперь нелепыми, а место Вертова в истории советской кинематографии — почетным, значительным. Дзига Вертов (1896—1954) еще в детстве увлекался всем документальным. Юношей он создал дома «лабораторию звука», где играл в какие-то ком-

позиции, составленные из грампластинок и стенографических записей. В 1917 году Дзига пришел в Кинокомитет с предложением создать «искусство самой жизни». Он был режиссером первых выпусков революционной хроники, первой мультипликации. Недавно я прочитал его автобиографию: он руководил киноповозками, киноавтомобилями, киновагонами; под экраном, где показывались хроники Вертова, были колеса; его монтажный столик путешествовал по фронтам. Кадры не склеиваются, объяснял Вертов, но монтируются; публицистическая мысль может создать сюжет, перестроить по-особому реальное время и пространство. Он был одним из начинателей, и перегиб палки в экспериментах был неминуем. «Тысячи производственных, технических, научных, организационных и творческих опытов, поставленных мною в прошедшие годы,— писал Вертов,— могут быть правильно оценены и поняты лишь в свете конечных результатов».

Над его опытами задумывался Эйзенштейн; появилась «Стачка», потом «Броненосец «Потемкин» — конечный результат многих экспериментов. Обо всем этом речь пойдет дальше. Пока что еще не появились даже замыслы этих работ. В кино шли иные программы.

Мы смотрели каждую.

Сеанс обычно начинался с вступительного слова. Озябший и охрипший лектор в пальто и шляпе взбирался на грязную эстраду перед экраном и просвещал зрителей. Доклады связывались с сюжетом фильма. Если по ходу действия преступник усыплял героиню, то лектор заранее предупреждал: мистики здесь нет, гипноз — научное явление,— и рассказывал про профессора Бехтерева. Потом гас свет, грохотало разбитое пианино, оживал заштопанный экран. Тогда было что посмотреть.

Бежали толпы, чередовались века: горел и обращался в прах Вавилон, католики метили дома гугенотов, по современным улицам мчалась погоня — механик крутил «Нетерпимость» Дэвида Уарка Гриффита. Эту фамилию мы узнали одной из первых. Героиня, снимавшаяся в его фильмах, поразила наше воображение. Лиризм ее образов наполнил наивные мелодрамы человечностью. Вероятно, в те времена мы бы как-то диковинно объяснили, что она, эта артистка, как-то особенно кинематографична. Все это позабылось, зато сохранились воспоминания об удивительной поэтичности, доброте и чистоте.

Через много лет я оказался в Америке. Директор киноотдела Музея современного искусства любезно обещал устроить эту встречу. И вот на открытой террасе музея (во дворе — скульптуры Родена и Майоля) сидит на садовой скамейке пожилая дама. Она меня никогда не видела; я встречался с ней сорок лет назад в старом электробиографе. Давно разрушен этот дом, и выстроено на его месте современное кино, но образ, возникший в неверном мигании проекции, не ушел из памяти. Легко узнать обаяние хрупкости, незащитной доброты... И я рассказываю ей, как мальчишками мы бегали на ее фильмы. На глазах Лириан Гиш выступают слезы. Она вспоминает годы работы с Гриффитом, нищие трудовые годы... Она дотрагивается кончиками пальцев до уголков губ, как бы растягивая их в механическую улыбку. Это злодей-отец требует, чтобы она веселилась, и она плачет, холодеет от ужаса и улыбается... Помните «Сломанные побеги»?.. «Недавно я была в Голливуде,— продолжает госпожа Гиш,— меня спросили: «Где вы хотите остановиться?» — «Обязательно в «Беверли Хиллс». — «Почему же именно в «Беверли Хиллс»?» — «Нас, артистов, туда не пускали; боялись — наедемся и удерем, не заплатив...»

На голливудских улицах не видно прохожих. Освещенные витрины, каре автомобилей. Кажется, что в них нет людей и это механизмы,

управляемые по радио... Вспоминаются павильоны игр; в Америке их встречаешь на каждом шагу. Множество застекленных ящиков; бросаешь в отверстие пять центов — и приходят в движение фигурки: скачут плоские лошади, бомба падает с самолета, жестяная гадалка выбрасывает бумажку с предсказанием будущего... Может быть, весь этот город — ящик-автомат? Кто-то бросает монету, и начинают двигаться коробочки автомобилей, фигурки среди декораций делают свой цикл шарнирных движений, кран поворачивает кинокамеру, коробки с пленкой движутся по конвейеру... Кончился завод пружины — все замирает, пока кто-то опять не бросит в автомат монету...

Подле кинотеатра в ложнокитайском стиле следы, вдавленные в тротуар: ноги, руки, предметы... Большие подошвы, вывернутые в стороны; мелкий шаг: это пробежал в своих стоптанных башмаках веселый комик Чарли. Пробежал когда-то давно. А потом убежал отсюда — невеселым, совсем седым человеком... Оттиск круглой оправы очков. Помните, как висел над Нью-Йорком, уцепившись за уличные часы, клерк в очках и канотье — Гарри Ллойд?..

Так хранят камни, выброшенные прибоем, следы древних эпох. Теперь артисты — желанные гости в «Беверли Хиллс». «Звезды» стали продюсерами, дельцами. На асфальте следовало бы выдать только цифры доходов. Таких следов не могли оставить Лилиан Гиш, Гриффит, Штрогейм...

Наш спутник склонился над асфальтом, что-то ищет. Он говорит, что недавно одна из актрис оставила здесь отпечаток своей груди. «Звезда» прославлена этой частью фигуры. Может быть, джентльмен пошутил? Не знаю. Думаю, что затруднение могло состоять лишь в технологии.

В дни нашей молодости кинопроизводство еще не стало конвейерным. В потешных комических бежали усатые полицейские; толстый Фатти выпивал озеро; смешил своим печальным лицом Бестер Киттон; Чаплин залеплял чьи-то лица пирожными с кремом...

Молодое искусство как бы показывало свои физические силы, энергию.

Барышня в маленькой шапочке и белых гетрах кормила крошками голубок и даже целовала их в клюв, но появлялся преступник со зверским лицом, и Пирл Уайт мчалась за ним (или от него) на автомобилях, самолетах, схожих с бамбуковыми этажерками, опускалась на дно океана в подводной лодке... Что-то горело, взрывалось, несло с головокруглительной быстротой.

Нередко со многими из этих фильмов случалось нечто загадочное: ход действия нарушался, сцена обрывалась, и неожиданно, как бы ни с чего, появлялись надписи, странно сочетавшиеся с кадрами. Например, скакали ковбои, а текст сообщал об эксплуатации туземцев; пока сыщик обследовал взломанную кассу, надпись информировала: богатства капиталистов нажиты на мировой войне.

Рассказывали, что это дело рук специалиста: взмах ножниц — и действие приобретает обратный (первоначальному) смысл. Женщина с ножницами, перемонтировавшая в 1923—1925 годах более двухсот иностранных фильмов и, вероятно, не так уж ловко избавившая их от идейных пороков, немалому научилась на этой работе. Научившись, она занялась иным, куда более важным делом: странствовала по сырым подвалам, заброшенным складам. Здесь, среди залежей пленки, плохо сохранившейся, гибнущей от разложения эмульсии, эта женщина разыскала драгоценные документы. Эсфирь Ильинична Шуб нашла кадры Ленина; множество исторических хроник сохранилось благодаря ее труду, ожило на экране — ее искусством. Монтаж и надписи приобре-

ли в этих работах истинное значение¹. В маленькую монтажную заходил Эйзенштейн; тогда он ставил цирковой спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» и утверждал, что театр заменится «показательной станцией достижений в плане квалификации бытовой оборудованности масс». Эсфирь Ильинична показала молодому режиссеру приемы монтажа; Эйзенштейн с ними знакомился впервые.

Не хочется, чтобы все это позабылось.

Пушкин возмущался пренебрежительным отзывом Бестужева о Жуковском. «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? — писал он. — Потому что зубки прорезались?»

После «Броненосца «Потемкин» и «Чапаева» легко объяснить, чего не хватало фильмам Кулешова; однако мне трудно забыть голых одалисок, плескавшихся в грязном бассейне, — съемки «Минарета смерти» — убогой порнографии, ленты для «киношки». Казалось, выйдешь из ателье — на углу городской, в киоске «Биржевые ведомости» и «Синий журнал», на тумбе афиши «Аквариума» и фарса Сабурова...

Вместе с работами Кулешова, Вертова, Шуб в советскую кинематографию вошел новый день. Его подготовили хроникальные съемки революции и гражданской войны, пример агитационного искусства.

* * *

Мне двадцать лет. Комическая в трех частях «Похождения Октябрины» уже прошла в кинотеатрах и даже состоялось ее обсуждение в «Унионе» по приглашениям «научно-художественного совета».

«Эта маленькая, неизвестно где и как заснятая фильма не принадлежит к высоким киножанрам, — написал потом Юрий Тынянов, — самые скромные кадры, которые я запомнил, это, кажется, люди, разъезжающие на велосипедах по крышам. «Похождения» — необузданное собрание всех трюков, до которых дорвались изголодавшиеся по кино режиссеры. И все-таки фэкссы вправе любить свои «Похождения». Они учились не на монументальных «эпопеях», а на элементарной «комической», где еще есть следы кино, как изобретения, элементы кино, позволяющие без излишней робости и уважения наблюдать, пробовать, руками брать то, к чему более почтительные, но менее понятливые относятся как к табу: самую сущность кино как искусства».

Мне кажется, что Тынянов был слишком добр к нам. Мы действительно пробовали «руками брать» то, что мы считали сущностью киноискусства, а что было на самом деле лишь его начальными шагами. Думаю, что смысл этой неумелой работы заключался не только в поисках элементов кино, но и в том, что в проходную кинематографу мы вошли, соскочив с кузова агитгрузовика...

Вскоре нашего полку прибыло. Появилась еще одна молодежная группа — КЭМ (киноэкспериментальная мастерская). Один из ее организаторов, Эрмлер, ходил по улицам, поглядывая с охотничьим блеском в глазах на вывески учреждений. Кому нужен фильм? Кто даст средства на пленку, съемки? Кроме общеизвестных заслуг, Ленинградскому горздравотделу принадлежит еще одна: это учреждение помогло Эрмлеру стать режиссером. Постановка «Скарлатины» была поручена КЭМу. В этом санпросветфильме следовало показать — в форме ясной и общедоступной — источники инфекции, токсические или септические симптомы, изоляцию бациллоносителей. В санпропаганду входило и обращение: «Не верьте знахарям. Чудес не бывает. Обращайтесь в рай-

¹ «Падение династии Романовых» (1927), «Великий путь» (1927), «Россия Николая Второго и Лев Толстой» (1928).

онную больницу». Это положение показалось Эрмлеру и его товарищам особенно выигрышным. И они занялись как следует быть разоблачением чудес. Постепенно задача стала единственной; симптомы и карантин снять не успели — отпущенная пленка окончилась. Зато на экране оживали враки баб: ехала похоронная колесница, вдруг крышка гроба отскакивала, и покойник крутил сальто-мортале, а поп, задрав рясу и размахивая крестом, козлиными прыжками скакал по мостовой.

Фильм был запрещен задолго до появления на экране надписи «конец». Бесспорно, руководители сандела были правы: их интересовала профилактика, Эрмлера — кинематография. Он не мог поставить «Скарлатину», потому что еще не переболел корью.

В киноотрывке из спектакля Эйзенштейна, где Григорий Александров — Глумов гулял по крыше во фраке и цилиндре, с полумаской на лице, в «Шахматной горячке» Пудовкина, в «Сумке дипкурьера» Довженко и даже в «Спящей красавице» (снятой гораздо позже) Васильевых — схожие черты. Все переболели корью.

Мы с Траубергом хватались за любую возможность работы, а возможностью этих было не много. «Похождения Октябрины» обозлили старших коллег и ничуть не укрепили нашего положения; каждый день нас собирались уволить. Приходилось снимать хронику типографского дела (других охотников не было), детскую короткометражку с дрессированным медведем (сценарий лежал без применения). Все это выходило плохо; мы пытались что-то выдумать, переделать, но материал не увлекал, ничего не получалось. Съемки были трудными, мучительными. Счастье наступало после их окончания. Счастье жило на Гагаринской улице, в бывшей квартире купца Елисеева. Петропрофобр отдал это помещение для нашей мастерской. У нас были богатства: красный ковер (моль им не раз лакомилась), укрепленная на блоке веревка с брезентовым поясом — «лонжа» — для акробатики, киноплакаты на стенах пустой комнаты, стеклянная галерея с выбитыми стеклами. Точно в назначенное время, секунда в секунду, раздавался свисток и по-спортивно-му выстраивалась шеренга. Начинались занятия.

...Месяцы... годы... Кого-то уже нет, кто-то появился впервые, но та же основная группа так же — секунда в секунду — замирает в этом спортивном ряду.

С благодарностью и любовью я опять вглядываюсь в этот строй совсем молодых лиц... Вот одна из самых талантливых. У нее уже двенадцатилетний трудовой стаж. Ей пятнадцать лет. Трех годов от роду, с турецким барабаном на животе, она вошла в искусство. До этого в тобольском цирке выступали «5 Жеймо 5»; после этого дня их стало шесть. Шестая Жеймо уже была музыкальным эксцентриком, наездницей, танцевала «ойру»; Яня объехала множество городов, узнала вкус трудового хлеба... Шестнадцатилетняя большеглазая девушка, удивительно выразительная в движениях, с мгновенно вспыхивающей эмоциональностью, — Елена Кузмина... Прирожденный комик Костричкин... Ловкий и храбрый (скоро в «Чертовом колесе» он прыгнет с шестого этажа) Соболевский... Единственная из всех работавшая в театре — Софья Магарилл... Сибирский юноша, молчаливый, углубленный в причудливые фантазии, — Олег Жаков... Выдумщик пантомимных сюжетов и невероятных характеров — Сергей Герасимов...

Было особое время, и, когда вспоминаешь его, многое кажется неправдоподобным. Куда я годился в свои двадцать лет в педагоги? Но почему-то никто из этой группы (они пробыли вместе с нами немало лет) не покинул нас и даже потом, много времени спустя, не вспоминая эти годы как потерянные зря... Может быть, в педагогике многое делает любовь педагога к ученику? Наши ученики казались нам не просто

талантливыми, но самыми лучшими актерами на свете. Никого и ни за что мы не стали бы снимать вместо них. Если ролей в сценариях не было, присочиняли сами. У Жеймо была характерная внешность, маленький рост — это не смущало. В «Шинель» мы ввели какую-то подручную портного; в «Братишке» (события происходили в автобазе) Жеймо играла «девочку при гараже за мальчика». Конечно, все это было плохой педагогикой и неразумной режиссурой. Хочется сделать только одну оговорку: дарование нужно не только направить, но и согреть. Может быть, этим мы смогли помочь талантливым людям, с которыми нам посчастливилось трудиться?..

Когда я стараюсь вспомнить наши занятия, память оказывается как бы двухслойной; в верхнем пласту — множество крохотных пестрых кусочков: поиски какой-то чистой стихии киновыразительности, культ пантомимы, крайности в физкультуре, отрицание «театрального»... И одновременно под всем этим — важнее всего этого — ощущение внутреннего развития каждого из нас и, что главное, всех нас вместе. Рост того, что движет каждым делом коллектива. В этом была суть. Общим достоянием становилась каждая прочитанная книга (читали мы запоем), новая программа в кино, жизненные события... Все входило непосредственно в самую работу: воздействовало, учило. Во все вкладывалась истинная страсть. Любительщину здесь презирали. После урока бокса вытирали кровь; акробатика не выглядела бы смешной и на арене. Дело было не только в физкультуре. Юрий Николаевич Тынянов охотно читал главы рукописи «Смерти Вазир-Мухтара» этой молодежи — они умели слушать. Приехав в Ленинград, сюда часто заходили Эйзенштейн, Пудовкин... Образовывалась та атмосфера труда, неустанных поисков, коллективного дела, в которой люди взрослеют. Корь проходила.

Люди уже иного склада входили в коллектив.

Евгений Евгеньевич Еней стал в нашей группе не только художником. По национальности венгр, бывший военнопленный, с 1919 года член РКП(б), он сопровождал вместе с Мате Залка поезд с золотым запасом Республики. Еней знал и немецкую солдатчину, и лагеря для военнопленных в Сибири, и партизанскую войну. Наступила демобилизация; Евгений Евгеньевич вспомнил, что он был когда-то архитектором, и оказался в «Севзапкино». По-старому ему работать не хотелось. В нашу группу пришел человек с жизненным опытом, коммунист. Сколько гордов и зданий выстроил с тех пор этот прекрасный художник!..

Он воздвиг Санкт-Петербург Николая Первого и Париж Второй империи, домики рабочих за Нарвской заставой и усадьбу нищего идальго шестнадцатого века... Вспыхивал и гас свет; на хрупком целлулоиде оставались хрупкие следы искусства этого человека, а потом стучали молотки: мир, созданный из фанеры и холста, распадался...

Юноша в очках маялся в коридорах киностудии. Изредка неторопливой походкой он подходил к кому-нибудь из старых операторов и показывал ему пачку своих снимков. Тихим голосом, соблюдая из знаков препинания от силы точку, он предлагал себя в помощники. Застенчивость прикрывалась как бы совершенной невозмутимостью. В фотографиях этого юноши кинооператоры не находили ничего, кроме странных бликов и недостаточно точной наводки на фокус. Пожав плечами, эти профессионалы отправлялись дальше, оставив в коридоре одинокую и мрачную фигуру. Фотографии попались нам на глаза... Камеру Андрею Николаевичу Москвину выдали лишь под залог нашей зарплаты.

Однажды в «Правде» появился очерк об Якуповском сельсовете, пригласившем на работу фотографа. Съемки приезжего возмутили колхозников; пришлось устроить собрание. «Товарищ фотограф, мы работаем, учимся, перестраиваем нашу жизнь, — сказала бригадир Павлова, — а ты,

наш фотограф, снимаешь нас, будто при царской власти. Обидно и стыдно — истуканы какие-то! Мы люди веселые и новые, а ты городишь одно и то же. Старорежимная твоя фотография!»

Речь эта поучительна и для истории кинематографии. Самое хорошее содержание могло быть погублено съемкой — «будто при царской власти». Мало того, сама эстетика такой съемки не давала возможности появиться новому содержанию. Об этом мне хочется рассказать в следующих главах.

А. Левицкий, Э. Тиссе, А. Москвин, А. Головня создали школу операторского искусства советского кино, покончили со «старорежимной фотографией».

Москвин и Еней сдружились с молодыми актерами, стали своими людьми в квартире на Гагаринской. Молодые кинематографисты — оператор, художник, актеры, режиссеры, — ничего еще не понимающие в кинематографии, ежедневно собирались вместе, задумывали фильмы. Под карнизом висела цитата из Марка Твена, написанная клеевыми красками на длинном листе бумаги: «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей!» Мы называли себя «фабрикой», это звучало претенциозно, смешно.

...Но толстый мужчина стучал ножом по тарелке, требуя жратвы и лихого веселья, и чтобы оно было с бабами, и плачущими скрипками, и кукишем (хоть в кармане!), который казали всему, за что люди холодали и голодали... «Эх, прокачу!..» — причмокивали лихачи на углу Невского и Малой Садовой: похабное прошлое въезжало на рысках под зелеными сетками, подмигивало фонариками на оглоблях, голубыми и розовыми абажурчиками артистических кабаре... На каждом шагу открывались какие-то «студии»; разговоры проникновенным шепотом о «божественном вдохновении» и «святом искусстве» сочетались с пьяными дебошами, надрывом...

Нет, мне не стыдно вспомнить свисток в начале занятий и спортивную шеренгу нашей нелепой «фабрики».

...После одной из первых съемок я пришел в лабораторию за снятым материалом. Монтажница протянула мне смотанную катушку. Не имея еще никогда дела с пленкой и не зная ее свойств, я взял ролик за края, и в то же мгновение середина катушки змеей выскочила на пол, извиваясь и завиваясь бесчисленными спиралями. Трудно забыть этот позор! Присев на корточки, я неумело пытался расправить сотни завитков, но взамен каждого закручивались новые, еще более тугие.

Перестав сдерживаться, хохотали монтажницы, ухмылялись лаборанты — хорошо, что в те времена штат был сравнительно невелик, — а я, красный от стыда, обливающийся потом, с изрезанными пальцами, стоял на коленях среди гор перекрученной пленки.

Немало времени пришлось потрудиться, чтобы размотать этот целлюлоидный хаос.

Еще больше пришлось потрудиться — куда больше! — пока мы осознали, что эта пленка способна сохранять мысли, чувства, надежды людей; жизнь; время.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Н. ПРОЖОГИН

★

В СОМАЛИ

РОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

На закате солнца 30 июня 1960 года на всей подопечной территории Сомали были спущены флаги ООН и Италии. Сделано это было тихо и по возможности незаметно. До полуночи власть сохранялась за итальянской администрацией, которая отнюдь не желала делать свой уход поводом для торжества.

В тот вечер, конечно, в сомалийской столице никто не спал. Окна домов в Могадишо были темны, но всюду раздавались ритмичные звуки барабанов и просто железных брусков, ударяемых друг о друга; пронзительное пение дудок связывало их в мелодию. Все от мала до велика высыпали на улицу, пели и танцевали.

Глядя на огневой вихрь пляски, который то вовлекал, то через несколько минут выталкивал из круга совершенно обессиленных мужчин, любуясь грациозными всплескиваниями обнаженных женских рук — замедленное движение вверх и резкий хлопок над головой, — мы не заметили, как оказались вместе с танцующими на огромной немощенной площади Африканской солидарности. Здесь, наверное, собрался весь город. Непривычная музыка оглушала и завораживала...

Созвездие Южного Креста уже скрылось за кирпичной башней законодательного собрания. Обе стрелки часов приближались к цифре «12». Но наступала не очередная полночь, а момент, которого ждали многие поколения сомалийцев.

Большая стрелка часов догнала маленькую... Накрыла ее! Грянул военный оркестр и тут же потонул в радостном традиционном приветствии — гортанном, переливчатом кличе, исторгаемом тысячами людей. По флагштоку медленно поднялся флаг Республики Сомали — голубое полотнище с белой звездой посередине. Но прошло еще несколько минут, прежде чем стихли восторженные возгласы и временный глава государства Аден Абдулла Осман смог провозгласить с залитого светом прожекторов балкона независимость еще одной африканской страны.

Ранним утром первого июля депутаты законодательного собрания бывшей подопечной территории Сомали и бывшего британского протектората Сомалиленд, где власть была передана представителям местного населения за несколько дней до этого, двадцать шестого июня, собрались на совместное заседание. Утверждается акт об объединении страны. На пост временного президента республики избирается Аден Абдулла Осман. Он сидит на высокой трибуне. Над его головой во всю стену фреска — символическое изображение сомалийского народа: кочевники с пастушескими посохами, женщины, толкущие в ступе зерно, рыбаки, забрасывающие с лодки сети, ремесленники. Художник-итальянец Наворези стилизовал человеческие фигуры, но в общем фреска довольно полно отражает занятия двух миллионов сомалийцев, живущих на территории, превышающей площадь Англии и Италии, вместе взятых.

Президент называет имена депутатов. Один за другим они спускаются с расположенных амфитеатром скамей и подходят к маленькому столу. Сидящий за ним старейшина мусульманских судей, кади, берет обеими руками руку подошедшего депутата, кладет ее на коран, приводя к присяге на верность Республике Сомали.

А за стенами парламента по-прежнему шумит толпа. Всю ночь после фейерверка не смолкали разрывы петард, и мы не обратили внимания на сухой треск, доносившийся в зал с площади...

На следующий день в единственной выходящей в Могадишо ежедневной газете «Коррьере делла Сомалиа» было опубликовано официальное сообщение министерства внутренних дел. В нем говорилось, что во время разгона демонстрации, организованной оппозиционными партиями (эти партии бойкотировали последние выборы, обвиняя итальянскую администрацию в их фальсификации), в стычке с полицией был убит один человек и тяжело ранено тридцать.

Этот трагический случай напомнил о многих трудностях, стоящих перед молодой республикой.

МОГАДИШО

Когда я вернулся в Москву, меня то и дело спрашивали:

— Ну как там, на экваторе, — жарища?

В самом деле, Могадишо находится в каких-нибудь двухстах пятидесяти километрах от экватора. Проезжая через Судан, мы восприняли хартумскую жару как репетицию. Что-то будет на экваторе? Больше всех волновались кинооператоры — не столько за себя, сколько за пленку. Уже на Внуковском аэродроме они договорились о том, что, приехав на место, попросят, чтоб им отвели в гостинице самую темную, самую прохладную комнату.

Но опасения оказались напрасными. Во время нашего пребывания в Могадишо температура держалась в пределах тридцати градусов по Цельсию. Тоже, конечно, не так уж мало, но терпеть можно. Правда, июль в Могадишо самый «холодный» месяц. Но и в самом жарком месяце — январе — температура здесь обычно не поднимается выше тридцати пяти градусов. Зато потом, во время поездки в пустынные районы Северного Сомали, я все же испытал настоящую африканскую жару.

В Могадишо экватор оказался не всеильным. Под порывами теплого и влажного ветра с Индийского океана здесь трепещут пальмовые ветви, шуршат засохшей листвою акации, и людям дышится легче.

Даже издали слышно, как океан с грохотом перекачивает через мол свои волны. Добежав до берега, они разбиваются о камни, превращаясь в пенные столбы. Соленые брызги, словно оспа, иззели железобетонную балюстраду набережной.

Прямая как стрела набережная упирается в скалистый мыс, на котором стоит с десяток домов, сохранившихся еще от времен, предшествовавших захвату Сомали Италией. Есть среди них небольшое квадратное здание из белого камня. Это «Гареза» — дворец занзибарского султана, правившего здесь в середине прошлого века. Высокие, глухие стены делают дворец похожим на крепость. Это впечатление усиливается еще больше двумя старинными пушками, стоящими у входа. Когда со скрипом отворяется тяжелая кованая дверь, оказываешься под сводом, ведущим в маленький внутренний дворик, образуемый двумя ярусами крытых галерей. Четырех пальм достаточно, чтобы сохранять в нем постоянную прохладу. Среди кустов цветущих роз в мраморной чаше фонтана журчит вода.

Сейчас в первом этаже дворца размещена библиотека. Ее директор показал мне полку с советскими книгами на итальянском и английском языках. Они присланы сюда из Аддис-Абебы. В залах второго этажа — скромный историко-этнографический музей. После его осмотра посетителям предлагают подняться на плоскую крышу, чтобы полюбоваться окрестностями.

Поднимаясь по крутым ступеням темной лестницы, видишь над головой только квадрат раскаленного полуденным зноем неба. С крыши же открывается широкая перспектива. Между таким же слепящим, как и небо, простором океана и бескрайней саванной вьется узкая белая кромка пены и песка. У этой-то кромки и приютился город.

Его история теряется в глубине веков. Само название — Мogaдишо — расшифровывают как искаженное арабское выражение, означающее «резиденция шаха». На этом берегу в числе многих завоевателей побывали и персы. Но предполагают, что первое поселение было основано здесь еще финикийцами.

То, что Мogaдишо был административным центром колонии, наложило отпечаток на его внешний облик. Старый город окружен двумя широкими полукольцами нового, «европейского», льнущего к побережью океана. Первое полукольцо — это деловой центр. Он состоит из двухэтажных и одноэтажных домов «колониального» стиля: крытые галереи вдоль первого этажа, сводчатые «мавританские» окна. Здесь расположились административные учреждения, банки, конторы, магазины, несколько кинотеатров, небольшая мечеть и огромный, несуразной архитектуры католический собор. Затем идет второе полукольцо — уютные домики с садами и палисадниками, где живут европейцы и местная буржуазия. А еще дальше, по окраинам, — жилища городской бедноты. Они сколочены из досок, жердей или сплетены из веток, крыты кусками жести и толя. Домишки на окраине растут как грибы. За три года, с 1953 по 1959-й, население столицы увеличилось с 60 тысяч до 91 тысячи человек.

Четыре дня продолжались торжества — официальные церемонии, приемы; состоялся военный парад и концерт художественной самодеятельности (театра в Сомали нет). Как будто бы все шло по протоколу, обязательному во всех странах мира. Но разве можно было забыть, что это первые в истории независимого Сомали церемонии, первые приемы, первый военный парад молодой армии, впервые сомалийская молодежь выступала перед международной аудиторией!

Праздники пролетели, как всегда и везде, быстро. После того как с улиц убрали флаги и транспаранты, а народ, с утра до вечера певший и танцевавший на центральных площадях, разбрелся по своим кварталам, город принял свой обычный, будничный вид.

Формирование нового правительства затянулось. Министерские кабинеты пустовали. Депутаты проводили целые дни в законодательном собрании. В правительственном здании остались лишь технические работники да советники-итальянцы, их не так уж мало. Было почти невозможно найти кого-либо из официальных лиц.

В числе немногих сомалийских руководителей, с кем в те дни все же удалось побеседовать, был депутат парламента, а позднее министр, президент Университетского колледжа Абдиразак Хаджи Хусейн. Да и то встретился я с ним благодаря содействию постоянно живущего в Сомали и работающего в этом колледже «земляка». Во всяком случае, так нам отрекомендовался на одном из приемов административный директор Университетского колледжа, назвавший себя Михаилом Рафаиловичем Пироне. Он родился в Петербурге. Мать его была русской; она вышла замуж за жившего в России врача-итальянца. Уехав в Италию, Пироне-сын перебрался затем в колонию. Несмотря на очевидную разницу в нашем мировоззрении, господин Пироне всегда с готовностью помогал нам, советским журналистам, когда мы обращались к нему.

Правда, не от него я узнал, что в свое время министерство «Итальянской Африки» заявило: «Туземец в колони должен знать лишь то, что необходимо для умения держать в руках лопату или ружье». Боясь пуще огня, как бы «туземец» не распознал суть мифа о «высшем существе», которым прикрывались колонизаторы, фашистское правительство запретило сомалийцам учиться после трехклассной начальной школы. В 1948 году выяснилось, что в Сомали 99,4 процента населения неграмотно.

По сравнению с тем временем нынешнее положение вещей может показаться прогрессом. С установлением режима опеки во всех школах было введено бесплатное обучение. В 1956/57 учебном году в Сомали обучалось свыше 28 тысяч человек. Но ведь это всего лишь немногим более двух процентов населения страны! К тому же образование получала избранная часть местного общества, широкие же массы его не знали. И образование это скорее гуманитарное, нежели техническое. К моменту окончания срока опеки в стране, как и раньше, не было ни одного врача-сомалийца, ни одного инженера-сомалийца, ни одного... Да разве все перечислишь!

То же и с Университетским колледжем. Конечно, хорошо, что в Мogaдишо постро-

ли это современное здание. Но в нем учатся всего 334 студента, и только одни мужчины. Колледж, хотя он и называется «университетским», не дает высшего образования. Чтобы получить диплом о высшем образовании, его выпускники должны доучиваться в Италии. В колледже преподаются только общие социально-экономические дисциплины. Лишь на 1960/61 учебный год планировалось открытие учительского факультета. Таким образом, и колледж пока еще не удовлетворяет насущной потребности страны в специалистах.

Среди преподавателей колледжа — только один сомалиец. И то, очевидно, потому, что читаемый им предмет — мусульманскую систему права (шариат) — преподавать итальянцу довольно мудро.

Сомалийцы до сих пор еще не имеют общепринятой системы письменности, поэтому широкие слои населения пока что обречены на полное невежество.

Однажды меня повели в школу, предварительно не без таинственности предупредив, что школа эта особенная. Она и правда оказалась необычной.

Помещение школы, состоящее из двух комнат с цементными полами, втиснуто между гаражом и чем-то вроде закуской. В дальней комнате шел урок. За столами сидело человек пятнадцать юношей и девушек. Такой же молодой, как и его ученики, преподаватель писал мелом на доске незнакомые мне буквы. Выяснилось, что школа была создана «Обществом содействия развитию сомалийского языка и литературы». Первейшей своей задачей оно ставит распространение алфавита, составленного около пятидесяти лет назад сомалийским поэтом Исмааном Юусуфом Канадиндом и получившего по его имени название «исмаания».

Узнав, что я советский журналист, учитель первым делом подводит меня к одному из столов и сдергивает чехол со стоящей на нем пишущей машинки. На ее клавишах я вижу двадцать девять букв «исмаании».

— Знаете ли вы, когда была сделана эта машинка? — с гордостью спрашивает учитель и тут же сам отвечает: — Четвертого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года! В тот самый день, когда в вашей стране был запущен первый спутник!..

С жаром рассказывает он историю «исмаании»:

— Итальянцы сразу же поняли, какую опасность представляет для их господства в Сомали распространение национальной письменности. Фашистское правительство запретило «исмаанию». Тот, кто осмеливался нарушить запрет, подвергался жестоким репрессиям, вплоть до тюремного заключения и даже каторжных работ. После разгрома фашистских войск в Восточной Африке «исмаания» вновь стала распространяться. Когда британская военная администрация, управлявшая в то время страной, обнаружила это, она была, мягко выражаясь, обескуражена и отказалась оказать нам хоть какую-нибудь помощь. Конечно, навязанная стране вслед за тем опека отличалась от неприкрытого колониализма, но скорее только по методам. Опекуны, как могли, препятствовали популяризации «исмаании». Сейчас правительство официально обещало изучить вопрос о сомалийской письменности. Но пока... Вы сами видите, в каком положении мы находимся...

Существует еще одна система сомалийской письменности — «гадабуурусн», изобретенная другим поэтом, Абдурахманом Шейх Нууром. Кроме того, одни считают, что новый алфавит должен быть создан на основе арабского, другие предпочитают латинский...

Ясно одно: колонизаторы сделали все возможное, чтобы лишить сомалийцев собственной письменности — орудия овладения знаниями, необходимыми для подлинного прогресса страны. Когда алфавит наконец окончательно выработают и он получит широкое распространение в народе, это будет иметь для Сомали значение, которое действительно можно сравнить с ролью первого спутника для человечества.

Наша беседа с учителем началась так стремительно, что я даже не успел спросить у него имени. Когда же перед уходом я захотел записать его в свой блокнот, учитель неожиданно смутился.

— Пожалуйста, не обижайтесь на меня, но я не стану называть своего имени... Я надеюсь получить стипендию для учебы в Соединенных Штатах... Ведь мне тоже надо еще учиться и учиться, хотя я и преподаватель...

Можно ли было обижаться на него?

Этот эпизод, пожалуй, лучше всего говорит о характере той «помощи», которую все шире пытаются навязать Африке некоторые «просветители». Да, в американских учебных заведениях есть африканцы. Но не принимают ли в них только тех, из кого рассчитывают воспитать послушных проводников своей политики, верных ее защитников?

Но в этом молодом человеке было что-то такое, что вызвало у меня сомнение в состоятельности подобных расчетов. Да, видно, не очень-то верят в притягательность своих идей и сами «просветители», если даже разговор с советским журналистом может бросить тень на намеченного ими кандидата.

«БАНАНОВЫЙ ПРИДАТОК»

В Могадишо мы жили в одной из двух новых гостиниц, построенных специально к празднованию Независимости. Их назвали в честь двух сомалийских рек — «Веби-Шебели» и «Джуба». Только две эти реки не пересыхают круглый год. На их берегах живет почти все оседлое сельскохозяйственное население Сомали. Правда, оно не так уж многочисленно. Почти три четверти жителей бывшей подопечной территории — и почти все бывшего британского протектората — занимаются скотоводством и ведут кочевой или полукочевой образ жизни.

Утверждают, что Сомали — бедная страна, засушливый, мол, климат и другие неблагоприятные природные условия. Более трети площади бывшей подопечной территории вовсе не пригодно для ведения сельского хозяйства, 43,5 процента пригодно только для пастбищ, и лишь 17,5 процента площади может быть использовано для земледелия. На севере страны, в бывшем британском протекторате, годной для возделывания земли еще меньше.

Сомали, безусловно, не богато. Но только ли в природных условиях дело? Ведь пока вся «индустрия» Сомали — это лишь несколько маленьких заводиков, перерабатывающих местное сельскохозяйственное сырье. Поэтому из Кении сюда ввозят консервированные фрукты и масло, из Голландии и Дании — консервированное мясо... В то же время из северных районов страны вывозят не только живой скот, но и продукты животноводства; на рефрижераторы грузят мясо и увозят его в Европу. Чуть ли не единственное добываемое из недр «богатство» — минеральная вода.

Вместе с корреспондентом «Известий» С. Кондрашовым мы хотели, насколько позволят обстоятельства, поглубже заглянуть в жизнь Сомали. А для этого, конечно, нужно было выехать из столицы.

Мы занялись изучением карты. Она была издана в качестве приложения к пухлому тому последнего «Доклада итальянского правительства Генеральной Ассамблее ООН об управлении подопечной территорией Сомали». Полное отсутствие в стране железных дорог и почти полное — гидронированных замаскировано на карте сеткой разнообразных линий: сплошных, пунктирных, пунктирных в сочетании с различным количеством точек и просто точечных. Все же с первого взгляда могло показаться, что путей сообщения в Сомали немало. Однако стоило взглянуть на пояснения условных знаков к карте, именуемые картографами «легендой», как выяснилось, что в их число включены даже «труднопроходимые тропы».

Наконец маршрут намечен. На карте между Могадишо и Баидоа — административным центром провинции Верхняя Джуба — и далее до селения Луг-Ферранди, стоящего на берегу реки Джубы, недалеко от границы с Эфиопией, пунктиром проведена извилистая линия. В «легенде» говорится, что это «окончательно установившаяся дорога на естественной основе с отдельными вымощенными участками». Проехав по этой дороге, мы рассчитывали познакомиться с жизнью кочевого и полукочевого населения. Спустившись затем вдоль Джубы до Индийского океана, мы могли бы увидеть один из двух сельскохозяйственных районов страны. А обратная дорога, идущая между побережьем и рекой Веби-Шебели, позволила бы не только заглянуть в селения второго сельскохозяйственного района, но и в несколько приморских городков.

Но едва мы успели составить столь заманчивый маршрут, как нам напомнили, что слово «легенда» имеет еще и другое значение. В данном случае оно скорее означало «далекие от истины рассказы». По крайней мере выделенный нам департаментом информации в сопровождающие сомалиец категорически заявил, что дальше Баидоа проехать невозможно. Пришлось разбить маршрут на несколько частей. А в верховья Джубы мы так, к сожалению, и не попали.

На юге Сомали, между поселком Маргерита и городом Кисимайо, есть место, возле которого не может не остановиться проезжий.

Здесь как будто все выглядит так же, как и на много километров вокруг. Небо обычно затянуто низкими набухшими облаками. Влажная красная земля укатана на дороге настолько, что может потягаться с асфальтом. Позади сплошной стеной стоит манговая роща. В ней сыро, прохладно и темно. Кроны манговых деревьев так густы, что не пропускают солнечных лучей и под ними не растет даже трава. Впереди горизонт загораживают раскидистые кокосовые пальмы и прямые, как столб, увенчанные пучками листьев стволы дынного дерева — папайи. По краям дороги с одной стороны — банановые плантации, с другой — поле, засеянное маисом. Но в этом месте маисовое поле немного отступает от дороги. Над высокой травой поднимаются обломки каменной пьедестала, на нем стоял прежде бюст Муссолини.

Здесь проходит линия экватора.

Дорога часто пересекает деревушки. Десять — двадцать хижин-тукулей. Тукуль — круглый, обмазанный глиной каркас из прутьев и конусообразная крыша из пальмовых листьев или стеблей маиса. Часто конус увенчан страусовым яйцом. Иногда его заменяет воткнутая горлышком вниз пузатая бутылка из-под итальянского вина «кьянти» — одно из свидетельств принесенной европейцами «цивилизации».

Между деревнями стоят добротные каменные усадьбы итальянцев. Однако вид у многих из них нарочито запущенный — штукатурка обвалилась, облупилась краска. Времена такие, что хозяева усадеб предпочитают казаться победнее. Проезжая мимо них, постоянно слышишь: «В этом доме во времена фашизма пороли людей», «В этом доме во времена фашизма была тюрьма». Теперь бывшие члены фашистской партии попритихли.

В Кисимайо хозяин магазина, торгующий вином, слоновыми бивнями, сигаретами, кенийской скульптурой из черного дерева, импортными сушеными грибами, африканским просом и еще всякой всячиной, добродушно покрикивает на прислуживающую сомалийскую девушку:

— Мариа! Покажи гостям вон ту фигурку. О мамма миа! Да не эту, а вон ту... — Обращаясь к нам, он говорит: — Вам кого — вождя племени или крестьянина? Я всем торгую: и аристократами и пролетариями!

— Кто же вы сами-то?

— Я? Я синдикалист!

Потом сопровождавший нас сомалиец рассказал, что этот «добряк» был главарем местного отделения фашистской партии, грозой всей округи.

Хотя времена как будто изменились, большая часть плодородной земли по-прежнему принадлежит итальянцам.

Долина нижнего течения Джубы вместе с долиной Веби-Шебели дает основную часть сельскохозяйственной продукции страны, то есть почти все, чем сегодня богато Сомали, — зерно, сахарный тростник, хлопок, арахис, кокосовые орехи, овощи, фрукты, а главное — бананы. Бананы наряду с кожами и шкурами — основные статьи экспорта Сомали, главный источник его скромных доходов.

В этих районах сельское хозяйство ведется не без размаха. Мы проезжаем мимо рощи кокосовых пальм. Ее пререзает дорога. Проезд по ней закрыт. К шлагбауму подвешена дощечка с надписью: «Романа». Это название крупной сельскохозяйственной компании. Несколько километров тянутся банановые плантации. Надписи на столбах напоминают, что это тоже собственность «Романы». Вот несколько рядов каменных строений, целый поселок — это склады «Романы». Подъезжая к Маргерите, уже издали

видим железобетонный элеватор. Проехали мимо, на воротах надпись: «Романа». На землях «Романы», конечно, есть и ирригационные сооружения и современная сельскохозяйственная техника.

Захватив Сомали к началу XX века, итальянцы согнали или насильственно превратили в сельскохозяйственных рабочих сомалийцев, живших по берегам рек. Правительство Муссолини продолжало щедро раздавать эти земли «за особые заслуги». Так в результате грабежа и насилия в долинах Джубы и Веби-Шебели появились плантации.

Несколько иначе по форме было создано акционерное общество «САИС». Но только по форме. В начале нынешнего века дядя итальянского короля, герцог Аbruццкий, скупил за бесценок у вождей сомалийских племен земли, которые распределил потом между колонистами. Вскоре на берегу Веби-Шебели возникла своеобразная «сельскохозяйственная столица», названная в честь герцога — Вилладжо дука делли Аbruцци. Итальянцы считают не заслуживающим внимания то обстоятельство, что купчие были совершены обманным путем. Важно, мол, то, что за землю уплачено.

Сейчас Вилладжо дука делли Аbruцци — обширный поселок. Собственно, поселков-то два: один — сомалийский, где шеренгами, вплотную друг к другу, выстроились хижинки, другой — итальянский, который с меньшим населением занимает площадь во много раз большую. В роскошных садах, среди тропической зелени и сказочных цветов, тут прячутся виллы. Здесь есть свой кинотеатр, даже свой зоопарк. Вокруг — рощи цитрусовых. А за ними — нескончаемые плантации сахарного тростника, на выращивании которого специализируется «САИС». Рядом с поселком выстроен сахарный завод, единственный в стране.

Правда, в последние годы опекуны, предвидя неизбежное провозглашение независимости, стали поощрять сомалийцев создавать свои фермы. Этим они надеялись хоть сколько-нибудь сгладить контрасты, чтобы не ставить под прямой удар своих соотечественников-землевладельцев. Впрочем, особой «щедрости» от них не требовалось, и интересов итальянцев это не затрагивало. Награбить-то земли они награбили, но освоить ее полностью не смогли. Из восьми миллионов гектаров плодородной земли в Сомали обрабатывается... только 808,5 тысячи гектаров. Из них орошаемые участки составляют всего 158,5 тысячи гектаров. Говорят, что сейчас число фермеров — сомалийцев и итальянцев — почти сравнялось. Однако когда правительство захотело показать иностранным гостям страну, то были предложены на выбор два итальянских хозяйства.

Конечно, и итальянские фермеры бывают разные. Есть среди них и такие, что бежали в свое время из дому от беспросветной нищеты, тяжким трудом скопили в колонии небольшой капиталец, но не забыли о своем происхождении. Однако сомалийцам от этого не легче.

Вот, к примеру, фермер Терцоло. Родом он из Пьемонта. В 1931 году, когда до Италии докатился экономический кризис, он собрал в чемоданчик свои пожитки, купил на последние деньги билет на пароход и уехал в колонию. Здесь ему повезло — устроился работать шофером. Через несколько лет он купил грузовик, а потом и участок земли.

— Земля здесь стояла очень дешево. Но я ее купил, а не получил, — подчеркивает Терцоло. — Таким, как я, фашисты землю даром не давали.

Затем началась война. Все полетело вверх тормашками. К тому же у Терцоло умерла от малярии жена. Он бросил землю и нанялся механиком в гараж английской воинской части. После войны Терцоло снова вернулся на землю.

Его жилище — несколько модернизированный сомалийский тукуль. Оно отличается от тукуля тем, что в нем навешена дверь, прорезаны окна да пол залит цементом. Я встретился с Терцоло вечером, когда уже темнело. Через полчаса он зажег над столом керогазовый фонарь, который лишь слегка осветил округлые стены.

— Это ваши родители? — показываю я на висящую в рамке фотографию.

— Нет, не родители, — говорит Терцоло. — Да вы подойдите поближе, посмотрите, может быть узнаете, — добавляет он хитровато.

Я подхожу, разглядываю и не верю собственным глазам — Ленин и Крупская!

— Откуда это у вас?!

— Из журнала вырезал! — И итальянец, живущий в Африке, на экваторе, показывает на стопку журналов «Вие нуове»¹, аккуратно сложенных на столике возле постели.

Конечно, ни сомалийские, ни мелкие итальянские фермеры не играют решающей роли в экономике страны. Даже такие крупные капиталистические хозяйства, как «Романа», сами по себе еще не все. Та же «Романа» входит в акционерное общество «САГ» — «Сельскохозяйственное общество Джубы». На Веби-Шебели орудуют два других таких же общества — «САКА» и уже упоминавшееся «САИС». Они-то и держат в своих руках экономику страны. Проспект действующих в Сомали компаний, выпущенный ими ко дню провозглашения независимости под названием «Независимое Сомали», лишний раз напоминает об их всеилии. На его обложке напечатано: «Это издание выпущено по случаю провозглашения независимости, чтобы поздравить Новое Сомали и пожелать ему блестящего будущего в условиях Прогресса и Процветания». В нем нет названия ни одной фирмы, принадлежащей сомалийцам!

Восемьдесят и больше процентов капитала сельскохозяйственных компаний принадлежит итальянским плантаторам (средний размер плантации — четыреста гектаров!). Последние тесно связаны с торговыми фирмами в Италии, которые в свою очередь монополизировали весь сомалийский экспорт. Буквально через полтора часа после провозглашения независимости был подписан ряд итало-сомалийских договоров, закрепивших, в частности, и эту систему.

Между тем беседовавший с нами, советскими журналистами, министр сельского хозяйства Салад Абди говорил, что даже сейчас, когда многие плодородные земли не используются, экспортные возможности страны далеко не исчерпаны. Но выход на другие рынки республике тщательно закрывают.

У Сомали есть возможности достичь благосостояния и уж во всяком случае не зависеть от ежегодных субсидий из-за границы, даже оставаясь сельскохозяйственной страной. Для этого, как считают сами сомалийцы, необходимо правильно использовать ресурсы земледелия и скотоводства, установить широкие торговые связи с другими странами.

Пока же сельскохозяйственные компании действуют, как и прежде. Итальянские фермеры не платят никаких налогов, кроме одного и то чисто символического, — на экспорт готовой продукции. Вместо того чтобы заняться всесторонним развитием сельского хозяйства Сомали, плантаторы превратили этот край в своего рода «банановый придаток» Италии. А прибыли свои они вкладывают главным образом опять-таки в Италию. Африка для нажитых колониальным грабежом капиталов — слишком беспокойное место.

Богатейшие компании даже не удосужились построить мало-мальски оборудованный порт. Во всех трех городах, через которые ведется внешняя торговля бывшей подопечной территории, мы наблюдали одну и ту же картину: завернутые в плотную бумагу, перевязанные бечевкой банановые гроздья грузят сперва на шаланды и везут к кораблям, стоящим на рейде, а там перегружают. На всем побережье протяженностью более двух тысяч километров, нет ни одного причала. Компании мирятся даже с убытками, которые они несут за простой судов в период муссонов, когда погрузочно-разгрузочные работы сильно затрудняются, а иногда становятся и совсем невозможными. Чем не наглядный пример психологии временщиков? «Загребай, сколько можно, сегодня — неизвестно, что будет завтра!» — рассуждают они.

Понимая невозможность сохранения старых порядков, сомалийское правительство еще в период опеки подготовило закон, согласно которому земля, недра и воды на территории республики будут принадлежать государству. Однако этот же закон предусматривает признание и даже покровительство частной собственности в тех случаях, когда она «приобретена законным путем». Что будет под этим подразумеваться — неизвестно. Итальянские фермеры говорили нам, что между правительствами Италии и Сомали достигнута договоренность о том, что «культурно» обрабатываемая земля останется в собственности их фактических владельцев. Но беспокойства они все же не могут не испытывать.

¹ «Вие нуове» (итал.) — «Новый путь», прогрессивный итальянский журнал.

И ЗДЕСЬ «ТИХИЕ АМЕРИКАНЦЫ»

В городе Баидоа, в небольшом скверике, стоит каменная пирамида. На одной из ее граней высечена надпись: «Капитанам Бонджиовани и Молилари, которые в Баллеи 15—XII—1907, осажденные варварскими ордами, пали жертвами вражеского отряда с мыслью о родине, за цивилизацию Италии».

Баллен — название деревушки на берегу Джубы. Как и многие другие похожие на нее сомалийские деревни, она может продемонстрировать плоды «цивилизации», которую итальянцы пытались силой оружия привить «варварам». Правда, теперь все говорит о том, что «цивилизация Италии» и других европейских стран доживает в Африке свои последние дни. Но на смену им рвутся новые «цивилизаторы». Впервые мы столкнулись с одним из них в сельскохозяйственной школе около Баидоа.

Расположенная в поселке Бонка сельскохозяйственная школа считается образцовой. В ней проходят двухмесячный курс обучения двадцать пять учащихся. «Опекуны» особенно любят ссылаться на нее: «Вот какое благо принесли мы в Сомали!» Я подошел к первому из наугад выбранных учеников. Его звали Хасан Сему. Этот двадцатидвухлетний паренек рассказал, что в школе он уже второй месяц. За это время его обучили прополке посевов и пахоте на быках.

— А чем пахать?

Хасан стал добросовестно объяснять устройство деревянного приспособления для пахоты. Сомнений не оставалось — он очень точно описывал соху!

Как раз в это время во двор школы въехал джип. На его дверце красовалась эмблема: две руки — белая и черная —жимают одна другую. Над этой эмблемой организации американской «помощи» была надпись: «Служба сельскохозяйственной пропаганды». Вышедший из машины пожилой мужчина представился: «Кейн!» Он оказался преподавателем бонкской школы.

В ответ на вежливый вопрос о том, как же могут американцы во второй половине двадцатого века всерьез пропагандировать соху, мистер Кейн пустился в пространные рассуждения. Со снисходительным видом он принялся разъяснять нам, что страна, с которой ему приходится иметь дело, очень бедна, а ее население невероятно отстало в своем развитии. Из этого, по мнению мистера Кейна, вытекает, что «здесь нужна постепенность в каких бы то ни было начинаниях».

— А как же иначе? Ведь прежде чем Африка достигнет более или менее сносного уровня развития, пройдет очень много времени, — заключил он.

Если доверить дело развития Африки мистерам кейнам, то, очевидно, так оно и будет. Во всяком случае, этот «специалист» в области сельского хозяйства оказался в весьма затруднительном положении, когда его спросили о сравнительных цифрах средней урожайности зерновых в округе и на экспериментальных полях школы.

Позже, в беседе с губернатором Баидоа, Ахмедом Раги, как-то пришлось к слову спросить, где мистер Кейн выучил итальянский язык (преподавание в этой школе, как и в других, ведется по-итальянски).

— Он шесть лет был с частями американской армии в Италии... Мне кажется, он служил там в разведке.

— А здесь?

— Надеюсь, что нет, — не очень уверенно ответил губернатор.

Но дело не только в том, что преподаватель сельскохозяйственной школы, очевидно, ничего не смыслит в сельском хозяйстве. В конце концов программу обучения составляет не он. Нам не раз приходилось сталкиваться с программами «помощи», навязываемыми западными «друзьями» Сомали. И чаще всего они были на уровне той же сохи. Старая песня колонизаторов! Тут и «неполноценность» африканских народов и их «неспособность» подняться до уровня современных достижений науки и техники. Многие из западных специалистов, знания которых мы не подвергаем сомнению, по видимому, даже искренне убеждены в этом.

В Могадишо меня познакомили с другим американским специалистом, командированным в Сомали одним из учреждений ООН. Когда я поинтересовался его мнением

о ценности сохи в век атомной энергии и космических кораблей, он вначале даже не мог понять, что именно меня удивляет.

Находясь в Сомали, я часто вспоминал наши среднеазиатские республики — ведь еще несколько десятилетий назад они так мало отличались от Сомали. А сейчас...

На одной из центральных улиц Могадишо разместилась «Информационная служба США» — «ЮСИС». Одна из дверей этого здания всегда широко распахнута. Она ведет в читальный зал «Американской библиотеки для сомалийского народа». Судя по надписи, это — учреждение с благородными целями. Но в том же Баидоа на столике в номере «рест-хауза» — дома для приезжих — я обнаружил целую серию книжек, изданных в США и распространяемых по стране сотрудниками «ЮСИС». Их названия говорили сами за себя: «Соединенные Штаты — самое демократическое государство в мире», «Свободное предпринимательство — основа американского благоденствия» и т. д. и т. п.

Но американская пропаганда не всегда столь груба и примитивна, как деревянная соха мистера Кейна. Иногда для нее используют даже достижения современной техники.

Во время одной из поездок по стране мы стали свидетелями такого случая. Уже поздним вечером мы свернули с большой дороги, чтобы переночевать в городке Брава. Он приютился среди дюн, на берегу океана. Несколько десятков каменных домов арабского типа, кокосовые пальмы, дремлющие на песке немощеных улиц горбатые коровы — зебу, крабы на прибрежных камнях, шум прибоя и яркий зеленоватый свет луны — таким остался в памяти этот городок. Казалось, к нему как нельзя кстати подходят гоголевские слова: «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».

Наш приезд был настолько неожиданным для хозяина гостиницы, что ему нечем было даже накормить нас.

— Не хотите ли пойти посмотреть кино, пока готовится ужин? — предложил он.

— А что идет в кинотеатре?

— Кинотеатра у нас нет, — ответил хозяин. — Это американцы показывают сегодня на базаре фильмы.

На рыночной площади мы действительно увидели автомашину «Информационной службы США». На ее крыше установлен узкоплечный звуковой кинопроектор. Экраном служит выбеленная стена одного из домов.

Вначале демонстрировался цветной мультипликационный фильм, смысл которого сводился к пользе соблюдения правил гигиены. Герои фильма — люди восточного облика, и быт их в общем похож на быт народов Востока. Да и сюжет придуман неплохо, диалоги остроумны. Словом, смотрится фильм аудиторией с интересом и вызывает у нее живую реакцию. Затем был показан цветной документальный фильм под названием «Процветание в условиях свободы». Поездка президента Эйзенхауэра в страны Латинской Америки. В нем недвусмысленно рекламировалась выгода, которую будто бы извлекают народы, получающие «помощь» США в обмен на военное сотрудничество с ними. Кстати, еще за год до провозглашения независимости Сомали влиятельный американский журнал «Форин афферс» писал: «В настоящее время Англия и Италия субсидируют приблизительно наполовину бюджеты своих сомалийских территорий. Они обещали также оказывать помощь этим территориям после достижения ими независимости. Соединенные Штаты тоже приняли на себя некоторые обязательства в этом отношении. Однако всего этого недостаточно для экономической жизнеспособности Сомали». С поразительной откровенностью автор статьи предлагал выход из трудного положения: «Сомалийцам остается только продавать иностранцам свои стратегически важные позиции...»

В чем, в чем, а в последовательности здесь американцам отказать нельзя. С того самого времени, как в 1949 году Генеральная Ассамблея ООН постановила, что через десять лет опеки Сомали должно стать независимым государством, империалистические круги неустанно твердили, да и сейчас продолжают внушать сомалийцам, что без их помощи страна существовать не может. А вездесущий Международный банк рекон-

струкции и развития, специальная миссия которого посетила Сомали в 1956 году (с ее выводами меня познакомили сами сомалийцы), считает, что независимое Сомали будет нуждаться в помощи извне минимум в течение двадцати лет.

Но все это лишь дымовая завеса, под прикрытием которой вершатся конкретные дела. Соединенные Штаты, используя зависимое положение Италии, создали с ней на паритетных началах организацию с красноречивым названием «Фонд освоения Сомали». Впрочем, об истинном соотношении сил американских и итальянских монополий, «осваивающих» Сомали, можно судить по карте, полученной нами в департаменте информации сомалийского правительства. На ней были отмечены своеобразные «сферы влияния», на которые поделили между собой страну три американские и одна итальянская компании, присвоившие себе исключительное право производить разработку недр Сомали. Дележ этот произошел до провозглашения независимости республики, но в силе и поныне. Эти компании уже несколько лет ищут здесь нефть. Говорят, что не могут найти ее, однако работ не прекращают. При этом подозрительно много разглагольствуют о «переизбытке» нефти на мировом рынке.

Поскольку речь зашла о картах, то нельзя не упомянуть еще об одной. Эта карта была разослана той же «ЮСИС» по всему Сомали ко дню провозглашения независимости. Собственно, это плакат, на котором изображена контурная карта мира с выделением на ней одним и тем же цветом территорий Соединенных Штатов и Республики Сомали. Под картой два флага — американский и сомалийский. Напомню, что в углу американского флага на голубом фоне белыми звездочками отмечено число штатов, а сомалийский флаг представляет собой голубое полотнище с белой звездой. Сопоставление карты с флагами не оставляет сомнения относительно идеи, вложенной в этот плакат. Но здесь уж его авторы слишком явно хотели выдать желаемое за действительность.

Что же думают по поводу всего этого сами сомалийцы? Сошлюсь лишь на один характерный разговор, который оказался связан с инцидентом, непосредственно относящимся к затронутой теме.

В гостинице «Веби-Шебели», где я жил в Могадишо, остановились депутаты сомалийского парламента, приехавшие в столицу с севера страны. Среди них был министр обороны и общественных работ правительства бывшего британского протектората Али Гард Джама. Однажды вечером мы встретились с ним за ужином в ресторане гостиницы. Али Гард Джама рассказывал о трагедии своего разобщенного народа, о тяжелом наследии, доставшемся новой республике.

— В результате,— говорил он,— наша страна действительно зависит от иностранной помощи. Но мы хотим обеспечить себе не только материальную базу, но и мир, и поэтому будем идти собственным путем, не примыкая ни к одному лагерю. Наша политика будет политикой позитивного нейтралитета, и мы готовы принять любую помощь с любой стороны, если она не будет связана с какими-либо условиями.

Как раз в этот момент из дальнего угла ресторана вышел сотрудник американского консульства. Он, видимо, был знаком с моим собеседником и, подойдя к нему, скорчил удивленно-кислую мину.

Надо сказать, что Али Гард Джама не только депутат и министр, но и вождь могущественного на севере Сомали племени. Это сказывалось даже в его манере держаться. Когда сидевшие с нами за столом сомалийцы стали со смехом комментировать поведение подвыпившего американца, увидевшего их влиятельного друга в обществе советского журналиста, Джама только презрительно пожал плечами, а в голосе его появилась новая, металлическая нотка.

— Что касается лично меня,— продолжал Али Гард Джама,— то я считаю, что настоящую помощь можно ждать только от России. Таково же мнение подавляющего большинства сомалийцев. Наши симпатии на стороне России, но, имея дело с западными державами, сомалийцы подчас еще вынуждены, как гласит наша пословица, «держат свои чувства в животе»...

Здесь уместно будет отметить, что при всей реакционности, которую играют в Африке наших дней пережитки племенного строя, даже среди племенной верхушки уже встречаются молодые люди, понимающие обреченность старых порядков.

...Из Соединенных Штатов на празднование Независимости в Сомали приехал, помимо членов официальной делегации, представлявшей американское правительство, еще один человек. Зовут его Джама Дирис. Он сомалиец по происхождению. Сорок лет назад судьба забросила его в США. Живет Дирис в Нью-Йорке и имеет там свое, хотя, очевидно, и небольшое «дело». В Могадишо он был окружен почетом и уважением. У Джама Дириса особые заслуги перед своим народом — последние десять лет он, как мог, помогал сомалийцам, приезжавшим на сессии Совета по опеке ООН, защищать интересы страны.

— О, я очень хорошо знаю эту кухню,— говорит Дирис.— Не будь Советского Союза, наша страна сегодня не была бы независимой. Ведь существовали же проекты продления срока опеки...

Нам, советским журналистам, не раз приходилось слышать от сомалийцев слова благодарности, ощущать искреннее чувство симпатии и горячее желание установить тесные дружеские связи с нашей страной. Но даже в тех случаях, когда симпатии нет,— а были, конечно, и такие — мы видели, что сомалийцы прекрасно понимают, как полезны для их страны добрососедские отношения с Советским Союзом, как могут укрепиться благодаря этому их позиции. А это так важно, если принять во внимание неослабевающий натиск западных держав. Ведь в Сомали знают, что происходит в мире, там тоже слышали о таких фактах, как, скажем, строительство Асуанской плотины.

Сформированное после провозглашения независимости Республики Сомали правительство во главе с Абди Рашидом Шермарком заявило, что оно будет проводить политику строгого нейтралитета. Между нашими странами были установлены дипломатические отношения.

Помню, как в той же могадишской гостинице, где мы жили, остановилась делегация гоминдановцев. Они были приглашены на празднование, поскольку, мол, «правительство» Чан Кай-ши представлено в ООН. Уже давно кончились торжества, уже разъехались все иностранные делегации, а гоминдановцы все еще оставались в Могадишо. Очевидно, в конце концов им все же пришлось уехать, как говорится, несолоно хлебавши, так как через несколько месяцев было объявлено, что правительство Республики Сомали решило установить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

С первых дней своего независимого существования Сомали начало завязывать дружеские отношения со странами Африки и Азии. Во время своей первой заграничной поездки премьер-министр Шермарк посетил, в частности, столицу ОАР. Там были заключены соглашения по торговым и экономическим вопросам. Монополия империалистов дает трещину и в этой области.

Сейчас Сомали — полноправный член Организации Объединенных Наций. Вместе с представителями других африканских стран сомалийская делегация поддержала Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, внесенную на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН Н. С. Хрущевым.

Воля народа берет верх. Сомалийцы не хотят больше «держат в животе» свои чаяния и все чаще заявляют о них.

САВАННА

Девяти из каждого десятка людей, с которыми мне приходилось говорить об Африке, она представляется либо песчаной пустыней, либо джунглями. Между тем около двух пятых территории африканского континента составляют саванны — «зеленые холмы Африки», по точному определению, данному Хемингуэем.

Не так уж обширны плодородные долины Джубы и Веби-Шебели. Еще не скрылся из виду последний могучий баобаб, как начинаются бесконечные холмы, покрытые редким колючим кустарником и столь же колючими низкорослыми деревьями. С их ветвей свисают гнезда, похожие на осины, но только сплетенные из прутьев; в них живут крохотные, словно бабочки, желтые, с малиновой грудкой птички. Среди выгоревшей травы торчат пучки мясистых зазубренных по краям листьев агав. Из середины их на

тонком стебле тянутся вверх желтые или нежно-сиреневые цветы. Еще удивительнее кактусы с бархатистыми шарами соцветий густо-синего цвета.

Вдоль дороги, словно абстрактные скульптуры, вылепленные из земли, стоят уродливые чудища с торчащими во все стороны отростками. Это жилища термитов.

Свои сооружения термиты начинают с малого: из отверстия величиной с пятак беспрерывно бьет фонтанчик размельченной в пудру земли, лежащей по краям воронки ровным холмиком. Однако термиты, видимо, считают свою работу завершённой только тогда, когда воздвигнут кучу выше человеческого роста, порой их сооружения достигают пяти и больше метров в высоту.

Едешь-едешь по саванне иной раз сто, двести километров и не видишь ни одной деревушки. Только изредка попадется навстречу небольшой караван дромадеров — одnogорбых верблюдов. Завидев машину, погонщики тянут их скорее за веревку в кусты, а то они и сами тянут за собой погонщиков, смешно вскидывая задние ноги. Даже верблюды, исходившие немало дорог, не привыкли к виду автомобиля. Зато дикие животные проявляют к нему удивительное равнодушие.

Животный мир сомалийской саванны сказочно богат. Это край действительно непуганых птиц и зверей. Даже при звуке автомобильного гудка птицы не разлетаются, а будто делая нам снисхождение, медленно, переваливаясь с боку на бок, отходят в сторону. Каких только птиц здесь нет! Многие из них для того, чтобы подняться в воздух, должны разбежаться, а стоит ли тратить силы из-за какого-то глупого, ничего не разбирающего на своем пути «зверя». Птицы помельче взлетают, но уже из-под самых колес. Ночью, ослепленные светом фар, они часто разбиваются о радиатор. Антилопы и газели, не желая сражаться перед птицами, отбегают в сторону всего на несколько метров.

Днем, в жару, саванна безмолвна, она как будто погружается в оцепенение. Зато ночью! Не раз останавливали мы машину, чтобы послушать ее голоса. Где-то далеко-далеко кричит очень страшная, наверно, птица: «У-у-у! У-у-у! У-у-у!» Чуть ближе ей вторит другая: «Ту! Ту! Ту!» Совсем рядом чирикают, заливаются, очевидно, совсем крохотные пичужки. Все это тонет в таком лягушечьем концерте, что наши лягушки, конечно, лопнули бы от зависти. Но и их перекрывает сплошной, плотный, как стена, звон цикад... Временами доносится резкое взвизгивание шакалов. На кустах кругом мерцают огоньки светляков с копейку величиной.

Животные здесь почему-то питают необыкновенное пристрастие к дорогам. Не раз, сбегав с середины дороги стадо обезьян, мы обнаруживали там наворованные ими початки кукурузы. Видимо, обезьян соблазняют блага цивилизации.

И уже совсем поражает жителя Севера животный мир на берегах рек. Однажды нам указали на круги, идущие по поверхности воды.

— Смотрите.

Смотрим. Через минуту показывается огромная морда бегемота...

Другой раз, выйдя из машины на берег реки, мы обратили внимание, что вода под кустом как будто кипит. Присмотрелись — рыба.

Сопровождающий объясняет:

— Прячутся от крокодила...

Как-то в провинциальном городке мы зашли в лавочку, чтобы купить сигарет. Хозяин-итальянец спрашивает:

— А леопарда вам не нужно?

Мы не поняли.

— Леопардовую шкуру?

— Ну, если хотите, можно и шкуру. Но есть и живые...

В газете мы прочитали о таком происшествии: выскочившая из-за крутого поворота машина налетела на носорога. Носорога задавило, но погибли и все четыре пассажира...

Районный комиссар в Джелибе рассказывал о занятиях местного населения:

— Земледелие, скотоводство, охота.

Спрашиваем, на кого охотятся.

— Чаще всего на антилоп, иногда на слонов...

Некоторое представление о возможностях охоты в Сомали мы получили еще в Могадишо. Среди немногочисленной документации, розданной иностранным журналистам, значительную долю, как всегда в таких случаях, составляли рекламные проспекты. В их числе оказалась и реклама частной охотничьей фирмы «Сафари». Она издана авиационной компанией «Алиталиа», которая «предлагает своим пассажирам возможность полететь в Сомали — страну, где Африка предстает в диком и первобытном состоянии».

Реклама обещает, что за недорогостоящую лицензию вы сможете убить двух слонов, жирафа, гепарда, двух леопардов, страуса, двух бегемотов, зебру, двух львов, энное количество антилоп и газелей различных видов, кабанов, крокодилов, гиен, шакалов и всевозможной птицы. На первой странице проспекта помещена фотография — туша убитого слона, по его уху стекает струя крови. Под фотографией надпись: «Великолепный экземпляр слона, убитого единственным в Сомали профессиональным белым охотником — владельцем «Сафари» синьором Джулиано Белли дель Иска. Длина бивней — 2 метра 80 сантиметров, а вес их — 99,5 килограмма».

Конечно, охота местного населения мало похожа на развлечения богатых иностранцев. Для многих сомалийцев, особенно кочевников, она — одно из основных средств существования.

Во время поездок мы не раз встречали охотников, вооруженных копьями, луком и стрелами. Они рассказывали, что охотятся главным образом на тех животных, мясо которых пригодно для еды.

СОМАЛИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Дорога уходила все дальше на восток, в глубь страны, и холмистая саванна постепенно сменялась ровной, как стол, степью. Вскоре уже казалось, что ничто не сможет нарушить однообразия этих выжженных солнцем просторов.

Но вот далеко на горизонте появился странный, будто искусственно насыпанный холм. Когда мы подъехали к нему ближе, оказалось, что это огромная груда совершенно голых скал. Лобастые, отшлифованные за сотни тысячелетий ветрами и дождями, они были похожи на наши северные, только увеличенные во много раз валуны.

Неподалеку от этих скал дорогу пересекает пересохшее русло реки. Здесь на поверхность выходят подпочвенные воды. Поэтому тут когда-то и осело несколько десятков кочевников. Их деревушка Бур-Акаба лепится у самого подножия скал.

Перед входом в каждый тукуль — крошечный дворик за низкой изгородью. В нем сложенный из камней, обмазанных глиной, очаг и загончик для кур. Помещения для скота нет, он круглый год находится под открытым небом.

Хижины разбросаны как попало. Узкие, кривые улочки между ними могли бы показаться настоящим лабиринтом, будь деревня хоть чуточку побольше. А ведь Бур-Акаба — центр района. Через селение проходит большая дорога. Она и создает нечто вроде главной улицы. Вдоль нее выстроились маленькие лавчонки и даже некое подобие рестораника. И лавчонки и этот рестораник сделаны из того же материала, что и тукули, только под двускатной крышей. От этого они производят впечатление сараев.

Мы идем по деревне в сопровождении местного начальства — районного комиссара и лейтенанта полиции, одетого в новенькую, со скрипящими ремнями форму.

— Много у вас здесь дел? — спрашиваем мы у лейтенанта.

— Да всяко бывает, — отвечает он. — Крупных происшествий при мне не было. Случаются, конечно, ссоры и драки у водопоая из-за очереди или из-за потравы поля скотиной...

Видно, уже вся деревня знает о нашем приезде. Люди вышли из своих жилищ и с любопытством разглядывают редких в этих краях иностранцев.

Просим у комиссара — его зовут Мухаммуд Хаса Осбей — разрешения заглянуть в один из тукулей. Он громко говорит что-то стоящим вокруг крестьянам. Один из них делает рукой знак, чтобы шли за ним, и гостеприимно откидывает циновку, закрывающую вход в его жилище.

В тукулях нет окон, и поэтому внутри всегда, даже в самую большую жару, прохладно. Земляной пол устлан толстыми циновками. Когда глаза привыкли к полумраку, мы увидели, что две трети помещения занимает сооруженное из толстых веток ложе. Сквозь него проходит врытый в землю столб, поддерживающий крышу. Между стеной и столбом натянут кусок верблюжьей шкуры. Когда я спросил, каково его назначение, хозяин недоуменно ответил:

— Но ведь у меня взрослые дети.

Значит, кровать служит всей семье.

В каждой из виденных нами хижин царил образцовая чистота. Нас удивило только полное отсутствие в них каких-либо украшений. Когда мы расспрашивали об изделиях местных ремесленников, нам показывали все те же одноцветные циновки, ступы для толчения зерна, охотничьи луки, выдолбленные из дерева колчаны для стрел, украшенные несложным орнаментом, глиняные или плетенные из растительных волокон и пропитанные каким-то водонепроницаемым составом сосуды и всевозможные подставки для них — дно этих сосудов выпуклое, и без подставки они стоять не могут.

Мы хотели приобрести себе на память какие-нибудь изделия народного искусства. Но здесь ничего такого не оказалось. Потом мы все же нашли то, что искали. Незатейливые, вырезанные из дерева фигурки животных — жирафы, бегемоты, носороги — были окрашены бурой краской и покрыты резным орнаментом, похожим на тот, которым сомалийцы украшают свою глиняную посуду.

Но эти фигурки мы нашли уже в другом месте. Тогда же, на рыночной площади Бур-Акабы, уставший от наших расспросов комиссар Осбей сослался на то, что сомалийцы в подавляющем большинстве кочевники, а при таком образе жизни люди стремятся не обременять себя лишними вещами.

Впрочем, рынок Бур-Акабы и без того показался нам очень интересным. Посредине небольшой площади стоит крытый ряд. Здесь торгуют коровьим молоком и верблюжьим кумысом, зерном, мясом. Рядом сарай, из которого доносилось мерное постукивание движка, — мельница. А за мельницей мы увидели нечто вроде ткацкой фабрики под открытым небом. Представьте себе несколько рядов воткнутых в землю палок, скрепленных сверху перекладиной, — это и есть ткацкие станки. Под ловкими движениями мужских рук, с быстротой молнии перебрасывающих челнок, на землю спускается тонкая клетчатая ткань, очень красивых ярких расцветок — красной и зеленой... Эта ткань известна далеко за пределами Сомали под названием «бенадирская фута». Из нее делается праздничная одежда сомалийцев: кусок такой ткани плотно обертывается вокруг бедер, перебрасывается через одно плечо, а конец затыкается на груди или на поясе. Другой кусок, обычно иной расцветки, служит как бы накидкой, плащом. Если он достаточно велик, сомалийцы красиво драпируются в него. На повседневную одежду идет более грубая и одноцветная ткань сероватого оттенка, напоминающая наш дмотканый холст. На ногах сомалийцы носят самодельные кожаные сандалии.

Но это, так сказать, классическая форма национальной одежды. С проникновением промышленных товаров, ввозимых из-за границы, появилось множество отступлений от нее. У мужчин кусок материи теперь часто служит лишь подобием юбки, сверху же надевается обыкновенная майка, рубашка или даже пиджак. В городах большинство мужчин носит штаны европейского покроя, иногда короткие. И уже совершенно вытеснена в городах местная обувь. Но даже состоятельные сомалийцы предпочитают туфлям и ботинкам сандалии из мягкого пластика. Собственно говоря, это две подошвы с петлями для больших пальцев. Такие сандалии в огромном количестве поставляются в африканские страны из Японии. В Могадишо ими торгуют чуть ли не на каждом углу. На голове городских жителей — шапочка «кофия». Она шьется из мягкой ткани, чаще всего белого цвета, и покрывается тонким узором из золотых или серебряных нитей.

Горожанки носят обычно очень открытые хлопчатобумажные платья. А иные шеголихи, не желая отказываться от национального костюма, укутываются с ног до головы в огромные куски... панбархата самых что ни на есть ядовитых оттенков: ярко-оранжевого, изумрудного, синего...

Справедливости ради надо отметить, что в массе своей сомалийцы обладают тон-

ким вкусом и не преминут продемонстрировать его, если только позволяют материальные возможности.

Конечно, понятие красоты очень относительно. Но отнюдь не собираясь навязывать своих взглядов другим, мы не всегда можем отказаться от собственных представлений. Словом, сомалийцы красивы с европейской точки зрения. Высокие, стройные, с кожей теплого шоколадного цвета, с правильными чертами лица и чуть припухлыми губами, сомалийцы обладают каким-то врожденным изяществом и даже грацией.

Глядя на упругий шаг молодого полуобнаженного красавца, не можешь отрешиться от впечатления, что перед тобой ожившая античная статуя. Женщины очень кокетливы и весьма умело используют преимущества национального костюма, плотно облегающего фигуру и оставляющего обнаженными руки и плечи.

Несмотря на то, что сомалийцы исповедуют ислам, женщины не закрывают, как другие мусульманки, лиц. Немногочисленное исключение составляют горожанки, вышедшие замуж за арабов или пакистанцев; они ходят в черной одежде, и издали кажется, что у них красное, сиреневое или желтое лицо — по цвету спущенной на него прозрачной кисеи.

Как часто еще водится на Востоке, сомалийские женщины выполняют самую тяжелую работу, и красоты их хватает ненадолго. Сколько раз, повстречав на дороге караван, мы видели мужчин, шествующих с хворостиной в руке, в то время как женщины несли не только привязанных за спиной детей, но еще умудрялись поддерживать на голове целые пирамиды из горшков и узлов. Или идет по дороге пара. Мужчина по привычке, доставшейся от многих поколений кочевников-пастухов, держит заложенный за спину посох и от этого кажется еще более стройным. У женщины же за спиной огромный глиняный сосуд в плетеной корзине. Если женщина молодая, она еще бросит исподлобья горящий любопытством взгляд на такую диковинную штуку, как автомобиль. А чуть постарше — ей уже не до диковинок...

— Развитие нашего хозяйства и повышение уровня жизни населения,— говорит комиссар Осбей,— упирается прежде всего в отсутствие воды. Колодцев едва хватает, чтобы напоить скот. Землю у нас обрабатывают только мотыгами. И все же в массе оседлое население живет лучше кочевников.

Сомалийское правительство еще до провозглашения независимости наметило план ликвидации кочевничества и перевода всего населения на оседлый образ жизни. Собственно, процесс этот уже начала сама жизнь. Кочевничество тесно связано с племенной структурой сомалийского общества, а история уже вынесла ему свой приговор и в Африке. В наши дни патриархальные родоплеменные отношения часто служат лишь маскировкой господства богатой племенной верхушки над своими нищими соплеменниками.

И все же вековые традиции еще сильны, они владеют умами людей, питают их иллюзии. Мы неоднократно сталкивались с этим в Сомали, да и в других африканских странах.

Вот, к примеру, тот же комиссар Осбей. Как и другие административные лица, он не может состоять членом какой-либо политической партии (министры — другое дело: они «политические деятели»). Раньше же он входил в правящую партию «Лига сомалийской молодежи». Затронув тему будущего своей страны, Мухаммуд Хаса Осбей говорит:

— Наш идеал общественного строя — это социализм африканского типа.

— Как вы его себе представляете?

— Мы, сомалийцы,— братья друг другу. Богатый помогает бедному, за что бедняк отработывает богатому, чем тоже ему помогает. Наш социализм отличается и от капитализма, и от коммунизма,— заключает он.

О том, что имеет в виду, говоря о коммунизме, комиссар селения Бур-Акаба, можно судить по следующим вопросам, которые он совершенно серьезно задавал нам о жизни в Советской стране: «Какая разница между людьми, работающими на правительство и на себя?», «Можете ли вы сами распоряжаться той заработной платой, которую полу-

чаеете?», «Так это, значит, неправда, что у вас общие жены?»... Вопросы я привожу дословно. Не надо удивляться их набившему оскомину стандарту. То, чем сорок лет назад промышляла враждебная нам пропаганда на Западе, телерь сбывают как новинку на Востоке.

Но если сомалийцы мало знают о коммунизме, то капитализм они узнали предостаточно, и можно определенно сказать — он не пришелся им по вкусу.

Вернемся к межплеменным отношениям. Наиболее крупные сомалийские племена — дир, дарот, хауйя, дигиль и рахануин. Три первых считают себя потомками арабского племени корейшитов, к которому принадлежал пророк Мухаммед. Они очень гордятся этим и еще недавно относились с презрением к другим племенам, особенно к тем сомалийцам, которые занимаются земледелием или ремеслом.

Межплеменные распри сыграли роковую роль в истории сомалийцев. Именно их ловко использовали колонизаторы для захвата и расчленения страны. Но, увы, и в 1960 году нам довелось услышать отголоски все тех же старых споров даже из уст некоторых образованных сомалийцев. Не знаю, правда, насколько это соответствует действительности, но один сомалиец сказал мне:

— О, сделать это для меня проще простого. Ведь главное лицо в этой отрасли хозяйства республики — мой соплеменник.

Через несколько минут выяснилось, что все начальство в той же отрасли на местах тоже его соплеменники. Присутствовавший при этом разговоре другой сомалиец смотрел на говорящего с неприязнью, но и не без зависти:

Хочется верить, что все это скоро уйдет в безвозвратное прошлое. Сомалийское правительство уже издало закон о ликвидации племенной собственности на землю, а конституция республики провозглашает равенство всех сомалийцев вне зависимости от того, из какого племени они вышли.

Правда, претворение в жизнь этих прогрессивных законов дело более сложное, чем их составление. Но руководители страны понимают, что главный и решительный удар по племенному строю может нанести лишь новая, более высокая ступень экономического развития — оседлое земледелие. Привязать же кочевника к земле может только вода. Она есть в Сомали почти повсеместно. Как показали геологоразведочные работы, по всей стране и на небольшой глубине, от четырех до пятнадцати метров, залегают подпочвенные воды. Таким образом, для засушливых районов страны задача добыть из-под земли воду имеет первостепенное значение. Да и здесь кое-что сделано за годы опеки. Но, как и в других областях, сделано крайне мало.

Но ведь достать воду — это тоже еще не все. Африка живет не изолированно от остального мира, теперь она уже не хочет, да и не может существовать в ином веке, нежели другие государства. Чтобы выстоять, чтобы обеспечить себе подлинную свободу, африканские страны должны быстро наверстать упущенное. Как нужна им в этом искренняя и действенная помощь со стороны развитых в экономическом отношении стран! Не умышленно ли толкают Африку те, кто дарит ей соху, на мучительный, рассчитанный еще на века отсталости путь?

— Мы долго были под гнетом колонизаторов, — говорит на прощание Мухаммуд Хаса Осбей. — Теперь надеемся идти вперед быстрее.

В это верят все сомалийцы. И они правы: завоевав независимость, они положили начало новому этапу своей истории, темпы которого будут несравнимо быстрее, только бы не ставили им палок в колеса мнимые благодетели.

«ОДНА СТРАНА, ОДИН НАРОД»

Это слова одного из самых популярных в Сомали лозунгов. Однако показалось странненьким уже то, что чиновник могадишского аэропорта вручил мне для заполнения таможенную декларацию.

— Вы, очевидно, ошиблись, — говорю ему. — Я еду не за границу. Ведь теперь Харгейса — губернский город Республики Сомали.

— Знаю, но мы еще не получили новых инструкций.

«Ну что ж, очевидно, бюрократическая машина работает медленно и в Африке», — подумал я.

Двухмоторный, выдавший виды «дуглас» компании «Аден Эйруэйс» прилетел из Найроби с трехчасовым опозданием... Наконец объявлена посадка. Внутри самолета дюжина продавленных кресел с ободранной обивкой. Здесь же к обнаженному каркасу привязаны веревками на случай качки чемоданы, ящики, мешки. Мой сосед — харгейский коммерсант, приехавший в Могадिशу на празднование Независимости, ворчит:

— Баржа с крыльями.

Против этого нечего возразить даже стюардессе — аравийской девушке, внимательно проверяющей, все ли пассажиры застегнули ремни, окончательно связавшие нас с судьбой «дугласа». Но вот он, немного пофырвав, против ожидания бойко оторвался от земли и, не набирая большой высоты, полетел прямо на север.

Под нами степь, которую сомалийцы не без основания называют «губан» — «сожженная». Потом ее сменили голые горы; о них тоже можно было бы сказать «губан». Берег океана ушел вправо. Где-то там, на конце Африканского Рога, как называют иногда Сомалийский полуостров, лежит край мирры и ладана. Может быть, это и есть та таинственная «страна Пунт», в которую еще много тысячелетий назад египетские фараоны снаряжали караваны за благовониями для храмов и которую никак не могут отыскать современные ученые. Во всяком случае, и сейчас живущие на севере страны сомалийцы собирают с камеденосных деревьев ароматические смолы, идущие на экспорт.

...У меня в кармане рекомендательное письмо к губернатору Харгейсы от премьер-министра бывшего Сомалиленда Ибрагима Эгала. Я запасся им, помня о том, что еду в места, где буду не только первым советским гражданином, но, кажется, вообще первым приехавшим из России человеком.

Господин Эгаль подробно рассказывал мне о той борьбе, которую пришлось выдержать сомалийцам севера, прежде чем они добились независимости и возможности объединиться со своими братьями.

Несмотря на то, что британский протекторат экономически развит еще слабее, чем подопечная территория, он, пожалуй, представляет в глазах колонизаторов большую ценность, так как непосредственно замыкает с юга вход из Индийского океана в Красное море.

Вскоре после окончания второй мировой войны, когда решался вопрос о судьбе бывших итальянских колоний, правительство Англии выдвинуло было предложение об объединении в составе нового британского доминиона около трех миллионов сомалийцев, живущих в итальянской и английской колониях Сомали, а также на эфиопской территории Огаден. Этот шитый белыми нитками план расширения британских владений провалился. Когда же бывшая итальянская колония Сомали была поставлена под опеку с последующим через десять лет провозглашением ее независимости, казалось, об этом проекте забыли и сами авторы.

Шло время. Италия, пытавшаяся вначале управлять подопечной территорией старыми, колониальными методами, начала понимать, что такая политика ведет ее прямым путем к новому краху в Сомали. Сомалийцы не намеревались отказываться от тех преимуществ, которых они добились. Согласно Уставу ООН Италия была обязана содействовать развитию подопечной территории в направлении независимости, и сомалийцы требовали соблюдения этого предписания. Когда в 1956 году в Могадिशу было наконец сформировано местное правительство, итальянская администрация решила сманеврировать.

Есть у сомалийцев такая пословица: «Если у верблюда отвязалась узда, беги за ним не с палкой, а с приманкой». Восприняв эту мораль, колонизаторы предоставили сомалийцам заниматься политическими делами, с тем чтобы экономика по-прежнему оставалась в их руках. Они не изобрели чего-то нового. Ныне эта политика, известная под названием «неоколониализма», уже разоблачена. Африканские народы хорошо знают, что без экономической независимости не может быть подлинной свободы.

Уже первые успехи сомалийцев не могли не оказать влияния на развитие национально-освободительного движения в соседних колониях. Настал день, когда и в британском протекторате население подняло голос в защиту своих прав. Видя, что дело оборачивается плохо, английское правительство вновь вытащило на свет старый проект, приспособив его к новым обстоятельствам. На этот раз в составе доминиона предлагалось объединить подопечную территорию и британский протекторат с английскими колониями на юге Аравийского полуострова. По-прежнему не отказываясь от надежды расширить свое влияние в Северо-Восточной Африке, правящие круги Англии рассчитывали еще крепче привязать к себе и юг Аравии. В последние годы там не прекращаются вооруженные столкновения между местными арабскими племенами и колониальной армией. Предоставлением статуса доминиона англичане хотели «умиротворить» как сомалийцев, так и южноаравийских арабов, а главное, сохранить за собой стратегические позиции на стыке Красного моря и Индийского океана.

Вооружившись этим планом, министр колоний Англии Леннокс-Бойд явился в феврале 1959 года в Харгейсу. Там он изложил его членам законодательного совета. Однако, несмотря на то, что члены совета были назначены английским же губернатором, большинство из них отвергло план колонизаторов и потребовало проведения в стране свободных выборов.

Англичане тщательно к ним подготовились, но, когда выборы состоялись, оказалось, что партия проанглийской ориентации потерпела сокрушительное поражение, сумев провести в парламент всего-навсего одного депутата. Впрочем, в сложившейся ситуации даже он был вынужден проголосовать за слияние двух сомалийских территорий в единое независимое государство.

— Англичане,— говорил Ибрагим Эгаль,— уже и не хотели бы такого объединения. Но деваться им было некуда..

Территория бывшего британского протектората составила две из шести провинций Республики Сомали, а тридцать три избранных ее населением депутата присоединились к восьмидесяти восьми депутатам бывшей подопечной территории, создав общее законодательное собрание. В новом сомалийском правительстве четыре министерских портфеля получили депутаты от северных провинций. В их числе Ибрагим Эгаль стал министром обороны, а Али Гард Джама — министром просвещения,

Перечитывая сделанные в Могадишо записи, я и не заметил, как мы подлетели к Харгейсе. Уже самые первые впечатления от этого города свидетельствовали о значительном контрасте между ним и Могадишо.

Здание могадишского аэропорта — это большой и довольно грязный деревянный барак, выкрашенный в унылый зеленый цвет. Аэропорт Харгейсы — маленький, но аккуратный каменный домик с крошечным залом ожидания, крошечным баром и другими такими же крошечными и очень чистыми помещениями. На могадишском аэродроме в ожидании опаздывавшего самолета я от нечего делать наблюдал за двумя полицейскими, которые никак не могли улечься на деревянных скамейках так, чтобы их не задевали солнечные лучи. В Харгейсе у трапа самолета пассажиров ждал полицейский офицер с такой выправкой, будто у него к спине привязана доска, левой рукой он прижимал стек.

Отдавая офицеру свой паспорт, я спросил, не может ли он позвонить в канцелярию губернатора и сказать, что прилетел советский журналист, у которого есть письмо к губернатору от господина Эгалья. Когда с молниеносной быстротой были выполнены формальности для всех прибывших пассажиров, офицер подошел ко мне и, указывая стеком дорогу, попросил следовать за ним. Мы сели в машину и поехали в город.

Рассказывая о Могадишо, я не стал подробно описывать его окраины. Трущобы всюду и всегда похожи, да и писали о них уже много раз. Окраины Харгейсы столь же бедны, но их нищета, так сказать, более «благопристойна». Несколько кварталов из хижин напоминало своей планировкой военный лагерь. Оставшиеся от военноевропейского времени побеленные бараки из гофрированного железа были приспособлены для жилья; заграждения из колючей проволоки служили теперь заборами.

За этими кварталами находилось широкое русло высохшей реки, пересеченное бетонированной полосой для проезда машин. На другом берегу довольно обширную площадь занимает «парк»; между деревьями с зонтиковидными кронами, кактусами и такими же колючими, как они, кустами проложены аккуратные песчаные дорожки.

Через город проходит лишь одна асфальтированная улица, другие густо посыпаны гравием. Город состоит сплошь из одноэтажных каменных домов. Они расположены на значительном расстоянии друг от друга. Между домами растут деревья и кусты. О них трудно сказать «зелень», но, оказывается, и колючки дают какую-то тень.

Потом мне объяснили, что английские колониальные власти разрешали строить в Харгейсе лишь по типовым проектам. Ни один из них не допускал ни галерей, ни веранд, ни даже огороженных дворов. Мотивировалось это тем, что так легче поддерживать чистоту, а грязь в жарком климате влечет за собой эпидемические заболевания.

Что ж, вправе спросить читатель, английский колониализм, оставивший свои порядки, лучше итальянского, насаждавшего свои? Я думаю, что «оба хуже», хотя разница между ними, безусловно, существует. И если уж сравнивать английский колониализм с итальянским, то надо сказать, что первый более опытный, более хитрый и более дальновидный, чем второй. Но разница эта обнаруживается лишь в методах. Любой колониализм преследует одни и те же цели — получение экономических, политических или военно-стратегических преимуществ за счет других стран и народов.

Итальянские колонизаторы стремились осуществить эти цели с лихорадочной поспешностью, не заглядывая в завтрашний день. Англичане действовали более осмотрительно, тщательно взвешивая все вновь возникавшие обстоятельства. Кое-где, когда уже не хватает сил сдерживать напор национально-освободительной борьбы, они даже соглашались, и будто бы добровольно, поступиться частью своих интересов, ради того чтобы попытаться сохранить за собой другие, прежде всего экономические и военно-стратегические.

Впрочем, там, где существует большое число европейских поселенцев, а это всегда наиболее богатые страны, и где, следовательно, экономические интересы гораздо значительнее, колониализм упорно отказывается идти на уступки. Вопиющий пример Конго у всех перед глазами. А Алжир? А Центральная Африка? А Кения? Между прочим, «согласившись» на провозглашение независимости Сомали, Англия заявила сомалийскому правительству, что она «не готова» вести с ним переговоры о судьбе северной провинции Кении, также населенной сомалийскими племенами.

Может возникнуть и другой вопрос: следует ли из сказанного, что англичане сделали в колониях больше, чем, скажем, те же итальянцы? Но ведь важно-то совсем другое! То, что сделали англичане, они сделали прежде всего для самих себя.

Да, в Харгейсе соблюдались санитарные правила, потому что здесь жили англичане. Но имел ли возможность больной сомалиец обратиться к врачу? На обширных пространствах бывшего протектората люди не только не знают, что такое больница, но и в глаза не видели врача, фельдшера или хотя бы санитаря.

Да, в Харгейсе есть аэропорт. Но ведь сомалийцы по-прежнему пользуются верблюдами, а не самолетами. Когда я возвращался с Мадагаскара в Европу, наш самолет сделал посадку в Найроби. Там тоже построен аэропорт, причем такой, что ему может позавидовать иная европейская столица. Однако, когда кенийцы попробовали было поднять голос в защиту своих элементарных человеческих прав, над ними была учинена одна из самых кровавых в истории колониализма расправ. Как же, ведь они «покушались на английскую собственность»! А за счет кого эта собственность приобретена, на чьей земле, чьими руками создана? И в конце концов кто звал сюда колонизаторов?

Мы обедали с губернатором Харгейсы Османом Ахмедом. Из его рассказа я узнавал о тех же проблемах, неизменно встающих перед всеми, только что избавившимися от колониального гнета странами. И здесь на первом месте — необходимость развития экономики. В Северном Сомали, где нет ни одной непересыхающей реки, эта задача

осложняется отсутствием колодцев. Губернатор так и сказал: «Проблема воды, особенно колодцев».

Засушливым климатом и неплодородностью земли объясняют здесь и то, что в протекторате практически не было фермеров-европейцев. Но чем объяснить, что европейцы вообще не имеют в Северном Сомали сколько-нибудь серьезных по сравнению, скажем, с Кенией экономических интересов? Ответ на этот вопрос я неожиданно услышал, как ни странно, от монаха.

Встреча с ним произошла при таких обстоятельствах.

Когда губернатор спросил, где бы я хотел остановиться, в городской гостинице или в гостинице при английском клубе, я ответил, что, приехав к сомалийцам, предпочел бы и жить среди них. Но губернатор, сославшись на неудобства городской гостиницы, позвонил по телефону в английский клуб и попросил принять меня там.

Заведение это официально называется «Харгейса-клуб». Как и следовало ожидать, оно оказалось осколком Англии, заброшенным в Африку.

...Среди обедавших в столовой была женщина — председатель клуба — и несколько мужчин. Последние делились на две категории: постарше — с аккуратными, напомаженными проборами, помоложе — подстриженные под мальчишек, с одинаковыми нарочитыми хохолками на макушках. Соответственно прическам одни были в белых накрахмаленных рубашках, другие — в ковбойках с закатанными рукавами. Вскоре к обедавшим присоединился монах в поношенной коричневой рясе, подвязанной веревкой, и сандалиях на босу ногу. Как это ни странно, внешне он чем-то неуловимо походил на младшее поколение членов клуба. Впрочем, несмотря на различие во внешности, все с аппетитом поглощали традиционный английский обед: жиденький картофельный суп, переваренную курицу с овощами и совершенно прозрачный кофе. Словом, все как на островах.

Хотя за весь обед я не смог поймать на себе ни одного прямого взгляда, было ясно, что внимание всех присутствовавших сосредоточивалось на чуде из чудес — советском журналисте, обедающем в «Харгейса-клуб»! Дюжина глаз так внимательно изучала меня, что я даже поперхнулся. Огляделся — никто как будто бы и не проявляет никакого внимания к незнакомцу. И в то же время каждый, конечно, подумывал о том, что в жизни наступают неизбежные перемены, если уж в святая овятых британской колонии объявился советский журналист. При колониальной администрации этого произойти не могло.

Преобедав, я вышел в холл. Просторный зал, портрет улыбающейся королевы на стене. В углу на мягких кожаных креслах отдыхало английское семейство. Папаша курил сигару и читал лондонский «Таймс», у его ног на паркете лежал, сладко зевая, огромный дог. Не было бы ничего удивительного, если бы, невзирая на африканскую жару, в холле горел английский камин.

Я ждал, когда кончит обедать председатель клуба. Узнав у нее распорядок клубной жизни, я хотел было откланяться, но тут заговорил монах, вышедший вместе с ней из столовой:

— Не согласитесь ли вы побеседовать со мной?

Я не возражал.

— Что мы выпьем? — весело спрашивал тем временем монах.

Он был среднего возраста, сохранял спортивную фигуру, и в его глазах то и дело вспыхивали искорки жизнерадостности. Вот так святой отец!

Выпив рюмку коньяку, монах заказал вторую. Он рассказал, что принадлежит к католическому ордену капуцинов и уже много лет остается единственным представителем христианской церкви на территории бывшего протектората. По его словам, английский священник лишь временами насзжает сюда из Адена.

— Как, здесь не было миссионеров?

В ответ я услышал историю, проливающую свет на особенности управления этой недавней английской колонией.

Чтобы наш разговор был понятен, следует предварить его небольшой исторической справкой.

Еще в 1899 году на территории Северного Сомали вспыхнуло мощное восстание. Во главе его стоял мулла Мухаммед ибн-Абдаллах. Вскоре восстание распространилось и на значительную часть итальянской колонии. Со временем оно вылилось в подлинно освободительную войну сомалийского народа, стремившегося вернуть свою независимость.

Деятельность Абдаллаха не исчерпывалась вооруженным сопротивлением чужеземным захватчикам. Он был национальным руководителем широкого кругозора, стремившимся искоренить межплеменную вражду и сплотить воедино сомалийский народ. Строя крепости, Абдаллах одновременно заботился и о развитии экономики страны — организовывал рытье колодцев и призывал своих соотечественников к оседлому образу жизни и земледелию.

Борьба сомалийцев под руководством Абдаллаха вписала в историю сопротивления африканских народов одну из самых славных ее страниц. Несмотря на превосходство сил колонизаторов, война в Сомали бушевала больше двадцати лет. Лишь в 1920 году, бросив против плохо вооруженных сомалийцев авиацию и танки, Англия и Италия смогли сломить организованное сопротивление местного населения.

В ходе подавления восстания англичане прибегли не только к силе. Они вновь умело воспользовались межплеменными распрями. Кроме того, чтобы не возбуждать к себе еще большей ненависти, власти эвакуировали из колонии всех «лишних» европейцев, в том числе и миссионеров. Расчет был прост. Правительство Англии решило пренебречь проблематичными экономическими ресурсами Сомалиленда, чтобы удержать военно-стратегические позиции на южном побережье Аденского залива.

Монах говорил главным образом о том, как были вывезены миссионеры, но из его рассказа вырисовывалась картина мужественной борьбы сомалийцев, принудивших колонизаторов умерить свои аппетиты.

Между прочим, монах бросил такую реплику:

— Мухаммеда Абдаллаха прозвали «бешеным муллой». Но на самом деле он был умным человеком, талантливым военачальником.

Сперва я подумал, что эта тирада была произнесена с расчетом произвести на меня впечатление. Оказывается, нет. И официальная британская пропаганда послевоенного периода создает видимость уважения к национальным деятелям. Начальник бюро информации в Харгейсе Абдулрахим Фарах показал мне фотографию развалин крепости в местечке Телех. Крепость эта была одним из основных укрепленных пунктов армии повстанцев. После того как Абдаллах был вынужден бежать в Эфиопию, где он вскоре умер, англичане ее взорвали. А после второй мировой войны те же англичане объявили оставшиеся от крепости руины... национальным памятником Сомали. Конечно, крепость всегда была для народа национальной святыней. Колониальные власти рассудили, что, запретив паломничество к ней, они будут лишь способствовать превращению развалин Телеха в символ борьбы и сопротивления их владычеству. И надо прямо сказать, кое-кто из сомалийцев попался на удочку, поверив в «перерождение» империализма.

Но если колониализм менял методы, то цели его оставались неизменными. Подавив вооруженное сопротивление сомалийцев, англичане, оставшись в ограниченном, но вполне достаточном для поддержания «порядка» числе, сумели пустить корни во все области жизни колонии. Теперь, когда провозглашено объединение двух территорий, населенных одним и тем же сомалийским народом, перед ним встала задача осуществить это объединение на деле. Задача эта очень сложна. За теми, будто и маловажными контрастами, бросившимися в глаза при переезде из Могадишо в Харгейсу, кроется несравнимо большее, нежели разница в выправке у полицейских. Это разные системы в армии, разные структуры государственных учреждений, различные судебные кодексы и т. д. и т. д. Когда, приехав в Харгейсу, я пошел в банк (это было отделение «Английского банка»), мне выдали там восточно-африканские шиллинги, то есть валюту, которая имеет хождение во всех английских владениях Восточной Африки.

В соответствии со всем этим бывшая подопечная территория остается связанной своими договорами с Италией, а бывший протекторат — своими с Англией.

Нет, оказывается, заполнение таможенных деклараций на линии Могадишо—Хар-

гейса не бюрократическое извращение. Для того чтобы Республика Сомали стала действительно «одной страной», ей еще предстоит преодолеть немало препятствий. И хотя даже губернатор Осман Ахмед пока не мог сказать, как практически будет происходить унификация страны, он, да и все сомалийцы уверены, что они преодолеют и эти препоны.

ЧЕРЕЗ ГОРЫ И ПУСТЫНЮ

Ровно в шесть часов утра во двор «Харгейса-клуб» въехал присланный за мной губернатором полицейский вездеход «ленд-ровер». Утро стояло прохладное или казалось прохладным после вчерашней сорокаградусной жары (во внутренних районах Сомали разница между дневной и ночной температурой иногда доходит до тридцати градусов). Выехав за город, шофер снял форменный берет с кокардой, изображающей газель, и повязал, по местному обычаю, голову платком. Сам он воспринял эту трансформацию как сигнал к переходу от строго официальных к дружеским отношениям со своим пассажиром. Жаль только, что между нами незримо стоял языковой барьер. Увидев что-нибудь у дороги, шофер вспоминал соответствующее английское слово и, если находил его, радостно спрашивал: «Как по-русски будет дом?», «Как по-русски будет кукуруз а?», «Как по-русски будет д е р е в о?»... Вскоре после того, как мы переехали через край горной котловины, в которой лежит Харгейса, потянулась однообразная, голая равнина. Поэтому, откровенно говоря, память шоферу приходилось напрягать не очень часто. Пейзаж оживляло лишь несколько таких же нагромождений скал, как те, что мы видели у Бур-Акабы, да гряда синеватых гор на горизонте. Показав в их сторону, шофер сказал:

— Эфиопия.

Часа через три, снова поднявшись в горы, мы въехали в городок Борама. Здесь мне предстояла «пересадка». Местный начальник, получив переданное ему шофером письмо губернатора с просьбой оказать советскому журналисту содействие, без лишних слов сел в нашу машину, чтобы ехать в расположение воинской части. Там, как он объяснил, мне дадут другой «ленд-ровер», на котором я смогу добраться до границы «французского» Сомали.

Даже слово «городок» звучит для Борамы, пожалуй, слишком громко. Это несколько выстроенных по тем же английским типовым проектам одноэтажных каменных домов. Жарко, тихо, на улице ни души.

Начальник рассказывает, что месяц назад, в дни празднования Независимости, в Бораму съехалось несколько тысяч человек. Много кочевников-сомалийцев пришло и из Эфиопии. А через несколько дней я прочел в газетах, что в районе городка Борамы произошло ожесточенное сражение между сомалийцами и эфиопами, испокон веков враждующими из-за пастбищ и колодцев.

Сомалийско-эфиопские отношения очень напряжены. До сих пор, несмотря на многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, не определена граница между Эфиопией и бывшей подопечной территорией. Кровавопрлитие у Борамы не единичный случай. Движение афро-азиатской солидарности высказалось за то, чтобы сомалийско-эфиопский спор был разрешен путем свободного плебисцита. Другое решение этой наболевшей для обеих сторон проблемы, которая искусно раздувалась колонизаторами, найти трудно.

...Военный лагерь разбит за крайним домом. На расчищенной от кустарника площадке взвод солдат проделывал какие-то сложные строевые упражнения, предусмотренные английским военным уставом.

Узнав, в чем дело, офицер приказал трем солдатам завести машину.

— Какую помощь окажет нам Россия?

Это были первые слова, с которыми офицер обратился ко мне. По его мнению, лучше всего, если Россия начнет с поисков нефти.

Так же, как на бывшей подопечной территории, в северных районах Сомали иностранные компании ищут нефть. И так же, как там, местное население убеждено, что компании умышленно не объявляют о своей находке. А надежд, возлагаемых на нефть,

здесь еще больше, чем на юге. Видимо, сказывается близость нефтеносных районов Аравийского полуострова, да и связи с английскими колониями Ближнего Востока были в протекторате сильнее. Сюда доносится и запах нефти и молва о богатстве, которую она может принести. Может быть, именно поэтому все разговоры при встречах с людьми в этом пустынном крае неизменно сводились к одному и тому же.

В сотне километров за Борамой лежит поселок Бон. Когда машина остановилась, нас окружили местные жители. Спрашиваю, не говорит ли кто-нибудь по-английски или по-французски.

— Я говорю по-французски.— Вперед выступил мальчуган лет десяти. Он родился и вырос в Джибути.

— А еще кто-нибудь?

Настороженное молчание.

Прошу мальчика объяснить людям, что я советский журналист. Сразу же выясняется, что стоящий ближе других мужчина — его отец — тоже говорит по-французски.

— Когда Россия поможет нам найти нефть?..

Еще через несколько часов пути дорогу перегородил перевернувшийся грузовик. Кабина водителя смята. Вокруг валяются бочки с керосином, узлы, ящики, японская сандалия из пластика... В низинке между двух холмов под деревом сидели двое полицейских. Они дожидались, когда приедут люди, чтобы расчистить дорогу. Полицейские рассказали, что машина перевернулась вчера. Пять человек тяжело ранены, шофер умер.

— Напишите об этом в «Правде»,— говорит один из них.— Вот что значат плохие дороги...

— Нет,— перебивает другой,— напишите лучше о том, что мы не хотим больше видеть у себя ни англичан, ни французов, ни итальянцев. Пусть приедут русские и помогут нам найти нефть...

После Борамы дорога, вновь подождая вплотную к границе с Эфиопией, резко, под прямым углом, поворачивает на север, прорезая горный массив.

В этих особенно засушливых районах пустыней называют фантастические нагромождения скал, присыпанных щебнем. Кажется, что деревья и кусты сменили листья на колючки не только потому, что широкий лист испарял бы слишком много влаги, но и потому, что так растению легче продираться сквозь каменные россыпи. Древовидные кактусы с вытянутыми кверху отростками будто подтверждают это впечатление. Колючки же такие, что, раз неосторожно приблизившись к кусту, потом стараешься обойти его подальше. Стоит одной колючке зацепиться, и, пока деликатно пытаешься вытащить тончайший крючок, которым она кончается, в тебя впивается несколько десятков других. Прокалывая одежду, они до крови царапают кожу. Просто страшно становится за верблюдов, меланхолично обшипывающих такой куст.

Чем дальше в горы, тем суровее природа. Камни, камни и камни. Даже кактусов не видно. Ведь кактусы зеленые, а здесь все должно быть бурым, под цвет камней. Бурые колючки, бурые травинки. Словно после пожарища. Только небо над головой белесое. Впереди, позади, вокруг — голые бурые горы.

Извиваясь, дорога то поднимается вверх, то спускается вниз. По видимым ее отрезкам можно догадаться, что дорога выбирает места пониже и не очень крутые, стремясь перепрыгнуть через седловину. За седловиной виден новый хребет. Перевалишь через него, спустишься вниз, пересечешь высохшее русло горного потока («Неужели здесь бывают дожди и по земле, то есть по камням, бежит вода?») и снова карабкаешься вверх, к следующей седловине, а через нее уже видна следующая гряда... Кажется, этому не будет конца, а солнце печет и печет, все сильнее и сильнее.

И снова задаешь себе вопросы: «Неужели здесь может быть жизнь? Неужели здесь есть люди, которые не как ты, не случайно, оказались в этой стране? Неужели они здесь живут, пусть даже кочуя? Живут, возвращаются обратно, а не, как ты, прохорят эту страну, чтобы сохранить ее лишь в памяти?..»

Впереди над такими же пустынными скалами парят орлы. Орлы? Значит, они надеются различить что-то живое между этими дикими камнями. Ну, а если уж птица

надеется, что здесь есть жизнь, то человек, бесспорно, может утвердить ее. И правда, вскоре мы повстречали караван.

Впереди несколько пожилых мужчин гнали стадо коз и черноголовых овец. Ребяташки с хворостинами в руках не давали им разбрестись в стороны. Затем стройные, насквозь прокаленные солнцем парни вели верблюдиц. Шествие замыкали женщины — на обнаженных руках выше локтя толстые серебряные браслеты, короткие волосы заплетены в множество тоненьких косичек. Женщины держали за уздечки верблюдов, груженных нехитрой утварью; у некоторых привязаны концами вверх согнутые в дугу прутья, служащие каркасом для переносных жилищ, между ними — свернутые шкуры, которыми этот каркас покрывается. Еще несколько мужчин, очевидно наблюдающих за общим порядком, переходили от одной группы к другой.

Прошу Ахмеда — так зовут шофера — остановить машину. Мгновенно мужчины, следящие за порядком, делают какие-то знаки. И караван как будто сжимается и отступает подальше от дороги. Лишь нещадно блеющие овцы и козы нарушают эту прямо-таки военную дисциплину.

Вперед выходят мужчины. Выстроившись в ряд, они загораживают караван. Смуглая кожа блестит на солнце. На головах копны длинных густых волос. Таких густых, что в них держатся деревянные с резной ручкой гребни. На ногах самодельные сандалии. В руках копыя. За поясом в футлярах из сыромятной кожи широкие, кривые и тоже самодельные ножи. Грозный вид усугубляется неприязненным выражением лиц. Вперед выходит старейшина.

Никто из кочевников не знает ни одного иностранного слова. Мои провожатые знают на троих десять английских: «независимость», «колониализм», «машина», «колесо», «бензин», «поехали», «хорошо», «плохо», «да», «нет». Правда, они знают еще, что я из далекой страны «Русна», которая поддерживает борьбу африканцев за свободу. Но пока они тактично не вмешиваются в происходящее.

Показывая на фотоаппарат, жестами прошу старейшину разрешения сфотографировать его. Решительным движением головы он отказывает. Закрываю крышку фотоаппарата. Мол, нет так нет. А можно посмотреть его посох? С обеих сторон на плоской рукоятке вырезан простой и тонкий орнамент. В бороздках — пыль долгих дорог. Стараюсь дать понять, что резьба мне очень нравится. Потом внимательно рассматриваю нож. Возвращая его, замечаю, что чувство неприязни сменилось у людей удивлением: видимо, не часто встречался им в этих краях белый человек, который с интересом отнесся бы к дорогим для местного жителя вещам.

Протягиваю на прощание руку и направляюсь к машине. За моей спиной солдаты и кочевники о чем-то оживленно говорят. Слышу окрик. Оборачиваюсь: на лицах приветливые улыбки. Старейшина согласен, чтобы его сфотографировали и даже сняли любительской кинокамерой.

Показывая на землю, он что-то объясняет. Шофер переводит, как может:

— Бензин.

Не понимаю... Ну конечно же, как это я сразу не догадался: человек из дружественной страны должен знать, что, когда в Сомали будут свои нефтеразработки, этот край станет богатым.

Пейзаж вскоре начал меняться. Вначале горные хребты стали ниже, а долины между ними шире... И вот мы едем по равнине. Насколько хватает глаз — поросшие сухой травой кочки и редкие засохшие кусты. Здесь-то я и познал, что такое «африканская жара».

В тени машины термометр показывал пятьдесят один градус по Цельсию! Боковые стекла кабины опущены. Специальные щитки под ветровым стеклом подняты. И спереди и с боков дуло, но воздух раскален — впечатление такое, что стоишь возле доменной печи.

Доменная печь? Не слишком ли нелепо звучит в этих местах упоминание, даже для сравнения, о доменной печи? Как знать! Теперь все может измениться, и очень скоро. Как прав был один африканец, говоривший: «Правящие круги Запада оправдывают колониализм тем, что африканцы бедны и неграмотны. Но они отняли у нас самое

большое богатство — свободу! Могут ли колонизаторы утверждать, что мы были бы так же бедны, если бы имели свободу?»

Действительно, кто знает, как могут преобразиться эти края!

Но пока здесь только выжженная пустыня. Когда на горизонте появилась зеленая полоска, она показалась началом рая. Однако как же трудно достичь рая! Едем полчаса, сорок минут, а зеленая полоса хоть и стала ближе, но все еще тянется почти параллельно дороге. Наконец дорога круто свернула. Так и есть, это берег реки. Десятиметровая полоса зеленого кустарника, а за ним... пересохшее русло. Даже «ленд-ровер» буксует — песок. С трудом взобравшись на высокий берег, машина остановилась. Трн хижины. В одной из них — придорожная харчевня. Это деревня Силли.

Из харчевни вынесли стул с подвязанной ножкой и приставили его к стене. Поставили не спинкой, а боком к стене, так, чтобы, прижавшись к ней, можно было спрятаться в тени крыши. Времени часа четыре, а тень не шире стула — солнце здесь долго стоит высоко.

С тех пор как мы выехали из Харгейсы, я не проглотил ни крошки хлеба, ни капли воды. Но есть и не хотелось. Зато во рту, в горле все пересохло. Солдаты несколько раз прикладывались к фляжкам, обтянутым вытершимся и засаленным сукном. Предлагали и мне. Я крепился, помня строгий наказ, данный мне в Харгейсе: не пить ничего, кроме закупоренных в бутылки напитков заводского изготовления.

Здесь же, в деревушке, глядя, как солдаты, воспользовавшись случаем, заново наполняли свои фляжки, я не выдержал:

— Дайте и мне воды.

Сбитые с толку тем, что перед этим я еще раз отказался от воды, солдаты не понимают, чего я хочу. Из хижины напротив выходит старик — сгорбленный, кожа да кости. Повторяю ему свою просьбу. Но старик тоже не понимает по-английски. Говорю ту же фразу по-французски. Никто не понимает и по-французски.

Показываю, как переливают из сосуда в сосуд жидкость, сопровождая для пушей убедительности жесты звуками:

— Буль-буль-буль.

Старик удовлетворенно улыбается. Он, а не кто-нибудь другой, догадался, чего просит гость. Через минуту он выносит из хижины стакан верблюжьего молока — густого и пахучего...

Иду в харчевню. Там на полу стоит заржавленный чайник. Показываю на него. Стоящий рядом мальчишка с готовностью наливает мне чаю.

Замешательство усиливается. Видно, что все от души хотят удовлетворить мое желание. Страшно неудобно, что затеял всю эту историю. Ну ее, эту воду, потерплю еще как-нибудь! Вдруг мальчишка бросается к колченогому столу и вытаскивает из ящика обгрызенный кусок сахара. Но я уже заметил наполненное водой ведро. Увы, в нем лежит грязная посуда. Поняв по-своему, старик начинает отчитывать бедного мальчишку. Тот поспешно полощет стакан в том же ведре.

— Ладно, ничего мне не нужно...

Через несколько минут снова выходит старик и с надеждой в голосе произносит итальянское слово:

— Акуа?

— Си, си, акуа!

Мальчишка стремглав бежит к колодцу и качает насос. Из трубки сочится тоненькая струйка.

Вода была теплой, мутной и почему-то пахла мятой. Пить, конечно, не следовало. Всю дорогу я был сух, как пергамент, и, несмотря на жару, чувствовал себя бодро. Едва сделав несколько глотков, я тут же покрылся испариной, наступила какая-то противная вялость. А главное, жажда усилилась.

Когда машина тронулась, я увидел, как за хижинной женщина с привязанным за спиной ребенком стоя толкла в ступе зерно. Такого кадра у меня не было, но уже не было и сил выйти из машины. Теперь все мысли вертелись вокруг одного: когда дорога выйдет к морю? Там, на побережье, стоит город Зейла. Там можно будет вволю напиться.

Появление белых домов Зейлы и пальм среди солончаковой пустыни наводило на мысль о мираже. В некотором смысле это действительно был мираж. Вплотную подойдя к городу, дорога неожиданно повернула в обход его. Машу обеними руками Ахмеду. Он с недоумением разворачивает машину и останавливает ее у первого дома. Дверь открыта, но окна второго этажа заколочены. Оглядываюсь по сторонам. На широкой улице никакого признака жизни. Кажется, что город вымер...

Ну конечно же вымер! Как это я мог забыть? Ведь об этом «мертвом городе» мне рассказывали еще в Могадишо. Основанная в раннем средневековье, Зейла со временем несказанно разбогатела. Впоследствии не раз опустошенная набегами, она окончательно утратила свое значение, когда по соседству возник порт Джибути, связанный к тому же железной дорогой с Аддис-Абебой, то есть с внутренними районами Африки. Сейчас чуть ли не единственные обитатели Зейлы — семья трактирщика.

На звук автомобильного гудка вышел, застегивая на ходу одежду, сам хозяин. Разговор с ним не отличался многообразием. В конце концов выяснилось, что, кроме колодезной воды, у него никакого другого питья нет.

Еще двадцать километров пути, и я вылезая из машины у пограничной заставы. Над двухэтажным зданием развевается флаг Республики Сомали. На фасаде еще старая надпись: «Протекторат Сомалиленд». Около полосатого шлагбаума — несколько верблюдов. Два таможенника пересыпают из мешка в мешок рис. Его владелец бесстрастно наблюдает за этой процедурой в характерной для кочевников позе: опираясь обеими руками на посох, он стоит, поджав под себя ногу; когда одна нога отдохнет, он поджимает другую.

...Шлагбаум поднят. Машина въезжает на полосу «ничейной земли». Почему-то на ней построена деревянная будка французского пропускного пункта. Не глядя на трехдневную транзитную визу, полученную мной в Могадишо, пограничник, подышав на штамп, точно так, как это делают на всех шпротах земного шара, прижимает его к чистому листу паспорта. Читаю: «Французский Берег Сомали. Пограничный пост Луаяд. Сюрте женераль. Срок действия настоящего разрешения на пребывание ограничен десятью днями...»

Еще один шлагбаум. Французский офицер делает отметку о дате пересечения границы и возвращает паспорт обратно.

— Все в порядке.

Я иду попрощаться с моими новыми друзьями. Ничего, что мы познакомились лишь сегодня утром, ничего, что не смогли перекинуться и двумя-тремя фразами. И без того я видел их доброе расположение, их готовность помочь мне. Вот и сейчас они на всякий случай решили не уезжать, прежде чем будут закончены все формальности.

Прощаясь, я говорю по-русски. Все равно они не знают слов на другом знакомом мне языке. Но они понимают сейчас и по-русски. Мы трясем друг другу руки и, застенчиво улыбаясь, сомалийцы отвечают мне по-сомалийски:

— Хорошо, хорошо, хорошо...

Машина тронулась в обратный путь...

До свидания, Республика Сомали. Я недолго пробыл на твоей земле и многого, наверное, не успел узнать, но искренне хотел рассказать о тебе правду, рассказать о твоих трудностях, о твердой решимости твоего народа преодолеть их.



ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

НА НОВЫХ ЗЕМЛЯХ

К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ

Приближается восьмая целинная весна. Она несет новые планы, надежды, заботы. В этом году целинники встречают ее, вооруженные ясной программой конкретных действий, которые должны привести к резкому подъему всех отраслей сельскохозяйственного производства. Решения январского Пленума Центрального Комитета КПСС окрыляют мысли миллионов советских людей, зовут умножить усилия в деле создания обилия продуктов земледелия и животноводства.

«Возможности,— говорил на Пленуме Н. С. Хрущев,— у нас есть: есть материальные возможности, есть люди; весь вопрос сейчас в организации этих людей, в руководстве. И если все мы правильно поймем свои задачи, правильно наметим пути для их достижения, хорошо подберем людей, правильно расставим этих людей, вдохновим их, вселим в них уверенность, то эти люди горы перевернут!»

Пленум подчеркнул, что борьба за неуклонный подъем сельского хозяйства — это важнейшее условие построения коммунистического общества. «Особое внимание,— указано в постановлении Пленума,— надо обратить на выявление и использование всех возможностей и резервов в сельском хозяйстве, на распространение и внедрение достижений науки и опыта передовиков, новаторов производства».

Большой разговор шел на Пленуме и о целинных делах. В решениях Пленума, в выступлении Н. С. Хрущева подняты вопросы, имеющие огромное, жизненно важное значение для дальнейшей работы на целине. Это — необходимость резкого улучшения семеноводства; создание на целине постоянных кадров; преодоление шаблона в руководстве, когда делаются попытки навязать одну и ту же для всех целинных районов систему земледелия, схему организации производства, диктовать сверху сроки сева, уборки урожая.

Целинники Казахстана в большом долгу перед народом. Как отмечалось на январском Пленуме, медленно устраняются недостатки в руководстве сельским хозяйством в Казахской ССР. В прошлом году совхозы и колхозы республики не выполнили не только взятых обязательств по продаже зерна государству, но даже установленного плана.

Теперь на севере Казахстана создан Целинный край. Это приблизит руководство к совхозам и колхозам, оно станет более конкретным, дифференцированным по природно-экономическим зонам.

Хороши земли целинные, слов нет. Но чтобы они еще больше расщедрились, надо отлично знать, как подойти особо к каждому району, хозяйству, даже отдельному полю.

Дело это тонкое и хлопотливое. Успех его, думается мне, во многом будет зависеть от того, насколько комплексно будет решаться все основные проблемы новых земель.

За все эти годы у целинников отложился немалый опыт, накопилось много ценных практических соображений, новаторских предложений. Материалы январского Плену-

ма ЦК КПСС всколыхнули эти мысли, побудили к рождению новых. Во время поездок по целинным районам в качестве работника областной газеты я слышал немало интересных предложений передовиков колхозного и совхозного производства.

Кое-что из того, о чем хотелось бы здесь рассказать, мною высказано на страницах августовской книжки журнала «Сибирские огни» за прошлый год. Допускаю, что некоторые мои личные соображения могут быть спорными. Но ведь в спорах-то и рождается истина.

ЕСЛИ ПРИГЛЯДЕТЬСЯ...

Представление о целинных землях как о чем-то едином, монолитном наиболее распространено среди тех, кто находится от них поодаль. Услышишь слово «целина», и в воображении сразу же встанет степь-матушка — широкая, просторная, беспредельная и ровная, как стол.

В основе своей это верно: степь, и на беглый взгляд довольно-таки однообразная степь, явно преобладает. Однако доминирующий признак еще не дает исчерпывающей характеристики предмету или явлению. Степь, а какая? Ковыльная, полынная, типчак-овая или с небольшими лесными островками?

Разбуженная степь — понятие очень емкое. Ведь новые земли — это и степное Оренбуржье, включающее в себя Орско-Халиловскую зону Южного Урала; и богатый Алтай с его темно-зелеными увалами, золотыми пшеничными долинами, переходящими в бескрайнюю равнину Кулунды; это и тучные черноземы изобильных Барабинской и Минусинской лесостепей; и неоглядная Средне-Сибирская низменность.

Наиболее, пожалуй, однообразным может представиться самый крупный — Северо-Казахстанский массив, нынешний Целинный край, с его двадцатью миллионами распаянной нови. Но — приглядимся поближе! — и здесь большое разнообразие природных и экономических условий, с которыми приходится считаться на каждом шагу, если имеешь дело с сельским хозяйством.

Возьмем хотя бы Кокчетавскую область. Здесь имеется обширная горно-сопочная зона с овальными холмами, поросшими лесом, с благодатными пресноводными озерами, зелеными разнотравными долинами и полянами; лесостепная зона, или, как ее называют по-местному, «зона колковой степи», и, наконец, зона чисто степная, в которой в свою очередь три подзоны — умеренно-засушливая степь со среднегумусовыми черноземами, засушливая степь на малогумусовых почвах и степь засушливая на темно-каштановых почвах и серопесках. А сколько еще микрорайонов внутри самих зон и подзон — и по рельефу, и по глубине пахотного горизонта, и по степени засоленности, и по влагообеспеченности, и по эрозийности.

Целина — она ведь скроена не на одно лицо. Она многолика. Вот что нельзя упускать из виду.

ВОПРОС ВОПРОСОВ ПОЛЕВОДСТВА

Проделана титаническая, изумляющая весь мир работа по освоению целинных земель. Но на целине еще лежит печать недостроенности и незавершенности. Не разрешена и элементарная проблема — переход к зональному земледелию. Правда, в агрономических отделах областных сельхозуправлений, будь то Кустанай, Акмолинск, Кокчетав или Павлодар, всюду видишь «схематические карты области», заштрихованные различными красками, — условные зоны. Но на вопрос, есть ли на деле зональное земледелие, никто здесь не решится ответить утвердительно.

А что такое научно обоснованное зональное земледелие? Прежде всего это правильное семеноводство. Коренным образом улучшить семенное дело — неотложная задача колхозов и совхозов. Это, как указывает Н. С. Хрушев, вопрос вопросов полеводства.

Из пока еще короткой истории прожитых целинных лет можно привести бесчисленные иллюстрации того, как вредит пренебрежение к нуждам семеноводства, а особенно

шаблон. Расскажу о наиболее свежем примере, об осечке, которая в прошлом году очень обескуражила всю Кокчетавскую область.

Арык-Балыкский район здесь — настоящая жемчужина. Местность пересеченная, озерная, с зелеными гривами лесов; черноземы метровые, что твои кубанские. Много старопахотных земель, а поднимешь статистику за несколько лет — плодородие неизменно растет. Богатый, перспективный район! Некоторые здешние колхозы добились уже пятнадцатимиллионных доходов и замахиваются на тридцатимиллионные.

В 1960 году выступили арыкбалыкцы инициаторами не только областного, но и республиканского соревнования за двадцатипудовый урожай с каждого гектара. Объективности ради следует сказать, что люди немало потрудились. Нельзя обвинить в отсутствии хлопот и районных руководителей. Словом, старались, а вышло вот что.

За отличный сев областные организации занесли район на красную доску и премировали. Казалось бы, все идет хорошо. Хлеба поднялись камышовой мощности, великолепный урожай был не только зрим — осязаем. Некоторые колхозы собирались получить не по сто двадцати, а по полтора ста пудов с гектара на круг.

До созревания оставались уже считанные дни. И вот тут старожилы — уж их-то по части климата не проведешь — затревожились: «Проскочим до заморозков или не удастся?» Увы, не проскочили. Сильные заморозки ударили уже 28 августа и не просто слегка прихватили, как иногда бывает, зеленые хлеба, но безжалостно погубили «набравшие молочко» массивы. Не собрали даже семян в нужном количестве.

Из хлебного баланса области выбыли и два других горно-сопочных района — Щучинский и Зерендинский, в которых климатические условия сходные, а культура земледелия никак не выше арык-балыкской. Короче говоря, пострадала почти вся горно-сопочная зона и смежные с ней микрорайоны. Это и послужило одной из главных причин того, что вместо обещанных государству ста сорока миллионов пудов зерна область дала лишь около девяноста, не выполнив даже государственного плана.

Стихия виновата? Нет. Это прямой результат руководства «чохом», без учета зональных особенностей.

Позднее созревание хлебов, а отсюда и поздняя их уборка — основная трудность сегодняшнего земледелия всего Северного Казахстана. В горно-сопочных же районах особенно короток вегетационный период, а ранние заморозки отнюдь не новость. Арык-балыкские руководители гордились тем, что они посеяли главным образом хорошо подготовленными сортавыми семенами. А каких они были сортов — в это, по сути дела, никто даже и не пытался вникать. «Сортвые, и все тут!» На этом и успокоились, тем более, что во многих хозяйствах все еще продолжают сеять рядовыми семенами, собранными, как говорится, с бору да с сосенки.

Правда, в хоре преждевременных славословий по адресу арыкбалыкцев диссонансом прозвучал одинокий голос молодого семеновода областного сельхозуправления Н. Л. Панкиной:

— Не рано ли хвалить и премировать? Ведь сорта-то у них не совсем подходящие — позднеспелые.

Основная пшеница, на которую взяли курс арык-балыкские земледельцы, — это «Акмолинка № 1». Этим сортом было засеяно свыше восьмидесяти процентов всех площадей. Тут уж и возражать, казалось бы, трудно: сравнительно урожайный, засухоустойчивый сорт, да еще районированный, рекомендованный Казахским научно-исследовательским институтом зернового хозяйства для всех (!) зон области. Любители шаблонных рекомендаций забыли только о том, что коричневая, безостая «Акмолинка № 1» действительно приемлемая пшеница, но для степных зон. Для земледелия же горно-сопочного она очень опасна: ее вегетационный период — от ста десяти до ста двадцати дней. По данным той же науки (см. книгу «Мероприятия по системе ведения сельского хозяйства в Кокчетавской области», изданную в г. Кокчетаве в 1957 году), в районах горно-сопочной зоны наблюдается наименьший безморозный период, его длина составляет 90—115 дней.

Но может быть, не было другого выхода? Может быть, еще не выведены более скороспелые сорта?

Найти выход не составляло большого труда. Более скороспелые сорта имеются. Самое поучительное в том и заключается, что беда могла и не произойти, если бы была проявлена предусмотрительность.

Заморозки погубили и повредили в горно-сопочной зоне большинство посевов, но их не дождалась белоколосая, остистая «Смена». Этот высокоурожайный сорт, выведенный омскими селекционерами (Сибниисхоз), раньше широко культивировался во всех районах области, в том числе и в Арык-Балыкском, но при самотеке и неразберихе, которые царят в сорговом семеноводстве, его постепенно отсюда изгнали. Во всяком случае, в 1960 году в Арык-Балыкском районе под «Сменой» было занято лишь полторы тысячи гектаров. Засеянные одновременно с другими сортами, эти участки своевременно вызрели и были благополучно, при хорошем умолоте, убраны еще до заморозков. А ведь «Смена» — это только среднеспелый сорт.

Завезены в область и перспективнейшие сорта сильных пшениц — «Саратовская 29» и «Безенчукская 98», имеющие сравнительно короткий вегетационный период. Но они распространяются очень медленно. В прошлом году в Арык-Балыкском районе пшеница «Безенчукская 98» культивировалась только в колхозе имени Ленина, да и то на площади в... шесть гектаров. Она созрела еще раньше, нежели «Смена», дала хороший урожай и засыпана на семена.

Давно знают горно-сопочные районы и прославленные сорта твердых пшениц «Горденформе 10» и «Горденформе 189». Первый для произрастания требует максимум сто десять дней, второй вызревает на две недели раньше. Казалось бы, ясней ясного: надо в местных условиях культивировать прежде всего ранний сорт стекловидной твердой пшеницы, а в горно-сопочной зоне, да еще в мокрую, затяжную весну 1960 года, был посеян именно тот сорт, который вызревает позднее. Вот уж поистине «рассудку вопреки»! Давно пора найти выход из положения и в тех местностях, где морозы почти ежегодно прихватывают хлеба и где, однако, по какой-то порочной традиции все еще культивируется только пшеница, причем сортов «какие придется». А может быть, на таких полях были бы продуктивнее посевы ячменя, проса, гречихи, гороха?

В одной только Кустанайской области сейчас высевается до двадцати пяти различных сортов яровой пшеницы. Не меньший «ассортимент» и в других областях Целинного края Казахской ССР. Семена были завезены сюда из различных концов Союза еще в первые годы освоения целины, хотя далеко не все, скажем, украинские и кубанские пшеницы чувствуют себя на новой земле «как дома».

Целина, повторяю, богата. В Кокчетавской области есть крупный зерновой район — Рузаевский. Так он в 1956 году — правда, высокоурожайном — сдал государству тридцать три миллиона пудов зерна. Гигантская цифра! Но, помнится, по завершении жатвы мы вместе с заместителем председателя райисполкома прикидывали: а сколько же потеряно зерна? И по расчетам, скорее преуменьшенным, нежели преувеличенным, пришли к выводу, что в том году совхозы района при лучшей организации дела смогли бы дать стране не тридцать три, а сорок пять миллионов пудов. Двенадцать миллионов пудов пшеницы, осыпанной на землю и оставленной в колосьях! И это в одном только районе. Наиболее важной причиной осыпания хлебов как раз и явилось пренебрежение семенным делом. Огромные плантации были засеяны механической смесью сортов. Вот и получилось: скороспелые осыпаются, позднеспелые еще только отцвели — какой сорт спасти?

Правильное, умное, гибкое, направленное семеноводство на целине — ведущее звено подъема урожайности. Надо взяться за это дело с тем же размахом и революционной страстью, с какой поднимали новые земли.

ТОЛЬКО ЛИ ЯРОВЫЕ ХЛЕБА?

Сегодняшний Целинный край — это безраздельное царство только яровых пшениц и вообще яровых посевов. Господствует, как совершенно непреложное, убеждение, что озимые хлеба культивировать здесь нельзя, что они вымерзают во всех зонах. А правда ли это?

Автору этих строк доводилось немало беседовать со старожилками. Оказалось, что озимые пшеницы раньше прекрасно себя чувствовали не только в районах мелкосопочника — Арык-Балыкском или Зерендинском, где бураны нередко заметают саманные домики до самых крыш и где холмы да перелески задерживают снег на полях лучше миллиона снегопахов, создавая надежное, теплое зимнее укрытие, но даже и в лесостепной части богатейшего Рузаевского района. Больше того, рассказывают, что и в открытом, степном, малоснежном Кокчетавском районе озимые пшеницы выдерживали зиму и хорошо плодородили. Но потом «для упрощения дела» (и к явному ущербу для земледелия) их повсеместно забросили, подогнали все районы под стандарт исключительно яровых посевов.

Вот авторитетное свидетельство старого и уважаемого работника — главного инженера Рузаевского совхоза «Победа Ильича» М. М. Безлера: «В 1947-м и много раньше озимые пшеницы ежегодно культивировались в ряде бывших колхозов. Родились они хорошо, давали сборы иногда даже центнера на три-четыре выше яровых. Бывали, правда, и срывы, но редкие и исключительно по вине земледельцев: или слишком поздно посеют и в зиму пойдут лишь красненькие иголочки, или неправильно выберут участок, или в год с малыми зимними осадками поленятся задержать снег».

Показательны и труды Шортандинской опытной станции, на месте которой теперь организован Казахский научно-исследовательский институт зернового хозяйства. Лет двадцать назад здесь проводились успешные опыты с выращиванием озимых пшениц, и в большинстве случаев получались хорошие урожаи, достигающие двадцати—двадцати пяти центнеров с гектара.

Академик Т. Д. Лысенко особенно рекомендует в степных районах Сибири практиковать стерневые посевы озимой ржи, которые, кстати говоря, являются эффективным средством и для подавления овсюга. Это уже проверенная опытом рекомендация. Стерневые посевы ржи на севере Казахстана дают неплохие результаты. Но в горно-сопочных районах удавались не только озимые ржи, но и пшеницы. Удавались они и по кулисным парам и по стерне.

А какое громадное значение имела бы культура озимой пшеницы хотя бы для обширных и плодородных горно-сопочных районов Целинного края, где позднеспелые сорта яровых пшениц частенько попадают под ранние осенние заморозки! Внедрение озимых посевов наряду с главными яровыми помогло бы, в частности, разгрузить и весенний сев и уборочные работы, для которых природа отвела здесь очень короткую, да еще и дождливую осень. Допустим, что из десяти годов один или два окажутся неудачными, но и такой риск будет оправдан и компенсирован. Кроме того, в особо неблагоприятные для озимых посевов годы не обязательно ведь сдаваться без боя, а можно и повоевать: принять специальные меры против образования ледяной корки, зимнего и весеннего вымерзания.

Нашим селекционерам и опытникам надо передать на срочное выполнение самонужнейший заказ целины: побольше вывести раннеспелых сильных и твердых сортов яровых пшениц, приспособленных к местным условиям, а также поработать над благодарной задачей — повышением зимостойкости озимых, над созданием своего, сибирского сорта озимки.

ИДЯ ВПЕРЕД, ОГЛЯНИСЬ И НАЗАД

Очень жаль, что многолетние пути развития экономических центров в большинстве случаев очень мало изучаются. Многие из новых жителей целины так и думают, что история местности, куда они прибыли, началась лишь с их приезда. Но, например, городу Щучинску уже более ста лет, а некогда казачий военный форпост — станция Котуркуль, расположенная неподалеку, организовалась в 1849 году. И еще тогда были положены начатки земледелия в Щучинском районе.

В том-то и дело, что наряду с яркими, красочными страницами истории великого пробуждения края, осуществленного в последние годы по заданию партии, по инициативе Н. С. Хрущева, есть в Северном Казахстане история и старого земледелия. О ней тоже не следует забывать. Изучать историю старых земель — это значит взять

на вооружение уже накопленный богатый опыт и учесть полезные уроки для нового земледелия.

Разумеется, после подъема целины основную «погоду» делают не старопахотные земли. Но сейчас мне хочется рассказать о том, что происходило и происходит в таких степных районах старого земледелия, как Келлеровский, Красноармейский и отчасти Чкаловский Кокчетавской области, которые по ряду признаков следует считать особой зоной.

В тридцатых годах эта зона считалась одной из самых урожайных во всем Казахстане, она, что называется, гремела своими сто- и даже двухсотпудовыми сборами зерна с гектара. В 1939 году Ташкентская машинно-тракторная станция одна из первых в Союзе и первая в Казахстане была награждена за рекордные урожаи орденом. А затем на этих старых землях начался спад урожайности. За девятнадцать лет, с 1940 до 1959 года, средняя урожайность зерновых по Келлеровскому району составила всего пять с небольшим центнеров с гектара. И это несмотря на то, что к старым землям добавились распаханные новые, где урожайность, естественно, была выше. Стали даже поговаривать о том, что пашни, дескать, в конце погублены, не лучше ли совсем бросить на них земледелие.

И вдруг кривая урожайности на «погубленных» полях резко пошла вверх. Достаточно сказать, что в 1959 году колхозы и совхозы Красноармейского и Келлеровского районов продали государству по пяти миллионов пудов хлеба, а в 1960 году государство получило от первого из них шесть, а от второго восемь миллионов — почти два государственных плана. Ни один из этих районов за всю историю своего земледелия не получал таких высоких сборов зерна.

Как же объяснить эти причудливые зигзаги урожайности? Капризами климата? Нет, не климат оказался здесь решающим фактором. Причина падения урожайности — долготелее бессистемное ведение хозяйства. В погоне за количеством гектаров, засеянных зерновыми, из года в год высевали только пшеницу по пшенице, поломали введенные в тридцатых годах севообороты, изгнали из них горох, ячмень, гречиху и другие культуры, хорошо здесь удававшиеся, засорили, заовсюжили земли, свели к нулю и посеvy трав. Неудачливый ставка на количество в ущерб качеству привела к результатам, прямо противоположным тому, чего добивались, — сократились прежде всего валовые сборы именно пшеницы. Больше того. Почвы в этих районах карбонатные, а когда их структуру разрушили, начали сказываться черные бури. В 1957 году в Келлеровском районе ветровой эрозией было попорчено ни много ни мало сорок две тысячи гектаров посевов.

Но чем же тогда объяснить начавшийся подъем урожайности?

Чтобы понять это лучше, я позволю себе отвлечь внимание читателя на некоторые обстоятельства, которые сперва могут показаться косвенными. Это нужно и потому, что дело тут связано с выбором системы земледелия для степных карбонатных почв — животрепещущий вопрос не только местного значения, вокруг которого не утихают споры.

ОБЯЗАТЕЛЕН ЛИ КАНАДСКИЙ ЭТАЛОН?

Принято сравнивать земледелие на севере Казахстана и вообще юго-восточных районов СССР с так называемой «зоной рискованного земледелия» США и Канады. Действительно, сходство имеется. Например, даже и географически основная пшеничная житница Канады — засушливая провинция Саскачеван — расположена в тех же самых широтах, что Петропавловск—Кокчетав—Акмолинск. Русские пшеницы — кубанка, арнаутка и другие — долго там культивировались и легли в основу создания новых сортов.

Общезвестно также, что земли в засушливых американо-канадских прериях подвергаются губительному выветриванию, или, употребляя научный термин, дефляции. В тридцатых—сороковых годах в результате хищнического хозяйствования ветровая эрозия приобрела характер национального бедствия, «пыльные котлы» начисто уничтожили миллионы гектаров плодородной земли. Нужно было думать о новой системе земледелия. И вот тогда плуги, первые образцы которых были завезены сюда

из Европы еще пионерами-переселенцами, пошли на свалку, вместо них были созданы орудия безотвальной, поверхностной обработки почвы, осуществлен переход к бесплужной системе земледелия с обязательным сохранением стерни как щита от выветривания почв.

Карбонатных, эрозийных почв в нашем Целинном крае много, особенно в Павлодарской области. Может быть, для лечения их от дефляции имеет смысл взять готовый канадский эталон? Думается, что здесь надо поступать очень осмотрительно.

У североказахстанской целины и канадской провинции Саскачеван почвы и климат сходные, но отнюдь не тождественные. В сельском же хозяйстве, если даже, скажем, девять факторов из десяти совпадают, а только один-единственный отличен, то и тогда может потребоваться совершенно иной подход ко всему вопросу. Механическое копирование без учета местных условий чаще всего приносит не пользу, а вред. А у нас, кроме специфики почвенно-климатической, есть и еще одно, и тут уже коренное, отличие: совершенно иной социальный строй, хозяйство плановое, социалистическое.

Убежденные сторонники перестройки целинного земледелия в Северном Казахстане по канадскому образцу, работники Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства обычно подкрепляли свои доводы ссылками на зоны, аналогичные Келлеровской—Красноармейской, где легкие почвы обоснованно считаются наиболее эрозийными во всей северной части Казахстана: «Или переход к канадской системе земледелия, или получится, как в Красноармейском и Келлеровском районах».

На поверку вышло, что ни в том, ни в другом районе канадская система бесплужного земледелия с обязательным сохранением стерни не встретила пока ни поддержки, ни распространения. А вот и некоторые итоги урожайности. В Келлеровском районе в 1958 году было собрано в среднем с гектара по 9,6 центнера, в 1959-м — по 11,4 центнера, в 1960 году — по 15,7 центнера. Заметим кстати, что на полях института получено в прошлом году с каждого гектара по 5,6 центнера, почти в три раза меньше. «Чудодейственная стерня» явно подвела ученых.

Спрашиваю секретаря Красноармейского райкома партии В. П. Зенченко:

— Чем вы объясняете, что после длительных недородов урожайность на ваших землях наконец-то пошла круто вверх?

— Самое главное,— отвечает он,— в том, что с осени 1957 года мы совершенно отказались от стерни. На всех землях проводим глубокую зяблевую пахоту. Весной 1960 года ни одного гектара не посеяли по лущевке.

Беседую с главным агрономом райсельхозинспекции, опытейшим работником Ф. И. Селиверстовым:

— Почему не стремитесь сохранять «спасительную стерню»?

— И без нее дай бог избавиться от сорняков... У нас еще и сейчас попадают участки, где не поймешь — то ли пшеница завосюжена, то ли овсюг запшеничен.

Чем же вызваны столь противоположные мнения некоторых казахских ученых и практиков местного земледелия?

Тут нельзя впадать в крайности. Будет проверяться и частично творчески использоваться в Северном Казахстане и канадская технология обработки земли, с ее принципами сельскохозяйственных машин. Но делать из канадских приемов панацею для целины по меньшей мере преждевременно.

Бесплужное земледелие с обязательным сохранением стерни, к которому теперь пришли канадцы, имеет ряд положительных сторон, но не меньше и отрицательных, особенно опасных в наших условиях: оно накапливает злостные сорняки и сельскохозяйственных вредителей. Североказахстанцы помнят, сколько они потеряли хлеба от массовых вспышек зерновой совки в 1957 году. Главная причина появления этого опаснейшего вредителя как раз и заключалась в том, что, убирая рекордный урожай 1956 года, не сумели одновременно вспахать отвальную глубокую зябь, а ведь это самое радикальное и дешевое средство борьбы с зерновой совкой.

Полностью отказаться от глубокой обработки, отвальной пахоты нельзя. Лучше всего пользоваться ею в сочетании с приемами обработки земли Т. С. Мальцевым.

Есть, правда, люди, которые полностью отождествляют канадскую систему с

мальцевским агрокомплексом. Но это разные вещи. Основой мальцевского агрокомплекса, как известно, является глубокая вспашка парового поля безотвальным плугом и способствующая истреблению сорняков и накоплению влаги обработка его в течение лета. Канадский же метод совсем не знает плуга — ни отвального, ни безотвального; у него только поверхностная обработка почвы, сохранение стерни и сев по стерне.

Мальцевский метод рационально использует почву. При канадской же системе земля используется расточительно, хищнически. Как в большинстве случаев поступает фермер, засоривший свои поля? Засорил их до последней степени, расплодил на них всяческую кобылку и проволочника — и бросил в долготлетнюю залежь! Капиталистическое государство с его кризисами сбыта даже поощрит этого фермера за сокращение посевных площадей. Американцы как раз и напели такую систему земледелия, которая соответствует и природным условиям распаханых прерий и деградирующему социальному строю. В зерновом поясе Канады преобладают трехпольный и двухпольный (пар, пшеница) севообороты, там отводится под пары до сорока—пятидесяти процентов пашни. Мы тоже за пары, но было бы смешно, если бы наше, самое прогрессивное в мире земледелие возвращалось к переложной системе, расточительно бросало бы огромные массивы в залежь. Это нам совсем не подходит! И нет в этом никакой необходимости.

Но может быть, от всех сорняков, которые дополнительно принесет с собой бесплужное земледелие, мы избавимся при помощи химии?

Да, в борьбе с сорняками огромное будущее принадлежит гербицидам и другим химическим средствам. Но, во-первых, их пока еще мало, а во-вторых, и сорняк сорняку рознь. Химическая прополка великолепно убивает осот, молочай, повилуку и многие другие сорняки, а уничтожит ли она среди пшеничного поля сорняки злаковые, например, овсюг? Семена этого главного бича полей могут сохраняться в земле до двадцати лет, они во много раз более устойчивы против любой невзгоды, нежели семена культурных растений. Правда, на совещании в Акмолинске, которое проходило в июле прошлого года, академик Т. Д. Лысенко порадовал известием о том, что сейчас проводятся широкие опыты с новыми химическими средствами — симазиним и отразином. Эти препараты, производство которых уже налажено, обладают способностью действовать избирательно. Они уничтожают все растения — и сорняки и культурные, — кроме одного, кроме нашей замечательной кукурузы. Видимо, на какое-то количество лет — на год, два или три — на массиве, обработанном этими химикатами, будет вырастать лишь одна кукуруза. Образно говоря, кукурузой будем лечить поля от засорения. Великое дело!

Возьмем и еще одно сопоставление с американскими условиями: вопросы влагообеспеченности и, главное, распределения осадков по временам года. Общеизвестно, что даже в самых засушливых районах США за год выпадает до шестисот и не менее четырехсот миллиметров осадков, причем наибольшее их количество приходится на весенне-летний период. Иное положение у нас. Например, по данным за пятьдесят лет, в Кокчетавской области количество осадков в год колеблется от двухсот шестидесяти до трехсот девяноста миллиметров. Еще более показательным, как эти осадки распределяются по временам года. Вот данные по тому же Красноармейскому району. Здесь за пять с небольшим месяцев — с конца июня по ноябрь — выпадает почти семьдесят процентов всех годовых осадков. На три весенних месяца, то есть на период наибольшего испарения, приходится всего шестьдесят четыре миллиметра! Самые же дождливые месяцы в году — июль и август.

Американцы могут обходиться и без зяби, а у нас вся система степного земледелия должна способствовать накоплению и сохранению влаги еще с лета и осени. Весь порядок, весь цикл подготовки полей нам приходится переносить на возможно ранние осенние сроки, чтобы на весну оставались лишь предпосевная обработка и сев. В условиях Средне-Сибирской низменности мастером высокого урожая является тот, кто умеет накапливать влагу и правильно ее использовать для растений, кто подходит к своим землям не шаблонно, а дифференцированно, не допускает выпаживания земель, кто маневрирует, учитывая особенности года.

Мальцевский агрокомплекс — это наш, советский метод. Он основан на знании местных условий, рачительном отношении к земле. В агрокомплексе Т. С. Мальцева и поверхностная обработка почвы — будь то с сохранением стерни или без нее — явление прогрессивное. Это доказано опытом целины. В том же Келлеровском районе наивысший урожай с гектара получила в 1960 году бригада участника январского Пленума ЦК КПСС В. В. Голубика из колхоза «Борьба за новый быт». Голубик бригадирует вот уже почти два десятка лет. Он давно применяет на полях мальцевские приемы. На парах, обработанных по-мальцевски, он собрал нынче по сто пятьдесят два пуда с гектара, а пользуясь методом Мальцева при поверхностной обработке почвы — по сто двадцать шесть пудов с площади свыше двух тысяч трехсот гектаров.

Надо признать явную необходимость широкого, творческого применения на целине именно мальцевского агрокомплекса и, главное, создавать для этого наиболее благоприятные условия.

МЕСТНЫЙ УРОЖЕЦ

Что же принесло первые успехи келлеровцам и их соседям? Азбука. Именно агротехническая азбука! Хотя из нее использованы, можно сказать, пока только первые буквы. Начали восстанавливать паровые участки, они теперь достигают пятнадцати процентов к общей площади пашни, а нужно довести до двадцати—двадцати пяти процентов; пашется зябь, а с ней и сев получается более своевременным; завершается переход к сортовым посевам, в Красноармейском районе почти полностью; внедряются посевы кукурузы, которые несколько перебили монокультуру; в некоторых колхозах на чистых от сорняков участках с успехом применяется безотвальная мальцевская пахота; чрезмерно распыляющие почву дисковые лушпильники заменяют лемешными, и так далее.

Но не будем обольщаться: три года подряд с хорошим урожаем — это еще не значит, что плодородие уже стало устойчивым, а опасность дефляции уже снята с повестки дня. Черные бури еще сказываются, коренные вопросы земледелия еще не решены. Давно пора объявить земледелие на почвах ускоренной дефляции на особом положении, надежно отремонтировать пашни, а вместе с тем так вести дело, чтобы предупредить и исключить самую возможность серьезной эрозии почв на поднятой целине. Это вопрос государственного значения.

Между тем областные организации Северного Казахстана подходили к районам наиболее сильной дефляции почв с общей меркой: планирование — как и для любого района, орудия обработки земли одинаковые, подбор культур — бессменная пшеница, да еще и сроки сева «по общей команде». Даже то, что исторически складывалось и себя оправдало, — где оно теперь? Если Келлеровский район славился хорошими урожаями гороха, то Чкаловский район истари считался не только пшеничным, но и гречишным. Старые гречкосеи в районе еще живы, а гречихи нет. Как будто бы советский народ разлюбил гречневую кашу! В 1960 году из всех хозяйств зоны самый низкий урожай вырастил совхоз имени Кирова: пшеницы там получили лишь по 9,2 центнера с гектара, зато посеянная «для опыта» гречиха дала по 17,2 центнера.

Вот и еще свидетельство того, что принцип дифференцированного руководства по зонам пока еще не стал руководящим в Северном Казахстане.

Система земледелия в этих районах должна быть тесно связана с задачами подъема животноводства. Однако дальнейшее развитие здесь молочно-мясного скотоводства сдерживается потому, что не научились как следует выращивать кукурузу и совершенно изгнали из севооборотов травы. Местные покосы и пастбища в своем большинстве распаханы. Ставка делается на отгонное животноводство, которое дешево, выгодно и целесообразно во многих областях Казахстана, обладающих необъятными просторами полупустынь, но явно не подходит для большинства районов таких «распаханных» областей, как Кокчетавская или Северо-Казахстанская.

Вообще вопросы землепользования и землеустройства в районах освоенной целины требуют серьезного корректирования. На прежних «госфондовых землях», которые

раньше использовались только для пастбищ, возникли новые совхозы, а около них, «в порядке чересполосицы», остались отгоны для скота районов старого земледелия. Вот, скажем, совхоз «Ленинградский» успешно развивает животноводство, но ему негде пасти скот. В пяти километрах от усадьбы этого хозяйства находятся обширные пастбища, но это отгон колхозов Красноармейского района. Сельхозартель «Красный Октябрь» за триста километров гонит сюда свой скот. Сюда же ездят и сенокосничать. Так не лучше ли использовать пастбища совхозу, у которого они на окраине, а колхозу создавать кормовую базу на месте?

В Кокчетавской области обширные отгоны сохранились на юге огромного степного Кызыл-Туского района. Сюда, порой за полтысячи километров, приводят на пастыбу свой скот колхозы Щучинского района. На больших площадях здесь проведены и распашки, введено совершенно «несподручное» колхозам и потому крайне для них убыточное «отгонное земледелие». Следуя прекрасной инициативе тургайцев (Кустанайская область), целесообразней будет и здесь организовать специальные животноводческие и зерновые совхозы. В условиях «распаханных» областей должны доминировать интенсивное земледелие и животноводство на месте, без отгонов.

В районах ускоренной дефляции почв нужно восстанавливать и вводить травопольные севообороты. Они создадут куда более надежный «травянистый войлок», нежели «спасительная стерня» по канадскому образцу. Пусть массивы, наиболее подверженные дефляции, станут участками самого развитого, интенсивного молочно-мясного скотоводства на целине. Не хватает естественных пастбищ? Пусть будет больше кукурузы и бобовых трав, пусть будет зеленый конвейер! Пусть даже в некоторых хозяйствах придется пойти по пути круглогодичного стойлового содержания животных, и то будет выгодно!

Правильное сочетание земледелия на особо эрозийных землях с развитием животноводства — вот главное направление, которое (в ряду других мер) сохранит почвы от дефляции, надежно повысит их плодородие, сделает его устойчивым. Пора осваивать и целину вторую, животноводческую!

Но какую траву избрать ремонтером полей?

Излюбленный многими пырей малоурожаен, иссушает почву. Хорошим ремонтером является житняк, но большинство ученых и опытников заслуженно отдает предпочтение доннику.

Белый донник — самый ценный вид этого буйно растущего, обильно цветущего бобового растения — это еще и местный уроженец. Волшебница природа словно бы специально позаботилась о степных карбонатных среднесибирских почвах, создав им надежного ремонтера. Мощные корни донника облагораживают землю, насыщают ее кальцием и азотом. Поля, прошедшие обработку этим растением, вновь приобретают хорошую структурность, слабые почвы вновь становятся высокоплодородными.

Важно еще отметить, что посевы неприхотливого донника помогают решить вопрос и о повышении урожайности ведущей кормовой культуры — кукурузы, создают условия для ее посевов на больших площадях. Кукуруза требует высокой культуры земледелия. Для кукурузы хороших черноземов и климата мало, ей нужен еще и хороший предшественник, который оставлял бы после себя чистое от сорняков поле, хорошо оструктуренное и богатое пищей, в первую очередь азотом. Это прекрасно делает донник. С другой стороны, донник очень богат белком и является поэтому великолепным дополнением к кукурузному силосу.

Правильно говорит рязанский зоотехник В. Г. Миронов (см. третий номер альманаха «Наш современник» за 1959 год), что «королеве полей» надо подыскать «жениха». Он предлагает «поженить» кукурузу и донник. Впрочем, алтайцы в качестве «жениха» выдвигают и другую кандидатуру — кормовые бобы, культуру, несомненно, полезную, но в Северном Казахстане еще мало испробованную.

Во всяком случае, донник — это высокобелковое, дающее очень много семян и потому удобное для размножения растение — получает все более широкое распространение и в Латвии и в нечерноземной полосе РСФСР. Еще большее значение эта культура имеет, конечно, для Целинного края Казахской ССР, для его эрозийных почв.

Местные специалисты считают, что для быстрого восстановления структуры эрозийных почв и повышения их плодородия, при одновременном учете интересов животноводства, основной курс надо взять на три культуры: пшеницу, кукурузу и бобовые травы. К примеру, в первый год севооборота в июне скашивается на сено или силос донник, посеянный в предыдущем году по пшенице. Это и будет, фактически, занятый пар. Во второй год высевается яровая пшеница. В третий год поле занимается кукурузой на зерно или силос. И, наконец, в четвертый год вновь высевается пшеница с подсевом донника. Таким образом поля будут использованы под важнейшими культурами — пшеницей и кукурузой, а в год отдыха — занятый пар и капитальный ремонт. Кукуруза и донник — вот что поможет надежно выправить положение. Предложение стоит того, чтобы его серьезно изучить и применить на практике.

К КАЖДОМУ ПОЛЮ — СВОЙ ПОДХОД

Успешно познают секреты сибирского земледелия и работники совхозной нови — люди творческого поиска, которые, не забудем этого, тоже уже имеют семилетний местный опыт.

В Кокчетавской области есть совхоз «Ялтинский», что в лесостепном Чистопольском районе, и совхоз «Толбухинский», расположенный в степном Кызыл-Туском районе. Оба хозяйства — передовые, рентабельные. Руководят ими сравнительно молодые агрономы — В. С. Назаров и Ф. Т. Моргун (сейчас он на партийной работе). Это работники «впередсмотрящие», загоревшиеся неукротимым желанием завоевать первенство в соревновании совхозов области. И безуспешно! Как у того, так и у другого учатся теперь эффективному хозяйствованию не только новички, но и убеленные сединами ветераны совхозного строительства.

● Оба пытливых агронома работали прежде на Украине и на первых порах, естественно, не зная специфики целины, шли ощупью, а больше всего, по их выражению, «танцевали от своего полтавского опыта». И с какими же парадоксами им приходилось иногда сталкиваться! Расскажу об одном.

Весной 1956 года вместе с бывшим начальником Кокчетавского управления совхозов Е. С. Смирновым — тоже в прошлом украинским зерновиком — довелось мне знакомиться с качеством сева во многих хозяйствах области. Дивную картину представляли собой поля совхоза «Толбухинский» — по силе, по ровности, по густоте молодых растений трудно было найти еще где-либо такие чудесные массивы. Смирнов жал руку молодому директору, от души поздравлял:

— Ну, брат, всех перешеголял! Посеял, скажу тебе, прямо классически!

Моргуну премировали. Зато болезненно переживал неудачу Назаров в «Ялтинском». Ему приходилось краснеть и часто и густо. Посеял он тоже старательно, с обычной для северных областей Украины нормой посева, «да еще с добавочкой», но семена в недостроенном хозяйстве хранились зимой под открытым небом и дали неполную всхожесть. Толбухинских полей Назаров не мог видеть — другой район, но прямым укором для него красовались аккуратные клетки смежного совхоза, «Ждановского», с таким же примерно буйным разливом густых молодых всходов, что и у Моргуна. Скрыпника — руководителя этого хозяйства — тоже премировали за «классический сев». Назарова основательно пожурили.

Но неспроста говорят, что цыплят по осени считают. И она пришла, незабываемая осень высокоурожайного 1956 года. С изреженных полей совхоза «Ялтинский» (пшеница раскустилась) было собрано по семнадцати центнеров с гектара, в «Ждановском» — по четырнадцати, а в «Толбухинском», на его солонцеватых землях, только по восьми центнеров: загущенные всходы во время июньского суховея как бы «осели» в росте, «запалились», им не хватило площади питания, солома получилась тоненькая, а колосок — мелкий. И так, где посеяли больше, там урожай собрали меньше, где посеяли реже, там лучший сбор.

Ставка на максимальную норму посева в основе своей — правильная ставка. В Казахстане часто недосевают, а земле не положено быть прогульщицей. Но норма посева

в любом случае должна быть агротехнически обоснованной, для разных земель, сортов и условий различная. Опытные люди даже в пределах одного хозяйства и одного поля всегда дифференцируют нормы высева: для более богатых полей — повыше, для солонцеватых — пониже, под дождливый год — повышенные нормы высева, под засушливый — сниженные.

Пережитки механического, уравнительного подхода к делу, к сожалению, очень живучи. Они сказываются и в вопросе о нормах высева. Простой пример. Для совхозов всех районов Северного Казахстана при засыпке семян каждый раз брались областные средние нормы. А на деле получалось, что в одних случаях недосевали, в других пересевали. В итоге — миллионы пудов недобранного зерна.

И сельскохозяйственные машины зачастую производятся без учета особенностей новых земель. На целине, имеющей существенные почвенно-климатические особенности, работа пока ведется теми же орудиями, что и в Подмосковье или Белоруссии. Общеизвестно, например, что господствующая у нас система обработки земли дисковыми орудиями излишне измельчает степные почвы, перетирает их в пыль и зачастую, особенно на сильно эрозийных участках, приносит один только вред, а не пользу.

Назрел вопрос о типах сеялок для целинных земель. Конструкция машины, закладывающей семена в землю, — это большой фактор для судьбы урожая. Здесь малейшее упущение, взятое в масштабе края или области, оборачивается десятками миллионов пудов недобранного зерна. Казалось бы, не такое уж сложное дело — производство нужных сеялок, но словно бы кто-то заколдовал — ни с места!

Скажем прямо, не для всех зон и не при всяких погодных условиях целины подходят и те типы сеялок, которые даже считаются прогрессивнейшими. Автор этих строк часто замечал, что даже хорошо присмотревшиеся к целине директора совхозов идут на перекрестный сев обычными рядовыми сеялками, хотя это и сопряжено с двойной работой (зато прибавка урожая верная). И очень сдержанно, скрепя сердце, относятся к применению дисковой, узкорядной.

— Позвольте, — спрашиваю наконец у Назарова, — ведь узкорядный сев прогрессивен?

— Да, прогрессивен.

— А почему же игнорируете узкорядную сеялку «СУБ-48»?

— Одно дело самый принцип сева, другое — недостатки конструкции сеялки «СУБ-48». Вот для Полтавщины она хороша. Впрочем, годится и в степях... если сразу после посева дождь, а если хватит засуха, тогда капут!

Оказывается, сеялка «СУБ-48» мелко заделывает семена. У нее велик угол атаки, диски очень широко раздвигают землю — до десяти сантиметров, кладут семена узкой строчкой и не на твердую постель, не на подошву, а в самую пыль, закатывают их этой пылью. В условиях обычной в Целинном крае сухой весны из-за этого замедляются всходы культурных растений — они оказываются как бы в подвешенном состоянии. Зато прорастающие сорняки не подрезываются, а только перемещаются вместе с корнями с места на место, сорная растительность пробивается раньше культурных растений и глушит их. А по стерне и вообще не годится — забиваются сошники.

Недавно главный инженер Кокчетавского областного сельхозуправления сообщил мне, что заводы — наконец-то! — учли и исправили конструктивные недостатки сеялки «СУБ-48»: выпущены новые, улучшенные образцы той же сеялки. Невольно подумалось: а сколько же выговоров вынесено «за игнорирование прогрессивного узкорядного сева»!

Удачным орудием весенней обработки и сева в местных условиях, особенно по парам и на второй год после парования, то есть по чистым землям, являются сеялки буккерные: сев под припашку с одновременным прикатыванием. Речь идет, конечно, не о старом конном буккере — шесть лошадей или четыре быка в упряжке, а о самом принципе буккера, о широкозахватном посевном агрегате, который у нас на целине называют «посевным комбайном». Имеется в виду агрегат, построенный по принципу буккера, чтобы и обрабатывал землю и сеял одновременно, чтобы пашни не распылял, а сохранял их мелкую комковатость, структурность. Весной дорога влага, и, как только

почва подошла, все работы на степных карбонатных землях лучше проводить одновременно, в одной операции.

Привлекают в буккерных сеялках и те их прекрасные качества, что сошниками хорошо подрезаются всходы и корни сорной растительности, а зерно укладывается в землю ровно и точно на заданную глубину, не узкой строчкой, а как бы подземно-разбросным способом. Это способствует дружной, одновременной всхожести и лучшему использованию площади питания.

Не случайно поэтому изобретательство уже давно изобретенных буккерных сеялок стало поистине массовым явлением в Казахстане. Как дело подходит к весне — так в совхозах начинают конструировать свои кустарные буккерные сеялки.

Вопрос о восстановлении производства буккерных сеялок, о широком производстве лемешных культиваторов и других почвообрабатывающих орудий, отвечающих зональным особенностям новых земель, теперь решен положительно, но в том-то и дело, что на полях их еще нет.

Правительство Казахской республики не столь давно приняло постановление «О мерах по созданию комплекса машин для обработки почвы и посева в районах, подверженных ветровой и водной эрозии». Однако и в нем речь шла не о серийных выпусках, а, по сути дела, только об опытных образцах. Например, Алма-Атинскому совнархозу предложено изготовить пятьсот плугов-рыхлителей, решено заказать вне Казахской республики тысячу штанговых культиваторов и тому подобное. Между тем целине нужны сельскохозяйственные орудия, учитывающие ее особенности, а не опытные образцы. Казахстанцы обоснованно ставят вопрос о том, чтобы создать в республике собственную мощную базу сельскохозяйственного машиностроения, а прежде всего — быстрее завершить строительство завода «Казахсельмаш» в центре Целинного края — Акмолинске. Очень назревшее дело. И в этом важном вопросе без помощи союзной промышленности Казахстану не обойтись.

ЦЕЛИНУ НАДО СКОРЕЕ ДОСТРАИВАТЬ

Сейчас в областях и районах Целинного края идет разработка научно обоснованной системы земледелия. Забота и помощь целине, которую щедрой рукой направляют партия и правительство, оплатятся по большому счету. «Выделяя дополнительные средства на развитие сельского хозяйства,— говорится в постановлении январского Пленума ЦК КПСС,— партия ставит цель — создать условия, которые позволяли бы вести сельское хозяйство так, чтобы оно не зависело от капризов природы».

За семь лет до освоения новых земель пять областей, составляющих теперь Целинный край, дали государству триста семьдесят шесть миллионов пудов зерна. А за последнее семилетие — почти три миллиарда пудов. По решению Пленума ЦК партии доля нового края в ежегодных закупках зерна будет составлять в ближайшее время семьсот пятьдесят миллионов пудов. Это больше, чем давала и будет давать старая, исконная житница нашей страны — Украина. Но и это лишь минимум. По расчетам краевых организаций, производство зерна к концу семилетки достигнет не менее одного миллиарда двухсот тысяч пудов е ж е г о д н о! Производство же продуктов животноводства по меньшей мере утроится.

Близка к осуществлению и заветная мечта целинников-новоселов о настоящих, подлинно социалистических условиях быта в степи. В строительстве и благоустройстве в Целинном крае в среднем на один совхоз будет вложено свыше тридцати пяти миллионов рублей, против тринадцати миллионов рублей, израсходованных на эти цели за все годы освоения целины. По предложению Н. С. Хрущева новое строительство, там, где позволят условия, будет производиться на городской лад — четырех- и пятиэтажные дома с центральным отоплением, водопроводом. И кто знает, может быть, именно в Целинном крае раньше, чем где-либо еще, будет впервые решена историческая задача — ликвидация существенных различий между городом и деревней...

Обо всем этом и толкуем с бывшим директором совхоза «Толбухинский», а ныне первым секретарем Ленинградского райкома партии Федором Трофимовичем Моргуном.

Нынче и зимой в степи гудят тракторы. На полях передовых совхозов района на задержание снега поставлены, кроме снегопахов, также и мощные автодорожные грейдеры «ДАГ». Будто огромные ледоколы, врезаются они в снежные моря, оставляя после себя глубокие каналы с высокими валами — берегами. По дороге сюда, в Ленинградский райком партии, мне то и дело попадались навстречу автомашины, до отказа нагруженные теплым, иногда еще дымящимся навозом. Навоз на поля — это нечто новое, досель невиданное в Северном Казахстане. Видимо, пойдет он под кукурузу, картофель, овощи.

— И не только под них, — улыбается Моргун. — Пытаемся удобрить и отдельные семенные участки зерновых.

И то дело! Как ни хороши новые земли, а от органических удобрений, которых, кстати сказать, скопилось у каждой фермы множество, они не откажутся и на эту заботу ответят дополнительным урожаем.

К предстоящему севу Ленинградский район подготовился как надо. Земли вспаханы с осени, тракторы давно отремонтированы, снега на полях вдвое против прошлогоднего. И настроение у людей самое «подъемное». Хорошие приметы — они на высокий урожай.

Но работы невпроворот. Все еще не хватает механизаторов, руководящие кадры не всегда на высоте.

Вот в совхозе «Кузбасс», к примеру, прекрасно подобраны и обучены кадры среднего звена. Там что ни бригадир, то орел. Про бригадиров Дубового, Полоуса, Коваленко, Митина в районе говорят: «Таких директору за руку водить не приходится. Только слегка направляй — сами свое дело понимают».

По-иному в совхозе «Казанский». Там каждое звено хлябает. Ни один год не управляют в срок с посевной и уборочной.

— Бывало, — жалуется Федор Трофимович Моргун, — спросишь этого, такого милейшего человека, директора совхоза «Казанский» Данилу Михайловича Зезеку: «В чем же дело, дорогой мой?» А он еще и обижается: «Хиба ж ми сами не розуміємо, що гарно, що погано, да управи не хватаєт»... В конце концов пришли мы к выводу, что такой руководитель чересчур уж дорого обходится государству. Пришлось заменить.

Теперь Целинному краю все дано и, как говорит Моргун, «может, даже и с лихвой дано». Пора с каждого спрашивать в полную меру. Без скидок «на освоение». К правильной агротехнике нужна еще и образцовая организация дела, квалифицированное руководство на каждом участке. Одно от другого не оторвешь. И надо, чтоб «управы на все хватало», надо, чтобы была исключена сама возможность повторения ошибок, подобных тем, что были допущены в последние два года.

...А жизнь настойчиво выдвигает все новые и новые перспективные вопросы широкого плана. И о них, заглядывая в будущее новых земель, идет сейчас разговор с первоначальником и энтузиастом целины Ф. Т. Моргуном.

Тема беседы как будто бы касается частного вопроса. Почему, — пытаемся разобраться вместе с Федором Трофимовичем, — в Ленинградском районе за последние годы умерло на глазах озеро Улькен-Карой? Не маленькое озеро («улькен» — по-русски «большой»), не обычное зеркальное «блюдечко», которых в степях тысячи, а крупнейшее в районе озеро, в поперечнике свыше тридцати километров. Еще недавно этот неглубокий пресноводный водоем кишмя-кишел карасями. Еще не столь давно здесь проводился настоящий промысловый лов, приезжали рыбаки даже из Омской области, богатый улов перевозили при помощи тракторов. Затем озеро начало быстро усыхать и солонеть, а теперь на этой низменности только мертвые пески, поблескивающие солью, да местами красноватая травка — спутница солонцеватых отмелей, ее так и называют: «солянка».

Усыхают и другие озера степных районов, в том числе самое большое в области — Селеты-Тенгиз. Охотники рассказывают, что если в первые годы освоения целины они добирались до островов Селеты-Тенгиз, чтобы пострелять там волков, на лодке, то теперь свободно проезжают на автомашине.

Но озеро озеру рознь. Селеты-Тенгиз — горько-соленое, а пополняется оно главным образом пресноводной непересыхающей речкой Селеты и многочисленными ручьями.

Зачем отдавать в соленый водоем хорошую воду? Инициативные директора новых совхозов устроили по реке и балкам запруды, создали на территории своих хозяйств прекрасные водоемы, обсадили их деревьями. Зеркало одного из таких водоемов в совхозе «Херсонский» — пятнадцать гектаров. Там теперь раздолье для водного спорта, построены база совхозного рыболовства — карась и карп — и ферма водоплавающей птицы. Очень хорошее решение вопроса!

Другое дело — пресноводное Улькен-Карой. Ну, как же это допустили, что оно начисто усохло?

Федор Трофимович просит не удивляться, резонно доказывает:

— В отличие от Селеты-Тенгиза, Улькен-Карой питалось исключительно сточными водами, или верховодкой, как их называют у нас в степи. Вокруг озера возникли восемь крупных совхозов. Вспаханные земли и сами по себе забирают влагу, да еще вдобавок — снегозадержание. Возьмем совхоз «Кузбасс»; там слой снега нынче составляет полметра. Умножьте на площадь хозяйства. Получается примерно пять миллионов кубометров воды по одному только совхозу.

Все это звучит как будто бы убедительно, а пресноводного озера все же жалко.

А что говорят ученые-гидрологи? Участники специальной экспедиции Ленинградского гидрологического института, работавшие в Северном Казахстане, считают, что повлиял и еще один важный фактор: «Попали под цикл маловодных лет». В степных районах действительно бывает и так, что озеро то исчезнет, то вновь появляется. При всех условиях, будь вокруг водоема и вообще в районе серьезная лесная защита, обширная зеркальная площадь и сегодня радовала бы глаз, повышая весь тонус жизни и быта населения. Лес — накопитель влаги, преграда против ветров, этого главного фактора в испарении. В жизни степей появились новые обстоятельства — по ним прошел плуг; установившееся равновесие в природе нарушено — чем его восполнить? Посадками леса. Где лес, там и вода, с ним и устойчивое плодородие.

На целине сотворены подлинные чудеса: ковыльные степи стали пшеничными. Но два северо-восточных района — Қзыл-Туский и Ленинградский — были и остаются самыми безлесными в области. И до каких пор их будут именовать «районами одной березки или одной сосенки»?

Местные названия помогли геологам раскрыть богатства недр Казахстана: Мыс-Тау — медная гора, Джебказган — медная копь, Коргаш-Тау — свинцовая гора. Ориентируясь на эти названия, искали и не ошибались, находили и медь, и серебро, и свинец, и каменный уголь.

Но что интересно: в степных районах среди наименований казахских аулов, прежних зимовий полуседлых кочевников, а также холмов, возвышенностей или впадин особенно много «лесных». Что ни название, то вид дерева. Вот, например, поселки: Теректы, что означает осина, Карагай — сосна, Каин — береза, Карашлык — ива, Тукты — хвоя, Узунгаш — высокое дерево. Кстати, Караганда — тоже лесное название. Оно произошло от караганника (карагача), ильмового растения, заросли которого в прошлом покрывали всю эту местность. Названия живут, а лесов нет. Да и сам город Кокчетав — почему он так назван? Слово «кокшетау» переводится как «синеватые горы». Между тем цепь холмов, покрытых жиденькой травяной растительностью, близ которой расположен сегодняшний областной центр, отнюдь не отличается своей синеватостью. Однако еще нынешнее поколение помнит, что была эта всхолмленная равнина действительно синевато-сизой от сплошь покрывавшего ее хвойного леса.

Наукой точно установлено, что в прошлом сосновые боры в степной части Северного Казахстана представляли почти сплошную полосу, смыкавшуюся не только с тайгой Западной Сибири, но и с лесами Урала, ленточными борами Алтая. Сохранившиеся до наших дней отдельные островки сосняков, например район Борового или Арык-Балыка, представляют собой лишь отдельные звенья этой громадной полосы лесов, разорванной в результате хищнического истребления.

Особенно интенсивно истребление лесов на территории Северного Казахстана происходило в конце прошлого — начале нынешнего столетия под натиском волны переселенцев из Центральной России и Украины. Кто бы ни приезжал — казахи ли дозоры,

старообрядцы ли или просто голытьба, особенно обильно хлынувшая сюда после утеснительной для бедноты столыпинской реформы,— все старались осесть около лесов и воды, все начинали с рубки леса. Зажиточные — пороскошной, беднота — скудной, но все так или иначе устраивались на нови при помощи местного леса: закладывали, насколько хватало достатку и силенок, дом, двор, сарай и прочие надворные постройки и пристройки из кондового леса, которому, казалось, конца нет. «А, вырубим — новый вырастет». А он и не вырос! Ему не дали вырасти. До сих пор почти все строения в Рузаевке — районном центре с семитысячным населением — из местной древесины. Зато от обложного соснового бора, которым когда-то славилась местность, сохранились только трухлявые пеньки на приусадебных участках. Так же, почитай, и по всей области...

К сожалению, процесс разрушения от неправильного ведения лесного хозяйства — самовольных порубок, пожаров, пастьбы скота, различных древоточцев, короедов, листоедов и других вредителей — и сейчас не приостановлен, он еще сильнее потока создания. Во всяком случае, за пятнадцать лет, до 1955 года, площадь под лесами в Кокчетавской области уменьшилась на сорок восемь тысяч гектаров.

Правда, уже нет сейчас, пожалуй, ни одного нового совхоза, где бы не был заложен общественный сад, не проводилось бы озеленение улиц, создание парков. В совхозе «Салкынкульский» под фруктовым садом занято двадцать гектаров, здесь уже не первый год цветут и плодоносят яблони, груши, вишни. В совхозе «Горьковский» создан чудесный зеленый уголок — размеры сада доходят до ста гектаров, там теперь пахнет не только самой распространенной в Сибири «омкой», но и многими другими сортами яблок. Любовно шефствуют над садами школьники в совхозе «Кузбасс» и многих других. Бригадир Василий Дубовой — и не один он — даже на полевом стане завел хороший фруктовый садик. Но в целом лесные богатства области пока не только не возрастают, а даже продолжают сокращаться.

На севере Кызыл-Туского района издревле существовал аул Барсукбай, теперь там совхоз «Барсукбайский». В смысловом переводе наименование «Барсукбай» означает: место, богатое барсуками. Но ни одного барсука там нет. В чем же дело? В былые времена по территории Кокчетавской области протекала большая река Камышловка, впадающая в Иртыш около Омска. Путь ее проходил и близ аула Барсукбай, расположенного на опушке дремучих сосновых и смешанных лесов. Били в лесах родники, стекали в реку, обогащая ее, многочисленные ручьи. От Камышловки осталась только реденькая цепочка горько-соленых озер и бочагов, замолчали, погасли родники, резко опустился уровень грунтовых вод, от барсуков — одно название. Но на возвышенностях, где раньше шумели девственные леса, до последних лет оставалась березовая роща в двести с лишним гектаров; со всех сторон, правда, оципанный и основательно прореженный, но все же хороший лесной оазис. А сейчас и рощи нет. Самовольные порубки, пастьба скота, стоянки тракторов опустошили и последний лесной массив в районе. Так почему бы не восстановить его? Заселить вновь деревьями рыжие песчаные холмы, где раньше красовались сосняки, возродить березняк, ввести, таким образом, в строй «бросовые земли». Дело-то ведь стоящее!

Явно настало время еще основательней вмешаться в жизнь природы и всесторонне, «доставивая» новые земли, более капитально поправить и самую географию, чтобы и плодородие не иссякало и жизнь передового отряда строителей коммунизма была выгодней и краше.

Прекратить истребление имеющихся лесов и садить, садить заново, особенно в районах, куда ветровая эрозия уже подкралась или подкрадывается, — это сегодня жгучая и срочная проблема новых земель. Иначе не оберемся бед впереди. Возникла также настоятельная необходимость подумать о запрещении распахов водосборных площадей наиболее ценных естественных водоемов, о сохранности не только лесов, но и кустарниковых зарослей на склонах сопок, о создании лесных защитных насаждений по берегам рек и речек, степных озер и искусственных водоемов.

Из суммы проблем охраны, восстановления, пересоздания фауны и флоры степных районов некоторые вопросы хочется выделить особо.

В свое время был разработан план большой государственной лесной полосы, про-

ходящей через все северо-восточные области Казахстана — от Кустанайской до Семипалатинской. Это будущий лесной заслон против господствующих юго-западных ветров, которые приходят сюда из опаленных солнцем прикаспийских пустынь и приносят ненавистную июньско-июльскую засуху. Можно не сомневаться, дойдет очередь и до нового большого свершения целинников: встанет лесная преграда на пути суховеев. Но одна полоса — как она ни важна — не решает вопроса. Еще более нужны хорошие полезные лесные полосы в каждом степном хозяйстве. Это элементарно.

Автору этих заметок при поездках по совхозам немало приходилось слышать заявлений директоров совхозов: «Вот с будущего года обязательно окольцуем каждое поле лесозащитными полосами». И план даже покажут. Целинники ждут этого не дождутся. Новоселы, приехавшие сюда из лесистых областей Центральной России или с утопающей в зелени садов Украины, больше всего жалуются именно на то, что им «по деревьям скушно». А на другой год вновь слышишь от директоров совхозов: «Хотелось вот, да опять руки не дошли».

Характерно, что даже мизерные планы посадки лесных полос в области ежегодно срываются. В 1959 году при плане в тысячу гектаров были фактически засажены в совхозах только пятьдесят гектаров, в колхозах — ни одного. Кстати, и о самом планировании. Вряд ли целесообразно распылять средства на лесные полосы равномерно, как это сейчас делается, — «понемножку, но всем или почти всем». Заниматься нужно посадками в каждом хозяйстве. Зелень необходима на целине, как воздух. Что касается планируемых посадок лесных полос, то больше эффекта получится, если, скажем, нынче обсадим капитально одну группу хозяйств, на будущий год — другую и так далее.

Беда еще в том, что время посадки деревьев совпадает с весенней или осенней страдой. «Уж не создать ли специальные межсовхозные бригады или звенья по посадке лесных полос?» — задумываются некоторые руководители совхозов. Может быть, и так. Стоит продумать.

В конце-то концов планы по тысяче гектаров в год — разве это размах? Пора говорить о перспективной программе массивного лесоразведения, рассчитанной на многие годы.

Поглядишь на пограничные старые селения Омской области — та же степь, а против окон каждого дома, как и в исконных деревнях Центральной России, выросли и кряжистые тополи, и родные нашему сердцу белые березы, и извечные приятели и соседи — черемуха и рябина. Зато совсем рядом, в поселках Кзыл-Туского или Ленинградского районов, — порой ни одной былиночки.

Возобновлять лес можно в какой-то мере и за счет местных средств и самостоятельности.

Мы должны брать и от новых и от старых земель все их сокровища, но одновременно предвидеть и отдаленные последствия своей деятельности. Не на год и не на десять лет дана нам целина, мы должны превратить ее в край цветущий.

г. Кокчетав.



М. КУРЬЯНОВ

★

ТУРСУНОЙ

Дорога петляла меж арыков по хлопковому полю. Шофер «Волги» заметил у обочины мальчонку-узбека, придержал подле него машину и спросил, не знает ли он, где найти Турсуной Ахунову.

— Вот там! — Мальчонка махнул рукой в сторону видневшихся сквозь деревья строений. — Переедете арык и свернете направо. Новая дорога прямо к турсуновскому шипану и ведет.

Пока шофер разговаривал с мальчуганом, я разглядывал места, уже знакомые мне по прошлогоднему приезду. Стоял тогда такой же жаркий и пыльный октябрь, и так же обильно сыпалась листва с тополей. На первый взгляд все осталось по-прежнему — разве только новая дорога да лозы, за год поднявшиеся над арыком... Э, нет! Вон еще виднеется насыпь: видно, сооружают новый поливной канал... На обочинах поля, где раньше кучами лежал на земле запыленный хлопок, теперь стоят тракторные тележки, доверху заваленные белым сырцом. И машин будто стало побольше на уборке...

Едучи сюда из Ташкента большим узбекским трактом, я отметил уже немало перемен. И, пожалуй, наиболее примечательное — новые дома в кишлаках с двумя, тремя, а то и четырьмя окнами, глядящими на дорогу. На иных окнах уже белеют шторы, иные еще и без стекол. Широко входит новое, и, прежде чем пробиться, оно должно пересилить старый обычай узбека наглухо отгораживаться от белого света. Не в год, конечно, это сделано — начало положено давно, но ломка старого идет стремительно, бурно. Мазанки с глухими стенами на проезжую улицу отходят в прошлое...

Подъезжая к «турсуновскому шипану», как называл его мальчуган, я переживал то внутреннее волнение, какое испытываешь, когда долго не видишь человека и ищешь с ним встречи.

Но мне хочется здесь вернуться немного назад, к тем прошлогодним дням, где лежит начало нашего рассказа. Мое знакомство с Ахуновой и другими здешними хлопкоробами произошло, можно сказать, случайно, когда в октябрьский полдень в колхозном правлении зашел разговор о машинной уборке хлопка. За столом сидели несколько человек. Прихлебывая зеленый чай, председатель колхоза Далибаев рассказывал:

— По плану мы обязаны собрать машинами пятьсот тонн хлопка, а собрали уже шестьсот. Одна Турсуной Ахунова собрала сто пятьдесят тонн...

Говорил председатель медленно, и по лишенному каких бы то ни было оттенков голосу можно было подумать, что его вовсе не волнуют ни колхозные дела, ни этот на всю республику прошумевший рекорд Ахуновой. Не меняя тона, Далибаев сообщил, что Турсуной одна заменила на поле пятьдесят сборщиц и что себестоимость тонны хлопка, собранного на машине, в десять раз ниже ручного сбора.

Напротив председателя сидел секретарь райкома партии Акрамов. Он легонько раскачивал полнеющим телом председательское кресло и согласно кивал головой всякий раз, когда Далибаев называл очередную цифру. О Турсуной Акрамов заметил:

— Огонь женщина, достается от нее всем, а больше других — председателю.

— Так не напрасно же! — вступила в разговор инструктор Ташкентского обкома партии Назимова. — И молодец женщина! Не дает себя в обиду.

Секретарь оставил реплику без внимания. Отмолчался и председатель. Далибаев только упомянул, что Турсуной сейчас убирает хлопок в другом колхозе — «в порядке помощи вытаскивает соседей», — и уткнул глаза в бумажку.

Как-то сам собой завязался дальше разговор вокруг машины. Это была одна из самых жгучих проблем в республике: решался вопрос, можно или нельзя заменить ручную сборку машинной. Споры по этому поводу начались лет десять назад, когда на поле появился первый хлопкосборщик. Эта модель оказалась неудачной, приходилось дособирать хлопок руками. И вот с тех пор крепко засело в головах колхозных руководителей недоверие к машине.

В минувшем году на поля вышла машина новейшей марки: двухрядная, высокой производительности. На нее возлагали много надежд, и борьба вокруг нее разрасталась. Какую сторону в ней держали председатель колхоза, секретарь райкома, Турсуной Ахунова? Во время беседы за столом это оставалось непонятым, разговор перебежал с темы на тему. За репликой секретаря скрывалась недоговоренность. Она приоткрылась, когда речь зашла о женском труде в колхозе.

— Мало на руководящих постах в колхозах женщин, — сказала Назимова.

— Это верно, — согласился Акрамов, — но ведь трудно им занимать ответственные посты. Должность, скажем, бригадира требует много времени, а женщине нужно и дома заниматься и возиться с детьми. Да с мужчиной и как-то больше считаются. То же можно сказать и о механизаторе, несподручно для женщины это дело.

Секретарь сощурил глаза и посмотрел на председателя. Тот сидел, уткнувшись в бумажку, и что-то подсчитывал.

Рассуждения секретаря меня насторожили.

А председатель, сверившись с бумажкой, вернулся к прежней теме:

— В колхозе шестнадцать хлопкосборщиков. Думаем купить еще шесть. К новому сезону собираемся подготовить двадцать водителей.

— И среди них, конечно, будут женщины? — спросил я.

— Не знаю, — нехотя ответил Далибаев. — Может, и будут. Есть же у нас Турсуной!

— А что? Ведь хорошую женщину вырастили мы у себя в районе. Правда? — не без гордости поддержал Далибаева секретарь и обвел сидящих довольным взглядом.

— А сколько всего женщин-водителей в колхозе? — спросил я.

Акрамов чуть передернул плечами и вопросительно взглянул на председателя. Тот неторопливо глотнул ложку шурпы, только что поставленной перед нами, и отозвался тем же бесцветным тоном:

— Одна Турсуной.

И он опустил к чашке с бараньим супом свой бесстрастный взгляд.

— А в районе?

— Та же Турсуной, — сказал секретарь. На этот раз некому было за него ответить. И он добавил: — Хвалиться нам нечем. Но и в других районах не больше.

— Правда, — заметила Назимова. — Женщин-водителей на хлопкоуборочных машинах у нас во всей республике единицы. Но это плохо.

— Лиха беда начало, — сказал секретарь, снова намекая на Турсуной и пытаясь тем самым еще раз подчеркнуть достижение своего района.

— Под лежачий камень вода не течет, — возразила Назимова.

— Это верно, — согласился Акрамов. — Но мы этот камень начали сдвигать с места.

— Видно, плохо еще двигаете, если на весь район, кроме Турсуной, и назвать некого, — продолжала наступать Назимова.

Секретарь метнул на нее недобрый взгляд, а председатель уклончиво ответил:

— У нас хоть Турсуной есть.

Ахунову я встретил тогда на поле соседнего колхоза, возле хлопкоуборочной машины. В шароварах, в мужского кроя кофтенке, в тюбетейке, лихо сбитой набок, она показалась мне мальчишкой-сорванцом. Чуть вздернутый нос и совсем еще дет-

ские — но с хитрецей — быстрые глаза. Знакомясь, я спросил, почему она оказалась на поле соседнего колхоза.

— О, это забавно, — с оттенком иронии ответила Турсуной. Но больше ничего рассказывать не стала. — Спросите у наших колхозных руководителей, им лучше знать.

Турсуной стояла возле машины, где возились какие-то люди, должно быть ремонтники, и держала на руках ребенка.

— Ваше потомство? — спросил я.

— Дочка моя. Мухаббат. Только что пообедали и собрались здесь почти всем семейством. Это моя младшая сестренка Инобат...

Турсуной указала на девушку лет шестнадцати, низкорослую, коренастую. Та застенчиво отворачивала в сторону зарумянившееся лицо.

— Помогает мне, с малышкой возится. А вот и муж, Султан, — кивнула она на парня лет двадцати, смуглого до черноты, только что выбравшегося из-под машины. — Знакомьтесь!

Султан оказался колхозным радистом и учеником жены по вождению машины. Инобат тоже меняла обязанности няни на искусство водителя, но пока еще под прищотом сестры. Маленькая Мухаббат капризничала и настойчиво требовала, чтобы ее посадили к штурвалу.

— У нас какая-то «машинная» семья, — сказала мне Ахунова, когда мы, уже хорошо познакомившись, собрались в ее доме за чаем. Тогда мне представили еще одного члена семьи, самую младшую из сестер Ахуновых — Хайри. — В школу пойдет, — рассказывала о ней Турсуной, — а глядишь, очутится на колхозном дворе у машины. Во всем мне подражает. Помню, после школы подруги позовут меня гулять, а я бегу на усадьбу МТС. Что поделаешь, увлечение...

В то время Турсуной Ахунова работала над выполнением неслышанно высокого для прошлого года обязательства — собрать за сезон полтора тонны хлопка. Это больше, чем могли бы собрать сто колхозниц руками, и Турсуной дорожила каждой минутой. Мы говорили урывками, во время выгрузки бункера или смазки машины, а потом условились, что будем встречаться в обеденные перерывы и в вечерние часы. Надо сказать, и это время было неудачным, так как в обед она была занята тем, что сама готовила для себя и для дочери еду, а «вечер» ее начинался очень поздно, когда она заканчивала работу. Но отрывочные беседы продолжались, и в них всякий раз пробегали живые картины из жизни молодой женщины — жизни пока еще очень короткой, но по-своему яркой и романтической. Турсуной росла в узбекском кишлаке Пахта, где на ее детской памяти еще бытовали пережитки мрачной старины. Она успела запомнить чачван и паранджу, закрывавшие от глаз узбечки белый свет, запомнила кошмарную «ичкари» — женскую половину дома, где узбечка жила затворницей, как в камере-одиночке. Помнила она, как на селе продавали девятилетних девочек в жены...

А когда подростком Турсуной начала собирать хлопок, она узнала и другую сторону судьбы женщины. От темна до темна, согнувшись над кустом хлопчатника, работала она в поле. И так день за днем... Как тут не зародиться мечте о машине-помощнице у девочки с пытливым умом?

В пятнадцать лет Турсуной села за руль хлопкосборщика.

— Сколько было радости, надежд, земли под собою не чуяла, — вспоминала она первый день, когда приехала из МТС в свой колхоз на уборочной машине. — Мне тогда казалось, что все так рады, так давно ждали меня, а получилось совсем иначе...

В ее детски-нежном загорелом лице мелькнула обида. Она замолчала, и маленькие руки ее нервно затеребили куст хлопчатника. Потом Турсуной снова начала рассказывать:

— Бывало, бригадир разберет мост на пути к хлопковому полю через арык, чтобы туда нельзя было проехать на уборочной машине, и радуется, как ребенок. А то напустит воды в грядки, чтоб машина завязла. Или с вечера объявит мне участок, а утром пошлет толпу людей убирать хлопок руками...

Так, едва сделав первый трудовой шаг в жизни, Ахунова оказалась среди людей с иными взглядами и привычками. Горько бывает видеть, как полезное дело гибнет от

руки враждебных людей. Но еще горше, когда свои люди не могут понять пользы доброго дела и воюют сами против себя, против своего же счастья...

Турсуной металась на своей уборочной машине по полям других колхозов в поисках работы, убирала хлопок в тех колхозах и совхозах, где поговорчивее были руководители. Не год и не два проехала она так по чужим полям, а сердце рвалось в свой родной колхоз. Часто приходилось ей схватываться с Далибаевым, в слезах приходило к Акрамову.

— Я много тогда думала,— рассказывала Турсуной,— быть может, мне отступить, бросить машину? И не могла. Ведь машина в руках узбечки — оружие не только против отсталого ручного труда, но и против феодально-байского отношения к женщине.

В разговорах я старался понять Турсуной, ее внутренний мир,— понять, откуда у такой слабой и хрупкой на вид женщины столько воли, упорства. Пять лет воевать за машину, когда приходится быть в поле одному воином, не всякий сможет. И как-то в беседе я задал ей этот вопрос. Она ответила удивительно просто:

— Все мы берем силу у нашей партии, а партия — за хлопкоуборочную машину. Никита Сергеевич назвал машину другом хлопкороба.

Вот через какую нить рядовая колхозница из далекого кишлака связывала свои помыслы, чаяния, свое сердце с родной партией. Она твердо шла к цели, понимая, что это не только ее личная цель, но и цель партии. А это, конечно, понимали и председатель колхоза и секретарь райкома. И все же они еще выжидали: что получится из затеи с машиной на этот раз? Даже когда Турсуной своим опытом опрокинула антимеханизаторские взгляды, оба руководителя еще с опаской глядели на машину, хотя на словах отзывались о ней с похвалой.

— А как сейчас относятся к машине в правлении колхоза? — спросил я.

— Лучше, конечно, чем раньше. Но ведь я, как видите, собираю хлопок не в своем колхозе. Мы, правда, свой план машинной уборки выполнили, но можно было продолжить уборку и сверх плана.

Что можно было возразить против этой простой житейской правды? Я заметил, что у Турсуной, несмотря на молодость, уже была житейская рассудительность — простая и убедительная. Поражала Турсуной собеседника и глубокими познаниями, особенно в области своего дела.

Как-то на хлопковое поле приехало человек шесть специалистов из Ташкента. Их интересовала работа нового хлопкосборщика, на котором работала Турсуной. Завязались обсуждения, споры. Турсуной внимательно слушала, молчала, потом выступила. Она говорила о конструктивных достоинствах и недостатках машины, называла части, которые следовало заменить или переделать. Доказывала, что нужно увеличить бункер, так как нынешний мал: с половины длинного гона приходится вхолостую гнать машину к месту выгрузки. Советовала по-новому расположить рычаг переключения скоростей, поставить гидравлический привод для выгрузки бункера и кнопку или педаль для завода машины. Она приводила доводы, доказывала, убеждала. И специалисты внимательно слушали ее.

Вспоминается и такой случай. Однажды мы остановились с Турсуной на убранном поле возле высокого куста хлопчатника. Не помню, о чем говорили, но она вдруг заметила:

— Видите, какой куст вымахал. На нем весь хлопок цел. Машина его не снимает, потому что он не форменный.— И прочла мне целую лекцию.

Она говорила о новой агротехнике, которой еще нет на колхозных полях, но непременно будет, так как машина заставит. Развила теорию о форме куста. По ее убеждению, куст должен быть строго определенной формы — тогда он будет удобен для уборки машиной и принесет прибавку урожая. Турсуной с увлечением рисовала захватывающие перспективы, предвидя, как все поля республики будут переведены на полную механизированную уборку.

— Да вы, оказывается, еще и агроном-мечтатель,— заметил я в шутку.

— Нет, еще не агроном,— ответила она серьезно.— Закончу уборку и попытаюсь поступить в сельскохозяйственный техникум. Заочно буду учиться. А что до мечты, так почему бы и не помечтать? Этот грех у меня с детства.

На хлопковом поле я пробыл несколько дней. Наши беседы с Турсуной касались разных тем. Разговорились мы как-то и о женщинах — водителях хлопкосборщиков. В республике их насчитывалось не то три, не то пять, никто не мог сказать точно. Мне было интересно узнать мнение Турсуной.

— Вы спрашиваете: почему среди водителей не видно узбечек? Как вам сказать...— Она пожала плечами.— Причин тут много, и трудно выделить главную. Настороженность к машине общеизвестна, но суть не только в этом. У нас многие женщины — а еще чаще мужчины — считают, будто водить машину неженское дело. А иная и решится, так либо родители запротестуют, либо муж...

Беседа затянулась. Турсуной виновато посмотрела на часы и сказала:

— Ничего, нагоню. Сегодня доберу сто шестьдесят восьмую тонну, а к открытию Пленума партии соберу и все двести.

Она рванулась к машине, и опять что-то мальчишеское и озорное мелькнуло в ее движениях, напомнив о том, что ей шел только двадцать первый год.

Я снова задержал ее удивленным вопросом:

— Смотрите, ваш хлопкосборщик пошел по полю. Каким чудом?

Она улыбнулась.

— Это Насиба Саидходжаева, моя ученица. А что?

— Выходит, вы и других девушек обучаете водительскому делу?

— Только начинаю. Зимой буду учить. Вот увидите, как узбечки пойдут на машины!

И на этот раз — довольная — она убежала.

Турсуной жила на полевом шипане, и я как-то среди дня заглянул туда. Это была маленькая комната с низким потолком, глиняным полом и почти полупустая. Посреди комнаты стояла печка-временка; на ней лежали ложки, стояли тарелки, кастрюли. Железная кровать в углу была покрыта старой одеждой, а рядом сверкала белизной и чистотой кровать ребенка. На низкой скамейке сидела мать Турсуной — Бушарат, лицо у нее было доброе и приветливое, как у всех хороших матерей на земле. Мы разговорились. Долго и подробно она рассказывала о своей жизни, о муже, трагически погибшем на железной дороге при исполнении служебных обязанностей, о детях и, конечно, о Турсуной. На руках у Бушарат сидела, засунув палец в рот, маленькая Мухаббат.

— Зачем здесь все это? — спросил я у Бушарат, показывая на печь и посуду.

— Как зачем? — удивилась она.— Турсуной готовит обед, а когда я здесь, я стряпаю.

— Когда же она успевает?

— Ну когда? После работы, конечно. Поздним вечером.

Мне по-человечески было обидно смотреть на то, что кто-то не позаботился о быте Турсуной — хотя бы о горячей еде, о молоке для ребенка. Ведь Турсуной была здесь вдаль от дома, не всегда с матерью, и каким же надо было обладать терпением, упорством, какую надо было иметь душу, чтобы вот так самоотверженно трудиться и жить, не щадя своих сил. И может быть, в этом полупустом и заброшенном жилище, пусть даже временном, мне впервые по-настоящему открылось большое сердце Турсуной Ахуповой.

Перед отъездом из колхоза я спросил у Турсуной, какая у нее цель в жизни. Она ответила не сразу.

— Какая может быть цель у советского человека отдельно от народа? — ответила она вопросом на вопрос.— У всех цель одна — коммунизм! Для него я живу, воспитываю свою Мухаббат. Думаю, ей не стыдно будет глядеть людям в глаза за мою жизнь. Вот соберу двести тонн хлопка и буду думать, как на следующий год собрать больше.

— Неужели вы живете одним хлопком?

— По правде сказать, нет. Но хлопок — главное. Вы знаете, я не так давно ездила по туристской путевке в Индию, там беседовала с одним безземельным крестьянином. Какая же у него тоска по земле! Не знаю, поверил он или нет, когда я ему рассказывала про свою жизнь, — наверное, нет. Он сказал, что на земле такой жизни не может быть, и все смотрел на небо. Когда я думаю об этом крестьянине, мне хочется

лучше работать...— Она остановилась, подумала.— А кроме хлопка, у меня много разных других интересов, да сейчас не до них. Закончим уборку, тогда и до театров доберусь, до книг, до всего, без чего нет у человека полной жизни...

Теперь, через год, подъезжая к турсуновскому шипану, я перебирал в памяти прошлые встречи. Мне хотелось увидеть снова замечательную колхозницу, встретить председателя правления, секретаря райкома и всех, кого я тогда узнал. Хотелось заметить все перемены — конечно, в лучшую сторону.

Что касается Ахуновой, то из газет я уже знал, что она в 1959 году собрала двести десять тонн хлопка, побывала в Москве, выступала на декабрьском Пленуме Центрального Комитета партии и вернулась в Пахту Героем Социалистического Труда...

Наша «Волга» остановилась перед маленьким, весело бежавшим арыком, за которым стоял в позолоченных осенью молодых тополях турсуновский шипан. А вот и она сама. Но постойте, она ли? Лицо будто другое, а улыбка ее — широкая, добрая. Турсуной стояла на крыльце в сапогах, серой юбке и такого же цвета кофте. На руках у нее, как и при первой встрече, был ребенок. Я поздоровался и спросил, не Мухаббат ли все еще отсиживается на материнских руках.

— Что вы! Мухаббат уже невеста,— сказала она, смеясь,— где-то здесь бегают во дворе, а это моя вторая дочь — Мархамат.

Я поздравил ее с прибавлением в семье, и мы заговорили о делах и общих знакомых. Прежде всего Турсуной рассказала о своей семье. Мамаша Бушарат здорова и перебралась на новую квартиру. Инобат уже самостоятельно водит машину и убирает хлопок в одном из колхозов района. Султан тоже стал водителем.

— Мы теперь с ним вдвоем собираем хлопок,— сказала Турсуной.— Он недалеко. Если хотите, можем туда проехать, я вот только покормлю свою Мархамат.

Пока Турсуной кормила дочь, я рассматривал шипан: светлый, просторный, уютный. Широкая открытая веранда, просторная столовая; справа и слева — комнаты; в дальнем углу — дверь на кухню. Турсуной жила здесь не одна: тут же размещались и другие члены бригады.

Когда мы собирались ехать на уборочное поле, к шипану подъехал председатель правления Далибаев. Он ничуть не изменился, все такой же медлительный, осторожный, но в лице мне почудилась незнакомая прежде «живинка». Мы поздоровались, как старые знакомые.

— Теперь на машины нажимаем,— сказал он, обводя жестом поля.— Против прошлого года вдвое увеличили машинную уборку.

— В прошлом году вы, кажется, были другого мнения о машинной уборке.

Он горько улыбнулся и ответил, как мне показалось, нехотя:

— Не только я один. Повыше тоже были такого мнения.

На кого намекал Далибаев, он распространяться не стал. Я спросил у него о секретаре райкома:

— А как живет Акрамов? Он, кажется, ваш друг?

— Какой он мне друг! — Далибаев махнул рукой.— Его сняли. Запутался в личной собственности, а где он сейчас — не знаю...

К нам подошла Турсуной, готовая к отъезду. Я простился с Далибаевым, и мы поехали проселочной дорогой к ее участку. По пути беседовали об уборке, и я попросил Турсуной рассказать, как она добивается высоких показателей на хлопкосборщике. В прошлом году нам не пришлось подробно касаться этой темы.

— Меня об этом часто спрашивают, особенно молодые механизаторы,— сказала она,— и, представьте, не всегда просто бывает растолковать, что высокие показатели приходят не сразу и начало им кладется задолго до уборки. Скажите, разве можно получить хорошие показатели, если не вырастишь высокий урожай? Мы рассчитываем на своем участке в этом сезоне собрать с гектара по тридцати пяти, сорока, а то и больше центнеров сырца. Борьбу за урожай начали с весны. А когда появился хлопчатник, принялись за обработку и вели ее так, чтобы кусты сильно не разрастались и имели больше коробочек. Такой хлопчатник наиболее приспособлен к машинной уборке.

Я напомнил Турсуной ее прошлогодний рассказ о форме куста и спросил, изучает ли она теорию хлопководства и помогает ли ей это на практике.

— Книг читала и читаю много, но скажу, что без труда на полях не будешь их понимать по-настоящему. Можно вы зубрить агротехнические правила наизусть, рассказывать о них без запинки, но чтобы понимать, нужно своими руками покопаться в земле.

И, как бы подтверждая свою мысль, Турсуной подробно рассказала об уходе за урожаем и машинной уборке. Она говорила о нарезке поливных борозд, которые должны иметь одинаковую глубину и проходить строго посередине, чтобы уборочная машина шла по полю ровно, не качалась и не отклонялась в стороны, иначе не будет чисто снимать хлопок с кустов. Она упрекала механизаторов, беззаботно выезжающих на уборку, когда не убраны сорняки, особенно такие, как вьюнок и наслен, от которых быстро загрязняются шпиндели у машин, и нужно тратить попусту много времени, чтобы их промывать и очищать.

— Или возьмите,— говорила она,— проверку поля перед выводом агрегата. Прежде чем появиться с хлопкосборщиком, водителю самому нужно убрать на поле все комья, имеющие в поперечнике больше пяти сантиметров. Иначе ведь нельзя опустить рабочий аппарат машины на нужный уровень, чтобы он забирал хлопок из коробочек на нижних ветвях куста.

— Оказывается, подготовка к уборке — это целая наука,— сказал шофер, слушая ее рассказ.

— Ну, а в самом процессе уборки есть какие-нибудь особенности? — спросил я у Турсуной.

— Есть, и немало. Мне иногда приходится наблюдать, как неопытный водитель при заезде на поле или при выезде сбавляет газ и уменьшает количество оборотов рабочих органов машины. Казалось бы, чего в этом особенного, а вы посмотрите, что получается. При снижении числа оборотов коробочки с хлопком летят с кустов на землю, как груши с дерева во время бури. Поэтому я заезжаю на рядки на полных оборотах двигателя и сбавляю газ лишь после выезда из рядков. Иногда водитель ломает голову, как ему правильно установить ширину рабочих щелей машины. Тут нередко и опытные механизаторы становятся в тупик, а все зависит от величины коробочек. Даже на одном участке иногда приходится менять ширину щелей несколько раз. И не всякий механизатор знает простую вещь: если на поверхности коробочек заметен легкий отпечаток зубцов шпинделя — значит, зазор установлен верно...

Ахунова касалась многих дегалеЙ уборки, которые могли быть постигнуты ею только в процессе творческого труда.. Ну кому, скажем, без накопленного водительского опыта пришло бы в голову, что уборку на поле нужно начинать непременно с правого крайнего рядка, чтобы удобнее было следить, правильно или нет входят кусты хлопчатника в щель между барабанами, и тем самым избежать потерь коробочек с хлопком? А таких «секретов» у Ахуновой уйма, она их заботливо накапливает и щедро передает своим товарищам по работе.

— Сколько же можно собрать хлопка за день на вашей машине? — спросил шофер.

— Тонн восемь-девять. Эту норму я выдерживаю.

— И много вы уже собрали?

— Двести пятьдесят тонн!

— Это сколько же нужно людей, чтобы собрать столько хлопка руками?

— Человек сто, а то и полтора.

— Эх ты, вот это да! — воскликнул шофер.

Наша беседа прервалась возле тракторной тележки с хлопком. Мы остановились, поджидая Султана. Он вел хлопкосборщик по полю в нашу сторону, поднимая густое облако пыли.

— Не по центру же ведешь, не по центру,— сокрушалась Ахунова, глядя на агрегат Султана.— Вот видите,— обратилась она ко мне,— агрегат иногда «ковыляет» по рядкам, а значит, смещается рабочий аппарат и теряется сбор. Так на каждом гоне, глядишь, не доберет килограммов по десяти — пятнадцати.

— Все-таки вы обучили и мужа водительскому делу? — сказал я Турсуной.

— Как видите, еще не совсем. Но он уже самостоятельно водит машину и на счету имеет сто тридцать тонн собранного хлопка. Для новичка не так уж плохо...

— Вам удалось побывать в Москве? — спросил я Султана, помня, что в прошлом году он мечтал посетить столицу.

— Как же, ездил с женой, когда ее пригласили на декабрьский Пленум Центрального Комитета.

— Нянька мне была нужна, вот я и взяла его, — смеясь, сказала Турсуной.

— Да, представьте себе, — признался Султан, — целыми днями высиживал в гостиной «Москва» с дочкой. А что ж поделаешь? Вот соберу хлопка больше жены — тогда сам поеду в Москву.

Я спросил Турсуной, какие остались у нее впечатления о Пленуме Центрального Комитета.

— Вы знаете, когда я готовилась выступать, все время волновалась, и особенно страшно было идти на трибуну. А когда Никита Сергеевич похвалил меня и все в зале зааплодировали, страх мой сразу пропал. Вы помните, я тогда сказала, что одна берусь собрать двести пятьдесят тонн хлопка, и уже свое слово сдержала. Думаю собрать за сезон этак тонн триста, а то и больше...

Признаться, мне показалось это заявление слишком смелым, хотя я знал, что Турсуной словами не бросается. И вот теперь, когда очерк уже написан, приходится вносить дополнение: она собрала не двести пятьдесят, как обещала в 1959 году на Пленуме ЦК, и не триста, как замышляла еще в октябре, а триста двадцать две тонны!

Как хорошо сказал Н. С. Хрущев о Турсуной: «Нам всем понравилась эта женщина. Смотришь на нее и думаешь, какая она хрупкая на вид, но какая энергичная, настойчивая. С какой уверенностью она взялась за машину, не испугалась, изучила ее... Она достойный представитель молодого поколения нашей страны».

Изменилась ли Турсуной за год? Да, изменилась, я бы сказал — повзрослела. Сейчас не скажешь, что она хрупкая на вид. Но, пожалуй, еще с большей энергией она продолжает достойно представлять молодое поколение строителей коммунизма. За нею потянулись на машину и другие узбечки.

— Выходит, машина победила? — сказал я ей.

— Да, победила, — ответила она. — Вернее, пожалуй, сказать: победили люди. Теперь машину требуют всюду. И наш Далибаев другим человеком стал. Вы помните, в прошлом году спрашивали: почему узбечки не идут на машину? Я вам тогда говорила, что пойдут, и вышло по-моему — пошли, поняли ведь роль машины. В этом сезоне уже свыше тысячи двухсот девушек на хлопкосборщиках. Их называют «ахуновкам». Пусть так, неважно, как их называют, а важно, что лед тронулся и недалеко время, когда машина займет главное место в уборке и совсем вытеснит ручной труд. Наши ученые разрабатывают новую марку машины, более совершенную, чем нынешняя.

— Вы ведь тоже внесли свой вклад в подготовку кадров?

— Небольшой, — скромно говорит Турсуной. — Обучила всего семерых, а среди них два члена моей семьи — сестра Инобат и вот он, муж мой Султан, — пошутила она. И тут же, извинившись, заторопилась: — Нам с мужем пора по машинам, погода сегодня самая уборочная.

Попрощавшись с супругами, я отправился в отдаленный колхоз, где работали несколько учениц Турсуной.

По пути шофер сказал:

— Об Ахуновой я слышал давно, но не думал, что она такая.

— Какая же?

— Ну, как бы сказать... притягательная, что ли...

Шофер по-своему определил обаяние Турсуной. Но и я думал о том же. Беспкойный характер Турсуной, ее постоянные, неугомонные поиски как бы заражают. Об этом хорошо сказала мне и ее бывшая ученица Юлдашева, когда мы приехали в колхоз «Тридцать лет Узбекистана» и заговорили об Ахуновой:

— Замечательно в Турсуной то, что она умеет не только передать знания, но вместе с ними передать и волнение в работе.

Здесь, на колхозном поле, я снова встретил и сестру Ахуновой, Инобат, знакомую по прошлогодней встрече. Она осталась такой же крепышкой, но разговаривать стала с новым, заметным достоинством: как же, самостоятельный водитель машины!.. В голосе появились задор и бойкость, чем-то напоминающие прошлогоднюю Турсуну.

— Я уже собрала полсотни тонн хлопка. Обязалась сотню, а соберу, конечно, больше.

Обе девушки — Инобат Ахунова и ее подруга Юлдашева — гордятся тем, что носят звание «ахуновок», и перечисляют подруг, работающих в других колхозах. Называются имена Шайри и Мамуры из колхоза имени Сталина, Абдуллаевой и Султанбековой из колхоза имени XXI съезда КПСС, Нары Нуригдиновой и Хасият Усмановой из колхоза «Қзыл Октябрь». Одних называют по имени, других — по фамилии.

— Много нас училось на курсах, всех теперь не упомнишь,— говорит Инобат.

Постепенно нас окружили девушки — их было около двадцати,— все с белыми фартуками-мешками. Они с интересом слушали Инобат и Юлдашеву.

— А вы почему не машинами собираете хлопок? — спросил я у них.

Они застеснялись, пряча друг за друга загорелые лица.

— Их не учат,— ответила Юлдашева,— в колхозе нет ни одной девушки-водителя.

— Может быть, они сами не хотят учиться?

— Мы хотим учиться,— раздалось несколько робких голосов.

— Так в чем же дело, кто вам запрещает?

— Вон председатель и колхозный механик идут сюда,— сказали из толпы,— у них спросите.

Из-за вереницы грузовых машин, приехавших за хлопком, вышли двое мужчин почти одинакового роста — оба худые и оба в летах.

— Ахмедов, председатель колхоза,— представился один из них.

— Здесь вот девушки обижаются, что правление колхоза не хочет организовать для них курсы водителей хлопкоуборочных машин. Это верно? Может быть, у вас нет нужды в водителях?

— И нужда есть, и учить будем своих девушек,— говорит Ахмедов.

— А почему до сих пор не учили?

Председатель мнется. Я пересказываю ему свой прошлогодний разговор с первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана товарищем Рашидовым. Секретарь говорил, что три-четыре узбечки — водители хлопкоуборочных машин на всю республику — это позорная цифра. «За зиму,— сказал он,— мы подготовим не меньше тысячи». За год это обещание исполнено.

— Уже больше тысячи узбечек за рулем, а ваш колхоз пользуется услугами со стороны...

— Стыдно нам, и перед секретарем ЦК стыдно и перед нашими девушками нехорошо, но что поделаешь...— Председатель разводит руками.— Придется учить зимой, другого выхода нет.

— Пойдете учиться на механиков? — спрашиваю я девушек.

— Пойдем,— отвечают они хором,— все пойдем...

В этих голосах словно прозвучала их мечта об уборочной машине. На полях еще много узбечек сгибается у кустов хлопчатника. Но извечный труд женских рук уже уходит здесь в прошлое, как и другие тяжелые и унижительные пережитки и обычаи. Скоро узбечка перестанет гнуть спину на хлопковом поле и всегда будет помнить о первой в республике девушке-механизаторе Ахуновой.

Теплым январским вечером я застал семейство Ахуновой в московской гостинице «Украина». Маленькая Мархамат уже спала, ее младшая тетка — Хайри,— приехавшая помогать сестре, готевилась ко сну, а Турсуну и Султан намечали план на завтрашний вечер.

— У меня все дни заняты на Пленуме ЦК,— говорит Турсуну,— а вечера кажутся такими короткими, что ничего не успеваешь. А ведь и в театр хочется, и панорамное кино посмотреть надо, и просто по столице походить интересно...

Султан, на сей раз «освобожденный от должности няни», все дни посвящает зна-

комству с Москвой. Он побывал в музеях, ездил на Выставку достижений народного хозяйства СССР, интересовался строительством в Черемушках.

— Ведь у нас в Ташкенте тоже есть свои Черемушки,— говорит он,— но у вас это целый город...

— А какой же план намечен на завтра? — спрашиваю я у Турсуной.

— О, завтра у меня большой день,— говорит она тихо.— Предупредили, что дадут слово на Пленуме.

И я вижу, что она вся в ожидании завтрашнего дня. Все прочие дела и планы потеряли для нее всякий смысл.

— Второй раз меня пригласили в Москву на Пленум,— продолжает Турсуной.— А я так волнуюсь, так переживаю, будто никогда еще в Кремле не бывала. Подумать только, меня, узбечку из далекого кишлака, будут слушать самые передовые люди страны, руководители партии и правительства, Никита Сергеевич Хрущев. Это же понимаете что такое!

Турсуной нервно ходит по комнате, о чем-то напряженно думает.

— Вы знаете, что я скажу на Пленуме? Прошлый раз в Кремле я обещала собрать машиной двести пятьдесят тонн хлопка,— собрала триста двадцать две тонны. А в этом году соберу триста пятьдесят. Все силы приложу, а соберу! И еще я скажу, что мы вырастили урожай на ста гектарах по сорок два центнера хлопка на каждом, а в текущем году вырастим по пятьдесят!

В обсуждении планов на будущее принимает участие и Султан. Ведь он теперь равноправный член бригады Ахуновой.

— Затем я скажу на Пленуме,— продолжает Турсуной,— что я обещала в прошлом году обучить мужа и сестру управлять хлопкоуборочными машинами, и это обещание тоже сдержала.

— Ну зачем же обо мне? — смущенно разводит руками Султан.

— А чтоб вы, мужчины, лучше понимали нас, женщин,— смеясь, говорит Турсуной.— Тебе это, может быть, и ни к чему, а другие пусть подумают.

Тут подала голос и маленькая Мархамат. Турсуной бросилась к ее кровати. Я понял, что семейству нужен покой, да и время уже было позднее. Мы распрощались и пожелали друг другу счастья.

...Через день в газетах было напечатано выступление Турсуной Ахуновой на Пленуме Центрального Комитета. И снова передо мною проходила жизнь замечательной узбекской колхозницы. Она не думает ни о славе, ни о знатности. Она кропотливо прикидывает, что еще можно сделать, чтобы больше вырастить и собрать хлопка. У нее живая пылкость мысли и упорная устремленность к победе. И это замечательно!

Идти по дороге в коммунизм шагом героя — значит идти, ведя за собой других.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

★

ЛИРИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Тургенев рассказывал, что он плакал, описывая смерть Базарова. В самом описании, однако, слезы эти тщательно скрыты. Больше явных слез, пожалуй, в последнем абзаце романа («Есть небольшое сельское кладбище...»), и относятся они не так к Базарову, как к его родителям-старикам, «отцам»...

Тон пушкинских поэм резко ограничен от тона его лирических стихотворений. Если он восклицает в «Полтаве»:

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей,—

то это не столько личное обращение автора к героине, сколько отзвук той народной молвы, которая потрясла глухо волновавшуюся Украину, когда она узнала о любви Марии к Мазепе.

Вся поэзия Тараса Шевченко насквозь лирична. Это он сам, Тарас Григорьевич, горестно спрашивает свою несчастную Катерину:

Катерина, мое сердце!
Ой, беда с тобою!
Как ты жить на свете будешь
С горьким сиротою?

(Перевод М. Исаковского).

Замыслив большое эпическое произведение о коливнице — гайдамацком движении XVIII века на Украине, — он собирает в своей петербургской комнате воображаемую толпу героев поэмы, народных повстанцев, и говорит с ними, как с живыми, — «сыны мои, гайдамаки», — делится с ними своими мнениями по поводу литературных вкусов его времени и поверяет им свои творческие мечты, намечает тот путь, по ко-

торому твердо решил следовать вопреки советчикам, уговаривавшим его: «Пой про Матрешу...», — путь развития национальной литературы, литературы на языке, который так несправедливо называли недоброхоты «мертвыми словами»... Ощущение реальности разговора поэта с воображаемыми гостями из прошлого века не покидает читателя во все время знакомства его с великолепным вступлением к поэме.

Та же лирическая нота, то же незримое присутствие автора характерны и для поздних поэм Шевченко — «Неофиты», «Мария».

Шевченко был лирик по самой сущности своего поэтического дара. Быть может, именно к его лирическим стихотворениям меньше всего подходит излюбленный нашими литературоведами термин «лирический герой». Лирика Шевченко насквозь субъективна (при всей ее народности, при всем проникновении ее духом народного миро-созерцания и мироощущения). Это прекрасно понимал Иван Франко, когда писал в предисловии ко второму изданию своей «лирической драмы» «Увядающие листья», что составляющие эту «драму» «лирические песни» были «самыми субъективными из всех, которые появились у нас со времени автобиографических стихотворений Шевченко...».

Есть, конечно, у Шевченко ряд вещей, написанных явно не от лица автора: женские, девичьи признания и песни, такие, как ранние «Ветер буйный», «Дума» («На что черные мне брови...»), как «Ой, пошла я в овраг за водою», «Из похода не вернулся», «В лес-дуброву я ходила», «Кабы мне монисто, родная», «Мне б сапожки, я бы тоже». Это изумительные примеры перевоплощения... Но только лишенный поэтического

Предисловие к сборнику Т. Шевченко «Лирика», выходящему в Гослитиздате.

чутья читатель не ощутит в этих маленьких шедеврах, то задорно-веселых, то — чаще — щемяще-грустных, присутствия автора, не увидит его печально-светлой улыбки, не услышит его голоса — того голоса, которым так задушевно, так прелестно, по рассказам современников, исполнял Тарас Григорьевич песни своего народа...

По глубокой автобиографичности, по субъективности исповедей и воспоминаний Шевченко можно было бы сопоставить с Гейне, — с той, однако, разницей, что Шевченко никогда не «выдумывал» и не украшивал себя, как это делал подчас автор «Книги песен», что украинскому поэту совершенно чужда была гейневская ирония, не лишённая порой и черт напускного цинизма...

Трудно назвать значительного поэта, у которого не было бы стихотворения, определяющего роль и назначение поэта и поэзии в человеческом обществе. Вспомним «Посвящение» Гёте, «Пролог» к третьему изданию «Книги песен» Гейне («Я в старом сказочном лесу...»), «Последнюю песню» Беранже, «Памятник» Пушкина, «Пророка» Лермонтова, «Було се три дні перед моїм шлюбом» Ивана Франко, «Слово, чому ти не твердая криця» Леси Украинки.

Есть такое стихотворение и у Шевченко — «Перебендя». Слово «Перебендя» как собственное имя русские переводчики оставляют нетронутым. Происходит оно от глагола «перебендювати», который означает согласно словарю Гринченко: 1) капризничать, привередничать и 2) болтать. В применении к шевченковскому стихотворению надо брать, конечно, первое значение. Действительно, Шевченко рисует образ если не капризного и не привередливого, то, во всяком случае, своенравного поэта (народного певца, кобзаря), который

Начнет свадебной, а кончит
Грустною нежданно.

Образ Перебеньди выдержан в романтических тонах (стихотворение относится к раннему периоду творчества Шевченко). Он одинок, его «причуд» не понимают люди, он уходит далеко от людей — в степь, где спрашивает у солнца:

Где оно ночует? Как оно встает?

С подобными же вопросами обращается к горе, к морю... Но, в сущности, ему и спра-

шивать природу не о чем, потому что он «все знает», «все чует» — и «о чем ропщет море», и «где солнце ночует». Он подобен тому всеобъемлющему гению, каким изобразил Вольфганг Гёте Баратынский («С природой одною он жизнью дышал...»). Однако так ли он одинок, так ли далек он от людей и их земных интересов? Да нет же, разумеется! Он живет с людьми, он поет для людей.

С дивчатами на выгоне --
Гриця да Веснянку;
В шинке, с парубками вместе —
Сербина, Шинкарку;
С женатыми на пирушке
«Где свекровь презлая» —
О недале-вербе в поле.
А потом — Угаю;
На базаре — О Лазаре,
Или — чтобы знали —
Тяжко, скорбно запоет он,
Как Сечь разоряли.

Последние две строки знаменательны: Перебендя не только развлекает людей, исполняя подходящие к случаю и к слушателям песни, но и берет на себя обязанность будить в людях высокие гражданские чувства. Совсем это не загадочный одиночка, не замкнутый отшельник, он любит людей.

Он тоску им разгоняет,
Хоть и сам страдает.

(Перевод П. Карабана).

В образе Перебеньди далеко не полно показан идеал поэта, далеко не всесторонне отражена творческая личность самого Шевченко во всей ее глубине и сложности. Но основные черты намечены.

Шевченко страстно любил жизнь, природу — и прежде всего человека. Он мечтал о светлом, безоблачном «рае на земле», — отсюда у этого певца человеческих страданий и человеческого гнева такие нежные, задушевные, не боюсь даже сказать — идиллические картины, как «Зацвела в долине», «Все снится мне: вот под горою», «Вишневый садик возле хаты», «Ой, на горе яр-хмель цветет», «Над днепровскою водою», «Течет вода от явора». Приведу последнее стихотворение полностью:

Течет вода от явора
Яром на долину.
Красуется над водою
Красная калина.

Красуется калинонька,
Явор молодеет,
А кругом их верболозы.
Лозы зеленеют.

Течет вода из-за леса
Под самой горою,
Там плещутся утяточки
Меж речной травой.
А уточка выплывет
С селезнем за ними,
Ловит ряску, рассуждает
С детками своими.

Течет вода в огороде,
Вода прудом стала.
Девушка пришла брать воду.
Брала, запевала.
Вышла мать, отец из хаты,
В садике гуляют.
Затем им назвать кого бы.
Думают, гадают.

(Перевод М. Комиссаровой).

Все в этом стихотворении, написанном за несколько месяцев до смерти поэта, измученного годами солдатчины, томимого тяжелым недугом, дышит безмятежной прелестью и непорочной чистотой. Жизнь прекрасна, и человек достоин счастья, как бы заявляет Шевченко подобными своими идиллиями. Но эту прекрасную жизнь оскверняют, светлое человеческое счастье топчут «злые люди», как любит выражаться поэт. Злые люди — это категория моральная, но это и категория социальная. Последнее все яснее, все сильнее, все больнее, все гневнее осознавал Шевченко в духовном своем росте и развитии. Злые люди — паны, «панычи», угнетатели, эксплуатеры, господствующий класс.

И в самых радостных краях
Не знаю ничего красивей,
Достойней матери счастливой
С ребенком малым на руках,—

(Перевод А. Твардовского).

так начинает Шевченко одно из проникновеннейших своих стихотворений. В мировой поэзии мало поэтов, у которых столь могуче и столь величественно звучал бы мотив прославления материнства. Оскорбленной, поруганной женской чести, оскорбленной, поруганной женской любви, оскорбленному, поруганному материнству, силе материнской любви и материнского страдания посвятил Шевченко не только ряд поэм, начинающихся «Катериной» и кончающихся «Неофитами», но и такие лирические и ли-

рико-эпические шедевры, как «Дума» («На что черные мне брови...»), «Маленькой Марьяне», «Лилея», «Русалка», «Не спится мне, а ночь — как море», «Из-за роши солнце всходит», «Ой, баю-баю, качаю сына», «В огороде, возле брода», уже названное «И в самых радостных краях...». Этому благородному мотиву защиты поруганной, оскорбленной и униженной женщины сопутствует более широкий мотив защиты поруганного, оскорбленного и униженного человека, народа, человечества.

Плохую услугу памяти поэта оказывают те исследователи, которые изображают Шевченко чуть ли не родившимся последовательным революционером, материалистом, атеистом. Нет, свое мировоззрение он выковывал и закалял в горниле страданий и мучительных размышлений, и тем оно было крепче. Если в таких ранних вещах Шевченко, как «Иван Подкова» и «Гамалия», нельзя не видеть некоторой идеализации казачьего прошлого Украины (отзвуки этой идеализации слышатся и в более позднем «Чернеце»), то в одном из последних стихотворений его — «Сраженья были, распри — все бывало» — мы видим решительную переоценку этого прошлого.

Пленявшие когда-то воображение поэта «красные жупаны» теряют для него свою прелесть, он видит сущность жизни в борьбе угнетаемых против угнетателей, «золотой век» прошлого сменяется для него золотым веком, который он провидит в будущем. Справедливости ради надо сказать, что уже в таких ранних вещах, как поэма «Гайдамаки», Шевченко делает упор на социальные, а не национальные мотивы. Нельзя не вспомнить и ярких слов его в «Послании» («И мертвым, и живым», 1845):

Рабы, холопы, грязь Москвы,
Варшавский мусор ваши паны,—
И гетманы, и атаманы!

(Перевод В. Державина).

С юных лет Шевченко мучительно переживал угнетение человека человеком, ненавидел угнетателей. Однако в процитированном «Послании» поэт еще склонен был на миг поддаться иллюзии того, что мы иронически называем «классовым миром», еще мог обратиться к украинскому «панству»:

Обнимите ж меньших братьев,
Как братья родные...

Впоследствии такие обращения стали для него невозможны, вера в примирение непримиримых сил уступила место неукротимому гневу, пламенной ненависти к «царям и царятам», к помещикам, фабрикантам, попам, к царским и панским приспешникам. Навлекшие на себя негодование Николая I и верных его слуг лирические поэмы «Сон» и «Кавказ» были написаны еще до ссылки; революционный, антицарский характер их несомненен, и возмущение ими «коронованного палача» вполне понятно. Революционное мировоззрение Шевченко углубилось и закалилось в годы ссылки, вполне определилось и выкристаллизовалось оно после ссылки. Эту кристаллизацию ставят литературоведы в связь со знакомством Шевченко с зарубежными изданиями Герцена и особенно с деятельностью, взглядами и личностями революционеров-демократов, в первую очередь — Чернышевского и Добролюбова. Спорить против этого невозможно, при том, однако, условии, что следует говорить о плодотворном взаимодействии.

В последние годы жизни для Шевченко немислимо уже было обращение к представителям господствующего класса: «Обнимите ж меньших братьев...» — иное обращение, иной призыв слетели с бестрепетно-смелых уст поэта. И это был призыв, это было обращение не к господам, а к народу.

Я на здоровье не в обиде,
Да только взор мой что-то видит,
Чего-то сердце ждет. Болит
И, как ребенок, что не сыт,
Не засыпает, все рыдает.
Быть может, сердце ожидает
Времен дурных? Добра не жди,
Не жди свободы невеселой —
Она заснула: царь Никола
Заставил спать. Чтоб разбудить
Беднягу, надо поскорее
Всем миром обух закалить,
Да наточить топор острее
И вот тогда уже будить.

(Перевод Н. Ушакова).

Подчеркнутые мною слова почти буквально совпадают со знаменитым, прозвучавшим несколько позже призывом Чернышевского или одного из его единомышленников в письме к редактору «Колокола»: «К топору зовите Русь». Надо, впрочем, заметить, что слово топор в те годы было распространенным символом народного восстания, революции.

Шевченко, пламенный революционер, прекрасно осознавал, во имя чего должна

свершиться буря народного восстания и справедливого возмездия — революция, он пророческим взором провидел время, когда

Врага не будет. супостата,
А будут сын и мать. Тогда-то
Лишь люди будут на земле.

(«Ни Архимед, ни Галилей...».)
Перевод Н. Ушакова).

В сторону все более яростного отрицания шли и взгляды Шевченко на религию, на бога, на церковь. Уже в «Кавказе» (1845) он обращается к богу со словами, в которых можно видеть черты богоборчества, черты того «бунта», который вложил в уста своего Ивана Карамазова Достоевский, в уста Густава Конрада (драматическая поэма «Дзяды») — Мицкевич. «Бунт» этот, однако, борется еще с внушенным в детские годы смирением перед «владыкой мира» (вспомним условия воспитания Шевченко).

Не нам с тобой затеять распрю!
Не нам дела твои судить!
Нам только плакать, плакать, плакать
И хлеб насущный замесить
Кровавым потом и слезами.
Кат издевается над нами,
А правде — спать и пьяной быть.
Так когда ж она проснется?
И когда ты ляжешь
Опочить, усталый боже,
Жить нам дашь когда же?

(Перевод П. Антокольского).

В подчеркнутых мною словах «бунт», облеченный в форму иронии, прорывается наружу, хотя и можно еще видеть в приведенном отрывке отзвуки веры в личного бога. Однако в написанной раньше поэме «Сон» («У всякого своя доля») поэт заявил категорически:

Нет на небе бога!

(Перевод В. Державина).

Здесь позволительно видеть колебания, то «горнило сомнений», о котором говорил Достоевский.

Впоследствии все колебания и сомнения окончательно отпали, и в поэме, или, вернее, в отрывке незавершенного произведения «Юродивый» (1857), поэт недвусмысленно и с явной издевкой обращается к богу, к «всевидящему оку»:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,

Как сотнями в оковах гнали
 В Сибирь невольников святых?
 Как истязали, распинали
 И вешали?! А ты не знало?
 Ты видело мученья их
 И не ослепло?! Око, око!
 Не очень видишь ты глубоко!
 Ты спишь в киоте...

(Перевод А. Суркова).

Такие слова мог написать только убежденный, бесповоротно утвердившийся в своем неверии атеист.

Что касается отношения Шевченко к церкви и ее представителям, то оно всегда было резко отрицательным. Достаточно вспомнить знаменитое стихотворение «Свете тихий! Свете ясный!...». Не раз обращаясь и в поздние свои годы к религиозным формулам и образам, поэт использовал их как поэтические приемы. На этом сходятся все наши современные исследователи.

Одной из ведущих черт поэтического характера и мировоззрения Шевченко был его пламенный патриотизм, была его страстная любовь к родине, к Украине. Самое потрясающее выражение нашла эта любовь в предельно искреннем стихотворении «Мне, право, все равно...», где поэт заявляет:

Мне, право, все равно, я буду
 На Украине жить иль нет.
 Забудут или не забудут
 Меня в далекой стороне —
 До этого нет дела мне.

Одно лишь — мне не все равно:
 Что Украину злые люди,
 Лукавым убаюкав сном,
 Ограбят и в огне разбудят.
 Ох, это мне не все равно!

(Перевод В. Звягинцевой).

Это любовь к родной земле, к родному народу, которая доходит до самоотречения. Но Шевченко, благоговевшему перед памятью русских революционеров-декабристов, восторженному почитателю Пушкина, Гоголя, Щедрина, Герцена, впоследствии — другу Чернышевского и Добролюбова, всегда чужда была национальная ограниченность, национальная исключительность. О единении славян говорит он в послесловии к поэме «Гайдамаки», в посвященной деятелю чешского возрождения Шафарика поэме «Еретик». Пламенный его «Кавказ» — одно из самых блистательных выступлений в литературе того времени в защиту угнетенных царским правительством кавказских

народностей. А знаменитое «Завещание» заканчивает он такими вещими словами:

И меня в семье великой,
 В семье вольной, новой,
 Не забудьте — помяните
 Добрым тихим словом.

(Перевод А. Твардовского).

Этой мечтой о «семье великой», о свободной семье народов Шевченко перекликается с великими Пушкиным и Миккевичем.

Личная лирика Шевченко неотделима от его поэтической публицистики. Она, эта лирика, повторяю, в высшей мере автобиографична и субъективна. В ней отразилась мечта поэта не только о счастье человечества, но и о своем личном счастье («Поставлю хату — не палаты...», «Посажу у дома...»). Мечте этой не суждено было осуществиться, и из уст поэта вырывались иногда пронзенные горькой иронией слова:

Нет, надобно жениться
 Хотя б на чертовой сестре!

(«Было бы сесть с кем...».
 Перевод В. Инбер).

Лирике Шевченко в высокой мере присущи душевная чистота, моральное благородство.

Эта чистота отразилась во всех любовных признаниях Шевченко, это благородство с предельной ясностью выражено в шедевре его, написанном в годы ссылки:

Бывает, иногда старик
 Негаданно помолодеет,
 И пусть от пенья он отвык,
 Но даже петь старик затеет..
 И встанет ясно перед ним
 Надежда ангелом святым,
 И словно молодость к нему
 Вернется и крылом своим
 Его овеет. Что же с ним?
 Чему же рад старик? Тому,
 Что дело доброе задумал
 Он, видите ли, совершить.
 Вдруг совершит? Как славно жить
 Тому, кто и душой и думой
 Умеет доброе любить!

(Перевод Н. Ушакова).

Только вконец изолгавшиеся люди могли объявить когда-то Шевченко «апостолом всепрощения», — но доброта, но любовь к людям были одним из самых могущественных двигателей в душе этого неукротимого

стиха русский критик, литературовед и поэт К. И. Чуковский и белорусский поэт и критик Максим Богданович.

Очарование шевченковской простоты трудно описывать и анализировать. Чтобы понять его, нужно непосредственно читать стихи Шевченко. Для примера сошлюсь на такие неповторимые шедевры, как «Вишневый садик возле хаты», «И простор степной», «В воскресеньце да ранехонько», «Ой, пошла я в овраг за водою...». Прибавлю, однако, что если две последние вещи, выдержанные в народно-песенном тоне, поражают своей безыскусственностью, доходящей до мнимой небрежности, то две первые чрезвычайно любопытны по своей строгой и стройной композиционной продуманности... Внимательный читатель увидит это сам.

Один из самых любимых образов Шевченко — образ «зори». Слово «зоря» по-украински означает и «звезда» и «заря» (утренняя и вечерняя). К этому слову, к этому образу прибегает поэт всегда, когда говорит о самом душевном, о самом дорогом, о самом прекрасном — о любимой женщине, о материнском чувстве, о дружбе, о молодости, о свободе народа — свободе, борьбе за которую посвятил он всю свою жизнь. Как немеркнущая путеводная звезда, сияет творчество Шевченко на небосклоне новой украинской литературы, озаряя и неоглядные дали литературы советской. Как пророк зари человечества — той зари, свет которой воссиял в наши великие дни, — он вошел в плеяду гениальнейших творцов и борцов, слово и слава которых принадлежат миру.



Н. КОРЖАВИН

★

В ЗАЩИТУ БАНАЛЬНЫХ ИСТИН

(О поэтической форме)

В последнее время в печати появилось немало статей о поэзии. Но далеко не все из них, на мой взгляд, ставят коренные вопросы, от которых зависит развитие современной поэзии.

В этом отношении выгодно отличается статья Б. Рунина «Спор необходимо продолжить» («Новый мир», № 11, 1960). Статья А. Меньшуткина и А. Синявского «За поэтическую активность», опубликованная в первом номере журнала за этот год, тоже радует точностью многих оценок, в общем правильным и умным пониманием поэзии и ее задач. Но мне кажется, что авторы не полностью освободились от влияния ходячих и неверных концепций, против которых, собственно, и направлена их статья.

Например, такие черты в поэте, как «не-скрываемый пафос самоутверждения, желание обратить на себя взгляды публики...», они относят к его лирическому характеру. А так ли это? Скорее эти черты заглушают характер, не давая ему пробиться наружу.

Далее в статье говорится: «Правда, Вознесенский нередко дерзит и задирается, а иногда — что несколько хуже — впадает в крикливость, кокетничает... но в конце концов это искупается его энергией, бодростью, экспрессией...»

Между тем дерзость и задиристость, крикливость и кокетство не могут искупаться энергией и бодростью, потому что при этих условиях энергия и бодрость не могут быть подлинными; экспрессия же тем более ничего не искупает, она только усиливает качества стихотворения, в том числе и фальшивые.

Не надо думать, что эти обмолвки мало важны. Если они, может быть, являются об-

молвками для авторов статьи, то для многих такой взгляд определяет понимание поэзии.

Кстати, должен оговориться. Моя статья не обзорная. Она посвящена главным образом выяснению смысла (но отнюдь не формулированию) некоторых важных понятий, употребляющихся при разговоре о поэзии. Что же касается цитируемых авторов, то я выбирал стихи только таких поэтов, чье творчество и чьи имена хорошо известны людям, читающим стихи, и пользуются среди них заслуженной популярностью. Статья ни в коем случае не претендует на то, чтобы выразить мое отношение ко всему их творчеству, так же как и на то, чтобы дать картину всей советской поэзии или каких-либо ее участков.

Я глубоко убежден, что работе многих поэтов мешают ошибки именно общие, теоретические, изначальные, хотя нет людей, более боящихся всякой теории, чем поэты.

Мне кажется, что основное заблуждение, тормозящее развитие поэзии, состоит в следующем. Многие и многие, особенно молодые, поэты считают, что поэтическая форма — это определенный способ обработки материала (то есть чувств, мыслей, впечатлений). Отсюда: поэзия есть любой материал, подвергнутый этому определенному способу обработки. Что же такое «способ обработки»? А вот!

Нужно не рассказывать, а показывать. Не разжевывать все до конца, а кое-что оставлять читателю для самостоятельной работы, не договаривать, оставлять в подтексте.

Нужно все говорить не в лоб, а образно поэзией, как и всякое искусство, — мысленные образами... А что такое образы? Метафоры, сравнения и эпитеты.

Чем больше в твоих стихах эпитетов, метафор, сравнений и деталей и чем они свежей — тем лучше стихи. С художественной стороны. Потому что все это элементы формы, а без формы нет искусства, нет художественности.

К этим требованиям некоторые добавляют еще одно — новаторство. Стихи должны удовлетворять и соответствовать мышлению человека атомного века (пятьдесят лет назад говорили — века железных дорог и электричества), которое так же не похоже на мышление человека XIX века, как ракета на телегу. Впрочем, самого мышления эти требования касаются мало, больше всего они касаются модернизации вышеперечисленных элементов формы: рифмы должны быть предельно не похожи на все бывшие в употреблении, ритмы (практически — размеры) тоже, и так далее.

Правда, последнее мнение не всеобщее. Другие считают, что, наоборот, все эти новшества — изобретение гурманов и что они отрывают поэта от простого человека, которому нужно что-нибудь для «души», привычное, традиционное.

Кто из людей, работающих или пытавшихся работать в поэзии, в свое время не получил этого перечня правил в качестве секрета художественности и не сталкивался с этими двумя противоположными мнениями на сей предмет?

Но так ли уж противоположны эти мнения? Те и другие сходятся в одном: чувства и мысли есть у всех людей, у всех советских людей они советские — это ясно. Весь вопрос в том, как облечь это содержание в художественную форму, как выразить его «поэтически».

Поэты согласно такому взгляду — это как раз те люди, у которых стихи бывают хорошими не только по содержанию (что общедоступно), но и с художественной стороны, то есть люди, владеющие формой.

Так и получается, что поэтическая форма оказывается просто комплексом приемов, особым способом обработки материала (любого материала), а сама поэзия — тем же любым материалом, подвергнутым этому особому способу обработки.

Но, кроме того, известно, что именно в форме проявляется характер, индивидуальность, эмоциональность и прочие действительно необходимые элементы искусства.

Ну и что ж? Считается, что все эти качества автоматически присутствуют, раз есть этот комплекс приемов.

Рифмованное письмо или заметку в стенгазете никто не сочтет поэтическим произведением. Рифма — недостаточное условие для этого. Но если то же письмо с тем же, как принято говорить в кибернетике, количеством информации написать более вычурно, снабдить зрительными образами и деталями, да еще придумать какой-нибудь ход, игру, многозначительную концовку — то есть подвергнуть более сложной обработке, — то такое произведение многими, очень многими будет считаться поэмой, балладой, лирическим стихотворением.

Устойчивости этих заблуждений сильно способствует и терминологическая путаница.

Форма, содержание, современность, образ, деталь — все это понятия, имеющие различные, зависящие от контекста, значения. Но часто в какой-нибудь общеупотребительной формуле, соединяющей два-три таких понятия, они берутся из контекстов, не имеющих между собой ничего общего.

Нет, пожалуй, ни одного понятия, которое сильнее пострадало бы от такого способа мышления, чем простое и объемное понятие — форма. Но что это такое — форма?

1. О ДЕТАЛИ, ЦЕЛОМ И ТАЙНАХ ЭКСПРЕССИИ

Перед нами стихотворение поэта Андрея Вознесенского «Свадьба».

Выходит замуж молодость
Не за кого — за что,
Себя ломает молодость
За модное манто.

За золотые горы
И в серебре виски.
Эх, да по фарфору
Ходят сапоги!

Где пьют, там и бьют —
Чашки, кружки об пол бьют,
Горшки — в черепки,
Молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
Чье-то счастье —
В черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
Юна, бела,
Дрожишь, как будто рюмочка
На краешке стола.

Улыбочка, как трещинка,
Играет на губах,
И темные отметинки
Слезинок на щеках.

Где пьют, там и льют—
Слезы, слезы, слезы льют...

Есть в этом стихотворении форма или нет ее? Конкретно оно или расплывчато? Образно или риторично? Эмоционально оно или рассудочно? Отражает современное мышление или архаичное?

Думаю, что многие читатели страшно удивятся: как можно вообще задавать такие вопросы? Разве это не очевидно? Конечно, есть форма, и притом яркая. Конечно, стихотворение конкретно, образно и эмоционально. И уж конечно отражает современное мышление.

На первый взгляд эти читатели правы. С точки зрения правил, изложенных в начале статьи, здесь все в порядке: есть детали, образы, все не рассказывается, а показывается. Стихотворение написано изобретательно, и как будто эта изобретательность и богатство средств выражения соответствуют эмоциональной задаче, подчеркивают происходящую трагедию.

Но есть ли здесь сама трагедия?
Вспомним первые шесть строчек:

Выходит замуж молодость
Не за кого — за что...

и т. д.

Что ж, сказано броско, резко. Но что остается от этих строк? Остается только следующее: замуж надо выходить не за что-то, а за кого-то. В данном случае происходит наоборот. Автору это не нравится. Автор осуждает. Итак, остается... сентенция.

— Пойдите, так хорошо написанное стихотворение — и вдруг сентенция. Неправда... Смотрите: «себя ломает молодость» «за золотые горы и в серебре виски». Разве это не детали, не образы?

— Образы чего? Детали чего? Какого целого? — спрошу я и вряд ли получу вразумительный ответ на свой вопрос.

Не правда ли странно, что, так часто произнося слово «деталь», можно забыть, что деталь только тогда деталь, когда есть или подразумевается какое-нибудь целое. А целое, вероятно, это все-таки личность автора, его цельное восприятие, заинтересованность в том, что он говорит. ибо он в

этот момент решает нечто важное не только для читателя, но и для себя самого.

И тогда детали — это такие подробности, на которых останавливается его обостренное (в данный момент и по данному поводу) зрение. Детали переживания, лежащего в основе стихотворения. Бывает, что деталь выражается через эпитет, метафору, сравнение. Почему-то в таких случаях деталь называют образом, и этим словом как бы подтверждают, что у автора есть образное мышление. Выходит, что формула «искусство — мышление образами» означает мышление метафорами и сравнениями. А между тем это разные вещи.

Значение деталей огромно. Точно зафиксированные в сознании автора и верным тоном переданные в стихотворении, они непосредственно сообщают читателю зрение и восприятие автора, ставят его на авторское место, придают достоверность переживанию.

Итак, деталями какого целого являются выражения «не за кого — за что» и т. д.? Что они добавляют к тону сформулированной нами сентенции?

Может быть, некоторую экспрессию, внешний блеск, но более ничего. Это скорее не детали восприятия или переживания, а полемические приемы.

Но кто же станет всерьез полемизировать с положением: не выходи замуж по расчету — загубишь молодость? Никто. Даже тот, кто так поступает. Здесь, видимо, должна быть важна не сама мысль, а то, из какого опыта она добыта. Но этого в стихотворении пока нет.

Об авторе пока известно только, что он противник браков по расчету и умеет об этом говорить красиво. Все остальное, как уже сказано выше, — экспрессия.

А экспрессия — совсем не чувство, хотя и часто принимается за таковое. Чувство отличается от нее тем, что оно содержательно и определено личностью автора. Разумеется, чувству может быть свойственна и экспрессия. Она усиливает то или другое чувство, но сама по себе оставит след в душе читателя не может. Она оглушает, действует на нервы, но не волнует. Это неподтвержденный темперамент, темперамент, не имеющий оснований.

У Бенедиктова экспрессии было больше, чем у Пушкина.

Но довольно об этом отрывке. Может, дальше откроется что-нибудь новое и все

станет на место? Посмотрим следующие восемь строк.

Эх, да по фарфору
Ходят сапоги!..

и т. д.

Трагедийно, резко, здорово! И все-таки абсолютно абстрактно. Какое счастье на куски и почему? Кто его знает, может быть, счастье в данном случае в том и состоит, чтобы получить манто? И какое отношение имеет к этому автор и должен иметь читатель? Но за грохотом каблуков ничего не понятно, да и не до того, чтобы понимать. Можно только восхищаться или удивляться.

Автор просто начал описывать обстановку и действие в деталях (но в деталях внешней обстановки), считая, что таким образом придает прозаическому описанию поэтический характер. Трагедия — здесь тоже деталь внешней обстановки, она происходит с кем-то, а не с автором или с его чувством. Она существует вне образа, вне автора, взята им только в назидание. А назидание — это внешняя задача, а не внутренняя суть произведения. Правда, модернизированный стих маскирует прозаический характер описания, создает опять-таки экспрессию, но он не в силах изменить его существо.

Кроме того, за громом каблуков и собственной техники автор не заметил, что описываемая им свадьба, хоть она и не «рассказывается», а показывается, вовсе не та, где молодость выходит «за модное манто», а по всей обстановке старинная, купецкая, во всяком случае стилизованная.

Кстати, о принципе «не рассказывать, а показывать». Этот принцип, который так важен в прозе, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к поэзии. Есть стихи, где обо всем рассказывается, есть, где все показывается, есть, где не рассказывается, не показывается, а намекается... Есть стихи, представляющие собой изложение мысли или ряда мыслей. Суть не в этом. Суть в том, как воплотить данное чувство, данное отношение так, чтобы поэзия, открывшаяся автору в его чувстве, была выражена наиболее точно и полно.

Поэзия не показывается и не рассказывается. Она выражается — так, как того требует в каждом данном случае восприятие автора. Здесь его пока нет.

Личное восприятие поэта, его заинтересованность появляются в следующей строфе:

И ты в прозрачной юбочке,
Юна, бела,
Дрожнись, как будто рюмочка
На краешке стола.

Это действительно талантливая строфа, составляющая эмоциональный центр стихотворения.

Здесь действительно что-то почувствовано. За строчками начинается взволнованный голос человека. Унижение человеческого достоинства, трагедия юного существа, проданного богатому старику, — тут есть от чего захолонуть сердцу. Но ведь вначале говорилось не о проданной, а о продавшей девушке. Неужели это об одной и той же? Странно...

Но допустим, она действительно добровольно выходит за манто. Как же это случилось? Может быть, у нее были причины, которые вызовут наше сочувствие и имели право вызвать участие автора? Трудно себе представить — не те времена, — но допустим.

Однако нам об этом пока ничего не известно и не станет известно до конца стихотворения. Мы знаем, что она юна и бела, что наряжена (скорей всего злые люди ее так нарядили) в прозрачное платье — напозказ. Жалко ее...

Но, с другой стороны, зато и манто куплено, зато и квартира дадена, затем и пир горой. Сделка честная, полюбовная. Себя ломает молодость... знает за что...

А тогда откуда трагический тон и сочувствие? Что в этой рюмочке? Чай, и душа есть. Что она теряет теперь и что мы в ней теряем? Неизвестно. Может быть, она представлялась автору другой, а оказалась такой? Тогда и стихи надо было писать об этом.

Может быть, в этой строфе замысел стихотворения, которое Вознесенский должен был написать вместо «Свадьбы», а он себя оглушил громом собственной техники? Может быть!.. «Вытащить» стихотворение из себя в том самом виде, в котором ты его почувствовал, — трудно. Нужно остро ощущать его форму, а это легко не дается. Гораздо легче ходить вокруг да около по эффектной «своей» дороге.

Следующая строфа («Улыбочка, как трещинка, играет на губах...»), а также чувствительный конец ничего ни к стихотворению, ни к проблемам, которых оно касается, не добавляют.

Теперь надо ответить на вопросы, постав-

ленные в начале разбора этого стихотворения.

Конкретно ли оно? Нет, расплывчато. Не чувствуется ни конкретный повод (а значит, проблема, образ), ни предмет, о котором пишется.

Образно ли оно? Нет, потому что отсутствует автор, его чувство, его заинтересованность.

Эмоционально ли оно? Нет, рассудочно, так как представляет собой попытку поэтизации сентенции.

И уж конечно его форма не проявляет современного мышления, так как не проявляет ничего реального.

И вообще когда говорят наперед о том, что именно свойственно современному мышлению и какие средства выражения должны ему соответствовать, то это звучит по меньшей мере странно.

В самом деле, откуда и кому может быть точно известно все, что свойственно современному мышлению? Разве открытие этого каждый раз заново не является основной задачей акта художественного творчества? И разве до того, как художник сделал это открытие, можно решить, как ему надо будет об этом говорить?

Яростно ратая за свободу творческой личности, модернизм фактически не только крайне жестко ограничивает ее, но и вмешивается в святая святых художника, в поиски средств выражения, в творческий процесс.

Под угрозой обвинения в несамостоятельности находится каждый, кто ищет не так, как, по распространенному мнению, должен искать себя самостоятельный и самобытный поэт.

Но если наперед известно, что искать, как искать и даже что при этом найти, то в чем заключается роль художника?

2. ЕСТЬ ЛИ ОБРАЗЫ У ПУШКИНА?

Я разобрал стихотворение Вознесенского, чтобы показать, что «свод правил», о котором говорилось в начале статьи, сам по себе абсолютно беспредметен и заводит поэта в схоластические дебри; он дает ему иллюзию творчества, отвлекая от настоящего творчества, и иллюзию полного владения формой при абсолютной формальной разболтанности.

Но откуда он взялся, этот «свод правил»? Это убеждение в необходимости эпитетов, зрительных деталей во что бы то ни стало и так далее? Неужели он был всегда? Посмотрим. Начнем с Пушкина.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В моей душе угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим

Я люблю это стихотворение. Большинство читателей этой статьи, вероятно, тоже. Это одно из лучших стихотворений в русской — и наверное в мировой — поэзии.

Но странная вещь. В этом стихотворении нет ни одной зрительной детали, ни одного «образа», все говорится «в лоб»: я вас любил безмолвно, безнадежно; любовь еще не совсем угасла и т. д. и т. п.

Подтекст? Во всяком случае, подтекста в том смысле, как он обычно понимается, здесь тоже нет. Здесь ни о чем не умолчано, ни на что не намекается. Все, что можно было сказать, высказано прямо, без всяких ухищрений.

— Да! Да! Конечно. Вы правы,— слышу я в ответ.— Но ведь когда это было написано! Теперь техника стихосложения выросла...

— Я пишу лучше Пушкина,— сказал мне однажды, загадочно улыбаясь, один молодой, бойкий и не очень умный поэт, занимавшийся формальными поисками (одному только богу известно, чего он искал).

— Не хвастай.

— А я не хвастаю... Конечно, Пушкин для своего времени был большим поэтом, чем я для своего. Но ведь с тех пор поэзия ушла далеко вперед... А у меня стих современный. Вот и выходит, что я пишу лучше Пушкина.

Этот поэт рассуждает несколько просто-вато, но куда последовательнее, чем многие его единомышленники.

Но все-таки я думаю, что большинству читателей приведенное стихотворение Пушкина нравится без всяких скидок на время, непосредственно, как и должно нравится произведение искусства.

Так в чем же дело? Почему приемы, считающиеся обязательными для нас, не обязательны для Пушкина? И что же это за мышление образами в стихотворении, лишенном образов и деталей? Ведь формулу

«искусство — мышление образами» придумали не модернисты. Она закон и для Пушкина.

Но в самом ли деле это стихотворение лишено образов и деталей?

В нем нет метафор, сравнений и эпитетов, по крайней мере свежих (выражение «любовь угасла» в каком-то смысле тоже метафора, но ни нами, ни современниками Пушкина уже так не воспринималась), а вот образы... Или, вернее, образ — всего один образ! — есть...

Какой образ? А образ самого поэта, образ любви, рожденный из глубины его существа.

Все стихотворение является воплощением этого образа. Все его элементы, каждая строчка, каждая деталь, каждое слово, которое в этом контексте тоже является деталью, — все это средства выражения данного образа.

А что такое образ?

«Берется кусок мрамора, и отсекается все лишнее» — так, по известному выражению, создается скульптура.

В поэзии этим «куском мрамора» являются чувства, переживания, сама жизнь поэта.

А вот тот образец в душе и сознании, по которому из этого куска мрамора высекается скульптура, и есть, по моему, образ.

В задачи этой статьи не входит точное формулирование смысла философских и эстетических категорий. Мне просто хочется выяснить, о чем же все-таки идет речь, когда произносится тот или иной термин. Но даже из того, что я пытался здесь сказать, ясно, что понятие «образ» означает совсем не то, что под ним обыкновенно (в разговорах о поэзии) понимается, не то, «что у обывателей называется «образами» (А. Блок). Что это понятие относится к общему замыслу, а не к частностям исполнения.

Для того чтобы воплотить такой образец в мраморе или в слове, его нужно иметь, нажать, выработать в себе. Это трудно. Но без этого нельзя. Ведь искусство и в самом деле есть мышление образами.

Но вернемся к стихотворению Пушкина. В нем нет ничего лишнего. Сообщается только то, что может выразиться в данный момент, в момент прощания. И в то же время сказано все, что надо. Любое излишество, усложнение, любая аффектация разрушили бы естественность образа, и все казалось

бы претензией выглядеть благородно чувствующей личностью... Ведь даже испытывая на самом деле подобные чувства, легко плениться собственным благородством и «заболтаться». Но с Пушкиным этого не произошло. Ему не изменило чувство меры.

И вот мы уже не присутствуем при прощании, а сами прощаемся с любимой, единственной и прекрасной. А она прекрасна. Об этом свидетельствует и благоговение, с которым о ней говорится, и то, что ей не льстит, ее тревожит и печалит любовь, на которую она не может почему-то ответить. И испытываем чувство, которого, может быть, нам ни разу в жизни не удалось испытать, но потребность в котором есть у каждого человека:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим...

Но это еще не все. И даже не самое главное. Все на самом деле еще светлее и трагичнее:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Этой фразой круг замыкается. Сказано все.

Но нелегко произнести такую фразу любящему человеку. И Пушкин произносит ее очень нелегко. В сущности, все стихотворение — путь к этой фразе. Поэт как бы не решается ее выговорить, дойти до такого самоотвержения в любви (ведь любовь — это жажда и своего счастья).

Но это самоотвержение все время чувствуется, бьется под каждой строкой стихотворения и только в конце вырывается на поверхность. Вот это постепенное выговаривание чувства и создает эмоциональную конструкцию стихотворения.

Конечно, есть в этих последних строках и горький привкус: предчувствие, что такой надежной и верной любви героине уже не встретить. Но этот привкус только придает достоверность главному: дай вам бог быть именно так любимой другим...

Стихотворение построено на деталях, хотя и не зрительных. Деталью является все, что сообщает автор о себе и своей любимой, все, что определяет характер чувства, то есть образ. Умение остановить внимание именно на тех подробностях, которые с наибольшей полнотой выражают поэтическое чувство, умение найти именно такой момент (то есть сюжет), где эти подробности нан-

более естественно связаны между собой, то есть умение чувствовать образ и чутко ему подчиняться, воплощая его,— это и есть, на мой взгляд, формальное мастерство. И найти все это — значит, найти форму.

И сколько есть в этом стихотворении такого, чего нет в восьми строчках текста.

Многие современные поэты иногда слишком уповают на слово «подтекст», причем понимают его примитивно, как, допустим, намек на умолчанные обстоятельства, невысказанную мысль и так далее. Между тем подтекстом является все то, что связано с мыслью, конкретным чувством, породившим стихотворение, но присутствует в нем незримо, как бы не имея к нему прямого отношения. Без такого подтекста нет поэзии. Но, кроме подтекста, должен быть текст, максимально ясный и вполне законченный.

Но может быть, мы воспринимаем стихотворение Пушкина так непосредственно потому, что оно вневременное, не связанное со своей эпохой?

Что вы! Оно все рождено своим временем, героем своего времени. Здесь, конечно, не трактуются важные общественные проблемы, но оно связано со строем чувств людей, трактовавших эти проблемы. Человек, ищущий гармонии в обществе и в личной жизни, выражается в этих стихах. Эта потребность в гармонии, может быть, и привела многих товарищей Пушкина на Сенатскую площадь.

Нет! Это стихотворение целиком лежит в своем времени, но оно касается таких глубин человеческого духа, которые непреходящи. Оно написано языком, естественным для своего времени, для автора. И эта естественность речи дает нам возможность воспринимать его непосредственно и сегодня, не задумываясь над тем, каким языком это написано. Даже если бы в нем были устаревшие формы и слова.

Я не спорю с тем, что если бы сегодня о таких чувствах попытаться написать стихотворение точно таким языком, то оно не получилось бы естественным, не отражало бы строй современного восприятия, не было бы достоверным. Но и наши стихи должны быть столь же естественны, как и пушкинские, и их средства выражения должны быть так же точно связаны с восприимчивым, хотя с восприятием нашим, а не с таким, какое было тогда.

Подражательное стихотворение плохо не потому, что знатоки поймут, кому подражает автор, а потому, что во всем будет обязательно присутствовать какая-то вторичность, неподлинность. И это будет очевидно даже в том случае, когда тот, кому подражает автор, неизвестен.

Важно, слышится ли голос человека в стихах или стихи заглушают этот голос. Те стихи, которые заглушают голос, слабы по форме, вовсе не имеют формы, даже если их авторы владеют стихом виртуозно. И независимы, даже если ни на что не похожи.

3. «ВОДОПАДНЫЕ КАСКАДЫ» И СУХАЯ СХОЛАСТИКА

«Поэма Блока «Двенадцать» потрясает водопадным каскадом ритма, смятением, столкновением человека с веком и историей. После пушкинского «Медного всадника» это самая сильная поэма, где с такой силой зазвучало утверждение: человек историчен!» — пишет поэт Виктор Боков в статье «Не могу согласиться!» («Литературная газета» от 12 декабря за 1959 год).

Несколько слишком поэтично, я бы сказал, пишет. Как это так — «потрясает водопадным каскадом ритма...»? И сразу же без перехода — «смятением, столкновением человека с веком и историей...». Видимо, он хотел сказать, что смятение и столкновение человека с веком и историей воплотились в самых ритмах поэмы. Что ж, это правда. Во всех хороших поэмах всегда присутствует соотношение человека с веком, историей, и это соотношение воплощается в ритме, во всем организме поэмы.

Но прочтем дальше: «Гораздо меньше нравится мне блоковское «Возмездие» из-за недостаточной самостоятельности формы. Сам Блок долго держал эту поэму в столе и не публиковал...»

Сказано по крайней мере откровенно. Дело не в том, какая из поэм Блока нравится Бокову больше другой. Дело в причинах, из-за которых это происходит. Как известно, смятения и столкновения человека с веком и историей много и в поэме «Возмездие». Более того, она прямо трактует все эти вопросы. Значит, дело не в том, что там их нет. Дело просто в отсутствии в ней «водопадного каскада ритма», или, иными словами, богатства ритмических переходов, свойственного «Двенадцати».

Вероятно, именно этот «каскад», по мнению Бокова, и заставляет почувствовать, что человек историчен.

В. Боков искренне уверен, что истинны, которые он исповедует, были так же ясны Блоку, как и ему самому. «Сам Блок долго держал эту поэму в столе и не публиковал...» Да, действительно, не опубликовывал. Между прочим, и не кончил, никак не мог кончить (за десять лет). Все это правда... Но причины этого лежат в противоречиях эпохи и личности поэта, а не в том, что Боков называет формой. Любой менее чуткий поэт с успехом ее кончил бы, но мы не имели бы того «Возмездия», которое у нас есть. Может быть, неоконченность еще более подчеркивает подлинность поэмы, драматизм ее главной темы и ее форму. Да! Да! Форму!

Форма все равно проявилась, поскольку она есть внутренняя, эмоциональная суть замысла, пусть не до конца воплощенного.

Но Боков говорит не об этом. Он говорит о стихе.

А разве стих в «Возмездии» несамостоятелен?

Возьмем две строфы, как будто бы более, чем другие, подтверждающие тезис о несамостоятельности формы.

Дворяне — все родня друг другу,
И приучили их века
Глядеть в лицо другому кругу
Всегда немного свысока.
Но власть тихонько ускользала
Из их изящных белых рук,
И записались в либералы
Честнейшие из царских слуг...

Что несамостоятельного в приведенном отрывке? Размер такой же, как в «Евгении Онегине»? Но сам Боков пространно доказывает, что размер и ритм не одно и то же.

Так что же? Ритм? Интонация? Похоже на Пушкина? Традиционно?..

Да, Пушкин любил говорить раздумчиво-спокойно, любил, так сказать, «формулировать». Но он «формулировал» от самой радости узнавания. И это сказывалось во всем, в самом тоне, даже когда он грустит.

Разве такая ирония была у Пушкина? Пушкин был уверен в прочности связей с жизнью, несмотря на всю трагичность своей биографии. Он бывает ироничен, но эта ирония более легка, что ли. («Веселое имя: Пушкин», — говорил Блок впослед-

ствии.) Все это проявляется и в пушкинском тоне и в его языке.

А язык поэмы Блока?.. «В лицо другому кругу» или «но власть тихонько ускользала из их изящных белых рук» — ведь это почти язык политического памфлета.

Но «каскадов» ритма в этой поэме нет. Что правда, то правда.

Против любви не попрешь логикой. А Боков любит именно «каскады» как таковые. Правда, иногда эта любовь, как всякая любовь, стыдлива. Можно себя убедить, что это все только для того, чтоб выразить смятение века и истории... Но все эти слова не более чем одежды, прикрывающие схоластическую сущность таких представлений о поэзии. Трудно сказать, сколько душ загубила эта отнюдь не прекрасная дама — схоластика. И чем только привлекает она к себе живые души?

4. «Я» БИОГРАФИЧЕСКОЕ И «Я» ПОЭТИЧЕСКОЕ

А между прочим, понятно чем. Простотой и ясностью. Кажется, что действительно появляются точные критерии в поэтическом творчестве, а если так, то творчество становится доступным и для тех, кому оно обыкновенно недоступно, но кто все-таки на него претендует.

Вместо расплывчатых и пугающих слов «поэзия», «творчество» и так далее появляется вполне определенная, а значит, достижимая, хотя и не очень разумная, цель.

К сожалению, иногда это уже вопрос даже не литературный, а психологический. Вопрос восприятия. В результате того, что к стихам предъявляют определенные формальные требования (это называется — уметь разбираться в стихах), у многих утрачивается живое читательское ощущение стихов. Они перестают быть читателями и становятся «ценителями».

— Да, пожалуй, вы правы, эти стихи холодны и не очень искренни, но как сделаны! — заявляют они, проявляя претензию на тонкое понимание этих вопросов.

Таким образом, иногда поэзия, ее создание и восприятие превращаются в игру с определенными условиями. Одни демонстрируют свое «мастерство», другие страшно довольны, что умеют понимать, в чем тут дело. А зачем эта игра взрослому человеку?

Некоторым кажется, что они таким образом ведут интеллектуальную и духовную жизнь. А по-моему, нет ничего, что так отделяло бы от всякой духовности, чем такое понимание поэзии. Ведь то, что называется содержанием стихотворения (то есть его суть), почитается при этом вещью хотя и серьезной и важной, но само собой разумеющейся и общедоступной, то есть не стоящей особого внимания.

А между тем поэзия от непоэзии отличается прежде всего содержанием.

Попробуем опять показать это на примере.

Вот стихотворение Константина Ваншенкина, много раз печатавшееся и напечатанное в его последнем сборнике (разумеется, я не хочу сказать, что оно определяет все творчество этого поэта, но ведь задачей этой статьи не является определение отношения к творчеству какого бы то ни было поэта в целом):

Ты добрая, конечно, а не злая,
И, только не подумавши сперва,
Меня обидеть вовсе не желая,
Ты говоришь обидные слова.

Но остается горестная метка,—
Так на тропинке узенькой в лесу
Товарищем оттянутая ветка,
Бывает, вдруг ударит по лицу.

Что ж! Стихотворение как стихотворение. Лирическое. Как и в стихотворении Пушкина, видно, что это за люди и какие у них отношения. Хорошие люди. Дружно живут. Обижают друг друга только случайно, в порядке недоразумения. Но лирический герой настолько чувствительный, тонкий и деликатный человек, что даже от таких недоразумений у него в душе остается горестная метка. Желательно, чтоб героиня больше думала, перед тем как говорить с любимым, дабы впредь зря в его душе меток не оставлять.

Вот будто бы все «содержание» этого стихотворения. Причем оно и написано так, чтобы читатель даже случайно не заподозрил, что здесь происходит что-нибудь серьезное. «Ты говоришь обидные слова» — но как? — «меня обидеть вовсе не желая», и только «не подумавши сперва». И вообще — «ты добрая, конечно, а не злая».

Что ж! У женщин, даже у любящих, бывает иногда плохое настроение, и они его срывают на любимых, которым, натурально, это неприятно... Но зачем в это посвящать читателя?

Дело, конечно, не в ситуации. Такая ситуация тоже может быть предметом поэзии, если в ней автор увидел что-нибудь выходящее за ее границы, если с частным фактом столкнулось общее отношение поэта к жизни, его идеалы. Она была бы правомерна, если бы в стихотворении речь шла о том, что почему-то из жизни героев исчезает любовь, прелесть которой раскрыта читателю и им ощущается, то есть если бы на карте стояла судьба больших человеческих ценностей.

О подобных переживаниях поэт М. Львов в стихотворении, где далеко не все соответствует уровню его лучших строк, говорит так:

...Начинаем древний бой,
Древний бой непониманья,
Нелюбви и невниманья...

Это хорошие и точные, очень поэтические строки. В них тоже говорится о частной ситуации, но автор не погружен в нее, а смотрит на происходящее с высоты своих представлений о должном.

В стихотворении же К. Ваншенкина, которое мы разбираем, этой ситуацией ограничен весь смысл переживания. Мы можем в лучшем случае посочувствовать лирическому герою, войти в его положение, наконец — и это самое большее — вспомнить, что и с нами такое бывало. Но и только.

А для поэзии этого мало. Образное мышление есть прежде всего мышление обобщенное. Причем дело не столько в том, что факт, о котором идет речь в стихотворении, должен представлять собой характерное явление. Дело прежде всего в том, что отношение к этому факту должно быть с позиций не частных, случайных, а общих, общественно значимых, высоких.

В данном стихотворении этого нет. Ни чему существенному, никаким человеческим ценностям ничего не угрожает. Разве что покой временно нарушен.

Но остается горестная метка,—
Так на тропинке узенькой в лесу
Товарищем оттянутая ветка,
Бывает, вдруг ударит по лицу.

Это сравнение чрезвычайно точно. Действительно, от этого случайного удара веткой остается такой же след, как и от случайных, ничего не значащих слов, то есть никакого следа не остается.

Но «горестная метка», фронтовые ассоциации (лес, узенькая тропинка, само сло-

во «товарищ», поставленное со значением, и так далее) — все это как бы поэтизирует материал, придает ему таинственное значение, своеобразную экспрессию. Возможно, лирическому герою кажется, что тон глубокой философской грусти («раздумье» — есть такой хитрый термин в поэтическом обиходе: ни мысль, ни чувство — «раздумье») вполне соответствует значительности переживаний. (Как же! Все-таки покой нарушен.) Нам же это кажется вопиющим несоответствием.

Могут сказать, что фронтное сравнение, на котором строится стихотворение, — неправомерно и что именно оно разрушает форму. Нам же нарушением формы в этом стихотворении кажется самое обращение к средствам поэзии для передачи его сути.

Да! Именно нарушением формы.

Ибо когда автор хочет заставить читателя чувствовать там, где у читателя нет оснований что-нибудь чувствовать, где переживание имеет отношение только к автору, а не к жизни всех, стихотворение разрушается. Сразу или спустя срок.

А ведь здесь речь идет о талантливом поэте, и дело, следовательно, отнюдь не в том, что автор не может или не умеет писать иначе, не способен к обобщенному восприятию, к высокой духовности в лирике.

И если автор все же позволяет себе рядку с другими писать стихи, подобные только что рассмотренным, то причина этого лежит в том, что и он находится в плену тех — на мой взгляд, ложных, но довольно широко распространенных — представлений о поэзии, против которых направлена эта статья.

Путать «я» биографическое и «я» поэтическое весьма лестно. Но Пушкин не путал. Он считал, что пишут и поэтами бывают не всегда, а только тогда, когда требует «к священной жертве Аполлон».

Он говорил о поэте:

Молчит его святая лира,
 Душа вкушает холодный сон,
 И меж детей ничтожных мира.
 Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
 До слуха чуткого коснется,
 Душа поэта востепенится,
 Как пробудившийся орел.

Как видите, даже жизнь Пушкина не всегда поднималась до такого уровня, когда его слух «касался божественный гла-

гол», то есть когда ему вдруг в окружающем открывалось (эмоционально, а не умственно, разум работал раньше, а не в момент творчества) нечто такое важное, высокое, существующее вне его, но внезапно ставшее его достоянием, из-за чего можно было и надо было писать стихи.

Как видите, даже его душа могла встрепенуться, как пробудившийся орел, то есть прийти в творческое состояние, в творческое волнение (которым и поныне заражают нас его стихи) не всегда. Быть в таком состоянии, быть «пробудившимся орлом» и значит для поэта быть в форме.

Владеть формой — значит уметь осознать это состояние и зафиксировать его так, чтобы чувствовался вызвавший его «божественный глагол», то есть поэзия.

Вообще поэтическая форма больше похожа не на форму одежды, которую человек может выбрать по своему произволу, а на ту, в которой он себя ощущает, когда говорит: «Я в форме».

Мы часто повторяем, что поэты должны быть индивидуальны, не похожи друг на друга. Это правда. Но еще чаще мы забываем о другом: поэты бывают разные, разные вещи заставляют их быть в форме, различное содержание их волнует, но при всем различии есть у них одно общее — это высокое отношение к жизни, к себе, к народу, к обществу, к природе, это особая мера вещей, та мера, в которой происходит утверждение человека в его человеческой сущности.

И если мы говорим, что история есть процесс очеловечивания человека, то в искусстве, в частности в поэзии, и воплощается этот дух истории.

Не может быть мещанской поэзии, потому что мещанство — это приспособление к звериности, замаскированная звериность. Мещанство и поэзия — слова, взаимно исключающие друг друга, хотя мещанские стихи бывают, и, к сожалению, довольно часто.

Когда жизнь не соответствует этому высокому отношению, поэты трагичны, когда соответствует — светлы и радостны, но, так или иначе, в стихах должно быть запечатлено это отношение.

Это отношение, эта мера тоже меняется в процессе истории, но вечна ее сущность: она — мера прекрасного.

Причем не надо думать, что высокое отношение к жизни, о котором я говорил вы-

ше, это отношение субъективное. Нет, это отношение как представление о прекрасном, о должном вырабатывается классом, народом, человечеством в течение всей истории. Оно существует, это отношение, хотя не каждый частный человек всегда способен жить на этом уровне. Поэты — это люди, которые острее и концентрированнее других чувствуют это в объективном мире.

Таким образом, поэт выражает не самого себя как просто частную личность, а общественные идеалы, воспринятые им в жизни. Но выражает это через себя. Выражает себя как носителя поэзии.

Каждый раз поэт не просто сообщает читателю о том, что он считает поэтическим, а ведет его к этому теми же путями, которыми идет сам. Посредством деталей он передает нам свое восприятие жизни и, следовательно, свою индивидуальность. А в его индивидуальность включается все: историческая эпоха, страна, в которой он живет, и многое другое. Все это проявляется в том, как автор воспринимает описываемое, и это обязательно должно присутствовать в стихотворении. Без этого оно недостоверно, а следовательно, его нет.

К. Маркс в статье о прусской цензуре писал о том, что истина всеобща и что здесь он не волен. От него зависит только форма постижения этой истины. Мне думается, что это относится и к поэзии. Она, как и истина, существует объективно, в жизни. Поэты только постигают ее. Запечатленный процесс ее постижения и есть форма.

Как мы видели на примере пушкинского стихотворения, для того чтобы сообщить произведению эмоциональность, поэтические детали далеко не всегда должны быть зрительными и физически ощутимыми. Иначе говоря, не обязательно, чтобы они обращались только к «памяти» физических чувств человека, к его чувственному опыту.

Поэзия обращается не к отдельным чувствам, не к их арифметической сумме, а к тому, что получается в результате взаимодействия опыта не только всех этих чувств, но и опыта разума, его представлений, надежд, обольщений, побед и поражений, — к тому, что является сущностью личности и в просторечии именуется «душой».

Поэзия — не отсутствие ума, она разумна по своему существу. И в то же время она эмоциональна. В этом противоречии нет ничего удивительного и странного. Мышлечне

тоже процесс эмоциональный. Поэзия — проявление человеческого духа, а человеческий дух нельзя представить себе без осмысления событий, времени — без разума.

— А вот Пушкин считал, что поэзия должна быть глуповата! — слышу я чей-то ехидный и радостный возглас.

Да, есть у него похожее высказывание. Вот оно: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах извини: Счастливице) слишком умны.— А поэзия, прости господи, должна быть глуповата...» Оно взято из частного письма, написанного Вяземскому в мае 1826 года, употреблено в шутку (это видно из общего характера письма) и не претендует на то, чтобы быть законом. Меньше всего эта фраза может считаться принципом творчества самого Пушкина. Просто в такой форме Пушкин говорил, что стихотворение Вяземского «К мнимой счастливице» слишком рассудочно, задано, тенденциозно — и потому недостоверно. Письмо было частным, переписывающиеся хорошо знали друг друга и знали, о чем идет речь.

Да и вообще как может прийти в голову, что простое присутствие мысли в произведении могло показаться чрезмерным автору «Евгения Онегина», «19 октября», «Наполеона»?

Человек, написавший

Да здравствуют музы, да здравствует разум! —

очень огорчился бы, если бы узнал, что его слова могут быть употреблены для войны с разумом... Во всяком случае, он бы более осторожно писал свои частные письма.

Стихи могут быть о любви, о каком-нибудь мимолетном впечатлении, а образ человека, испытывающего чувство любви, должен быть образом человека значительного, прекрасного, до которого хотелось бы возвыситься. А для этого он должен стоять на уровне передовых представлений своего времени, быть в курсе его достижений, надежд, разочарований — всего, что создает эмоциональный облик человека и определяет характер самых интимных и «вечных» чувств. Это и есть эмоциональное отношение к миру, без которого невозможно искусство.

5. ОТКУДА ЭТО ПОШЛО?

И все-таки у взглядов на поэзию, которые мне кажутся нелепыми, против которых и написана эта статья, есть своя история, и не

всегда они были такими беспочвенными, как сейчас.

Наши классики, уделяя очень много внимания форме, «вопросами формы» в чистом виде почти не занимались. Не занимались они в связи с этим и «проблемами новаторства», хотя каждый следующий поэт был новым не только по сути, но и по форме.

Но тут нет ничего удивительного. Тютчев и по существу мало похож на Пушкина, а Некрасов — на Тютчева. Им оставалось только точно почувствовать и выразить свое существо. Что они и делали.

Нельзя сказать, что они не употребляли тропов.

«Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье» — это, конечно, сравнение. Но попробуйте даже в пересказе обойтись без него. И сразу станет ясно, что оно употреблено не для красоты, а ввиду полной невозможности сказать иначе. Непонятно будет, о чем идет речь. Это просто формулировка душевного состояния.

Но совершенно иначе стали понимать средства выражения поэты-декаденты. Для них средства выражения начали приобретать самостоятельную ценность.

Большое значение придавали они личности поэта. Но это слово «личность» они стали понимать чрезвычайно узко. Они забывали, что самое понятие «личность» — понятие общественное. Что только по отношению к обществу можно осознать себя личностью. Что далеко не всякого человека можно назвать личностью, так же как не каждое душевное движение настоящей личности представляет общественный интерес.

Для декадентов поэт — представитель потустороннего мира, более высокого, чем реальный, и поэтому даже самое низменное проявление его души представляет интерес и можно о нем говорить красиво и таинственно.

Разумеется, все было не так просто, как я сейчас пишу. У всего были свои причины. И отделенность от мира, сугубое внимание к собственной личности не всех поэтов радовало возможностью почувствовать себя и ад людьми; для иных это было страданием, бедой.

Поэзия жила, конечно, и в это время. Ибо поэтические натуры оказывались сильнее обстоятельств и на практике опровергали собственные же заблуждения.

Но эта эстетика, в которой главным было создание особого, не имеющего ничего общего с реальным, мира, создание языка, понятного лишь посвященным, тогда утвердилась. Отсюда требование преувеличенной экспрессии, представлявшейся некой таинственной и волшебной силой, обязательно непрямым высказыванием и так далее.

Я считаю, что пристальное внимание к частностям, к средствам выражения, к зрительности, к непрямому показу идет отсюда — от субъективной поэзии начала века и от декадентского творчества.

Очевидно, из этого же периода истории нашей литературы уцелела фраза «в художественном отношении». Как будто художественность — это только сторона художественного произведения! Художественность вообще мыслилась тогда как сепаратный мир, у которого свой язык, свой жаргон. И отсюда уже мог родиться вулгарный взгляд на поэзию как на особым образом оформленный материал.

Я думаю, что люди, первыми объявившие так называемый «традиционный стих» устаревшим, говорили искренне. Он их действительно сковывал, так как был создан для выражения объективной сути, объективной меры прекрасного. Эти люди с этим объективным прекрасным не имели и не хотели иметь ничего общего. (Сегодняшние наши ниспровергатели традиционного стиха занимаются этим, как мне кажется, из чистого эпигонства, без всяких внутренних оснований и причин.) Они считали прекрасным любое проявление своей личности, поэзией — любое свое желание, а «традиционный» стих не соответствовал этому.

Вот из-за чего такие поэты начали ломать форму, ломать стих, заражая своей мнимой революционностью даже талантливых людей. Произвол расцвел пышным цветом. Стало невозможным отличить, кто на самом деле иначе не может, а кто попросту иначе не умеет.

Впрочем, мне кажется, что тут в основе лежит какое-то притворство перед собой: сами себя уговорили в важности своих персон.

Я знаю, что некоторым радикально мыслящим литераторам могу показаться ретроградом. Мне же ретроградной кажется их радикальность. То, что они говорят, уже было, и даже довольно давно было, и оказалось — увы! — недолговечным. Сегодня та-

кие взгляды уже начинают казаться инерцией и эпигонством.

А каноны — что ж! — каноны можно разрушать. Но очень осторожно: надо иметь в виду, что они отнюдь не «форма» того или другого поэта, а нечто более общее и длительно действующее. И если их разрушать, то только обоснованно. Впрочем, в таких случаях это, вероятно, очевидно и не вызывает сомнений. Превращать же это нарушенные каноны в канон бессмысленно.

Стихи предельно ясные есть идеал поэзии. Идеал не всегда возможный, ибо поэзия даже настоящим поэтам не всегда дается легко и непосредственно. Более того, бывают целые эпохи, когда значение субъективных моментов очень велико и поэзии в целом свойственна сложность. Но настоящие сложные стихи, по-моему, это те, из которых не удалось сделать простые при всем желании: это такие стихи, когда поэту приходилось пробиваться к поэзии сквозь толщу антипоэтических наслоений, связанных с характером его эпохи. Следы этого неизбежно остаются на стихах.

Но поэт даже в антипоэтическом, безобразном, негармоническом мире «агент» прекрасного — гармонии. Он может воспринимать мир как дисгармоничный, но это все-таки столкновение дисгармонии с гармонией, а не с дисгармонией же. О безобразии он судит с точки зрения прекрасного.

Многие писатели Запада говорят по этому поводу: что же делать, если жизнь нас делает дисгармоничными? Тут можно ответить только одно: сопротивляться разрушению личности. Сопротивляться до конца, а не пытаться находить точные формы воплощения для этого разрушения.

Когда человек не в силах сопротивляться, он может быть правдивым, его разрушенная форма может точно выражать отсутствие гармонии в нем самом, но эта правдивость и точность будут только доказывать то, что поэтом он быть не может.

Поэзия на Западе теряет читателей как раз из-за своей крайней субъективности и в форме, и в сути, и даже в целях.

Разумеется, форму нарушают не только те, кто «ломает» или модернизирует стих. Люди, которые пишут в чрезвычайно традиционном духе, считая себя прирожденными

врагами всякого декадентства, не знают, как они иногда к нему близки.

В их стихах, повествующих о детстве и живописующих родную деревню, или завод, или университет и школу, или Северный полюс, стихах, по которым можно догадаться, откуда родом их автор — с Алтая или из Рязани (что ему вменяется в заслугу), но трудно догадаться, чем живет Россия сегодня, — в их стихах тоже нет постижения поэзии, даже цели такой нет. У них, как уже сказано выше, тоже оформляется внешняя задача, хотя и иными средствами, чем у Вознесенского. У них это тоже не обусловлено поэтической необходимостью.

У Маяковского было много стихов, посвященных важным вопросам политической жизни страны. Но все они объединены его личностью, личной необходимостью участия в борьбе.

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом шахт,
серпов
и жил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Эти строки — ключ к пониманию поэтической судьбы Маяковского.

Без такой личной необходимости при любом знакомстве с материалом произведение искусства будет внешним. Для того чтобы увидеть в труде поэзию, увидеть так, чтобы ее воплотить, — мало знать этот труд и уметь сочинять стихи. Ведь шахтеры тоже понимают важность своего труда — им даже командировки брать никуда не надо для его изучения, и все-таки большинство из них не поэты, а шахтеры. Даже если они очень культурные инженеры и рабочие.

Почему? Потому что они не умеют писать стихов, не владеют комплексом необходимых приемов?

Тогда зря. Этому можно научиться. Но это не деятельность для серьезного человека. Поэзия — это ведь все-таки совсем другое.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. Сложная история прямой трассы.— **Борис Агапов.** Романтики-реалисты.— **А. Берзер.** Тут любой не утерпит...— **Л. Поляк.** Книга о художественном мастерстве — **Е. Любарева.** Первый опыт.— **Валерия Герасимова.** Непобедимое, человеческое...

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Яковлев. Ленин и советская культура.— **Инженер Л. Гордиенко.** Развитие советской энергетики.— **А. Ханьковский.** Об истории агрономической мысли.— **Э. Мурзаев,** доктор географических наук. Глазами географа.— **Юр. Павлов.** Латинская Америка пришла в движение.— **С. Эпштейн.** Банкиры и книги.

Литература и искусство

СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ ПРЯМОЙ ТРАССЫ

Сергей Антонов. Порожний рейс. Рассказ. «Юность», № 10, 1960.

Сергей Антонов уже не нуждается в каких-либо рекомендациях. Он впервые же своими книгами завоевал читательское признание и известность. Не обделен он и вниманием критики. Его вещи, как правило, не проходят незамеченными, а более или менее затяжное молчание писателя вызывает тревогу.

Уже в первых своих произведениях Антонов предстал перед читателем как художник со своим взглядом на мир, со своим кругом героев, со своей манерой.

«Оригинальность автора,— писал как-то Чехов,— сидит не только в стиле, но и в способе мышления, в убеждениях и проч.». Мягкость и сердечность Антонова, добрая и умная улыбка, освещающая повествование, изящество и грациозность, если можно воспользоваться этими несколько старомодными словами, действительно рождены «способом мышления», убеждениями автора.

Стремление видеть в прозе жизни поэзию (именно видеть, а не извлекать). видеть за буднями глубинное течение наших дней — вот одна из важнейших, определяю-

щих черт дарования Антонова. И когда на последней странице «Аленки» «какой-то чудак с соседней скамейки» говорит: «Ведь только с виду это простые, обыкновенные люди, а на самом деле они совсем не простые и очень необыкновенные, потому что живут не для себя, не для своей корысти, а исключительно для народа, для будущего и делают необыкновенное, великое дело, какого до них еще никогда никто не делал...», — не нужно сверхъестественной проницательности, чтобы в этом эпизодическом персонаже угадать автора, который, кажется, впервые с такой ясностью и определенностью характеризует, в сущности, пафос собственного творчества.

Когда читаешь Антонова, отчетливо видишь, что это написано после Короленко и Чехова, Бунина и Горького. Речь идет, конечно, не о силе таланта, не о прямой преемственности, а о литературной культуре, «выучке» — немаловажной стороне литературного творчества. Сразу же скажу, что некоторые вещи Антонова несут на себе печать и литературины, которую Лев Тол-

стой определял как «литературу литературы — когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни...». Это не значит, конечно, что литературная опытность таит в себе опасность литературщины. Наивно думать, что самобытность — дар сохраненного до зрелой поры литературного неведения. Скорее наоборот, подлинная оригинальность немислима без естественного, органического обогащения и проверки «чужим» литературным опытом. И Антонов в своих лучших вещах понастоящему самобытен, ему не мешает принадлежность, условно говоря, к чеховской школе.

Впрочем, самобытность не есть нечто раз навсегда данное. Сохраняя верность себе, своему общему взгляду на жизнь, своей манере, художник может при этом двигаться, расти, расширять свое понимание мира.

Так происходит и с Сергеем Антоновым. Были, например, области жизни, которые до поры до времени проходили в произведениях писателя вторым, а то и третьим планом, — сложные драматические противоречия, острые общественные конфликты, наконец, то, что принято называть теневыми сторонами или отрицательными явлениями действительности. Вот почему в сложной гамме человеческих чувств, которые художник может вызвать у читателя, были ноты, которых Антонов обычно не касался. Он никогда, например, не будил гнев у читателя: светлая грусть была для него крайним выражением отрицательных эмоций. Я не ставлю и не собираюсь ставить это в вину автору «Поддубенских частушек». У него была своя тема, значительная и интересная, свои герои, не ходульные, а взятые из жизни. И самое главное, он добивался творческих побед, а победителей, как известно, не судят.

Но вот несколько лет назад появилась повесть «Дело было в Пенькове». Нет, Антонов не изменил в ней себе. Просто он вторгся в те области нашего бытия, которых прежде не касался. Вещь получилась неровной. М. Щеглов был прав, отметив в этой повести «противоречие между тем, что видит, примечает внимательное, чуткое к правде писательское «око», и тем облегченным «осознанием» вещей, которое, вопреки себе, вопреки правде, хочет предложить нам писатель». Да, полно, безоговорочного успеха не было — а что же лукавить, Антонов уже привык к удачам. И все-таки он предпочел пути проверенному и благополучному,

признанному и одобренному его читателем иной, куда более трудный путь. Антонов, не утратив ни одного из сильных качеств своего таланта — ни психологизма, ни лиричности, ни лукавого юмора, — становится писателем более мужественным.

Последний рассказ Антонова «Порожний рейс», написанный отлично, ни в чем не уступающий лучшим вещам писателя, привлекает поставленной в нем серьезной и подлинно современной проблемой. Прямо и остро, по-партийному принципиально заговорил художник о людях, которые, обманывая партию и государство, добиваются видимости «успехов» с помощью приписок и очковтирательства.

...В далеком сибирском леспромхозе один из лучших шоферов, Николай Хромов, разведет новую трассу — очень трудную, даже небезопасную, но позволяющую вдвое сократить путь к складам. Как ни странно, это доброе дело, сулившее десятки тысяч рублей экономии, было использовано для гнусной аферы, в которой приняли участие несколько шоферов, в том числе и сам Николай Хромов — его тоже втянули. Они ездили по новой, короткой дороге, а в путевках указывали старую, накручивая на спидометре фальшивые километры и сливая оставшийся бензин.

Если бы Антонов написал очерк или корреспонденцию, можно было бы, пожалуй, ограничиться такого рода пересказом: здесь есть то, что необходимо для газетного выступления. Но рассказ, собственно, и начинается там, где молодой журналист, от имени которого ведется повествование, уже выяснил все эти обстоятельства дела: «Мне было непонятно главное: по какой причине умный, сильный, по-своему честный парень втянулся в грязную авантюру...» Рассказ и раскрывает это главное.

Оказывается, в этой махинации с двумя дорогами принимал участие еще один человек. И не только принимал участие, он-то, собственно, и затеял эту историю, оставаясь в тени и готовый в крайнем случае, для того чтобы выйти сухим из воды, «утопить» виновных. Николай Хромов рассказывает: «При прежнем техноруке я вкалывал от души и без фальши — хочешь верь, хочешь не верь... Что нужно рабочему человеку? Работа, хлеб да правда. А поставили этого Акима... По-честному-то, попробуй, выгони план... Лес у нас длинномер, кубатуристый.

Надо шарики в черепке иметь, чтобы руководить заготовками. А у него шариков нету. Он ничего не понимает... По-честному станет работать, сразу будет видно, какая ему цена. Сразу снимут. Вот он и извивается. И все кругом довольны. И почет ему идет. И премиальные, и прогрессивка...»

Как опасны эти «извивающиеся» Акимы, которые не умеют или не хотят работать по-честному, работать для дела, а не для собственной выгоды или отчета начальству. И вред, который они приносят, измеряется не только загубленными, разбазаренными или разворованными метрами, тоннами, рублями. Еще хуже то, что они сеют вокруг себя неверие и равнодушие, растлевая слабых. Это среда, необходимая для их существования, и они создают ее.

«Что нужно рабочему человеку? — размышляет Хромов. — Работа, хлеб да правда». Пусть не на долгое время, но заставил Аким поверить Николая, что правды нет. Вот самое страшное преступление «извивающегося» — здесь убыток не взвесишь и не измеришь. Николай, который «вкалывал от души и без фальши», очень мешал Акиму, больше того, был опасен: однажды он мог раскрыть «фокус» с двумя дорогами. Аким и решил его «обезвредить». Полагалась Хромову комната в новом доме, обещана была — не дали. «Кому, по-твоему, комнаты в первую очередь? Тебе или передовым людям?» А «передовые» — это те, что бензин сливали и фальшивые километры накручивали на спидометре. Невесту Николая переставили «на дальнюю клетку. На дальние клетки новеньких ставят, а она три года работает...» Добился своего Аким. Николай стал не только фальшивые километры накручивать, но поверил, что нет правды, стал думать, как Аким. «Вообще человек — склизкое существо, — говорит он вслух с тоской то, что Аким втихомолку со злорадством думает, да никогда не скажет. — Каждый только об себе думает, а до других ему нет никакого дела. Так было, так и будет... Сами шумят — коммунизм строим, а сами норовят хапнуть побольше, поскорее натаскать по потребности, в счет будущего коммунизма... В душу глянешь — жадность, трусость, лжа». Это Николай заглянул в черную душу Акима, а показалось ему — вернее, Аким его убедил, — что все вокруг трусы, лжецы, хапуги.

Волею случая в руках «извивающегося» оказалось дело, в котором он ничего не по-

нимает, и место, которое гораздо больше того, на что он может претендовать. Разоблачить его не так просто. Зубами будет держаться Аким за выгодное место. Одного обезоружит демагогией («Он у нас говору», — замечает Николай), другого хитро запутает, третьего запугает жестокостью и цинизмом. Когда он узнает, что молодой журналист раскусил «фокус» с двумя дорогами, он принимает все меры, чтобы разоблачительная статья не была написана: уговаривает, запутывает, запугивает. Великолепен здесь диалог, в котором писатель тонко запечатлел хитрые «приемы» демагогического «прикрытия».

«— Писать будешь? — спросил он и улыбнулся.

— Собираюсь.

— Не рекомендую.

— Чего не рекомендуете?

— Замкни-ка дверь, чтобы рабочий класс не мешал... Тебе известно, какие задачи поставлены перед лесной промышленностью? Громадные задачи поставлены. Молодых нужно в лес загонять, холостежь в основном. Такая установка. Теперь лагерей нет — часовых ликвидировали, проволоку по-снимали. Теперь, если что не так, рабочий класс и тросом в лесу не удержишь. Так и сверкают отсюда — и вербованные и коренные. Две тыщи ему не выведешь — никакие воспоминания детства его тут не удержат. А ты, вместо того чтобы отобразить нашу работу, собираешься перемазать всех подряд дегтем. К нам и так народ не загонишь, а после твоей заметки сюда и собака добровольно не забежит. Ты что, мне план сорвать хочешь?

— Какой? Бумажный?

— Конечно, в газете сидят проверенные люди. Они хорошее решето прошли, пока их на газету поставили. Они тебе не позволят леспромхоз марать. Кому от этого польза? Никому, кроме врага. При нынешнем международном положении.

— А как вы думаете, бензин можно выливать в овраг при нынешнем положении?

— Эх ты! Правильно про вас на каждом повороте указывают, что вы отстали от жизни. Верно указывают. Ну, допустим есть отдельные уроды — уничтожают бензин. А почему ты передовиков не увидел?»

Поняв, что разговор этот ничего не дал, Аким решил попытаться убрать много узнавшего «очкарика»: места дальние, гу-

хне, природа суровая, морозы жуткие — мало что случается, поди разбирайся потом. Николаю он поручает отвезти журналиста. «Авось, он его там где-нибудь скovyрнет или заморозит». А чтобы все было чисто, на людях несколько раз предупреждает Хромова: вези, мол, осторожно. Не вышло: в критическую минуту вновь обрел Николай веру в правду.

Есть в рассказе «Порожний рейс» и второй план, на него указывает подзаголовок: «Из блокнота начинающего журналиста». На первый взгляд этот молодой журналист, ведущий повествование, — лицо «служебное» в рассказе, он выполняет чисто «сюжетные» функции. Честный, но неопытный двадцатитрехлетний паренек, недавно окончивший вуз, становится невольным свидетелем довольно запутанной жизненной истории. У него есть «твердые» правила («Пока не вижу человека, олицетворяющего тему, не могу написать ничего путного»; «Собирая материал, нужно не гнушаться самых, казалось бы, незначительных подробностей»; «Прежде чем понять героя, пойми работу, которой он занимается»; «Журналист должен быть неутомимым и самостоятельным в сборе фактов и исследовании материала» и т. д. и т. п.). Все они верны и неоспоримы, но почему же герой Антонова, следуя им, все время попадает впросак? И здесь обнаруживается, что история «боевого крещения» начинающего журналиста имеет прямое отношение к основной мысли рассказа. Вся беда в том, что герой «Порожного рейса», так ревностно заботясь о выполнении всех правил, упускал из виду суть дела, или, как он сам говорит, «всю правду». А для того чтобы бороться с «извивающими-

ся» Акимами, надо понимать суть дела и видеть всю правду.

«Показуха», демагогия, очковтирательство — не невинные грешки. Это или прямое преступление, или, в лучшем случае, почва для него. Страстно, непримиримо, гневно пишет Антонов обо всем том, чего у нас не должно быть, что надо выжигать каленым железом. И тем беспощаднее обличение в рассказе «Порожний рейс», что за каждым эпизодом, за каждой фразой угадывается автор, который заботится прежде всего о том, чтобы простым, обыкновенным людям, которые «живут не для себя, не для своей корысти, а исключительно для народа, для будущего и делают необыкновенное, великое дело», никто и ничто не мешало. Это великое дело, которое мы все вместе делаем, требует от каждого умения, высокой ответственности и кристальной честности.

Можно сказать и о том, как четок и выразителен психологический рисунок в новом рассказе Антонова, как точны детали, как живописны и поэтичны описания зимней тайги. Впрочем, это было бы повторением. Уже говорилось, что последний рассказ Антонова можно отнести к лучшим вещам, созданным им. А главное — именно поэтому «Порожний рейс» и дает повод для разговора не столько о литературе, сколько о жизни. Ведь то новое, что вошло в творчество Антонова последних лет и так ясно проявилось в «Аленке» и «Порожном рейсе», — это расширившийся жизненный кругозор писателя, воинственная гражданственность, более зрелый и мужественный взгляд на мир.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

РОМАНТИКИ-РЕАЛИСТЫ

А. Анфиногенов. Земная вахта. Редактор С. Морозов. «Молодая гвардия». М. 1961. 224 стр.

Да простит мне автор личное воспоминание о его творческой молодости — оно мне кажется полезным. Помню, был Артем Анфиногенов еще только что окончившим университет, и послала его редакция в командировку, и привез он из командировки громадный очерк, каковой мы всем отцелом начали читать и не могли прорваться сквозь слова, добраться до смысла. В очерке стояла полная невяница, как туман стоит над рекой. И однако именно в этой

невнятице можно было почувствовать какие-то ритмы, какие-то собственные авторские обороты, словом — поински если не стили, то хотя бы манеры. Очерк мы отмыли, подстругали, словом отредактировали, и он пошел и не произвел ни на кого особенного впечатления. Но автор рвался писать, ему не сиделось в редакции, он просялся в поездки, и особенно на Север, поближе к полюсу. Он добился своего, хотя это было очень трудно, и девяносто девять

из ста остались бы на месте, успокоились бы и сделались редакционными работниками, то есть научились бы оценивать и править чужое, что редко совмещается с писанием своего.

Сейчас на столе — первая книжка Артема Анфиногенова «Земная вахта». Вот отрывок из нее. Я разбил его на строки, чтобы подчеркнуть ритм.

«Во всяком случае, когда бессменный руководитель муромчан Сергей Иванович Исаев начинает сопоставлять свое хозяйство с норвежской обсерваторией Тромсе, поставленной по соседству, в тех же широтах лет тридцать назад, а делает он это со дня приезда в Мурманск и со все возрастающим удовольствием, то выходит, что ныне его молодая организация превосходит свою почтенную соседку по всем пунктам».

Знакомый пейзаж! То же качание паузованного трехдольника, что и в первом очерке, те же остановки, разделяющие длинный период на строки, и та же синтаксическая витиеватость, когда сочиненность заменяется подчиненностью, и вставные предложения пересекают движение мысли, и приложения затрудняют восприятие, и скрытая ироничность подвергает сомнению серьезность авторского отношения к героям...

Конечно, этот кусок уже нельзя назвать невнятицей, но сквозь него можно увидеть, откуда пошел стиль автора: от нарочитой усложненности синтаксиса, от некоего архаического изыска, от шикарной витиеватости, столь забавлявшей слух интеллигентных людей начала века и ныне совсем вышедшей из моды. Но эти внешние черты ничего не обозначают и, главное, ни о чем не пророчат.

Приведенный выше отрывок уже не характерен для книги А. Анфиногенова. Только в очень немногих местах сохранились подобные стилистические сгущения, они выглядят, как если бы художник вогнал в большое полотно этюд, несущий следы всех попыток и всех поправок. Но они говорят о том, что было много попыток и много поправок и что автор подошел к прозе не как к писанию писем, а со стороны выбора и отладки подходящего инструмента, без чего настоящий писатель работать не может.

Стилистические поиски и упражнения дали свои результаты. Молодой писатель нашел если не стиль, то манеру, оказавшуюся очень сподручной для его темы, для его видения мира. Да, в ней можно найти какое-то возвращение к прошлым формам — неторопливым, несколько усложненным, сосредоточенным на собственном построении. Я бы сказал, что подобная манера не могла быть порождена диктовкой под стенограмму, ей пристало писание пером, даже не авторучкой. Если прибавить сюда не назойливую, но постоянную ритмическую закономерность, то получается некое единство формы, одинаково хорошо принимающей весьма разнородный материал — от живых картинок до информационных материалов или поэтических размышлений. Простота изложения не взята напрокат из конторы обыкновенностей, а достигнута в тайном и тяжком труде.

Книга молодого писателя обладает напряжением формы. Это не такое уж обычное явление, и его стоит отметить. Стоит пожелать, чтобы поиски продолжались, шлифовка и отладка инструмента продолжались.

«Земная вахта» посвящена Международному геофизическому году в Арктике и отчасти в Антарктиде. Автор перелетает с одного пункта советского Дальнего Севера в другой, всюду встречает знакомых издавна людей, выслушивает и записывает их рассказы, старается вжиться в их арктический быт... Эпизоды следуют один за другим, рассказанные с подробностями, многие из которых несомненно домыслены, но никогда не выдуманы. Чувство документальной точности не покидает читателя, хотя зачастую его вводят и в душевную жизнь героев. Но это внедрение не нарушает основного этического закона документального искусства: писанием о человеке не помешать ему жить и работать. Как достигается такое невмешательство? Вероятно, только тактом, мерой, симпатией к герою, деликатностью. Здесь инструкций не издать, здесь речь идет о добрых отношениях.

Автор пишет об одном из самых крупных научных мероприятий, когда-либо имевших место в истории, но с наукой он устанавливает особые отношения. «Физический смысл картины оставался мне не ясен, как работа нейтронного монитора, как достоинства сейсмографов». — пишет он в

одном месте. Он и не пытается прояснить для себя и для читателя этот физический смысл, ограничиваясь только самыми необходимыми сведениями, без которых был бы непонятен рассказ. Таким образом, книгу никак нельзя назвать «романом идей» или историей научной истины. И вместе с тем это книга о науке. Ведь именно наука собрала сюда, в оазисы безграничных белых пустынь, всех этих молодых людей, именно наука и сделала их такими, какими изобразил их писатель.

Научный подвиг — тема книги, а любовь к науке и ее работникам — главная сила, которая движет повествование. И потому книга глубоко современна. Ее нельзя было бы написать полвека тому назад. Не потому, что тогда не было самолетов или метеорологических ракет, а потому, что самое ощущение мира и, в частности, нашей планеты было тогда совершенно иным. Так же, как и в работе Н. Н. Михайлова «Иду по меридиану», здесь отражено новое богатство, заработанное человечеством совсем недавно, — чувство планетарности.

Вот участники экспедиции летят к полюсу. Наступает торжественный момент.

«И в пилотской рубке и позади, где ходят пассажиры, тоже становится тихо. Может быть, все смущены обыденностью момента — ждали чего-то большего...

Смуглое лицо Перова преобразилось.

— Перелетаю немножечко, чтобы с гарантией, — негромко и внятно произносит он, слегка подвигаясь на кресле вперед и как бы приговарывая к серьезному делу. — И-и-и... на-ча-ли!..

Под эти командные слова солнце, висевшее сбоку, двинулось по горизонту в сторону, а самолет плавно, хочется сказать — с чувством, ложится в традиционный вираж, позволяя каждому из нас с высоты четырехсот метров и почти отвесно глянуть на некую точку, в самый, что называется, торец воображаемой земной оси.

Вместо торца я схватываю под крылом довольно строгий орнамент, подобие ромба. Он сложился из темных разводьев среди расколотых льдин.

— Десятиминутное путешествие вокруг земного шара, — объявляет Перов. — Мир капиталистический...

Я не сразу понимаю, о чем он, не вдруг оцениваю точность этой фразы. Но действительно, если посмотреть отсюда вниз, на

материки, то где-то далеко, у самой кромки Ледовитого океана, проплывают сейчас безлюдные берега Северной Америки, Атлантика, туманы Британских островов, холодные фиорды Норвегии...

— И мир социалистический...»

Не сжался земной радиус, по-прежнему, как и во времена Гомера, даже высоченный человек более чем в двадцать миллионов раз короче меридиана, по-прежнему ничтожное изменение температуры его тела даже на шесть градусов грозит ему смертью, и для какого-нибудь инопланетного наблюдателя люди могут показаться чем-то вроде капель, медленно ползающих среди металлических созданий, как пишет об этом Станислав Лемм. Однако могущество человека возросло неизмеримо, а мир для него изменился коренным образом. Он научился видеть свою планету несущейся в космосе, распустив крылья магнитных полей, а самого себя — вроде путешественника уже не только по океанам и материкам, но и по солнечной системе. (Может быть, отсюда и название книги — «Земная вахта»: книга о тех, кто дежурит на клотике лайнера, именуемого «Земля»?!)

Новое, незнакомое нашим отцам чувство! Пожалуй, впервые оно нашло словесное выражение не в художественной литературе, а в словаре летчиков, когда земной шар однажды был назван «шариком». Так, возмужав, парень называет отца «предком» — с нежной снисходительностью.

Впрочем, я думаю, назвать Землю «шариком» — это акт искусства, как назвать Землю «шаром» было актом науки. Один уменьшительный суффикс, маленькое «ик» было прибавлено к слову «шар», и этим было выражено гигантское изменение во внутреннем мире человечества в результате восхождения по лестнице познания и могущества. Чтобы заработать право на это «ик», понадобились тысячелетия — от Икара до Чкалова.

От Чкалова до первого астронавта пройдут сроки намного меньшие! Ибо уже сейчас пустыня космической бездны нам более известна, чем век тому назад была известна пустыня вокруг полюсов Земли, а скорость технического прогресса в наши дни куда более высока, чем в любые годы до нас.

Коренным образом изменилось и наше понимание науки.

Ныне наука стала обиходом. Без нее

нельзя ни землю пахать, ни по земле передвигаться, ни тем более над землей летать. И это тоже нашло отражение в искусстве. Помните, как изображала литература ученых еще совсем недавно, в начале столетия? «Профессор» рисовался прежде всего как некая странность, как средоточие странностей. Возьмите хотя бы профессора Чэлленджера из сравнительно недавнего романа Конан-Дойля «Затерянный мир»; по внешности, темпераменту и ухваткам он мало отличается от тех пещерных жителей, которых он открыл в дебрях Южной Америки. Ученым приписывались черты чудачества, несуетная рассеянность, полная удивительность в обыденной жизни. Между тем несомненно, что и в начале века среди обычных людей, не ученых, было не меньше и рассеянных и чудачков, нежели в мире науки. Все дело в том, что искусство выделяло странность этих людей как ту черту, которая была наиболее доступна восприятию и вместе с тем подчеркивала отрешенность ученых, посторонность их по отношению к обыденной жизни большинства. Прекрасно изобразил такое отношение к ученым К. А. Тимирязев, когда написал о себе, как о мудреце из академии в Лагадо, который задался целью выделить солнечную силу из зеленого огурца. Ученый занимался проблемами фотосинтеза, а Свифт, один из самых знаменитых писателей мира, увидел в нем только чудака, увлеченного делом вполне бессмысленным. (Могут сказать, что Свифт хотел осудить псевдонауку, которая занимается фантазиями, никакого отношения к жизненной практике не имеющими. Но и Фарадей, основоположник науки об электричестве, изучал явления, вполне далекие от тогдашней жизни, а над мушкой дрозофилой некоторые смеются и сейчас.) Так или иначе, время, когда ученые казались чудачками, прошло, и сейчас наука настолько внедрилась в практику, что и изображение людей науки в искусстве стало совсем иным. Вот маленький отрывок из Анфиногенова.

«Чета сейсмологов — Ирина и Сергей Федоровы — ввели меня в темную комнату и указали на прибор, «перед которым мы благоговеем». К такому заявлению я был отчасти уже подготовлен. «Вчера нас опять трясло!» — поспешила обрадовать меня эта пара, едва я переступил порог, чтобы познакомиться с ними...» (Дело происходит на острове Хейса, одном из островов архипе-

лага Земля Франца-Иосифа.) «Представившись, Сергей развернул узкую пленку сейсмограммы и с гордостью сказал: «Роскошь, правда?» После этого они вдвоем объясняли, как устроено их жилье, чистое и светлое. Библиотека, которую Сергей привез из дому, «подобрана умно», отметила Ирина, не сводя больших глаз с мужа, а стены спаленки, благодаря малярному искусству Ирины, «приобрели такой теплый оттенок», подчеркнул Сергей. Я отвечал на все, как подбавляет гостю. И на то, что в Москве они живут больше у Сережи, «потому что так велела бабушка», и на то, что электрический звонок над кроватью — «не хитрая, но превосходная штука». Этот звонок, соединенный с приборами за стеной, пулей срывает Сергея с постели, едва в земной коре подопечного ему сектора Арктики произойдет колебание. «Ехали спать на голых досках, — улыбнулся Сергей, — а видите, как живем».

Если рассматривать тему этого отрывка как «первые шаги любви», то она поднята здесь на вершину чистоты, счастья, полноты жизни... Если же видеть в отрывке современное развитие темы «ученые», то сравнительно с академией в Лагадо, или с Паганелем, или с профессором Чэлленджером она «опущена» к реализму, освобождена от гротеска, демократизирована и если и сохраняет долю ироничности в трактовке, то разве только по поводу забавного уединения влюбленных на острове любви и сейсмологии. Так оно и есть, так оно и стало в современности: все выше, все богаче становится духовная жизнь обыкновенных людей, все демократичнее и обыденнее становится наука...

Но это, конечно, не лишает ее романтики, в чем легко убедиться, прочитав книжку А. Анфиногенова. Романтика тоже претерпела изменения. Она стала как бы тоже обыденнее, проще... Я бы сказал, что романтика наших дней освобождена от мистификации, от ходульности, и потому выразить ее в искусстве гораздо труднее, особенно в искусстве документальном, где были бы неуместны всякие хитрости сюжета и преувеличения, какими может пользоваться беллетрист или даже драматург.

Герои книги изображены без всякой мистификации. В большинстве это молодые исследователи, и, знакомясь с ними, думаешь: вот они-то и есть люди нашего времени, а если у нас, в Советском Союзе, не

все еще стали учеными, то это чисто временное обстоятельство, они просто не успели.

Одна из лучших глав книги — «дневник» группы ракетчиков, парней, «просверливающих» небо Арктики ракетами, доставая с высоты в сотни километров сведения, которых никогда не было в руках ученых... В дневнике столько юношеской непосредственности, чистоты побуждений, увлеченности своим делом, молодой решимости и вместе с тем глубокого понимания всей важности своей работы, что — пусть даже этот дневник написан или дописан автором — он может служить широким обобщением лучших черт передовой советской молодежи нашего времени.

«Ничьи руки, более искусные, ничей глаз, более зоркий, ничья голова, более мудрая, не подвергнут нашу работу проверке...» — написано в дневнике молодых. «Все будет только так, как сделаем мы, и малейший недосмотр или неисправность сорвет эксперимент...»

Ракета пошла точно, как надо, и в дневнике ученого появилась запись:

«Мой первый сувенир. Я подарю его маме».

Как хорошо начинают жизнь эти люди! Как правильно!

Перед ними не только просторы планеты и пространства космоса, перед ними — просторы творчества!

Книга А. Анфиногенова — это серия документальных «промеров» человеческой души, сделанных на большой площади и с большой тщательностью. Такая работа не входила в программу Международного геофизического года, она была сделана факультативно и добровольно очеркистом вследствие его любви к людям, которая и осветила все исследование, превратила его в произведение искусства. «Промеры» показали нам наших советских людей в их самоотверженной и трудной деятельности на пользу человечества, и мы узнали многое, что согревает нас и вдохновляет нас — каждого в его повседневной работе.

Борис АГАПОВ.

★

ТУТ ЛЮБОЙ НЕ УТЕРПИТ...

Иван Шевцов. На краю света. Записки офицера. Редактор М. Лапшин. «Молодая гвардия». М. 1960. 206 стр.

Действующие лица повести Ивана Шевцова «На краю света» резко делятся на тех, кого автор очень любит, и тех, кого он терпеть не может. Приметы тех и других обозначены четко и недвусмысленно.

Все они много думают и говорят об искусстве. При этом положительные герои повести — Ирина Пряхина и Андрей Яснев — восхищаются Русским музеем и, кроме того, очень любят драму. Отрицательный же — избалованный машинами и курортами адмиральский сынок Марат Инофатьев — предпочитает Эрмитаж, оперетку, балет. Автор вовсе не путает ленинградский Эрмитаж с московским садом «Эрмитаж», где выступает Театр оперетты. Он знает, что пишет.

Внимательно следит И. Шевцов и за кругом чтения своих героев. В строгой комнате Ирины в Заполярье на подоконнике лежит журнал «Нева». А научный работник, проходивец Аркадий Остапович менее разборчив. Он «регулярно читал журналы «Новый мир» и «Иностранная литература». Из со-

временных писателей признавал лишь Лиона Фейхтвангера, Назыма Хикмета, Арагона и Федина... Современной музыки он не признавал, говоря несколько снисходительно:

— Вот разве только Шостакович и Прокофьев...»

Положительные герои часто зовут Ирину запросто Ариной, а подполк Аркадий Остапович — только Ирен. Удивляться этому не приходится, потому что даже фильмы он любит только такие, где заметно французское влияние. Кроме того, у него квартира в Одессе, дача под Одессой, подозрительные богатства, густые черные брови и нос — хотя почти и прямой, но все же с маленькой горбинкой. К тому же под конец выясняется, что Аркадий Остапович по паспорту совсем не Аркадий Остапович, а Арий Осафович. Бывают же такие люди! Повествование ведется от имени самого положительного героя, Андрея Яснева, сначала курсанта военно-морского училища, а потом командира на военно-морской базе

в Заполярье. Если разобраться внимательно во всем, что он делает и говорит, то можно, пожалуй, составить некий свод моральных и эстетических принципов. Вот из чего этот свод складывается.

Прежде всего надо говорить красиво, примерно так: «Я мысленно назвал ее королевой бала. Белое платье, схваченное голубым поясом, придавало ее тонкому стану удивительную стройность, гибкость и какую-то чарующую легкость». Или хотя бы так: «Она была одета в светлый из тонкой шерсти костюм и светло-розовую блузку, такого нежного цвета, который бывает на акварелях старых мастеров... Лицо ее в венке золотисто-мягких волос, спадающих игривой волной на круглые красивые плечи, сияло как солнце, как купол Исаакия, в тон воскресному весеннему Ленинграду».

Надо внимательно отмечать порывы своей души и без ложной скромности оценивать их высоко и проникновенно: «Помню, еще одно острое, неизгладимое чувство родилось во мне именно в тот миг, как-то сразу ярким светом озарило душу, мозг — это было благородное чувство ответственности перед отцами за то, что завещали они нам».

Афористичность и меткость своих реплик не обязательно обрушивать на читателя внезапно, иногда к ним следует и подготовиться. «Мне хотелось сказать что-то очень большое, значительное»,— восклицает герой. И читатель уже не будет так ошеломлен, когда после этого прочитает: «и я сказал:— Знаете, Марина, вы чудесный человек».

А когда иссякает запас штампов, не грех прибегнуть к помощи Пушкина и переписать его на свой лад и вкус: «Мне хотелось крикнуть, перефразируя Пушкина: «Здравствуй, свободная стихия! Ты в первый раз передо мной катишь волны голубые и блещешь гордою красой».

До сих пор речь шла больше об изъяслении чувств, о форме. А теперь хотелось бы сказать и о самих чувствах, «каких-то удивительно светлых,— как пишет И. Шевцов,— недосыгаемо высоких и чистых, как небо над петергофскими фонтанами в солнечный майский день». Так как это главным образом восхищение самим собой, понятна изысканность и красочность сравнений, к которым должен прибегнуть герой, чтобы передать те россыпи чувств, то богатство мыслей, которые им владеют. По-

другому здесь, конечно, и не скажешь: «Мысль эта сверкнула падающей звездой и угасла навсегда, чтобы уступить место новой, завладевшей всем моим существом».

Андрей Яснев изредка занимается военно-морской службой, а в свободное время беседует с портретом Ирины, которую пылко любит, или так же пылко ухаживает за Мариной, которую не любит.

Это в сфере чистых, высоких и светлых чувств...

Но есть еще область конкретных поступков, и здесь Иван Шевцов с такой определенностью и новизной характеризует поведение своих любимых героев, что с некоторыми из его наблюдений хотелось бы просто, без дальних слов, познакомить читателя.

1. Любимый герой, оказывается, может подслушивать. Этот метод очень помогает узнавать правду о себе и об окружающих. Еще в юности Андрей, невидимый в кустах акации, услышал любопытный для него разговор. «Этот вопрос и меня очень интересовал, поэтому я не спешил отходить от веранды»,— простодушно объясняет он. И прекрасная Ирина, которая подошла в это время, «тоже задержалась на минуту». «Думаю, что и ей хотелось знать», о чем говорили на веранде, понимающе добавляет герой.

Да и в отношении подчиненных этот метод очень хорошо оправдывает себя. Услышав из открытого в кубрике люка веселые голоса матросов, Андрей зашел туда, но, поясняет он, «я остановился у открытого люка». Подслушанный им длинный разговор воспроизводится очень подробно. он помог Ясеневу разобраться в том, что за люди его матросы.

2. Любимый герой может и подглядывать. Так как подслушивает Андрей много раз, а подглядывает всего один — этот способ в повести менее апробирован.

3. Любимому герою и всем другим просто положительным героям облегчает и обогащает жизнь чтение чужих дневников. Эта тема разработана в повести с особой тщательностью.

В самом деле: уехав на время из Заполярья, Ирина часть вещей оставила у своей квартирной хозяйки Лиды — женщины простой и очень благородной. «И тетрадь эту,— рассказывает Лидя,— забыла, навер-

но. Все по ночам записывала про свою жизнь. А теперь письмо прислала, пишет, чтоб тетрадь эту выслали ей в Ленинград и чтоб обязательно в ценной посылке... Я, грешная, прочитала... Я так думаю — что ж тут плохого? Я б, может, и не стала читать, только когда случайно увидела на одной страничке свою фамилию, то тут, конечно, любой не утерпит, потому что каждому интересно, что про тебя другие пишут».

Ну, а раз «каждому интересно» и «любой не утерпит», то вполне естественно, что и Андрей тут же заговорил «как можно любезнее, почти умоляюще»: «Вы мне покажите, пожалуйста, будьте так добры, тетрадь ее».

Но тетради у Лиды нет. Она, оказывается, у Игната Ульяновича (другого поклон-

ника Ирины). «Попросил почитать и не возвращает... Разве можно так: брал на минутку и не отдает», — возмущается благородная Лида.

Понятно, что Андрей бежит к Игнату Ульяновичу и, слегка надув его, добывает дневник. Из него Андрей наконец узнает, что Ирина его любит. А то бы так никогда и не узнал.

На этом и заканчивается повесть, в которой многое строится по принципу: «любой не утерпит».

Не утерпело и издательство «Молодая гвардия». Ему очень захотелось издать эту книгу, и не простым тиражом, а особенным — 115 тысяч экземпляров.

А. БЕРЗЕР.



КНИГА О ХУДОЖЕСТВЕННОМ МАСТЕРСТВЕ

О художественном мастерстве М. Горького. Сборник статей.
Редакторы Б. Михайловский, Е. Тагер. Издательство Академии наук СССР.
М. 1960. 419 стр.

В письме к Репину по поводу его картины «Иван Грозный и сын его Иван» Лев Толстой писал: «Хотел художник сказать значительное, и сказал вполне и ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства».

Таково мастерство всякого большого художника в любой области искусства. Разгадать эту скрытую «тайну» «невидимого» мастерства писателя и составляет далеко не легкую задачу каждого литературоведа и критика.

Именно такого рода задачу поставили перед собой авторы рецензируемого сборника, обратившись к анализу жанра и языка, художественных образов и сюжетов, драматургического конфликта и образа повествователя — другими словами, стиливого своеобразия творчества А. М. Горького.

Несмотря на разнообразие тем, связанных с проблемой художественного мастерства, на «пестроту» авторов (начиная от «маститых» и кончая молодыми горьковедом, дебютирующими в этой книге), сборник, изданный Академией наук СССР, отличается определенным единством.

Чем достигается оно? Отнюдь не нивелировкой стиля самих статей, очень разных и по широте поставленных задач и по самой манере изложения. Цельность сборника до-

стигается общностью методологической позиции авторов, для которых каждый элемент стиля важен не сам по себе, а лишь в соотносительности со всей художественной системой писателя.

Так, изучая образ рассказчика в новеллах и очерках Горького, автор вдумчивой и содержательной статьи на эту тему — В. Келдыш — исходит из активности художественного метода Горького. Анализируя ранние произведения писателя, рассказы и очерки из сборника «По Руси», автобиографические рассказы двадцатых годов, В. Келдыш убедительно доказывает, что рассказчик Горького — выступает ли он как самостоятельное действующее лицо или только лишь как повествователь — настолько активно выражает авторские позиции, что приобретает значение самостоятельного художественного образа, воплотившего в себе черты «нового типа общественного деятеля, нового типа социалистического мироощущения».

Казалось бы, частной проблеме, отнюдь не охватывающей всей широты замысла грандиозной эпопеи, посвящена статья М. Петровой «Приемы образной характеристики в романе «Жизнь Клима Самгина». В статье речь идет об «авторской характеристике образа» — своеобразной форме автор-

ского вмешательства в повествование, о портретной живописи Горького, об интерьере, о лейтмотивах, столь характерных для эпопей Горького. Но за этими отдельными наблюдениями (свежими и тонкими) скрывается та позиция исследователя, которая дает возможность читателю почувствовать неповторимое горьковское мастерство, искусство художника, подчиняющего любой элемент формы большим социально-философским задачам.

Природу драматургического конфликта пьесы «Достигаев и другие», в которой разрешаются ключевые вопросы эпохи, вскрывает И. Ревякина. Автор говорит о жанре общественно-политической драмы, введенной, как известно, Горьким в русскую драматургию. Отказ Горького от замкнутого круга персонажей, обращение к «действующим обстоятельствам», «засценическому действию» рассматриваются автором в связи с принципами эпической драмы и шире — с историзмом художественного мышления Горького. Тем самым формальный анализ перерастает в анализ содержательной формы.

И даже документально-описательная по своей задаче статья А. Тарасовой «Работа Горького над текстами ранних рассказов (подготовка собрания сочинений в издательстве «Книга». 1923—1927 годы)», в которой сопоставляются разные редакции этих произведений, приводит автора к ряду интересных выводов, связанных с эволюцией стиля писателя в советскую эпоху.

Общая направленность сборника, в котором художественные приемы писателя, его художественные средства изучаются в их функциональной значимости, в их нерасторжимой связи с идейной сущностью произведения, с философской концепцией писателя, с его индивидуальным стилем, вызывает всяческое сочувствие.

В этой связи хочется поспорить с Е. Тагером, автором одной из наиболее интересных статей в книге, который считает методологически неоправданным и потому нецелесообразным самостоятельное изучение портретной живописи любого писателя.

Е. Тагер совершенно прав, утверждая, что портретное изображение является одним из способов создания образа, создания характера. И, с другой стороны, сама манера изображения внешности человека входит в более широкую проблему «описания» вообще.

Но если статья на точку зрения Е. Тагера, то нельзя сделать объектом исследования и сюжет произведения, его композицию, вне которых не может конструироваться характер, а тем более пейзаж, играющий обычно служебную роль в произведении и также тесно связанный с описательной манерой автора.

Мне представляется, что можно самостоятельно и плодотворно исследовать самые мельчайшие элементы стиля художника, вплоть до эпитета или метафоры, если только не забывать об общем, о «художественном ансамбле», если умело и верно связать частное с общим.

Лучшим доказательством неправильности утверждения Е. Тагера является глава из упомянутой выше статьи М. Петровой о портретной живописи в «Жизни Клима Самгина», глава, которая вполне может быть основой развернутой статьи на эту же тему.

Эренбург как-то сравнил рецензию с «дорожным проспектом». Но рецензия — это не только проспект, это обычно жанр полемический. Правда, он превращается иной раз в спор с несуществующим или выдуманным противником, в своего рода «самодиалог». Желая избежать такого типа рецензии, я тем не менее не могу не продолжить своего спора с рядом авторов, правда, не столько по принципиальным, сколько по более частным вопросам.

Так, вызывает у меня возражение в интересной по замыслу, актуальной по проблематике статье В. Ланиной термин, вынесенный ею в заглавие статьи: «Групповые образы в романах Горького». «Групповым образом» называет автор не только образ массы в романах Горького, но и в «Железном потоке» Серафимовича, в «Падении Даира» Малышкина, в произведениях, для которых характерен пафос множеств, никак не ассоциируемых с понятием «группы».

Да и вряд ли уместен этот термин в применении, например, к горьковской эпопее «Жизнь Клима Самгина», где в ряде сцен речь идет не о «группах», а о народной массе — вершителе истории.

Не всегда ясен в работе и самый объект исследования: анализ «группового образа» (употребляя терминологию автора) нередко подменяется анализом массовых сцен (похороны Баумана, события 1905 года в «Жизни Клима Самгина» и т. д.).

Отмечая ряд метафорических приемов, приемов многоголосого диалога, иносказа-

ний, с помощью которых Горький характеризует массу, автор тем не менее больше внимания уделяет «содержанию» образа (настроениям, действиям, поведению толпы, массы, коллектива), чем самим принципам изображения массового героя. При анализе «Жизни Клима Самгина» В. Ланина не учитывает, как дается описание народа — через призму восприятия автора или «глазами Самгина», а этот факт, само собой разумеется, далеко не безразличен и вносит характерные оттенки в самое описание.

Новаторству сатиры Горького, различным ее жанрам, от политического памфлета до сатирической сказки, посвящена статья А. Синявского «Горький-сатирик». В основных своих положениях, в удачно подобранных иллюстрациях к ним она вызывает полное сочувствие. Спорить хочется только об одном — о «сатиричности» образа Клима Самгина, о «психологическом гротеске» — сатирическом приеме, которым, по мнению автора, пользуется Горький, разоблачая Самгина. Мою задачу в этом отношении облегчила М. Петрова, которая в своей статье вступает в прямой спор с А. Синявским¹, доказывая, что подлинная сатира не уживается с углубленно-психологическим анализом. Прибавлю к этому, что отказ Горького «от фантастических преувеличений», о котором говорит сам Синявский в отношении Клима Самгина, отсутствие комедийного начала, являются лишними доказательствами того, что обличительный пафос Горького не превращается здесь в сатирический.

В этой же связи мне кажется искусственным и неоправданным в статье Б. Михайловского (как всегда, отличающейся обилием литературных параллелей, аналогий, сопоставлений, глубоким раскрытием преемственных связей как с русской, так и с мировой литературой) включение раннего рассказа Горького «Ошибка» в цикл так называемых «герикокомических» произведений (термин, введенный Б. Михайловским в применении к ряду ранних произведений Горького).

Можно согласиться с близостью «Ошиб-

ки» к революционно-романтическим произведениям молодого Горького, несмотря на общую бытовую окраску этого рассказа. Мечты о подвиге безумца Кравцова, о создании будки всеобщего спасения, о царстве гармонии — все это напоминает романтический идеал молодого Горького, создателя образа Данко. Но характерно, что в этом рассказе — в отличие от горьковских романтических сказок, легенд и песен — мечты Кравцова приобретают как бы реалистическую мотивировку (бред душевнобольного) и вставлены в реалистически-бытовую оправку. Но о каком юморе, о каком комизме здесь может идти речь? Между тем автор статьи настойчиво нас в этом уверяет, правда, чаще всего лишь называя, а не раскрывая эти особенности горьковского рассказа (ср. «юмор, перемежающийся с патетикой»; «насыщение сюжета юмором»; «резкие переходы от высокого пафоса к комизму» и т. д.). В чем же этот комизм, где это «смешное» в глубоко трагическом рассказе Горького? Не комизмом же считать ситуацию, при которой заблевающий психически Ярославцев принужден дежурить у постели уже сошедшего с ума Кравцова?

«Сатирически обрисована тупая обывательская среда», — замечает Б. Михайловский. Но несколькими страницами дальше мы читаем: «Обывательское существование провинциальной интеллигенции не описывается в «Ошибке»... Обличение их жизни дано в речах Кравцова, оперирующего почти сплошь метафорическими образами...» Где же тут юмор? И не случайно сам Горький в письме к Овсяннико-Куликовскому (оно, кстати, цитируется в статье) писал, что в «Ошибке» он пытался дать изображение «тоски», которую он «считал началом творческим».

Глава о рассказе «Ошибка» мне представляется интересным, самостоятельным этюдом, не укладывающимся, однако, в прокрустово ложе «герикокомических произведений» Горького.

Хочется специально остановиться на статье Б. Неймана «Речь персонажей в пьесах Горького».

В многоголосом хоре горьковских героев Б. Нейман хорошо слышит и различает тембр, интонацию, речевые акценты каждого из них. Можно сказать, что у него в этом отношении «абсолютный слух». Он улавливает и отклонение от литературных

¹ Правильно поступили, на мой взгляд, редакторы книги В. Михайловский и Е. Тагер, которые в отличие от обычных редакторов, «подтягивающих» друг к другу несхожие взгляды авторов одного сборника, оставили эту полемику «под одной обложкой».

норм, мудрую складность народной речи утешителя Луки, и чиновничье-мещанскую стихию речи Бессеменова, и болтливую профессиональность «человека красивого слова», адвоката Басова, он отмечает и «блистательные эпитеты» «костромского Маклакова», защитника буржуазного права — Звонцова, и нарочитое косноязычие Левшина, и приемы агитатора в монологах Нила, и искусственную инфантильность речи писателя Мастакова, и языковую мимирию Достигаева и т. д. и т. д. И даже в сходном речевом складе служителей церкви исследователь умеет уловить не только общее, но и индивидуальное, то, что связано у каждого из них с неодинаковым положением в иерархии духовенства: витийственность речи Павлина отлична от бытового тона священника Иосифа, от «церковных формул», скрепленных бранью и проклятиями озлобленной волчихи — настоятельницы монастыря Мелании.

Все эти «зигзаги» языка, которые с такой точностью передает писатель, никогда не впадая при этом в натуралистические крайности, проанализированы Б. Нейманом.

Но этим ведь не исчерпывается изучение речевого портрета героев (будь то драматургия или проза). К индивидуализации языка как одному из средств создания образа так или иначе стремится каждый художник реалистического искусства. Однако самые принципы индивидуализации речи героев, характер диалогов далеко не идентичны у разных авторов. Задача исследователя в этой, казалось бы, неповторимой, персонифицированной речи героев — найти особенности авторского стиля. Несмотря на резко очерченный рисунок каждого речевого портрета в драматургии Горького, мы узнаем авторский голос, его любовь к афоризму, к неожиданному переосмыслению слова, к каламбурным сближениям, к фольклорному складу и т. д. Без особого труда даже не очень искушенный читатель отличит авторский стиль чеховской пьесы с ее музыкальным ритмом и лирической интонацией от горьковского сжато-афористического стиля, насыщенного «весомым» словом, словом с максимальной смысловой нагрузкой, от стиля леоновских пьес с их усложненным синтаксисом, петлистостью фразы, от речевого рисунка пьес А. Островского, перенасыщенного купеческой просторечной лексикой, замоскворецким жаргоном.

Справедливость требует сказать, что в последней главке своей статьи Б. Нейман касается вопросов авторского языка. Но именно «касается» — бегло, мимоходом, «под занавес». Эта задача во всей ее широте еще стоит перед исследователем, давно занимающимся вопросами изучения языка драматургии Горького.

Сборник завершается статьей Е. Тагера «Жанр литературного портрета в творчестве Горького». В ней особенность всего сборника — умение в частной, казалось бы, стилистической детали увидеть «общее», связать ее, не всегда, конечно, непосредственно, с художественной концепцией писателя, рассмотреть отдельные элементы художественной формы в их сцепленности — проявилась с наибольшей отчетливостью.

Анализируя жанрово-стилистические особенности, изобразительную манеру литературного портрета у Горького, автор статьи связывает их с горьковской концепцией «Человека с большой буквы», воплощающего величие своего народа, своей страны. Е. Тагер раскрывает «подчеркнуто идеологический строй» горьковских портретных характеристик, подчиненных раскрытию типизированного положительного героя русской исторической действительности. В умении по-новому «прочитать» хорошо знакомые тексты — одно из достоинств работы Е. Тагера. С помощью тонкого анализа раскрывается внутреннее единство, общий смысл фрагментарных, внешне, казалось бы, малосвязанных между собой заметок о Льве Толстом, представляющих в совокупности один из самых блестящих образцов литературного портрета, посвященных великому художнику.

Можно посоветовать на то, что Е. Тагер обошел в своей статье проблему автороповествователя, играющего не только конструктивную роль в изучаемом жанре. Несмотря на максимальную отстраненность автора, меньше всего сосредоточенного на своей личности, в его литературных портретах вырисовывается со всей определенностью образ художника социалистического мироощущения, социалистического идеала, художника, для которого «великое» является нормой, мерой вещей.

Определяя сущность художественного мастерства (в применении к киноискусству), С. Эйзенштейн писал, что оно заключается в том, «чтобы, развернув каждую об-

ласть выразительных средств до максимума, вместе с тем так суметь соркестровать, сбалансировать целое, чтобы ни одна из частных, единичных областей не вырвалась бы из этого общего ансамбля, из этого всеобщего композиционного единства.

Анализ художественного мастерства и за-

ключается в умении «вырвать» единичное из «общего ансамбля», не потеряв при этом перспективы целого, понимания общего.

Рецензируемая книга — удачная попытка такого рода изучения мастерства художника.

Л. ПОЛЯК.



ПЕРВЫЙ ОПЫТ

В. П а н к о в. Главный герой. Изображение народа в послевоенной советской литературе. Редактор И. Михайлова. Гослитиздат. М. 1960. 324 стр.

Книга В. Панкова «Главный герой» составлена автором из его ранее опубликованных статей, но эта книга не просто сборник: В. Панков предлагает читателю свою работу как попытку целостного обобщения опыта послевоенной советской литературы.

Такое обобщение — задача чрезвычайной трудности. Материал накопился огромный; надо отобрать самое важное, характерное, показать своеобразие литературы послевоенных лет.

Конечно, одному человеку не под силу всестороннее освещение сложных проблем развития литературы обширного периода — неизбежна и неполнота и беглость, обзорность отдельных разделов. Но главная мера достоинства книги об искусстве — написана она несколькими или одним исследователем — остается неизменной: соответствие правде жизни. Насколько верна действительности картина развития литературы, нарисованная В. Панковым?

Книга В. Панкова публицистична, воинственна: критик стремится разбить ревизионистскую легенду об оскудении послевоенной литературы самым надежным оружием — фактами. Показать идейную силу, правдивость нашей литературы, оригинальность ее художественных красок — вот какую цель ставит себе автор, и это очень хорошо.

Верно, что особенности искусства определяются характером героя времени: «Героическое дело требует героического слова» — под этим горьковским девизом рассматривает Панков литературу послевоенных лет. Почти в каждом разделе книги раскрыты образы народных вожаков, руководителей и простых тружеников войны или мирных строек. В. Панков отмечает их привлекающие человеческие особенности, собственные им черты новой, коммунистической

морали, красоту их идеалов. Никак нельзя сказать, что критик пишет о героях мало. И все-таки яркий, убедительный, исторически достоверный портрет героя в книге не сложился.

В. Панков привлек к разговору много произведений, часто второстепенных. Но разве дело в количестве? Почему-то критик не выделяет крупным планом наиболее значительные книги, то есть как раз те, которые дали бы ему в руки основания для необходимых выводов. Ряд книг, без которых здесь никак не обойдешься, критик опустил вовсе. Андрей Лобанов — герой романа «Искатели» — новатор, настоящий коммунист, борец, характернейшая фигура среди героев времени, — жаль, что ему не нашлось места в книге. Не по-хозяйски поступил В. Панков с «Донбассом» Горбатов: и мало слов ему уделено, и сказаны они не о главном. А ведь «Донбасс» — один из интереснейших романов своего времени. Эпико-героические традиции, богатые ассоциации с поэтической гоголевской прозой очень под стать колоритным характерам романа, образам тружеников «чистых кровей», которые олицетворяют героическую мощь и нравственную красоту рабочего класса Советской России.

Критик оставляет в стороне «Середину века» Луговского, философские романы-притчи Пришвина, а ведь они (вместе с «Русским лесом», «Счастьем» и некоторыми другими) позволяют судить о философской насыщенности современной литературы.

Сорокалетний героический «стаж» нашей страны, величие трудных дел народных, их историческая закономерность и гигантские усилия людей, объединенных высокой целью, — все это объясняет большее, нежели раньше, развитие философских мотивов. Отчетливее, чем раньше, ставятся в литературе проблемы счастья и радости жизни,

цели человеческого существования, проблемы «человек и мир», «человек и народ». Резко и прямо утверждают писатели счастье непоказного служения народу в противовес мнимым ценностям — «золотой карете» мелких соблазнов, эгоизма и своекорыстия. В. Панков упустил возможность продемонстрировать всю силу героической устремленности современной литературы и ее философское содержание.

Панков стремится показать трудности развития послевоенной литературы, дать им верную оценку. Четкие партийные позиции исследователя по отношению к эстетству, безыдейности, объективизму, ревизионизму проявляются и в общих формулировках и в конкретном анализе. В. Панков страстно выступает против этих врагов советского искусства. К сожалению, он явно преуменьшает вредное влияние бесконфликтности. Об этом свидетельствуют те крайне мягкие интонации, с которыми критик говорит о произведениях, отразивших дух парадности. Конечно, автором руксодят самые добрые побуждения: он воюет с теми, кто переоценивал влияние бесконфликтности, «за деревьями не видел леса», зачеркивал огромный положительный опыт, который накопила литература. Но, несмотря на такие «уважительные причины», В. Панков все же не прав — он судит о литературе тоже «не в соотношении с жизнью» (так справедливо критикует исследователь тех, кто преувеличивает опасность бесконфликтности). Не следует ни улучшать, ни ухудшать историю. Мы должны, не раздувая, но и не сглаживая тех или иных трудностей, дать им партийную, правдивую оценку.

Полезно вспомнить, как писал об этом Н. С. Хрущев, как бы предостерегая критиков от увлечения крайностями: «Мы против тех, кто выискивает в жизни только отрицательные факты и злорадствует по этому поводу... Мы также и против тех, кто создает сусальные, подслащенные картины, оскорбляющие чувства нашего народа, который не приемлет и не терпит никакой фальши». Н. С. Хрущев ратует за правду искусства — «показ как положительных, светлых и ярких сторон социалистической действительности, составляющих ее основу, так и критику недостатков... торозящих наше поступательное движение вперед».

В исследовании В. Панкова есть своя

логика: смазав вредное влияние бесконфликтности, критик, естественно, обошел молчанием Второй съезд советских писателей, который решительно осудил теорию и практику бесконфликтности и приукрашивания действительности.

Сглаживая в своих оценках беды бесконфликтности, В. Панков заодно приглушил значение жизненных конфликтов, отраженных в литературе. Тем самым критик невольно недооценил силу нашего искусства, сохранившего в лучших своих произведениях верность правде жизни и в те дни, когда была распространена теория бесконфликтности.

А между тем в серьезных жизненных коллизиях послевоенного искусства раскрыта борьба настоящего человека, воспитанного в ленинских традициях, и тех, кто противостояли ленинскому стилю жизни и деятельности.

Широким строем атаковали советские литераторы мещанство, паразитизм, приспособленчество. Так, например, герой романа «Искатели» Андрей Лобанов и его сподвижники олицетворяют смелость мысли и действий, коммунистическую мораль и противостоят карьеризму, обывательщине. Мораль коммунистов не в меньшей, если не в большей мере бьет и по другим отрицательным явлениям — по тем людям, кто боится собственных суждений, мыслей, кто привык думать только по указке. Но об «Искателях», как уже отмечалось, автор не говорит вовсе.

Когда анализ ведется в обход главных конфликтов, то больше всего страдают остроконфликтные произведения — «Битва в пути», например. Вспомним, что уже в прологе к роману (сцена похорон Сталина) сильно прозвучал вопрос писательницы: что умрет с этой смертью и что останется на века? Этот вопрос продолжает звучать и дальше, когда сталкиваются два стиля работы, два человеческих типа: Бахирев и его единомышленники с Вальганом, Бликиным, когда начинается битва в пути к коммунизму между ленинцами и теми, кто создает видимость благополучия, боится правды, не хочет менять дело к лучшему...

В. Панков пишет о прологе вскользь, между прочим (в книжной редакции «в главу «Мартовская ночь» внесены более глубокие психологические мотивировки поведения Бахирева»), и все сказанное о Бахиреве и Вальгане приобретает абстрактный

оттенок. Острота коллизии притупляется. Правда, критик отмечает: «Стиль работы Вальгана пришел в столкновение с характером жизни... И он рушится, этот стиль помпезности, бездушия, администрированности». Как хорошо: сам собой и рушится!

Так же обошелся В. Панков с очень драматичной повестью П. Нилина «Жестокость». Пока речь идет о благотворной, великой силе революционного гуманизма, о его влиянии на Венюку Малышева и по своему на Лазаря Баукина — у нас нет спора с критиком. Но мы решительно не согласны с попыткой сгладить впечатление от трагического финала повести и ее резкого конфликта.

Не потому ли критик не уделил должного внимания конфликтам, что они кажутся ему темой второстепенной, отвлекающей от темы «главный герой»? Но ведь именно в острой борьбе с серьезным противником ярко и сильно проявляется герой!

В. Панков справедливо утверждает, что наша послевоенная литература — литература глубоко оптимистическая, он верно говорит о природе и содержании подлинного оптимизма. «Разговор утрачивает глубину, когда оптимизму противопоставляют печаль, грусть, тревоги, словно оптимистическая по духу литература избегает их... Для нас разговор об оптимизме и пессимизме не ограничивается фиксацией настроений, а включается в строй философских и эстетических вопросов об искусстве и действительности... Мы говорим об историческом оптимизме, который рождается из практики преобразования мира, из нелегких драм социального бытия, из веры в будущее, в коммунизм». В духе этих верных мыслей обстоятельно раскрыл В. Панков образ Андрея Соколова: герой прошел через такие испытания, такие страшные обрушились на него несчастья, что кажется — нет, не сможет он жить, погибнет. Но беды и трагедии не опустошили Андрея, не сделали его смиренным или озлобленным. В нем сохранился человек — мужественный, светлый, красивый. Однако иногда критик словно пугается — а вдруг картина покажется читателю мрачной? В главе «Утро победы», подчеркивая мотивы радости победы, он подчас как бы извиняется, что приходится говорить и о горестях («Правда, возвращение не могло обойтись и без конфликтов»), и торопится к выводу: «не в этом было главное». Ну конечно, не в этом, само собой разумеется!

Но зачем вообще брать в руки весы и измерять, что перевесит — радость или горе? Ведь правильнее (как иногда делает тот же В. Панков) говорить о едином мироощущении советских людей в новую, счастливую, но очень трудную полосу жизни. Советская литература сказала в те дни «слово бодрости», которое было необходимо людям, «как хлеб». Но это слово никогда не обходило беды послевоенной поры. Павленко восхищался духовной силой советских людей, которые выстояли под напором сложных, тяжелых обстоятельств первой поры восстановления Крыма. Г. Николаева несколько не облегчала положения героев своей «Жатвы», попавших из-за войны в суровый переплет. Но они — цельные, настоящие люди — не только одолели эту тяжесть; в острой драме проявились их нравственная сила, достоинство людей нового мира.

Может быть, если бы В. Панков взгляделся в романы Павленко и Николаевой с этой стороны, привлек их к анализу в главе «Утро мира», его выводы были бы вернее, а суждения об оптимизме литературы в дни, последовавшие за победой, стали бы более последовательными и цельными.

Хорошая книга об искусстве вводит нас не только в круг идей и проблем произведения, но и в мир прекрасного. Критики и литературоведы так же, как и писатели, ответственны за воспитание культуры чувств, эстетического вкуса читателей; критик так же, как и художник слова, может поднять эту культуру, а может и повредить ей.

Когда В. Панков пишет о «Судьбе человека» и «Поднятой целине», он рассматривает идейный строй произведений как строй образный, «доводя» анализ до языка произведений, пейзажа. Привлекают также суждения критика о «Звезде» Казакевича, ее лирической атмосфере, вне которой по-настоящему не понять проблематику рассказа. Есть в книге и другие удачные страницы.

Но часто В. Панков, говоря о произведениях литературы, оперирует самыми общими, «стертыми» словами.

Например, о достоинствах и недостатках партизанского эпоса он судит так, точно разбирает боевую операцию: он озабочен выяснением вопроса, насколько полно отображена в произведениях взаимосвязь партизанских частей с регулярной армией. П. Вершигору — автора повести «Люди с

чистой совестью» — критик и укоряет за недооценку этой связи. А вот в дальнейшем, заключает исследователь (особенно в повести «Рейд на Сан и Вислу»), этот недостаток преодолен. Но он забывает сказать, что «Люди с чистой совестью» — произведение, несравненно более художественно цельное, сильное и оригинальное, нежели «Рейд», хотя упомянутая проблема взаимосвязи и решена в последней книге, вероятно, правильнее. Или вот как пишет В. Панков о Пете Бачее, одном из юных героев романа В. Катаева «За власть Советов»: «Участие в общенародной борьбе делает Петю героем. Выйдя из катакомб, этот юный подпольщик понимает, что в глазах следующего за ним поколения маленьких патриотов он также стал легендарной былью...» Но эти слова совершенно не «в образе» мальчика, даже если он храбрый подпольщик. Петя Бачей живет в мире детских, романтических представлений, в мире, окрашенном милым юмором. И хотя В. Панков отметил умение Катаева рисовать характеры детей, это замечание никак не повлияло на анализ этих характеров. И читатели, которые познакомятся с Петей по книге В. Панкова, будут уверены, что этот участник героической борьбы партизан — человек довольно скучный, наделенный к тому же известным самомнением. Быть может, такой подпольщик и существовал в жизни. Но Петя Бачей совсем другой.

А вот как интересно пишет критик о героине «Жатвы»: «На первом месте центральный и самый обаятельный образ произведения — Авдотья Бортникова. Человек скромный, Авдотья всей душой тянется к большому общественному делу, упорно учится, по-новому перестраивает работу животноводческой фермы. Осуществив одну задачу, она находит в себе еще больше сил для новых достижений. И вот она, простая крестьянка, уже выступает организатором людей, учит их, увлекает новаторскими замыслами». Такие слова в равной мере применимы (или лучше — неприменимы) ко многим образам передовых колхозниц в советской литературе.

Одна из глав книги называется «Художественное многообразие». Разговор о многообразии сводится к сопоставлению героического и «будничного» стилей (на примере «Молодой гвардии» и «Спутников»). Хотя сопоставление это справедливо, многообразие оказывается очень бедным, а действительное богатство стилей советских художников остается за пределами этой схемы. Куда, скажем, отнести публицистические романы Эренбурга? А как быть с философскими пейзажами Пришвина? Символику и усложненный психологизм романов Леонова тоже никак не приспособишь ни к «будничному» ни к героико-патетическому стилю. «Открытие» этих двух, во многом полярных художественных принципов в свое время обозначило отход нашей критики от узкотематических приемов анализа. Но мы почему-то не торопимся двинуться дальше. А ведь давно пора!

Наконец, последнее замечание. В. Панков рассматривает послевоенную литературу, в сущности, суммарно (хотя глава «Утро победы» и посвящена ее первому этапу). А не следовало ли критику (и не следует ли всем нам) поставить вопрос о новом, особом периоде развития нашей литературы, открывшемся пять-шесть лет назад в связи с глубокими изменениями в жизни страны, в связи с историческими решениями XX съезда КПСС? Между тем В. Панков даже и не пытается раскрыть черты нового в нашей литературе последнего времени.

Развивается, богатеет советская литература. Вместе с ней растет наша литературная критика. Книга В. Панкова «Главный герой» примечательна тем, что автор попытался окинуть взором большой период развития нашей современной литературы. И если книга В. Панкова вызывает ряд возражений, так это потому прежде всего, что автор упрощает современную советскую литературу и не всегда находит слова и стиль, которые необходимы при разговоре о произведениях искусства.

Е. ЛЮБАРЕВА.



НЕПОБЕДИМОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...

Дневник Анны Франк. Перевод Р. Райт-Ковалевой. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 238 стр.

На обложке книги простой и выразительный рисунок: грубый, подкованный железом солдатский сапог занесен над нежным, едва пробившимся из-под земли ростком. А читая эту получившую всемирную известность книгу — «Дневник Анны Франк», мы узнаем, при каких обстоятельствах погиб, был раздавлен железной пятой фашиста яркий побег молодой, многообещающей жизни.

Тринадцатилетняя девочка Анна Франк писала дневник в течение двадцати пяти месяцев своего заточения в «убежище».

Восемь человек, в том числе родители Анны, два года спасались от неминуемой гибели, укрывшись в чердачной части одного из зданий на Принсенграхт. Подвижная книжная полка маскировала вход и лесенку, что вела наверх, в убежище. Там скрывались эмигрировавший из фашистской Германии в Голландию Отто Франк с семьей, чета ван Даан с сыном Петером и зубной врач Дуссель. Впрочем, фактическая сторона истории убежища хорошо известна, и мы не будем ее повторять.

Но вот перед нами дневник. Почти ежедневные записи самой младшей из тех, кто там спасался. Анна Франк... Кто она? Казалось бы, самая обыкновенная школьница, которая «с глубокой антипатией» относится к алгебре и коллекционирует фотографии «кинозвезд».

Почему неприятельские записи этой девочки облетели весь мир, переведены на семнадцать языков, неоднократно экранизировались?

Почему миллионы читателей с грустью и любовью всматриваются в небольшой фото-портрет Анны, в эти тонкие черты лица, в черные, искрящиеся жизнью глаза?

На воспроизведенной в книге известной фотографии Анна смеется. Для того, кто познакомится с записями ее дневника, становится ясно: улыбка, смех были органически присущи этой светлой, жизнеутверждающей натуре. Даже замурованная в четырех стенах, лишенная свежего воздуха и настоящего движения, девочка украшает свою жизнь и жизнь окружающих улыбкой, свойственным ей остроумием. Обреченная на нечеловеческие условия существования,

она не теряет подлинно человеческих качеств, одно из которых — уметь улыбаться в самые трудные моменты.

«В самые опасные минуты, в любой ситуации я вижу комическую сторону и невольно смеюсь над ней», — пишет «замурованная» девочка.

Фашисты во главе с Гитлером в те годы многим казались всеокрушающей силой. Спасаясь от гибели, семейство Франк прибегло к самозаточению. Но девочка, к которой с воли пришли сведения о новых кровавых бесчинствах нацистов, издевается над своими палачами. Они ей не только отвратительны, но и смешны.

«Гитлер был так любезен, что сообщил моему любимому и преданному народу о том, что с сегодняшнего дня все военные подчинены гестапо и что каждый солдат, узнавший, что его командир принимал участие в «подлом и низком покушении», может без дальнейших околичностей пристрелить его».

Вот это будет история! У Ганса Дампфа заболели ноги от беготни, его командир на него наорал. Ганс хватает винтовку, кричит: «Ты хотел убить фюрера, вот тебе за это!» — так пишет Анна 21 июля, комментируя неудавшееся покушение на «фюрера». А к тому же покушение было совершено «не каким-нибудь «еврейским коммунистом» или «английским капиталистом», — иронизирует Анна, — нет, это сделал генерал благородных немецких кровей».

Первое и очевидное, что не может не волновать читателя «Дневника», — это очень точно, правдиво и подробно зафиксированная картина существования людей в столь необычных условиях. Два года не иметь возможности вдыхать «вольный ветер», пройтись (а для Анны еще желаннее — промчаться) по улицам; изнемогать от несвежей, скудной пищи, от неизбежной в условиях заточения грязи. К тому же то и дело вспыхивают ссоры и дразги между поставленными в тяжкие условия обитателями убежища.

Со свойственной ей склонностью к обобщающим умозаключениям Анна видит всю противостоительность подобного прозябания и размышляет: «Не покажется ли после войны, скажем, лет через десять, невероят-

ным, если рассказать, как мы, еврейская семья, жили тут...»

Правда, простая и жестокая, — вот что характерно для «творческого почерка» девочки. Ничего от слащавой, сентиментальной слезливости, к сожалению, не редких в дневниках юных девиц.

Фиксируя происходящее, Анна не опускает ничего, даже самых «непоэтических» подробностей. После того как кто-то ломился в убежище, у его обитателей, испытавших смертный страх, «схватывает желудок». Какая прозаическая и вместе с тем страшная подробность! Да, так были напряжены нервы у людей, принужденных сжечь, ежеминутно прислушиваться.

«Ш-ш» и «тс-с» — вот что заменяло обычную человеческую речь.

Пытка страхом — вот что было лейтмотивом подпольного бытия.

Одна из характерных зарисовок: «На улице стояли соседи — муж и жена, и луч их карманного фонаря стал шарить по всему складу... Теперь эти супруги, наверно, сообщат полиции... Мы до вторника боялись пошевелиться... При каждом шорохе шипели «Тс-с! Тс-с-с!» И вдруг в четверть двенадцатого — шум внизу. Слышно было дыхание каждого из нас, но мы не пошевелились... Только слышался стук восьми сердец. Шаги на нашей лестнице, кто-то трясет наш вращающийся шкаф. Эти минуты невозможно описать».

Но описанная выше сцена не была еще концом жизни Анны и ее близких. На этот раз пришли их голландские друзья. И лишь 4 августа 1944 года подкованные железом сапоги «зеленой полиции» действительно загрохотали по ведущей в убежище лесенке.

Анна была брошена в концлагерь Берген-Бельзен, где и погибла за два месяца до освобождения Голландии от нацистского ига.

Так оборвалась эта короткая жизнь, о потрясающих главах которой рассказано в чудом уцелевшем дневнике. Его после разгрома убежища среди мусора и обломков нашли голландские друзья семьи Франк, нашли и сохранили. Так из мрака заточения пришли в мир, были услышаны людьми правдивые, волнующие слова...

В исторически необычное время, когда на людей бросилось бешеное фашистское зверье, рождались и необычные биографии. Необычными, а подчас и поразитель-

ными были и документы, особенно дневники, оставшиеся от людей.

«Репортаж с петлей на шее» — как много скажет грядущим поколениям одно только это заглавие!

Конечно, несравнимы мощный голос народного героя Чехословакии и голос тринадцатилетней, духовно лишь формирующейся девочки. Но в обвинительном акте человечества фашизму и этот голос звучит ясно и отчетливо.

Не только страдания, пережитые Анной, дают ее запискам долгую, волнующую людей жизнь.

Ведь гитлеровцы были бесконечно изобретательны в средствах мучительства.

Мы знаем немало рассказов случайно уцелевших жертв фашизма и просто очевидцев их злодеяний.

Молчаливые экскурсии проходят мимо газовых камер Освенцима и печей Майда-нека. Я видела траншеи жирного пепла в бывшем концлагере Тремблинка — то, что было когда-то людьми...

И все же дневник Анны Франк больше волнует не «ужасами», как бы велики они ни были, а своим подлинно человеческим голосом. Этот голос еще юн, порой он ломается. Но с каждой страницей дневника все отчетливее вырастает перед нами фигурка, конечно, до конца еще не сложившегося, но настоящего человека. И это вечночеловеческое в гонимой девочке особенно ощутимо при сопоставлении с бесчеловечностью ее гонителей и палачей.

Обреченную Анну больше всего тревожит не собственная судьба, а судьба помогающих им голландских друзей. Она много пишет об этом.

Украдкой, в шелку меж штор, смотрит она на голодных, обездоленных войной ребяташек. Ее пронзает боль, потому что они в холод «в одних тонких платьицах, в деревянных башмаках на босу ногу, без пальто...».

Ее, которой ежеминутно грозит гибель, волнуют чужие беды и страдания! «Надо было бы думать, как приберечь каждый цент и не истратить его зря, потому что придется помогать другим и спасти всех, кого можно спасти».

Масштабы сердечных забот этой девочки широки.

«Мы должны мужественно переносить страх, лишения, горе, теперь надо быть спокойными и стойкими. Больше, чем ко-

гда-либо, надо сжать зубы, чтобы не кричать! Кричать от боли может Франция, Россия, Италия, даже Германия, но мы на это не имеем права!.. Теперь речь идет не только о еврейях, теперь речь идет о всей Голландии, о всей Европе.

Правда, в этой же записи, где девочка тревожится о судьбах Европы, имеется и своя личная, скромная надежда: в случае победы «может быть... я смогу в сентябре или октябре снова пойти в школу».

В истинно человеческой душе — а особенно в юной — заложено светлое стремление к поэзии, добру, красоте. Лишенная всего, Анна жадно любит «сквозь грязное окно» прелестью лунной ночи. «Я до половины двенадцатого с трудом преодолевала сон, чтобы наедине полюбоваться у окна лунной... Это не воображение — я и на самом деле успокаиваюсь от созерцания неба, облаков, луны и звезд...»

Открытая красоте юная душа черпает утешение, «вспоминая все прекрасное».

Неожиданно строки дневника, где Анна не может уйти, оторваться от прелести лунной ночи, напомнили мне другую юную девушку. Та вот так же любовалась весенней лунной ночью из окна барского дома в Отрадном, так же не могла уйти спать... Наташа Ростова... Поразителен контраст обстановки, обстоятельств. Но едина в двух этих девушках неуязвимая сила поэзии, извечное человеческое стремление ко «все-му прекрасному» на земле.

Потому же и затеплился, затрепетал в Анне робкий огонек любви к товарищу по заточению, юному Петеру.

Фашистский сапог, растоптав зеленый росток жизни Анны Франк, растоптал возможность его развития, его богатого цветения...

Силы, возможности, заложенные в ней, сама Анна чувствовала инстинктивно. Она мечтала стать журналисткой, писательницей, оставить след в жизни. Даже свой «Дневник» она рассматривает как материал к своей будущей книге «Убежище».

Не пустое тщеславие вдохновляет и поддерживает ее, а благородное, неоднократно высказываемое ею стремление — «работать в большом мире, работать для людей».

«Слышу все ближе раскаты грозы, которая может убить и нас, чувствую страдания миллионов людей, и все-таки, когда я смотрю на небо, я думаю, что все обернется к лучшему, что и этой жестокости должен прийти конец...» Потому что «твердо верю, что человек добр».

Да, человек добр... Но фашистское зверье растерзало Анну, и надеждам ее не суждено было осуществиться. Особенный трагизм «Дневнику» и придает то, что с первых же страниц читатель заранее об этом знает. Ни журналисткой, ни писательницей, ни даже любящей женой и матерью — а Анна мечтала и об этом — не удалось ей стать.

Остался лишь «Дневник Анны Франк». А от физического ее облика — доверчиво улыбающееся тонкое лицо на фотокарточке...

Но так ли это? Нет! Стремление одаренной девочки оставить след в жизни, не пройти в ней «незаметно» сбылось!

Посмертно голос Анны зазвучал с удивительной силой. И стал этот юный голос не стоном побежденного, а голосом неподвластной смерти человечности. Голосом разума и добра, торжествующим над бронированным фашистским зверьем, голосом победителя.

Валерия ГЕРАСИМОВА.

★

Политика и наука

ЛЕНИН И СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

И. С. Смирнов. Ленин и советская культура. Государственная деятельность В. И. Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г. — лето 1918 г.). Редактор Е. Б. Зомбе. Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 448 стр.

Книга И. С. Смирнова посвящена наименее исследованной отрасли многогранной государственной деятельности Ленина — руководству культурным строительством в первые месяцы Советской власти. Автор привлек около четырехсот впервые

публикуемых документов, которые дополняют множеством новых штрихов сложившиеся представления о государственном гении нашего бессмертного учителя. Особенно интересен составленный по протоколам заседаний Совнаркома за октябрь 1917—

август 1918 года перечень вопросов культурного строительства, рассмотренных под председательством и, следовательно, при живейшем участии Владимира Ильича. За десять месяцев СНК почти сто семьдесят раз обращался к самым разнообразным отраслям молодой советской культуры — просвещению, печати, политической агитации, науке, искусству, здравоохранению. Около пятидесяти решений связано с газетным, издательским и библиотечно-архивным делом. Глава Советского правительства уделял пристальное внимание финансированию печати, ее полиграфической базе, снабжению бумагой и постановке телеграфной информации.

Уже 15 ноября 1917 года Совнарком заслушал доклад В. Д. Бонч-Бруевича о ввозе бумаги из Финляндии; 11 декабря рассматривался декрет об объединении всех государственных печатных предприятий. 24 мая 1918 года обсуждался проект распоряжения о доставке всех изданий в государственные книгохранилища. Решение это, которое сберегло для истории книги первых лет Октябрьской революции, принято в дни, когда максималисты и «левые» эсеры подняли мятеж в Самаре; в Саратове восстали против Советской власти правые эсеры, а в Челябинске — подкупленные Антантой контрреволюционные чехословацкие офицеры. 30 июля — в не менее грозные часы, за сутки до начала английской интервенции на Севере, — в повестке дня СНК был проект декрета о библиотечном справочном бюро... Перечень имеет не только специальное научное, но и широкое историческое значение. Он воочию показывает ленинскую прозорливость, выдержку, стойкость, уверенность в победе Советской власти.

Для ленинского государственного руководства особенно типично сочетание, если можно так выразиться, телескопического и микроскопического масштабов: широчайших теоретических обобщений — с вниманием к мельчайшим деталям практики. Множество писем, записок, телеграмм, устных указаний Ленина запечатлело именно эти стороны его деятельности. Однако многие ленинские распоряжения известны только по письмам его ближайших сотрудников различным советским организациям. И. С. Смирнов собрал немало подобных документов, обогащающих представление о характере работы Владимира

Ильича. Некоторые из них показывают, что он следил не только за содержанием, но и за техническим оформлением советской печати.

Восьмого июля 1918 года, два дня спустя после разгрома «лево»-эсеровских мятежников в Москве, в пору белогвардейских восстаний в Ярославле, Рыбинске и Муроме, в день, когда англо-французские интервенты захватили Кемь и северную часть Мурманской железной дороги, редактор «Известий» Ю. М. Стеклов получил из Управления делами Совнаркома письмо, резко критиковавшее качество печати газеты. В письме сообщалось: «Председатель Совета Народных Комиссаров получил прилагаемое при сем письмо рабочего Склифусовского. Такие же жалобы к нам поступают постоянно со всех сторон. Председатель Совнаркома распорядился просить Вас оказать самое решительное воздействие на технический аппарат газеты, чтобы улучшить печатание ее... И. Д. Сытин, у которого, кажется, наладились отношения с техническим комитетом «Известий», говорил, что все дело в рабочих при стереотипных станках и что, по его мнению, необходимо было бы взять лучших техников, а тогда можно было бы печатать газету столь же технически хорошо, как и ранее, когда печаталось «Русское слово».

Да, для Председателя Совнаркома не было «мелочей» ни в одном деле, связанном с интересами трудящихся. Приведенный документ демонстрирует и еще одну ленинскую традицию — действительное внимание к сигналам трудящихся.

Нередко Ленин становился инициатором издания политических брошюр. В архиве Совнаркома сохранились впервые публикуемые в книге записки двух участников заседания правительства, состоявшегося 20 июня 1918 года. Один из них — народный комиссар по продовольствию А. Д. Цюрупа — писал: «Ильич сегодня хуже чем обругал меня за то, что у нас нет никакой литературы по борьбе с голодом...» Получивший записку (кто он — не установлено), ответил: «Ильич более чем прав, и я предлагаю назначить следственную комиссию над Свидерским» (отвечавшим в то время за агитационную деятельность Наркомпрода).

Двадцать девятого августа 1918 года — накануне злодейского эсеровского покушения — Ленин поднял в Совете Народных

Комиссаров важнейший вопрос об отчетах о деятельности наркоматов начиная с 25 октября (7 ноября) 1917 года. По его предложению Совнарком поручил всем наркомам подготовить за неделю «краткий, от 2 до 5 печатных страниц, отчет о своей деятельности», причем отчеты эти «должны быть составлены наиболее популярно», с приведением фактов, характеризующих «роль рабочих организаций и представителей пролетариата в управлении». Опубликованный в книге текст этого постановления имеет огромное значение и в наши дни все большего расширения советской демократии, энергичного распространения ее общественных форм.

Актуальны и ленинские требования наибольшей популярности агитации, ее сжатости, фактической насыщенности. В письме Ленина наркомам, подробнее конкретизирующем постановление СНК, подчеркивалось, что главной задачей задуманных отчетов было «показать конкретно, фактами, как и именно сделала Советская власть определенные шаги (первые) к социализму». Сегодня, когда советское общество делает первые шаги уже не к социализму, а к коммунизму, эти ленинские указания по-прежнему глубоко поучительны.

Весной 1918 года, выдвигая план монументальной пропаганды, делающей искусство достоянием всего народа, Ленин одновременно предостерегал от какого бы то ни было расточительства, от стремлений создавать произведения из гранита, мрамора или применять золотые буквы для надписей.

За минувшие десятилетия Советское государство стало неизмеримо богаче, но ленинские предостережения против излишеств в расходовании народных средств несколько не устарели.

Документы, представленные в книге, показывают, что Ленин входил решительно во все стороны монументальной пропаганды, рассматривал тексты надписей на памятных досках, проекты скульптурных работ. Резко критиковал он Наркомпрос за недостаточную оперативность, неоднократно проверял, как выполняются распоряжения. 22 августа 1918 года Комиссия Совнаркома составила на вид А. В. Луначарскому, что, вопреки решению об «украшении улиц и площадей цитатами и надписями, ни одной улицы, ни одного здания вышеназванными

цитатами не украшено». Комиссия Совнаркома предложила «снять безобразных истуканов, деятелей старого режима и реакции...».

Ленинские идеи положили начало коренному перелому во взаимоотношениях деятелей искусства с государством. «Не по совету буржуазных филантропов и меценатов,— пишет И. Смирнов,— не по заказу царского двора, дворянской знати и буржуазных покровителей искусств стали творить скульпторы Советской России. Их призывал к творчеству вождь партии большевиков, глава Советского правительства, теоретик марксизма, великий революционер... Своим планом монументальной пропаганды В. И. Ленин ставил перед искусством задачу прямого служения трудящимся...»

Воздавая должное этому ценному труду, я хотел бы вместе с тем высказать и несколько критических замечаний, которые, быть может, окажутся бесполезными для будущих изысканий исследователя.

В предисловии к книге И. С. Смирнов заявляет, что он «стремился провести исследование, привлекая фактический материал и источники, как правило, в исчерпывающем объеме». Однако подобное стремление объять необъятное неосуществимо в одном, даже самом обширном и фундаментальном труде. Естественно поэтому, что из прокламированного автором намерения сделано немало исключений. За пределами исследования остались народное здравоохранение, многие отрасли искусства.

Не привел автор и ряда наглядных примеров ленинской национальной политики в области культуры. Почему, скажем, даже не упомянуты такие выразительные документы, как подписанные Лениным в 1917—1918 годах мандаты представителям национальной интеллигенции Казахстана, Северного Кавказа и Татарии — Алибею Джангильдину, Магомету Яндарову и Мулла Нуру Вахитову? А ведь документы эти, опубликованные в связи с сорокалетием Октябрьской революции, содержат указания Советского правительства о защите интересов «трудящихся масс киргиз», о закреплении в Терской области «за русскими крестьянами, Чеченцами, Осетинами, Ингушами, Кабардинцами, Кумыками, Ногайцами и пр. их неотъемлемых прав на устройство своей национальной жизни».

Не оказалось ссылок на эти и многие другие документы и в первом разделе весьма обширной библиографии, охватывающем произведения, письма и документы Ленина за избранный автором исторический период.

И. Смирнов отмечает, что изучение всех трудов Ленина тех дней «позволило привлечь к исследованию более ста пятидесяти ленинских работ». Однако на самом деле к теме «Ленин и советская культура» даже за сравнительно краткий исторический период относится еще немало материалов, не включенных в библиографический свод. На три из них мы уже ссылались. Целесообразно хотя бы кратко указать и на другие ленинские произведения, которые автор, столь тщательно изучивший архивные фонды, не привлек из общедоступных источников.

Свод открывают ссылки на ленинское обращение «К гражданам России!» и доклад о задачах власти Советов. Но почему же за пределами библиографии осталось другое обращение, адресованное «Рабочим, солдатам и крестьянам!» и провозгласившее, в числе других принципов Советской власти, «подлинное право на самоопределение» для всех наций России — одно из основных условий культурного строительства в нашей многонациональной стране.

В библиографии далее упомянут ленинский доклад о земле, но опущены при этом важные высказывания Владимира Ильича на Чрезвычайном Всероссийском съезде крестьянских депутатов, связанные со всем кругом его идей о советском культурном строительстве. Ведь именно здесь Ленин разъяснял, что Коммунистическая партия — «это авангард класса, и задача ее вовсе не в том, чтобы отражать среднее состояние массы, а в том, чтобы вести массу за собой».

«Радиограмму всем, всем» от 22 января 1918 года автор вносит в библиографию, а написанный накануне аналогичный документ, сообщающий, что главнокомандующим войсками Украинской республики «назначен большевик Коцюбинский» — сын великого украинского писателя, — не включает. То же произошло с группой ленинских документов по украинскому вопросу — известным «Манифестом», гарантировавшим «без ограничений и безусловно» национальные права и национальную незави-

симость украинцев, резолюцией СНК о переговорах с Радой, постановлением о ее ответе.

Неполно представлены в книге и материалы Ленинских сборников. Среди документов 1917 года в библиографии не оказалось опубликованных в XXI сборнике интереснейших «Заметок об организации аппарата управления», в которых Ленин писал о создании правительственного офицера — «Вестника рабочего и крестьянского правительства», а Н. К. Крупскую предлагал выдвинуть на пост «товарища министра (при Луначарском)». В этом же источнике автор не зафиксировал записки Н. П. Горбунову (о публикации в печати декретов) и Ю. Ларину (о художественном оформлении советских денег — тема, которая рассматривается в шестой главе). Отсутствует в библиографии и опубликованное там же, написанное Лениным постановление Совнаркома от 24 мая 1918 года, определявшее задачи «популярной агитации и пропаганды о важности беречь топливо», в то время как тема агитации посвящен обширный раздел главы третьей. Не отмечена и группа документов, связанных с мобилизацией петроградских рабочих для агитационной работы на Урале, опубликованных в XXXIV сборнике. В сборнике XXXV И. Смирнов не зарегистрировал радиограмму советскому посольству в Берлине, сообщавшую 29 июня 1918 года о национализации предприятий художественной промышленности, — «керамикового, майоликового и терракотового производства».

По самым предварительным подсчетам, в этот раздел библиографии не включено около ста ленинских документов, так или иначе тематически связанных с теми или иными из шести глав книги. Однако еще больше возражений вызывает ряд наличных библиографических ссылок.

И. Смирнов подчас слишком ограничительно толкует ленинский текст, отмечая только те части, которые, по его мнению, «имеют непосредственное отношение к исследуемой теме». Но почему же тогда автор ссылается лишь на две первые страницы статьи «К истории вопроса о несчастном мире», игнорируя как послесловие к ней, так и шесть страниц основного текста. Напомним, что в данном случае Ленин формулирует задачи большевистской агитации в борьбе «с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания «защиты отече-

ства» в эпоху империализма», пишет о весьма немаловажных для культурного строительства потребностях человека «в стремлении к красивому, эффектному и яркому».

Упомянув ответ Ленина на записки делегатов Чрезвычайного Всероссийского железнодорожного съезда, автор опять-таки отмечает только две первые страницы. Но ведь далее — в полном соответствии с темой второй главы книги, посвященной послеоктябрьской печати, — речь идет об антисоветской позиции, которую заняли тогда «сторонники «Новой Жизни» и другие якобы социалистические органы», о том, как к Ленину «явился писатель по должности, Финн-Енотаевский» — один из вдохновителей саботажа Советской власти буржуазной интеллигенцией. То же произошло и со ссылками на доклад о пересмотре программы и изменении названия партии, охватывающими лишь пять страниц из тринадцати, а не те, на которых Ленин говорит о «зигзагах, изломах» истории и призывает большевиков «не затеряться» в этих изломах, разъясняет в связи с редактированием программы партии, как важно за нее «застесовать со спокойствием, необходимым для редакторской работы»...

И. Смирнов напрасно нарушил одно из главных требований к научной библиографии, предполагающее — в отличие от библиографии рекомендательной — ее максимальную полноту.

Каждый исследователь волен так или иначе ограничивать привлекаемый им материал. И. Смирнов не сослался в своей книге на ряд упомянутых нами ленинских документов, как и на многие другие, вполне этого заслуживающие. Но тогда, однако, не следовало бы объявлять своим правилом исчерпывающее освещение материала, как бы исключая тем самым новые, вполне возможные и даже настоятельно необходимые разработки избранной темы.

Вместе с тем автор обогатил литературу предмета множеством новых фактов и документов. Он высказал немало интересных, оригинальных мыслей, опроверг — убедительно и неоспоримо — много ошибочных утверждений и предположений. И хотя библиографический аппарат книги не безупречен, а некоторые важные факты и проблемы не получили должного отражения, содержательный, фундаментальный труд И. С. Смирнова по праву следует расценивать как пример исследовательского мастерства.

Б. ЯКОВЛЕВ.



РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Д. Г. Жимерин. Развитие энергетики СССР. Редактор Ю. Н. Флаксерман. Госэнергоиздат. М.—Л. 1960. 326 стр.

В 1920 году одной из строящихся электростанций потребовались котлы. Промышленность тогда их не производила, за границей заказать не удалось. В. И. Ленин дал указание снять котлы с миноносца, стоявшего на Неве. И это в грозном 1920 году!

Прошло сорок лет. За короткий исторический срок электроэнергетика нашей страны достигла больших высот. Теперь ежегодно вводится в действие в четыре с лишним раза больше электрических мощностей, чем намечалось на десять лет по плану ГОЭЛРО. С восемнадцатого места, которое занимала Советская страна в мировой таблице выработки электричества в 1920 году, мы перешли на второе место.

О том, как на протяжении сорока лет наращивала страна энергетические силы, рассказывается в книге Д. Г. Жимерина «Развитие энергетики СССР». Языком фактов

и цифр повествует она, как советский народ осуществлял и осуществляет гениальные ленинские идеи электрификации всей страны.

В начале книги автор знакомит с величественным семилетним планом развития энергетики СССР. К 1965 году производственный уровень, достигнутый в 1958 году и определяемый в двести тридцать пять миллиардов киловатт-часов, возрастет более чем в два раза. За семь лет мы должны пройти путь значительно более того, который прошла отечественная электроэнергетика за три четверти века своего существования, — таковы «шаги саженьи» нашего движения вперед. Приведу еще одно сравнение: за семь лет мы должны ввести почти столько же электрических мощностей, сколько ввели Англия, Франция, Западная Германия за всю свою историю. XXI съезд КПСС с полным

основанием мог указать, что Советский Союз вступает в решающую стадию осуществления сплошной электрификации страны.

Некоторые буржуазные экономисты, вроде американца Джона П. Хардта, селятся доказать, что развитие советской промышленности не будет идти по намеченному плану, так как она не получит необходимой электрической энергии. Д. Жимерин убедительно показывает всю несостоятельность подобных уверений.

Об этом же по существу говорит заявление делегации американских сенаторов после поездки по Советскому Союзу: «Мы не можем позволить себе беспечно относиться к русской программе производства гидроэлектроэнергии и возможному влиянию этой программы на международные дела. Недооценка ее масштабов и значения могла бы оказаться такой же опасной, как и беспечное отношение к прогрессу русских в области создания управляемых снарядов и ракет».

Видный американский энергетик К. Эллис, также посетивший энергетические стройки в СССР, вынужден был признать «фантастические достижения» Советской страны в области развития гидроэнергетики.

Семилетний план, указывает автор, предусматривает сооружение новых и новых сверхмощных тепловых электростанций, а также гидроэлектростанций, превосходящих по установленной мощности все существующие в мире.

В ряде глав читатель найдет много новых фактов и данных. Подробнее, чем в других книгах, показана наша энергетика в период Великой Отечественной войны, и особенно работы по восстановлению тепловых и гидравлических электростанций, разрушенных врагом. Следует отметить, что наша электроэнергетика вышла на второе место в мире именно в послевоенное время, несмотря на потерю во время войны около пяти миллионов киловатт мощностей. Восстановление Днепрогэса и Нижне-Свирской ГЭС, пуск тепловых станций в освобожденных от оккупации районах — много замечательных страниц из истории нашей энергетике украсил автор книги.

Самым интересным и существенным является анализ современного состояния нашей энергетике и перспективы ее развития. Чтобы выиграть время в соревновании с капитализмом, надо быстрее наращивать энергетические силы и форсировать в пер-

вую очередь создание мощных тепловых электростанций. Уже в 1961 году начнется сооружение первых станций-гигантов мощностью в два миллиона четыреста тысяч киловатт каждая — равных им нет в мире.

Подробно рассмотрев пути развития тепловой энергетики, автор характеризует и развитие гидроэнергетических сил страны. Реки Советского Союза обладают потенциальными запасами гидравлической энергии, намного превосходящими возможности американских рек. Однако к настоящему времени мы использовали только три процента этих несметных запасов.

Наряду со строительством последних звеньев Волжского и Днепровского каскадов нам предстоит освоить огромные гидроэнергетические сокровища Сибири и, в частности, поднять «энергетическую целину» Лены, которая занимает среди наших рек особое положение. На этой могучей, многоводной реке возможно сооружение крупнейших гидроузлов мира — Средне-Ленского и Нижне-Ленского — с суммарной мощностью в двадцать миллионов киловатт; это восемь таких станций, как Сталинградская, являющаяся сейчас самой мощной на земном шаре. Но как возводить гидроузлы в условиях вечной мерзлоты? Первый опыт такого строительства уже осуществляется на реках Мамакан и Виллой. Мамаканская ГЭС даст ток золотым приискам и слюдяным шахтам уже в нынешнем году. По стопам строителей мамаканской и виллойской плотин пойдут и создатели сверхмощных гидроузлов на Лене.

В книге показаны успехи советской промышленности, освоившей производство самых совершенных паровых турбин и гидроагрегатов. Наши тепловые станции уже получают турбины на сто пятьдесят тысяч и двести тысяч киловатт. Ведется проектирование машин на восемьсот тысяч и миллион киловатт. Это значит, что в ближайшие годы будет создана турбина, по мощности почти равная всем электростанциям дореволюционной России.

Значительные достижения имеются и в создании крупных и экономичных гидравлических турбин. Они показали свои высокие эксплуатационные качества на десятках равнинных и горных рек — Волге и Днепре, Каме и Дону, Днестре и Раздане, Ангаре и Оби, Куре и Сыр-Дарье, Немане и Иртыше... На Днепрогэсе работают сейчас рядом в одинаковых условиях советские

агрегаты и заказанные после войны для восстановления Днепрогэса американские турбины. И что же? Советские агрегаты показали свое превосходство над американскими — они развивают большую мощность и обладают более высоким коэффициентом полезного действия.

У Жигулей и у Сталинграда Волга вращает сорок одну турбину мощностью по пятнадцать тысяч киловатт каждая. А для Братской ГЭС создаются уникальные агрегаты в двести двадцать пять тысяч киловатт, которые Ангара приведет в движение уже в нынешнем году. Не предел и это: для Красноярской ГЭС, сооружаемой на Енисее, будут изготовлены гидравлические турбины невиданной мощности — пятьсот тысяч киловатт.

Автор не ограничивается областью производства электричества, но и самым тщательным образом анализирует проблемы, связанные с передачей тока на дальние и сверхдальние расстояния. Для нашей страны с ее огромными пространствами это имеет первостепенное значение. Американская газета «Стар» вынуждена была признать, что «электроэнергия передается в Советском Союзе на значительно большие расстояния, чем в Соединенных Штатах... Уже сейчас русские передают электроэнергию больше чем на шестьсот миль. Наши самые длинные линии передачи не превышают трехсот миль. Русские передают электроэнергию более высоких напряжений, чем в Соединенных Штатах».

Еще четыре года назад вошла в строй линия электропередачи, связавшая Волжскую ГЭС имени Ленина с Москвой и обладающая рекордным напряжением — четыреста тысяч вольт. Затем начали действовать высоковольтные трассы Волжская ГЭС — Урал и Сталинград — Москва напряжением в пятьсот тысяч вольт.

Но и на полумиллионе вольт советская электротехника не остановилась. Уже приступлено к сооружению линии электропередачи постоянного тока Сталинград — Донбасс с напряжением в восемьсот тысяч вольт. По трассе в обоих направлениях будет ежегодно передаваться в два раза больше электроэнергии, чем производила вся до-революционная Россия.

В настоящее время советские ученые изучают вопрос о передаче постоянного тока на расстояние до двух с половиной тысяч ки-

лометров. Такие трассы потребуются для того, чтобы осуществить смелую и грандиозную инженерную идею — Единую энергетическую систему страны, которая объединит сотни электростанций, работающих на угле, мазуте, торфе, газе, нефти, силе падающей воды, энергии расщепленного атома. Сейчас создаются единые системы Европейской части СССР и Центральной Сибири.

Как же планируется дальнейший рост энергетических сил нашей страны после семилетки? В 1970 году намечается производство 900 миллиардов киловатт-часов, в 1975 году — до 1 500 миллиардов киловатт-часов, в 1980 году — до 2 300 миллиардов киловатт-часов. Такой темп выработки электричества позволит нам до 1975 года перегнать Соединенные Штаты как по общей выработке электроэнергии, так и по ее потреблению на душу населения.

Огромный путь пройден за четыре десятилетия советской электроэнергетики, но и сейчас проблема электрификации всей страны остается для нас важнейшей задачей «Проблемы электрификации, строительства мощных энергетических систем, проблемы создания материально-технической базы коммунизма, — подчеркивает Никита Сергеевич Хрущев, — должны быть главными в программе нашей партии... Перспективный план электрификации всей страны — не фантазия, а действительность, имеющая под собой реальное основание в виде могучей социалистической экономики».

Книга Д. Жимерина еще больше выиграла бы, если бы автор обстоятельнее показал, как используется электрическая энергия в современной промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Подробнее следовало бы рассказать и о крупнейших тепловых и гидравлических электростанциях, к сооружению которых сейчас приступает наша страна (Конаковская тепловая станция в Калининской области, Криворожская ГРЭС на юге, Нурекская ГЭС на реке Вахш и другие).

«Развитие энергетики в СССР» — содержательный труд, который показывает нам вчерашний день советской электроэнергетики, подробно характеризует ее современный этап и позволяет увидеть великолепные перспективы полного осуществления ленинской идеи электрификации всей страны.

Инженер Л. ГОРДИЕНКО.

ОБ ИСТОРИИ АГРОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Ф. С. Крохалев. О системах земледелия. Исторический очерк. Редактор С. М. Фрейдман. Сельхозгиз. М. 1960. 432 стр.

Эволюция русской агрономической науки давно уже ждет своего исследователя. Как ни странно, тема эта в нашей литературе почему-то была обойдена. В самой большой стране мира с ее необъятными пахотными землями до сих пор не было серьезного исследования истории развития агрономической и экономической мысли в области систем земледелия.

Вышедшая в свет книга профессора Ф. Крохалева убеждает, что систематизация и критический анализ идей подчас далекого прошлого вплотную подводят нас к потребностям настоящего — к практическим задачам социалистического строительства.

Что такое система земледелия? Ответ на этот вопрос очень важен для правильного понимания существа проблемы, которую рассматривает автор книги. Если бы систему земледелия ограничительно трактовать только как комплекс приемов чисто агрономического порядка, то ее легко можно было бы свести к правилам севооборота, к порядку чередования культур. В действительности же система земледелия — это синтез агрономических и экономических мероприятий, направленных на подъем плодородия почвы и повышение общего уровня сельскохозяйственного производства и производительности труда. «Система земледелия как элемент системы ведения сельского хозяйства, — пишет Ф. Крохалев, — является в то же время элементом производительных сил в сельском хозяйстве, но элементом, зависимым от природных и экономических условий, от специализации хозяйства, от уровня развития и степени практического применения науки и техники, которые, в свою очередь, зависят от характера производственных отношений между людьми».

Таким образом, система земледелия не является раз и навсегда данной, неизменной.

История развития сельского хозяйства нашей страны насчитывает ряд систем земледелия: подсечно-огневую, залежно-переложную, паровую, улучшенную паровую-зерновую, плодосменную и травопольную. Их совершенствование, переход от одной системы к другой, обычно являлось важным этапом на пути развития сельского хозяйства и порою становилось предпосылкой резкого повышения производительности тру-

да. Академик С. Г. Струмилин подсчитал, что при подсечно-огневой системе земледелия с применением сохи и конной тяги на возделывание и уборку одной десятины затрачивалось восемьдесят восемь человеко-дней. С переходом к паровой системе земледелия затраты труда уменьшились в три раза.

Во вступлении к книге автор справедливо указывает, что разработка систем ведения сельского хозяйства для различных природно-экономических зон Советского Союза и их внедрение в колхозах и совхозах являются в настоящее время одной из важнейших задач сельскохозяйственной науки и практики. В решении этой задачи поможет знание истории земледелия в нашей стране.

Учение о системах земледелия зародилось в России во второй половине XVIII века. По мере развития капитализма оно во второй половине XIX века переросло в учение о системах сельского хозяйства. Автор прослеживает шаг за шагом развитие молодой науки, начиная с воззрений ее основоположников — А. Т. Болотова, И. М. Комова, В. А. Левшина, Д. М. Полторацкого и И. И. Самарина — и кончая трудами ученых советского периода — К. А. Тимирязева, В. Р. Вильямса и Д. Н. Прянишникова. Книгу заключает глава «Системы земледелия и социалистическое сельское хозяйство», в которой эта проблема трактуется применительно к условиям коммунистического строительства.

Автор подвергает критическому разбору работы свыше тридцати русских ученых-агрономов и аграрников-экономистов. Системы земледелия, предложенные наиболее видными из них, анализируются весьма обстоятельно. Особенно ценно то, что история развития идей неразрывно связывается в книге с социально-экономическими условиями, при которых они возникали. При этом Ф. Крохалев вносит некоторые существенные поправки в историю вопроса.

В русской буржуазной сельскохозяйственной литературе долгое время господствовало мнение, будто основоположником, чуть ли не отцом сельскохозяйственной науки в нашей стране был немецкий ученый А. Тэер — автор известного труда «Основания рационального сельского хозяйства»,

Путем простого сопоставления некоторых исторических дат и фактов Ф. Крохалев показал, что эти утверждения лишены основания. Труд Тэера впервые появился в Германии в 1809 году, то есть много лет спустя после выхода в свет очень важных работ русских ученых — агрономов и экономистов А. Т. Болотова и И. М. Ксмова.

Более того, автор показывает, что некоторые работы Болотова печатались в Германии задолго до появления труда Тэера. В 1794 году Болотов был избран почетным членом королевско-саксонского Лейпцигского экономического общества. Это явилось публичным признанием достижений русской научной мысли.

Конечно, среди русских дворян и вельмож были люди, которые пытались копировать системы земледелия с немецких или английских образцов. Но они не оказали заметного влияния ни на теорию, ни на практику русского земледелия.

Ф. Крохалев приводит ряд интересных примеров положительного воздействия русской сельскохозяйственной науки на передовую науку Запада. В частности, это относится к учению известного немецкого химика Ю. Либиха.

Русская аграрная мысль отнюдь не была в рабском подчинении у иностранной, а шла своим собственным путем, развиваясь на собственном опыте.

Автор знакомит своего читателя с замечательной плеядой русских деятелей в области сельского хозяйства, отмечая не только их несомненные достижения, но и тщательно анализируя сказывающиеся в их работах недостатки теоретических обоснований.

Любопытные сопоставления делает Ф. Крохалев, сравнивая положение в сельском хозяйстве при феодализме и капитализме. Системы русского земледелия при феодализме представляли собой совокупность агротехнических мероприятий, обеспечивавших в лучшем случае восстановление и поддержание плодородия почвы на прежнем низком уровне, то есть простое воспроизводство.

С развитием капитализма системы земледелия стали складываться на более совершенных агротехнических основах, что привело к значительному росту производства хлебов. Однако единственным критерием совершенствования систем земледелия стала в ту пору погоня за прибылью. А это при экстенсивных формах хозяйства зача-

стую приводило не только к усилению эксплуатации крестьянства, но и к ускоренному процессу расхищения почвы. В итоге к концу XIX и в начале XX века в России все чаще наблюдались опустошающие засухи, от которых в первую очередь жестоко страдали широкие массы крестьянства. За короткое время — с 1891 по 1911 год — было двенадцать неурожайных лет. «С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой», — писал В. И. Ленин в статье «Признаки банкротства».

В дореволюционной России применялись паровая-зерновая, переложная, улучшенная паровая-зерновая, выгонная или многопольно-травяная, плодосменная системы земледелия. «Ни об одной из этих систем, — пишет Ф. Крохалев, — нельзя сказать, кем она создана. Все они появились стихийно. Ученые только открывали их и описывали, усовершенствовали или видоизменяли в зависимости от условий места и времени». Понятно, возможности ученых были чрезвычайно ограничены социально-экономическими условиями.

Сейчас, когда мы строим коммунистическое общество, роль ученых коренным образом изменилась. Их обоснованные научные выводы все более становятся руководством к действию, что в условиях планового хозяйства дает крупнейший эффект.

Коллективизация сельского хозяйства в нашей стране, оснащенность техникой открыли простор для его подъема. Эти возможности значительно возросли в последние годы в результате огромной работы, проведенной нашей партией и всем советским народом за период после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года.

Передовые русские ученые оставили после себя богатое научное наследие, которое помогает двинуть сельское хозяйство вперед быстрыми темпами. В особенности это относится к трудам В. В. Докучаева, П. А. Костычева и К. А. Тимирязева. Их последователи Д. Н. Прянишников и В. Р. Вильямс аккумулировали все, что было ценного в науке. Они разработали обоснованные рекомендации, позволяющие во многих районах внедрить в крупном социалистическом сельском хозяйстве наиболее эффективные системы земледелия. Если создать в колхозах и совхозах системы земледелия с полным учетом местных природно-экономиче-

ских условий, они могут стать в ближайшие годы мощным рычагом дальнейшего подъема производительных сил сельского хозяйства.

Характеризуя достоинства и недостатки отдельных систем земледелия применительно к условиям социалистического сельского хозяйства, автор попутно отмечает некоторые ошибочные положения в воззрениях Вильямса, полагавшего, что его система может получить повсеместное применение. В книге даны некоторые рекомендации по подъему культуры земледелия в отдельных зонах Российской Федерации.

Системы земледелия составляют основу социалистического полеводства, а полеводство является базой всего сельскохозяй-

ственного производства. Поэтому вполне прав профессор Ф. Крохалев, когда он пишет, что «планомерное развитие социалистического сельского хозяйства в интересах полного удовлетворения растущих потребностей народа немислимо без применения все более совершенных и экономически эффективных систем земледелия».

Актуальное значение книги Ф. Крохалева несомненно, особенно сейчас, когда многомиллионная армия работников сельского хозяйства прилагает все силы, чтобы с честью выполнить решения январского Пленума ЦК КПСС, направленные на дальнейший подъем сельского хозяйства и рост благосостояния советского народа.

А. ХАНЬКОВСКИЙ.

★

ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА

Н. А. Гвоздецкий. В Индии. Впечатления географа. Редактор С. Я. Проходцева. Географгиз. М. 1960. 184 стр.

В последние годы много советских туристов побывало в различных странах мира. Появилось и много путевых очерков. Конечно, туристская поездка коротка, и нередко интересные факты ускользают от внимания авторов. Еще Вольтер заметил, что «путешественник обыкновенно крайне недостаточно знает страну, в которой находится. Он видит лишь фасад здания. Почти все, что внутри, ему неизвестно». Это правда. Любопытствующий иностранец видит то, что ему показывают: хорошие улицы, театры, дворцы, музеи, парки, большие магазины. Поэтому не случайно некоторые путевые очерки грешат неумеренно восторженными характеристиками, а также поверхностным описанием особенностей страны и жизни народа.

Познакомьтесь с некоторыми книгами о путешествиях по Китаю. Можно подумать, что самое главное, самое отличительное, на что обязательно следует обратить внимание,— это традиционная китайская кухня и классический театр. Слов нет, они не похожи на наши, но нужно ли посвящать китайскому праздничному меню десятки страниц текста? Авторы, пишущих об Индии, часто больше всего привлекает архитектура древних памятников, дрессировщики змей, фруктовые базары.

Известный Китаист академик В. М. Алексеев писал: «Путешествие — это книга.

Умеет ее читать только тот, кто умеет читать между строк наблюдаемую жизнь. Тот же, кто ищет оригинального, экзотики, настроен «поэтически», неминуемо впадет в ошибку, ибо в нормальных условиях жизни ищет ненормального».

Как же следует после краткого путешествия по стране рассказать о ее населении, культуре и в то же время избежать поверхностности, сделать очерк глубоким, содержательным? Ведь нужны годы тесного общения с народом, чтобы по-настоящему узнать его жизнь, его душу, горести и радости, традиции и идеалы. К сожалению, авторов, пишущих на основании многолетнего изучения страны, не так уж много. Особенно редки произведения, написанные в художественной, или, как теперь говорят, в «научно-художественной» форме.

Выход из этого положения, может быть, нужно искать в профессиональном подходе автора к путевому очерку. Специалист, оказавшись в чужом государстве, сравнительно легко и быстро сможет разобраться в близких ему вопросах, хотя они имеют много специфичного в каждой стране, и доходчиво рассказать об этой специфике. Ведь и писатели, работающие в жанре очерка, чьи имена пользуются заслуженным уважением, обычно специализируются в какой-нибудь области. Один пишет о сель-

ском хозяйстве, другой — о достижениях химии и физики, третий — о биологии. С географической тематикой прочно связал свое творчество Н. Н. Михайлов, чьи работы отмечены и литературным мастерством, и научной познавательностью, и новизной.

Но кто бы ни был автором путевых заметок — литератор или деятель науки, — он должен уметь передать читателям какие-то свои ощущения и впечатления, всегда неповторимые и индивидуальные.

За последние годы опубликовано несколько книг и очерков, посвященных путешествиям по Индии. М. С. Дунин, специалист в области сельского хозяйства, в своей книге «По Афганистану, Пакистану, Индии» (Географгиз, М., 1954) рассказал о земледельческой Индии и агрономической науке в стране. Эта работа вызвала живой отклик в советской прессе.

Недавно вышла в свет книга профессора МГУ географа Н. А. Гвоздецкого. «В предлагаемой вниманию читателя книге, — пишет автор, — за редкими исключениями, говорится только о том, что видел автор во время своей поездки в Индию зимой 1957—58 гг. ... Будучи физико-географом, автор старался как можно больше уделять внимания природным особенностям страны. Между тем в большинстве путевых очерков об Индии о природе говорится слишком мало, описываются отдельные диковинки, представления о ландшафтах, даже самого поверхностного, обычно совсем не дается».

Н. Гвоздецкий построил свою книгу в классической манере записок путешественника — по маршруту (можно сказать — от Москвы и до Москвы). Вряд ли такая система наилучшая, хотя она довольно распространена. Мне кажется, что она не дает больших возможностей автору, связывая его линией дороги.

Н. Гвоздецкий рассказывает о Гималаях, Деканском плоскогорье, Дели и о других городах и районах Индии. Книга обогащает читателя. На протяжении всего повествования ощущаешь отношение автора как специалиста-географа ко всему, что он видел. Точно рассказано о богатой и разно-

образной растительности Индии, ее величественных ботанических садах. Автору не чужд интерес к архитектуре, национальному искусству, обычаям, хозяйству страны, ее богатой событиями истории.

Культура Индии, как и Китая, поразительна. Из всех классических цивилизаций только две — индийская и китайская — не знали катастроф и дошли до нас, сохранив многие черты глубокой старины. Другие древние цивилизации либо совсем исчезли с лица земли, либо оставили редкие памятники, а языки их создателей стали мертвыми.

Автор с симпатией пишет о народах Индии и замечает ростки нового в развитии промышленности, в строительстве ирригационных сооружений, в облике городов.

Основа книги Н. Гвоздецкого — это освещение неповторимой природы Индии и истории происхождения ее современных ландшафтов, которые уже давно и глубоко окультурены благодаря упорному труду человека. Практически в Индии не осталось (за исключением внутренних частей Гималаев) естественных условий, так сильно изменились они за исторический период. Географические наблюдения автор изложил, опираясь на свои профессиональные знания, и в то же время достаточно популярно. В этом — хорошая особенность книги.

Жаль, что кое-где чувство меры изменяет Н. Гвоздецкому, — текст перегружен специальными сведениями. Это заметно, например, при характеристике рельефа и геологического строения. Много ли скажет неискушенному читателю такой абзац: «Зная о молодом (неогеновом) возрасте здешних пород и наблюдая в них интенсивную складчатость, можно, таким образом, воочию убедиться в большой молодости складчатых структур и рельефа Сиваликской зоны».

Недостатком записок Н. Гвоздецкого является некоторая сухость изложения.

Полноценная в научном отношении книга Н. Гвоздецкого несомненно выиграла бы, будь авторский рассказ более эмоциональным.

Э. МУРЗАЕВ,

доктор географических наук.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРИШЛА В ДВИЖЕНИЕ

Б. И. Гвоздарев. Организация американских государств. Под редакцией
С. А. Гонимонского. Издательство Института международных отношений. М. 1960. 324 стр.

Монография молодого советского исследователя Б. И. Гвоздарева посвящена большому и важному вопросу — отношениям между США и двадцатью латиноамериканскими республиками.

Латинская Америка до недавнего времени была глубоким тылом национально-освободительной борьбы зависимых народов. Сегодня она стала передним краем этой борьбы. «Карта Латинской Америки запестрела опасными сигналами серьезных волнений», — с тревогой писала «Нью-Йорк таймс». Вихрем народного гнева сметены ставленники Вашингтона в Колумбии и Венесуэле, был свергнут и бежал в США палач кубинского народа Батиста. Горит земля под ногами ставленников чужеземных монополий и в ряде других стран.

Народы Латинской Америки не хотят больше терпеть нищету, которую принесло им господство американских монополий. Однако, привыкнув хозяйничать в чужом доме, последние не желают примириться с мыслью о неизбежности потери этого «жизненно важного» для них района. И, как это бывало уже не раз, американская пропагандистская машина в прошлом году вновь выстала на свет затасканный миф о «происках Москвы». Об «угрозе коммунизма», о «вмешательстве Советского Союза» в дела Латинской Америки не уставали разглагольствовать Эйзенхауэр, Гертер и многие другие официальные лица, не считая печати, кино, телевидения.

Уместно спросить авторов этих высосанных из пальца «обвинений»: как они объясняют, например, события 1910 года — революцию в Мексике, антианглийские и антиамериканские выступления в Гватемале, восстание в штате Амазонас в Бразилии и многие другие? Чья «рука» действовала тогда? Ведь Советского Союза еще не существовало.

В книге Б. Гвоздарева приведены факты, доказывающие, что освободительное движение народов Латинской Америки — это неотвратимый исторический процесс. Нужды латиноамериканских стран всегда были для империалистов одним из тех «пустяков», которых они не замечали. Это вынуждены признать даже в самих США.

Издающаяся в Майами газета «Диарио делас Америкас» писала: «Юнайтед фрут» сделала в смысле уничтожения престижа США в Латинской Америке больше, чем все силы международного коммунизма, вместе взятые... Это нечто большее, чем коммунизм. Это реакция народов, доведенных до отчаяния существующим положением вещей».

Б. Гвоздарев знакомит с методами подчинения и ограбления латиноамериканских стран.

Прикрываясь лицемерными лозунгами о «панамериканской солидарности», «общности исторических традиций», «совместных интересах», США стремятся расширить и укрепить свои позиции в Латинской Америке.

В книге, к сожалению, нет подробного анализа истории этих «добрососедских» отношений, сильно напоминающих отношения между кошкой и мышью. А между тем США уже до ста раз вмешивались во внутренние дела латиноамериканских стран. Не раз батальоны американской морской пехоты вторгались на территории латиноамериканских республик во имя высоких целей «защиты свободы и демократии». Это дорого обошлось, например, мексиканскому народу, который США «защитили» от владения провинциями Техас, Нью-Мексико и Калифорния, равными территориями нынешней Мексики.

Изменение соотношения сил на международной арене, усилившее сопротивление диктату американских монополий в латиноамериканских странах заставило США искать более эластичные формы для осуществления своих экспансионистских планов. В 1948 году на базе существовавшего ранее так называемого Панамериканского союза была создана Организация американских государств (ОАГ).

США пытались представить ОАГ как олицетворение некоего нового этапа в их отношениях с южными соседями. Разоблачая эти демагогические декларации, Б. Гвоздарев правильно указывает, что подписание устава ОАГ знаменовало собой юридическое оформление многолетних усилий США по созданию военно-политической организации, призванной проводить старую политику.

ку закабаления Латинской Америки в новых условиях.

Соединенные Штаты, например, стремятся внушить народам латиноамериканских стран, что искренне хотят помочь им в развитии экономики и преодолении отсталости. Но вот бизнесмен Кэмп, внося диссонанс в эти сладкие песнопения, утверждает нечто иное: «Правительство США может выдвигать в качестве предлога все, что угодно: «помощь отсталым соседям», «помощь добрым соседям», «борьба с коммунизмом» и так далее. Мы же прежде всего хотим получать прибыли».

Факты, заимствованные из американской статистики, целиком и полностью это подтверждают. За последние пятнадцать лет США предоставили странам Латинской Америки экономическую «помощь» в размере семисот восьмидесяти миллионов долларов, а прибылей, только с капиталовложений в различные отрасли экономики этих стран, американские капиталисты вывезли в десять раз больше — восемь миллиардов. Поистине, как говорят французы, дарится яйцо, чтобы получить вола. Именно о такой «помощи» говорил Н. С. Хрущев, подчеркивая, что «колонизаторы дают доллар в виде «помощи» с тем, чтобы потом получить десять долларов на этот доллар за счет эксплуатации народов, принявших такую «помощь».

Соединенные Штаты не ограничиваются выколачиванием прибылей. Они обуславливают свою «помощь» рядом обязательств, усиливающих степень подчинения стран Латинской Америки северному соседу. В свое время президент США Тафт откровенно говорил об этом, поучая, что «доллары должны выполнить роль пуль».

В книге показано, как американская военщина через один из органов ОАГ — меж-американский совет обороны, возглавляемый американским генералом, — навязывает странам Латинской Америки неравноправные военные соглашения, проводит работу по реорганизации армий ряда этих стран по образцу армии США, чтобы поставить их вооруженные силы под свой контроль. Гонка вооружений, в которую оказались втянутыми латиноамериканские страны, обходится им в год в сумму около двух миллиардов долларов, что почти в сорок раз больше, чем ежегодная экономическая «помощь», предоставлявшаяся Соединенными Штатами за последние пятнадцать лет.

Опираясь на реакционные круги, используя экономическую зависимость латиноамериканских стран и оперируя лугалом «коммунистической агрессии», США через ОАГ добиваются решений, направленных на уничтожение демократических конституционных свобод и на подавление ширящегося национально-освободительного движения. Особенно позорную роль сыграла Организация американских государств в период подготовки Соединенными Штатами агрессии против Гватемалы в 1954 году, заняв позицию прямого попустительства агрессору.

В прошлом году правительство Эйзенхауэра вновь пыталось проташить через ОАГ решения, которые санкционировали бы расправу над революционной Кубой.

Все классические средства, имеющиеся в арсенале колониализма, были использованы против кубинского народа. Взрывы и нападения из-за угла, экономическая блокада и открытая угроза применения военной силы, заговоры и убийства — все было пущено в ход, чтобы ликвидировать завоевания народа Кубы.

В последние месяцы своего пребывания у власти правительство Эйзенхауэра готовило беспрецедентную по своим масштабам провокацию. По сообщениям печати, на южном побережье США, во Флориде, из кубинского контрреволюционного отребья было создано нечто вроде «политического штаба», который формировал вооруженные банды контрреволюционеров для вторжения на Кубу. Здесь же планировались пиратские воздушные нападения против мирных кубинских городов и сел.

Однако все эти усилия обречены на провал. Народы стран Латинской Америки отдают себе отчет в том, что, защищая кубинскую революцию, они тем самым защищают и независимость своих стран.

Об этом говорит автор в заключение своей книги. Он совершенно обоснованно утверждает, что в противовес переживающему кризис официальному «панамериканизму», который был навязан народам Латинской Америки «сверху», с каждым днем растет и крепнет панамериканизм «снизу», то есть подлинная солидарность латиноамериканских народов. Особенно ярким ее проявлением является растущее движение солидарности с кубинской резолюцией.

Не со всеми положениями автора можно согласиться. Автор ошибочно присоединил

ся к существовавшей раньше неверной оценке роли Боливара в освободительном движении народов Латинской Америки, заявив, что Боливар стремился стать во главе латиноамериканских стран в качестве диктатора. Эта версия распространяется сторонниками так называемого «демократического цезаризма». Они умышленно извращают политику Боливара, чтобы оправдать «необходимость» насадить в Латинской Америке власть «крепкой руки».

В действительности Боливар сыграл видную роль в национально-освободительной борьбе латиноамериканских народов против

испанского господства. Именно поэтому в наши дни, когда в странах Латинской Америки резко активизировалось движение народных масс за достижение подлинной национальной независимости — экономической и политической, имя Боливара пользуется особенно высоким уважением у всех латиноамериканских патриотов.

Книга Б. Гвоздарева является одной из первых монографий, в которой на обширном материале исследуются взаимоотношения Соединенных Штатов и Латинской Америки.

Юр. ПАВЛОВ.

★

БАНКИРЫ И КНИГИ

Bankers, Books and Businessmen. By Joseph W. McGuire. *Harvard Business Review*. July — august, 1960 (Джозеф В. Макгуайр. Банкиры, книги и бизнесмены. «Гарвард бизнес ревью». Июль—август, 1960).

Гарвардская высшая школа деловой администрации известна как академический филиал Уолл-стрита. Она издает журнал «Гарвард бизнес ревью», предназначенный для узкого круга читателей. Недавно этот журнал провел необычную анкету и опубликовал ее результаты в статье Д. Макгуайра, профессора Вашингтонского университета.

Пятьсот американских банкиров, крупных и мелких, в больших городах и в провинции, получили по почте вопросник. В нем были названы четыре книги, три из которых относятся к художественной литературе. Все книги завоевали известность. Во всех американский бизнесмен изображен как крайне отрицательный тип. Авторов этих книг неоднократно обвиняли в карикатурном изображении действительности, в сгущении красок, даже в клевете.

Банкиров просили высказать свое компетентное мнение: соответствует ли этот сатирический образ истине?

Возможно, редакция журнала хотела реабилитировать опороченных бизнесменов устами банкиров. Кто знает бизнесмена лучше, чем его «ближайший друг» банкир, которому доверены все секреты? Да и сам банкир ведь тоже бизнесмен. Нужно сказать, что в последнее время редакцию журнала волнует проблема облика («имедж») бизнесмена, точнее то, каким этот облик представляется людям.

Какие же книги выбрала для отзыва редакция журнала? Прежде всего это напи-

санный еще в 1922 году «Бэббит» Синклера Льюиса. Имя главного героя, ограниченно-го и самодовольного Джорджа Бэббита, преуспевающего торговца недвижимостью, стало нарицательным. В английском языке возникло даже слово «бэббитизм». Вот как его разъясняет словарь Вебстера: «Поведение бэббитов как особого класса характеризуется стремлением к преуспеянию в делах и в обществе, ограниченностью, самодовольством и отсутствием интереса к вопросам культуры, филистерством». «Основное наше занятие,— говорит Бэббит,— перервать глотку сопернику и заставить покупателей платить за это!» Советскому читателю «Бэббит» хорошо знаком. Второе издание этого романа на русском языке вышло в 1959 году большим тиражом.

Кроме «Бэббита», были названы романы Джона Маркенда «Пункт, откуда нет возврата» и Камерона Холи «Апартаменты управляющего». Обе книги попали в списки бестселлеров. В книге Маркенда развенчивается культ доллара. Герой романа — банкир, разочарованный пустотой жизни. «Роман оставляет чувство меланхолической депрессии,— писал о книге Маркенда нью-йоркский литературно-публицистический журнал «Коммонуил». — У его действующих лиц нет иных идей и стремлений, кроме жадности к деньгам и к положению в обществе». В романе Холи показано лицемерие и ханжество руководителей финансового мира.

Поступившие от банкиров ответы были,

по словам профессора Макгуайра, поразительно единодушны и убийственны для «престижа» бизнесмена.

Да, ответило подавляющее большинство банкиров, американский делец именно таков, каким его изображает социальная сатира. Черты, делающие его отталкивающим в глазах честных людей всего мира, не преувеличены. Образ Бэббита отнюдь не устарел. «Портрет бизнесмена,— замечает Макгуайр,— написанный С. Льюисом, все еще остается весьма реальным и злободневным. Льюис создал тип бизнесмена, реальность которого банкиры подтверждают. Судя по их ответам,— продолжает он,— банкиры, как правило, согласны с тем, что система бизнеса — это удушающая, деспотическая система, скрывающая личность и подавляющая духовные ценности».

Один из вопросов анкеты гласил:

«Не скрываются ли обыкновенно под благодетельным лицемерием в вопросах морали и обязанностей перед обществом корыстные мотивы?»

«Именно так!» — подтвердили банкиры в своих анонимных ответах.

Следующий вопрос касался уже самих банкиров.

«Считают ли они сами, что благо потребителя и гуманизм важнее, чем прибыль?»

Банкиры признались, что и для них на первом плане — прибыль, и этой цели подчинено все остальное. «Ответы показали,— иронизирует журнал,— что банкиры, несмотря на все свое возмущение по поводу духа «материализма», обуревающего других представителей бизнеса, сами ничуть не лучше тех, кого они критикуют».

Несколько особняком стоит четвертая книга, названная в анкете. Это памфлет Уильяма Уайта, сотрудника журнала «Форчун». Он был издан в 1956 году, затем переиздан и до сих пор живо обсуждается в деловой литературе. Название книги — «Человек организации» — становится таким же синонимом, как «Бэббит». Уайт пытался изложить «философию эпохи», как он ее понимает. Речь идет об изменении лица делового человека. Книга рассказывает о руководителях современных американских корпораций, о тех, «из чьих рядов,— по словам Уайта,— выходят наши лидеры первого и второго ранга, чьи свойства определяют американский характер». Не тот пошел бизнесмен! Кончилась эпоха титанов и гениев финансового мира, ярких и смелых индиви-

дуальностей, вроде изображенного Т. Драйзером Каупервуда. На смену им пришли посредственности; по определению Уайта,— «поклонение бюрократов».

«Они исполнители, но не творцы»,— пишет Уайт. Новые администраторы корпораций, по его словам, держатся за спокойные места, доставшиеся им часто по наследству или благодаря личным связям; они мастера компромиссов, умело сглаживают острые углы, избегают ответственности и риска. Превыше всего у них развито стремление к «эмоциональной безопасности». Посредственностям даже оказывается предпочтение — они легче уживаются. Крупные корпорации, по Уайту, подавляют инициативу, обезличивают людей.

Подавляющее большинство банкиров, исходя из повседневных наблюдений, подтверждает эту тенденцию. «Спокойная жизнь стала девизом,— пишет в своем ответе банкир из Небраски,— спокойная от колыбели до могилы». В то же время банкиры считают эту тенденцию крайне опасной для американского капитализма. Они тоскуют о прошлом; чувство это журнал определяет как «ностальгию».

Таким образом, банкиры по существу выступили в защиту литературы критического реализма и оказались «реалистами и пессимистами».

«Перед бизнесом возникла серьезная проблема,— задумывается Д. Макгуайр,— образ дельца оказался в глазах банкиров крайне отрицательным. Не будет диким предположить, что и для широкой публики бизнесмен является столь же отталкивающей фигурой». Растущий спрос на «украшение» бизнесмена вызвал к жизни целую индустрию под названием «налаживание отношений с публикой» («паблик рилейшнз»). К середине 1960 года в этой отрасли в США было занято более ста тысяч человек. Функции «паблик рилейшнз» самые разнообразные, начиная с оформления годовых отчетов и «мер, способствующих повышению акций данной компании, кончая составлением речей, телевизионных программ и рассылкой по журналам и газетам благонамеренных сказочек. Нью-Йоркский профессор Обер установил, что восемьдесят процентов всех рассказов из жизни бизнесменов, напечатанных в газетах, исходит из отделов «паблик рилейшнз» при крупных корпорациях. Но, сожалеет журнал «Бизнес уик», сколько бы миллионов ни истратили владельцы «Дюпон

де Немур» на «отношения с публикой», им никак не удастся стереть клеймо «торговцев смертью», укоренившееся в сознании людей еще в тридцатые годы. Не удастся также Рокфеллерам вытравить из сознания людей образ хищного Джона Рокфеллера-старшего...»

В последние годы «послушная» литература усиленно старается фальсифицировать действительность, приукрасить звериный облик и духовное ничтожество бизнесмена. Но романы, где бизнесмен выступает как положительный тип, как правило, бездарны. Это однодневки. «Почему так трудно и, казалось бы, совершенно невозможно изобразить удачливого бизнесмена достойным и интересным человеком?» — спрашивает критик С. Уилсон в «Сэтердей ревью» по поводу новой книги Холи, где автор стал «на чудесный путь» и дал «восторженный портрет одного из таких бизнесменов». Уилсон вынужден признать, что, «несмотря на добрые намерения автора, его роман... столь плохое произведение, что оно вызывает неловкое чувство».

А известный критик М. Гисмар пишет в книге «Современные американские писатели — от бунта к конформизму»: «Почти все крупные американские писатели поносили американского бизнесмена. К сожалению, это было оправдано». Новая группа писателей, занявшаяся в середине пятидесятых годов «реабилитацией» бизнесменов, констатирует Гисмар, не добились успехов.

Вопреки принятым мерам «поношение» бизнесмена продолжается, и притом с разных сторон. Организаторы анкетного опроса вполне могли бы включить в свой список еще и книгу «Комбинаторы», вышедшую во второй половине 1960 года. Ее автор, Ф. Джибней, — сотрудник журнала «Лайф», органа далеко не из радикальных. Книга, по словам критика из «Нью-Йорк таймс», представляет собой богато документированное описание современного американского общества. «Мистер Джибней утверждает, что мы живем в царстве мошенничества, в обществе, практикующем коррупцию, которую оно притворно порицает, и тайне апплодирующем обходу моральных принципов, которые якобы соблюдаются».

Профессор Макгуайр хочет уберечь своих читателей от напрасных расходов: «Провал попыток бизнеса создать благоприятный образ не должен побудить бизнесменов к тому, чтобы нанимать все новых и новых специалистов по «паблик рилейшнз», чтобы создать у доверчивой публики светлое представление об их духовном облике. Искусственно подменяя черное белым, мы не изменим коренных причин плохих отношений бизнесменов с публикой. Не помогут и добродетельные поэзы».

Что же тогда поможет?

И вот журнал «Гарвард бизнсс ревью» начинает читать бизнесменам мораль. Вкратце она сводится к тому, что деловым людям достаточно заняться анализом собственной души и совести. Этот путь тем более соблазнителен, что он самый дешевый. Впрочем, кампанию за моральное обновление журнал ведет уже давно, хотя, как показывает и анкета, без видимого успеха.

В последние годы в США поднята на щит так называемая «идеология морального перевооружения». В роли «моралистов» выступают те, кто нарушает моральные нормы даже в обычных человеческих взаимоотношениях. Основателем и идейным вдохновителем организации «идеологии морального перевооружения» считается небезызвестный д-р Бухман, публично возносивший молитвы за Гитлера. Обрывки из обветшалых христианских проповедей обработаны на потребу бизнеса: «Люби капиталиста, как своего ближнего!» Главная движущая пружина этой «идеологии», как открыто признают ее поборники, — страх перед коммунизмом.

Дело, утверждают новоявленные «проповедники», не в порядках, порождающих хищников, а в психологии. Хитрая цель состоит в том, чтобы обмануть народ, внушив ему представление о кающемся бизнесмене, и тем самым примирить его с системой, которую бизнесмен олицетворяет.

Но призывать к самоанализу и покаянию Бэббита, поступки которого вполне соответствуют буржуазной морали, при всех тех чертах, которые ему свойственны и еще раз подтверждены даже его друзьями-банкирами, — само по себе достойно социальной сатиры.

С. ЭПШТЕЙН.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЛИСТОВКА-ПАМФЛЕТ

(К 90-летию Парижской коммуны)

Двадцать восьмого мая 1871 года пали последние баррикады парижских коммунаров. Первое в истории правительство рабочего класса было разгромлено, десятки тысяч коммунаров расстреляны или сосланы на каторгу. Господствующие классы праздновали победу: в Париже-де восстановлен «порядок»!

Но торжествующая реакция была бессильна задуть освободительные идеи социализма, вдохновлявшие парижских пролетариев. В подполье, в эмиграции коммунары продолжали борьбу.

Листовка, текст которой мы приводим ниже, была издана через несколько дней после падения Коммуны в Пленгале — небольшом городке возле Женевы. Внешний вид дает основания предположить, что листовка предназначалась для нелегального распространения во Франции: набор мелким шрифтом на одной стороне листа небольшого формата, тонкая бумага. Заголовок, по-видимому, должен был вводить в заблуждение полицию. По своей стилистической манере она продолжала традиции революционной публицистики Парижской коммуны в ее характерном жанре — сатирическом памфлете, в котором повествование ведется якобы от лица предгитливителя реакции.

До настоящего времени эта листовка оставалась вне поля зрения исследователей. Русский перевод, публикуемый впервые, сделан нами с экземпляра, хранящегося в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

М. АЛЕКСЕЕВА, С. МАНЕВИЧ.

ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ИЗ ВЕРСАЛЯ

*Понедельник, 29 мая,
10 час. утра*

Париж подавлен! Обезглавленное восстание потоплено в крови его защитников! Дикая резня, безжалостная, слепая и безудержная, завершает победу друзей порядка.

Мы забираем, мы расстреливаем всех, даже смертельно раненных пленных.

Наши добрые друзья-пруссаки в Сен-Дени¹, коронованные правители, каждый в

¹ Сен-Дени — город в семи километрах от Парижа. После капитуляции Парижа был занят немецкими войсками. Как известно, Бисмарк, сохраняя видимость нейтралитета, оказывал помощь версальцам в их борьбе с Коммуной.

своей стране, арестовывают и передают нам на расправу тех немногих беглецов, которые пытались избежать смерти. Урра! Париж подавлен, разрушен, побежден! Царит порядок. Добропорядочные люди взяли верх.

Двести тысяч злодеев, провозглашая Коммуну, в действительности провозглашали Федеративную республику.

Эти чудовища чуть было не достигли успеха, но друзья порядка, заседавшие в версальском Национальном собрании, не дремали и, к счастью, сорвали их преступные замыслы.

Добропорядочные республиканцы оказывают Франции весьма ценные услуги. Симон снова обуздывает народное просвещение, Пикар восстанавливает штемпельный налог и залог в 25 тысяч франков для газет, Ж. Фавр с завидным рвением вылавливает за границей всех до единого беглецов².

Негодяи постановили, что никто из государственных служащих не должен получать оклад свыше шести тысяч франков, даже главнокомандующий; более того, они даже к самим себе применили этот закон. Это возмутительно. Но теперь порядок восстановлен. Успокойтесь, милые друзья порядка, возвращайтесь во Францию, возвращайтесь в Париж. Возвращайтесь, верные и умелые полководцы — Лебефы, де Фейи, Флерри, Базены³ всех рангов, вас ожидает дождь орденов и высоких окладов, которые вы вполне заслужили.

² Жюль Симон занимал пост министра народного просвещения в правительстве Тьера, Эрнст Пикар — министра финансов, Жюль Фавр — министра иностранных дел.

³ Маршал Эдмон Лебеф в 1869 году был военным министром. После ряда поражений французской армии во франко-прусской

Возвращайтесь также, банкиры, дельцы, баловни неразборчивой фортуны, игроки на бирже; возвращайтесь, Морни, Мире, Робер Макеры⁴ всех родов, возвращайтесь, лояльные и добропорядочные поставщики армии; возвращайтесь, графини, герцогини, кокетки всех разрядов, возвращайтесь все! Порядок восстановлен.

Злодеи приняли декрет об отделении церкви от государства и о всеобщем светском обучении. Ужас! Успокойтесь, князья церкви, благочестивые епископы и архи-

войне был смещен и назначен командующим корпусом в армии Базена, вместе с которой и сдался в плен. Шарль де Фейн — один из наиболее бездарных генералов Второй империи. Эмиль-Феликс Флерри — французский генерал, во время Коммуны принимал активное участие в интригах бонапартистов. Франсуа-Ашиль Вазен — французский маршал, монархист. В октябре 1870 года предательски сдал немцам крепость Мец и стосемидесятитысячную французскую армию.

⁴ Герцог Шарль-Огюст де Морни — по матери брат Наполеона III, был министром внутренних дел, затем председателем Законодательного корпуса Второй империи. Жюль-Исаак Мире — французский банкир, владелец ряда политических газет. Робер Макер — тип ловкого афериста, созданный в двадцатых годах XIX века знаменитым французским актером Лемэтром и позднее запечатленный в серии карикатур Домье «Похождения Робера Макера».

епископы! Ваши оклады в двадцать и тридцать тысяч франков вам будут сохранены и даже увеличены. Успокойтесь, благочестивые слуги господни, лицемерные наставники юношества. Успокойтесь также почтенные крестьяне. Вы можете продолжать воспитывать ваших детей такими же, как вы сами, полными невеждами, чтоб вырастить из них граждан, достойных всеобщего голосования. Порядок восстановлен!

Возвращайтесь также, Пьетри⁵, агенты явной и тайной полиции, бравые жандармы! Злодеи уничтожили ваше верное оружие — револьверы и кастеты, но у нас есть новые, усовершенствованные модели. Возвращайтесь, вы нам нужны! Порядок восстановлен!

Злодеи сожгли гильотину. О вандалы! Что с тобой случилось, опора порядка? Куда бежал ты, скромный и умелый служитель, почтенный палач? Более чем когда-либо мы нуждаемся сейчас в твоих услугах. Порядок восстановлен!

Возвращайтесь все! Ура! Делить добычу! Франция, разбитая, искалеченная, не умерла. Она живуча, еще течет кровь в ее жилах. Собирайтесь, вороны, ястребы, пиявки. Порядок восстановлен!

⁵ Жозеф-Мария Пьетри — французский политический деятель, занимал пост префекта полиции. Прославился своей жестокой расправой со всякими попытками революционных выступлений.



КОРОТКО О КНИГАХ



Т. ШЕВЧЕНКО. Заповіт мовами народів світу. Составитель Д. Ф. Красицкий. Издательство Академии наук Украинской ССР. Киев. 1960. 95 стр. Цена 16 к.

Небольшой, поменьше карманного формата, томик. На зеленом полотне переплета — силуэт знакомой каждому головы: большой и лобастой, с казацкими усами. Понизе — золотыми буквами — слово, которое первым вспоминается при взгляде на портрет великого сына Украины: «Заповіт».

Одно это стихотворение и составляет всю книгу. Но стихотворение занимает две неполные страницы, а в томике девяносто пять страниц, на которых убогий, четкий текст пестрит различными шрифтами: русские буквы сменяются латинскими, дальше появляются китайские, корейские, японские иероглифы, кружевная вязь грузинского текста, кованая округленность армянских литер, слова на языках народов, лишь недавно получивших собственную письменность.

«Заповіт» повторен на сорока трех языках. Вслед за русским переводом А. Твардовского печатается английский текст, сделанный автором «Овода» — Этель Лилиан Войнич. «Что мне бог?!» — мятежно восклицает по-английски лирический герой этого перевода, передавая шевченковскую строку «я не знаю бога», и мы понимаем, что переводчица не случайно остановилась на знаменитом стихотворении великого Тараса: тот же пафос звучит и в «Оводе». Китайский перевод сделан Го Мо-жо; румынский — Михаилом Садовяну; немецкий (один из самых ранних) выполнен Иваном Франко, торопившимся перебросить слово своего учителя за рубежи Украины, как факел, зажженный пламенем Прометея...

Сорок три перевода.

И в заключение — ноты. «Заповіт» превратил в песню сам народ. Композитор Л. Ревуцкий обработал мотив, на который давно уже пелись слова Кобзаря.

Эти слова, звучащие на сорока трех языках мира, остаются нерукотворным памятником великому поэту век спустя после его смерти.

Сборник, составленный любовно и тщательно, заслуживал бы и более любовного полиграфического оформления. Лучше могла бы быть бумага, тоньше, изобретательнее — вкус художника-оформителя. Не хва-

тает в книге и примечаний, которые рассказали бы читателю историю публикуемых переводов. Но все это может быть возмещено при переиздании книги, которую снова, несомненно, будет искать читатель-книголюб.

ЛЕОНИД ХИНКУЛОВ. Тарас Шевченко. Биография. Гослитиздат. М. 1960. 541 стр. Цена 1 р. 44 к.

Приближается сотая годовщина со дня смерти основоположника новой украинской литературы Тараса Григорьевича Шевченко.

В деле изучения жизни и деятельности великого Кобзаря у нас сделано и делается немало. Однако трагическая жизненная судьба Шевченко отразилась и на судьбе биографических материалов о нем. Рукописи свои Шевченко нередко сам уничтожал, а иногда передавал на сохранение знакомым, которые далеко не всегда умели их беречь; многие корреспонденты Шевченко уничтожали его письма. Сам поэт часто был вынужден так же поступать с получаемой им корреспонденцией. Имеются сведения о сожжении Шевченко (или его друзьями) стихотворений, рисунков, дневников. Скудные мемуарные источники.

Поэтому важнейшие этапы жизни, творчества и революционной деятельности замечательного сына украинского народа исследованы не в достаточной мере, еще не все имена его друзей и единомышленников известны, не выяснены многие лица, упоминающиеся в шевченковских письмах, дневнике, а также изображенные на его рисунках. В самой биографии великого поэта еще встречаются «белые пятна».

Вышедшая в свет биография Шевченко, написанная Л. Хинкуловым, имеет своей целью восполнить и действительно восполняет многие пробелы в истории жизни и творчества Шевченко. В книге использован обильный документальный материал. В круг исследования вовлечены значительная мемуарная литература и новейшие достижения шевченковедения. Автор разоблачает попытки украинской буржуазно-националистической историографии изолировать Шевченко от русской литературы, культуры и передовой общественной мысли. В книге Л. Хинкулова приведено множество фактов, свидетельствующих о неразрывной связи Шевченко с передовой

русской литературой и революционно-демократической идеологией. В книге исправлены многие ошибки, вкравшиеся в прежние жизнеописания Шевченко, и уточнены многие факты жизни, творчества и революционной деятельности поэта.

ПИСАТЕЛИ И КНИГИ. Выпуск первый. Гослитиздат. М. 1960. 80 стр. Цена 12 к.

Гослитиздат начал выпуск серии брошюр «Писатели и книги», подготовленной редакцией журнала «Вопросы литературы». Замысел издания очень важен: в брошюрах будут напечатаны статьи и выступления известных советских и зарубежных мастеров слова о литературном труде, о воспитании эстетического вкуса, об истории создания отдельных произведений. Работы литературоведов введут читателя в творческую лабораторию крупнейших русских и зарубежных писателей-классиков. Будет публиковаться переписка писателей с читателями, советы молодым литераторам.

Уже первый выпуск показал, насколько полезно это начинание журнала и издательства. В статье «О тех, кто мне близок» поэт Николай Асеев рассказывает о своем творческом пути, о своих учителях и товарищах по перу. Тонкими наблюдениями над стихом — оригинальным и переводным — делится в «Заметках о мастерстве» С. Маршак. Николай Тихонов в статье «Большая правда поэзии» говорит о высоких требованиях современного читателя к литературе, о молодой поэтической смене. Работа над образом Владимира Ильича Ленина — тема статьи Н. Погодина «На подступах к великому образу». Литературовед М. Соيفер пишет о том, как создавалась «Поднятая целина».

Во втором выпуске будут напечатаны статьи А. Арбузова, А. Бека, Дм. Гуляна, Л. Леонова и С. Шипачева. Затем готовятся брошюры с выступлениями М. Шолохова, А. Твардовского, К. Федина, И. Эренбурга, М. Исаковского и многих других писателей.

КАРЕЛ ГИНЕК МАХА. Избранное. Перевод с чешского. Составитель В. Мартемьянова. Гослитиздат. М. 1960. 324 стр. Цена 52 к.

О Кареле Гинеке Маха — выдающемся чешском поэте XIX века — Юлиус Фучик писал когда-то: «Маха любил людей, мечтал о том, чтобы любовь победила на земле, и очень страдал оттого, что большинство людей не может понять друг друга. Из этого рождались его стихи — из любви к людям и из обмана, с которым он встречался... Обмана было много, поэтому так много в его стихах печали. Но в них есть и сила... потому что Маха не переставал надеяться, что когда-нибудь люди будут такими, о которых он мечтал и которых он искал повсюду...»

В этих словах — весь Маха, человек, сыгравший огромную роль в истории чешской литературы, на многие годы определивший ее развитие, ее революционный романтизм.

Он начал писать в конце двадцатых годов прошлого века, когда Чехия задыхалась под правлением австрийского канцлера Меттерниха. В своих произведениях поэт отражал сложность и трагизм эпохи, «мир души и сердца» человек, любящего свою родину и бесконечно страдающего за нее.

Даже в мрачную пору реакции — после поражения Французской революции 1830 года и поражения польского восстания, — когда рухнули надежды на скорое освобождение Чехии, Маха не отказался от веры в свободу и от борьбы.

В «Избранном» опубликована знаменитая поэма Маха «Май». Ее герой, Вилем, изгнанный из родного дома, становится благородным разбойником, «суровым властелином лесов».

В другие разделы сборника вошли стихотворения, написанные в разные годы жизни поэта; для них также характерен мотив гордого одиночества, стремление к свободе: стихотворения из цикла «Эхо народных песен», сонеты «Тихий тис...», «Просьбу ту, что нежная такая...», «Солнце скрылось...», стихи без названия и отрывки.

Заключают сборник прозаические произведения Маха из цикла «Картины моей жизни», в которых он, как пишет автор предисловия В. Мартемьянова, «попытался философски осветить события, происшедшие в общественной жизни Чехии тридцатых годов».

П. А. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ. Отмена крепостного права в России. Учпедгиз. М. 1960. 366 стр. Цена 68 к.

В дни, когда отмечается столетие со дня падения крепостного права в России, читатель с особым интересом обратится к книге П. А. Зайончковского. Эта работа советского историка является дополненным и пересмотренным изданием одноименной книги, вышедшей в 1954 году.

Крестьянской реформе 1861 года посвящено немало исследований. Однако, как правило, основное внимание в них было обращено на условия подготовки реформы, а не на изучение ее реализации. В центре исследования Зайончковского как раз эти наименее изученные вопросы: как проводилась в жизнь реформа, каковы были размеры ограбления крестьян (в земельном и денежном отношении), каковы конкретные результаты реализации «Положения 19 февраля 1861 г.».

Важнейшими источниками, на основании которых эти проблемы решаются в книге, явились уставные грамоты и выкупные акты по отдельным губерниям и уездам. Эти документы определяют как размеры отведенной крестьянам земли, так и взимавшиеся за пользование ею повинности. Всего автором использованы 7244 уставные грамоты по тридцати трем уездам Европейской России, что дало возможность довольно широко, с охватом различных экономических районов, рассмотреть вопрос о проведении реформы, ярко проиллюстрировать ленин-

скую мысль о том, что «пресловутое освобождение» было бессовестным грабежом крестьян.

Подчеркнув крепостнический характер реформы, исследователь показывает, что она все же создала условия для утверждения капиталистических отношений в стране. Главное из этих условий — личное освобождение двадцати миллионов помещичьих крестьян, частично лишенных средств производства, и создание благодаря этому армии наемных рабочих.

Книга П. А. Зайончковского — серьезный вклад в советскую историографию вопроса о крестьянской реформе 1861 года.

СОВЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА СТРАЖЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ. Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М. 1960. 275 стр. Цена 79 к.

Развитие советской демократии вызывает к жизни новые формы общественного самоуправления. Все большее значение приобретает участие трудящихся в охране общественного порядка и укреплении социалистической законности. В этой области накоплен уже немалый опыт. Для его обобщения по инициативе Высшей партийной школы, Института права, Всесоюзного института юридических наук и юридического факультета МГУ в Москве была проведена научная конференция. Ее материалы и легли в основу этого сборника. В нем приведены выступления представителей общественности, суда, прокуратуры. В книгу включены также статьи советских ученых-юристов.

«Сама жизнь», — говорит Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко, — породила средства и формы общественного воздействия на нарушителей социалистического правопорядка. Главное здесь заключается в том, чтобы предупреждать преступления, не дать оступиться человеку, испытать его доверием коллектива, — это борьба за лучшее в человеке».

Ряд выступлений посвящен роли товарищеских судов и народных дружин.

С. П. ФИГУРНОВ. Реальная заработная плата и подъем материального благосостояния трудящихся в СССР. Соцэкгиз. М. 1960. 200 стр. Цена 53 к.

Перед нашими экономистами стоит важная задача — углубить изучение теоретических вопросов, имеющих практическое значение для коммунистического строительства. Один из них — вопрос о реальной заработной плате при социализме.

В книге С. Фигурнова рассматриваются тенденции движения реальной заработной платы в условиях современного капитализма и источники ее неуклонного роста в социалистическом обществе. Отдельная глава посвящена проблемам реальной заработной платы и реальных доходов рабочих и служащих в семидесятке.

Большое внимание автор уделил роли общественных фондов в повышении благосостояния трудящихся нашей страны. В книге приведены данные, показывающие, что дополнительные доходы сверх заработной платы в виде индивидуальных выплат (пенсии, отпуска, стипендии и т. д.) и общественного потребления (образование, лечение, содержание жилищного фонда и т. д.) увеличивают реальные доходы семей рабочих и служащих примерно в полтора раза.

В книге поставлены и некоторые методологические вопросы. В виде приложения автор дает «Опыт исчисления индекса реальной заработной платы».

В. МАЕВСКИЙ. Первый или пятый. Записки журналиста. «Молодая гвардия». М. 1960. 176 стр. Цена 27 к.

Это рассказ о том, что автор увидел и узнал за время поездки в Австралию и Новую Зеландию в 1959 году. «Совершен прыжок в тринадцать тысяч километров. Вот он, пятый (или первый?) — пусть спорят ученые) континент». Так родилось и название книжки.

В. Маевскому удалось с достаточной полнотой показать читателю все стороны политической, экономической и культурной жизни этих стран.

Книга знакомит с историей освоения материка, периодом, когда «Австралия стала ареной разгрома самых дьявольских страстей: начался период физического истребления аборигенов». До прихода колонизаторов коренное население составляло тысяч триста, может даже пятьсот. Сейчас, пишет автор, в Австралии осталось не более тридцати тысяч чистокровных аборигенов и примерно столько же метисов. «Преступление продолжается» — так названа глава книги, где рассказано о положении аборигенов Австралии.

Австралийскую экономику издавна определяло овцеводство, самое крупное в мире, обеспечивающее половину доходов от всего экспорта страны. И неспроста говорят, что Австралия «едет верхом на овце». Однако времена меняются. Ныне, отмечает автор, Австралия стала и индустриальной страной, здесь работает свыше пятидесяти тысяч предприятий. Прироста капитализма воочию проявляется и здесь. В стране с десятью миллионами населения хозяйничают пять крупнейших концернов Барыши капиталистов растут с головокружительной быстротой, эксплуатация рабочих усиливается.

С интересом читаются страницы, где рассказано о встречах с австралийскими деятелями культуры — писателями и художниками, об их симпатиях к Советской стране. Среди широких слоев интеллигенции, рабочего класса, говорится в книге, усиливается тяга к нашей культуре, науке.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ГОСПОЛИТЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В трех томах. Том 1. 844 стр. Цена 1 р. 47 к. Том 2. 762 стр. Цена 1 р. 20 к. Том 3. 818 стр. Цена 1 р. 23 к.

Г. Георгиу-Деж. Отчетный доклад Центрального Комитета Румынской рабочей партии III съезду партии. 176 стр. Цена 22 к.

В. Гомулка. Под руководством марксистско-ленинской партии к победе социализма. 192 стр. Цена 24 к.

А. Грамши. Дать истории. Статьи из «Ордине нуово». Проблемы революции. Проблемы культурной жизни. 128 стр. Цена 16 к.

Записная книжка партийного активиста. 1961. 288 стр. Цена 42 к.

Книга для чтения по марксистской философии. 696 стр. Цена 1 р. 5 к.

О мастерстве агитатора. Методические советы. 144 стр. Цена 18 к.

Против тьмы. Атеистическая хрестоматия. 969 стр. Цена 1 р. 13 к.

Советские партизаны. Из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. 832 стр. Цена 1 р. 22 к.

Справочник агитатора. 1960. 384 стр. Цена 65 к.

Л. Таксиль. Забавная библия. 472 стр. Цена 79 к.

Ю. Цеденбал. Социалистические преобразования в Монгольской Народной Республике. 120 стр. Цена 15 к.

СОЦЭКГИЗ

М. Барабанов. Экономическое соревнование двух систем (Критика взглядов буржуазных идеологов США). 188 стр. Цена 40 к.

С. Ю. Витте. Воспоминания. В трех томах. Том 1. 556 стр. Цена 1 р. 4 к. Том 2. 640 стр. Цена 91 к. Том 3. 724 стр. Цена 1 р. 5 к.

Макс Зейдевич. Германия между Одером и Рейном. К новейшей истории Германии. Перевод с немецкого. 712 стр. Цена 1 р. 47 к.

Исторический материализм и социальная философия современной буржуазии. 584 стр. Цена 1 р. 64 к.

Коллектив авторов. Основные вопросы политической экономики социализма в трудах В. И. Ленина. 464 стр. Цена 1 р. 5 к.

Критика буржуазных экономических теорий. 408 стр. Цена 53 к.

Критика экономических теорий предшественников современного ревизионизма. 500 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Е. Кунина, Б. И. Марушкин. Миф о любви США. 318 стр. Цена 80 к.

Н. Д. Мец. Наш рубль. Исторический очерк. 100 стр. Цена 8 к.

А. Омаров. Рассказы о великом плане. 254 стр. Цена 29 к.

Правые социалисты — против социализма. 360 стр. Цена 67 к.

Практика — критерий истины в науке. 461 стр. Цена 1 р. 8 к.

Против современной буржуазной идеологии. Сборник статей немецких марксистов. 320 стр. Цена 67 к.

Труды Государственной комиссии по электрификации России — ГОЭЛРО. Документы и материалы, 308 стр. Цена 91 к.

Б. Ц. Урланис. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII—XX вв. (Историко-статистическое исследование). 568 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Алдан-Семенов. Север, север! Повести. 256 стр. Цена 46 к.

А. Атаджанов. Лейся, ливень! Стихи и поэмы. Перевод с туркменского. 92 стр. Цена 13 к.

А. Белингов. Юрий Тынянов. 438 стр. Цена 1 р.

А. Велюгин. Черемуховые холода. Стихи. Перевод с белорусского. 160 стр. Цена 24 к.

Э. Вилкс. Все случилось летом. Повесть. Перевод с латышского. 172 стр. Цена 22 к.

И. Гурский. В большой дороге. Рассказы. Перевод с белорусского. 244 стр. Цена 29 к.

М. Гюльгун. Заветное кольцо. Стихи и поэма. Перевод с азербайджанского. 104 стр. Цена 16 к.

Е. Драбкина. Черные сухари. Рассказы. 380 стр. Цена 64 к.

Ю. Друнина. Современники. Лирика. 88 стр. Цена 9 к.

Е. Евтушенко. Яблоко. Стихи. 100 стр. Цена 14 к.

С. Кирсанов. Ленинградская тетрадь. Стихи. 104 стр. Цена 19 к.

В. Кожевников. Знакомьтесь, Валуев. Повесть и рассказы. 388 стр. Цена 56 к.

П. Колесник. Терн на пути. Роман. Перевод с украинского. 540 стр. Цена 92 к.

Н. Мординов. Повести. Перевод с якутского. 196 стр. Цена 26 к.

Г. Поженян. Жизнь живых. Стихи и поэма. 80 стр. Цена 11 к.

И. Сафарли. Песня о вечном. Стихи. Перевод с азербайджанского. 120 стр. Цена 18 к.

М. Соболев. Короткие ночлеги. Стихи. 132 стр. Цена 17 к.

Н. Тихий. В дорогу выходи на рассвете. Роман. Перевод с украинского. 560 стр. Цена 92 к.

В. Финк. Литературные воспоминания. 302 стр. Цена 53 к.

Р. Фиш. Назым Хикмет. Очерк жизни и творчества. 388 стр. Цена 89 к.

Г. Холопов. Невдуманные рассказы о войне. 232 стр. Цена 21 к.

Л. Хрилев. Костры на дне моря. Стихи. 128 стр. Цена 17 к.

В. Цыбин. Медовуха. Стихи и поэмы. 116 стр. Цена 19 к.

М. Чабанянский. На берегах Дуная. Роман. Перевод с украинского. 520 стр. Цена 88 к.

Н. Чертова. Шумят ливни. Роман. 348 стр. Цена 63 к.

А. Эрлик. Нас учила жизнь. Литературные воспоминания. 200 стр. Цена 24 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Б. Бурсов. Лев Толстой. Идеальные искания и творческий метод. 1847—1862. 407 стр. Цена 1 р. 7 к.

Важа Пшавела. Стихи. Поэмы. Перевод с грузинского. 223 стр. Цена 80 к.

Антал Гидаш. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с венгерского. Том I. 624 стр. Цена 1 р. 24 к. Том II, 612 стр. Цена 1 р. 29 к.

Николай Грибачев. Избранные произведения. В трех томах. Том I. 455 стр. Цена 95 к. Том II. 471 стр. Цена 1 р. 14 к. Том III, 495 стр. Цена 97 к.

И. Лежнев. Избранные статьи. 327 стр. Цена 88 к.

Перец Марниш. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с еврейского. Том I. 383 стр. Цена 86 к. Том 2. 319 стр. Цена 97 к.

В. Петров. Лу Синь. Очерк жизни и творчества. 383 стр. Цена 1 р. 2 к.

Писатели стран народной демократии. Сборник статей. Выпуск 4. 304 стр. Цена 80 к.

Оскар Уайльд. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с английского. Том I. 399 стр. Цена 75 к. Том 2. 295 стр. Цена 59 к.

Чжан Тянь-и. Двадцать один. Рассказы. Перевод с китайского. 231 стр. Цена 36 к.

Шоротчондро Чоттоладхай. Шрикранто. Роман. Перевод с бенгали. 583 стр. Цена 92 к.

Ованес Шираз. Стихи и поэмы. Перевод с армянского. 391 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Эдуард Асадов. Галина. Повесть в стихах. 112 стр. Цена 37 к.

Грант Багразян. Он найдет свою дорогу. Повесть. 200 стр. Цена 45 к.

М. Инюшин. Свирь—Иртыш. 174 стр. Цена 25 к.

Д. Краминов. Дорога через ночь. Документальная повесть. 416 стр. Цена 77 к.

Молодая Монголия. Рассказы и повести. 176 стр. Цена 25 к.

Юрий Нагибин. Перед праздником. Повесть и рассказы. 320 стр. Цена 62 к.

Сергей Никитин. Костер на ветру. Рассказы. 344 стр. Цена 67 к.

К. Пиотровский. Сергей Лебедев. 236 стр. Цена 56 к.

Николай Рыленков. Жажда. Стихи. 176 стр. Цена 44 к.

Николай Томан. Взрыв произойдет сегодня. Приключенческие повести и рассказы. 208 стр. Цена 31 к.

В. Трихманенно. Человек расправляет крылья. Повесть и рассказы. 272 стр. Цена 55 к.

ДЕТГИЗ

Б. И. Бродский. Каменные страницы истории. Рассказы. 240 стр. Цена 1 р. 16 к.

Ю. А. Гаецкий. Дары Мельпомены. Повесть о великом актере П. С. Мочалове. 184 стр. Цена 35 к.

Г. В. Елизаветин. Всему голова. Книга о хлебе. 128 стр. Цена 37 к.

Ф. Ю. Зигель. Вселенная полна загадок. 248 стр. Цена 49 к.

Г. И. Набатов. Юные мстители. Документальная повесть. 190 стр. Цена 39 к.

Ф. М. Оржеховская. Себастьян Бах. Повесть. 184 стр. Цена 37 к.

Е. О. Путилова. О творчестве А. П. Гайдара. Очерки. 163 стр. Цена 37 к.

А. Н. Рыбаков. Приключения Кроша. Повесть. 192 стр. Цена 36 к.

Ю. Я. Хазанович. Свое имя. Повесть. 384 стр. Цена 71 к.

Чудо над Моншей. Рассказы мордовских писателей. 160 стр. Цена 34 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ф. Т. Архипцев. Материя как философская категория. 272 стр. Цена 95 к.

Дарвинизм живет и развивается. 219 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. Я. Мерперт и Д. Б. Шелов. Древности нашей Земли. 240 стр. Цена 1 р.

Народы мира. Народы Кавказа. Том I. 612 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. И. Опарин. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. 192 стр. Цена 1 р.

Н. В. Орлова. Вопросы брака и развода в международном частном праве. 228 стр. Цена 80 к.

Построение фундамента социалистической экономики в СССР. 1926—1932 гг. 575 стр. Цена 2 р. 30 к.

Проблема причинности в современной биологии. 194 стр. Цена 70 к.

М. Б. Равич. Топливо — хлеб промышленности. 136 стр. Цена 22 к.

Хуан Уарте. Исследование способностей к наукам. Перевод с испанского. 320 стр. Цена 1 р. 18 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Б. М. Данциг. Ирак в прошлом и настоящем. 256 стр. Цена 83 к.

История о верности Чхун хян. Средневековые корейские повести. Перевод с корейского. 684 стр. Цена 1 р. 50 к.

Д. С. Комиссаров. Очерки современной персидской прозы. 216 стр. Цена 70 к.

Б. Л. Рифтин. Сказание о Великой стене и проблема жанра в китайском фольклоре. 248 стр. Цена 70 к.

Современная арабская литература. Сборник статей. Перевод с арабского. 192 стр. Цена 70 к.

Э. Д. Талмуд. Очерки новейшей истории Цейлона. 192 стр. Цена 65 к.

Ю. К. Шуцкий. Китайская классическая «Книга перемен». 424 стр. Цена 2 р. 20 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 28/1-1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/III 1961 г.
А 00787. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 88600.
Зак. 200.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ГОССТРАХ

**заключает договоры личного страхования
на разные сроки и разные страховые суммы.**

Договоры на смешанное страхование жизни заключаются с лицами в возрасте от 16 до 60 лет на срок 5, 10, 15 и 20 лет, а на страхование от несчастных случаев — с лицами в возрасте от 16 до 70 лет на сроки от 1 до 5 лет.

По договорам личного страхования Госстрах выплачивает страховую сумму застрахованному или его семье.



Госстрах заключает также договоры добровольного страхования принадлежащих гражданам строений, домашнего имущества и средств транспорта.

Страховое возмещение выплачивается: по страхованию строений и домашнего имущества в случае гибели или повреждения от пожара и других стихийных бедствий, а по страхованию средств транспорта — также и от аварий.



Для получения более подробных справок и заключения договоров необходимо обратиться в инспекцию или к агенту Госстраха.

Инспекция Госстраха имеется в каждом районе. Агента Госстраха можно вызвать на дом.

Страхование выгодно и вполне доступно трудящимся.

Граждане! Заключайте и своевременно возобновляйте договоры добровольного личного страхования и принадлежащего вам имущества.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ РСФСР**